ISSN 0130-6545

10.1991

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ТОМ ВУЛФ
Костры амбиций

У. Б. ЙЕЙТС
Распятие отверженца

СЮЛЛИ-ПРЮДОМ
«Правда»
Главы из поэмы

Митрополит АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ
Размышления о призвании

ЭЛЕН ОЛДЕРМЭН, КЭРОЛИН КЕННЕДИ
В нашу защиту. Билль о правах в действии

ВЛАДИМИР ЭНТИН
Свобода печати: советский вариант

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, А. М. АДАМОВИЧ,
О. С. ВАСИЛЬЕВ (заместитель главного редактора),
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ,
А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Т. В. ЛАНИНА,
Т. Л. МОТЫЛЕВА, Б. В. НИКОЛЬСКИЙ (ответственный секретарь),
В. Ф. ОГНЕВ, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ,
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ (заместитель главного редактора),
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ

Международный общественный совет журнала «Иностранная литература»:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания),
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария), СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения), РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС
РЕТАМАР (Куба), СЕМБЕН УСМАН (Сенегал),
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

НЕЗАВИСИМЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

10 октябрь 1991

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ ВУЛФ — Костры амбиций *(Роман. Перевод с английского И. Бернштейн)* 5

У. Б. ЙЕЙТС — Распятие отверженца *(Рассказ. Перевод с английского Е. Суриц)* 180

СЮЛЛИ-ПРЮДОМ — Правда *(Главы из поэмы. Перевод с французского и предисловие Ив. Тхоржевского. Послесловия С. Зенкина и С. С. Тхоржевского)* 185

Навстречу нашим публикациям

НАТАЛЬЯ БОГОМОЛОВА — Абель Поссе: новые времена, новые лидеры 198

Документальная проза и публицистика

Вера и мораль

Митрополит АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ — Размышления о призвании *(Авторизованный перевод с английского и предисловие Ирины Кирилловой)* 204

Ирина Кириллова — Православное учение о человеке *(Краткий путеводитель к проповедям владыки Антония)* 212

Правовое государство

ЭЛЕН ОЛДЕРМЭН, КЭРОЛИН КЕННЕДИ — В нашу защиту. Билль о правах в действии *(Перевод с английского Г. Лисиной)* 216

ВЛАДИМИР ЭНТИН — Свобода печати: советский вариант 230

ВЛАДИМИР ЗОТОВ — От коррумпированной культуры к культурной коррупции 236

У книжной витрины 252

Авторы этого номера 256

© «Иностранная литература», 1991

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

ОСТА ХОЛТ «Поваренная книга бедняка, или Малоземельного хутора летопись»
Старейшая и, к сожалению, неизвестная у нас в стране норвежская писательница рассказывает историю молодой горожанки, взявшейся возродить заброшенный хутор. Читателям, несомненно, пригодятся кулинарные советы хозяйки скромного достатка, а главное — опыт заразительно энергичной женщины, для которой сберечь свои корни и значит — жить.

ЭРНСТ ЮНГЕР «Из философской прозы»
Впервые на русском языке публикуются отрывки из произведений одного из самых спорных авторов XX века. Сопровождающая их статья **А. Лукина** и **Вл. Рынкевича** посвящена трагическим поискам виднейшего немецкого прозаика и философа, проблеме существования культуры в тоталитарном государстве.

Стихи ГЕНРИКА ГРИНБЕРГА — известного польского поэта и прозаика, эмигрировавшего в 1967 году в США в знак протеста против разгула антисемитизма и засилья цензуры на его родине.

СИНТАРО ИСИХАРА «Япония, которая сумеет сказать „нет“»
Программный памфлет японского политика и писателя, вызвавший на Западе настоящий шок. В нем впервые резко и откровенно заявлено о новом мироощущении японцев и о той роли, которую Страна Восходящего Солнца должна отныне играть в мировой политике.

ТОМ ВУЛФ «Охота на миллиардноногого зверя»
Одновременно с окончанием романа Тома Вулфа «Костры амбиций» вниманию читателя предлагается эссе самого автора, в котором рассказывается, как он, приверженец «литературы факта», работал над своей книгой, относящейся к «литературе вымысла». Том Вулф, лидер школы «нового журнализма», излагает свежий взгляд на современную американскую прозу, утверждая, что ее будущее немыслимо без техники репортажа, без «документализации», иначе литература безнадежно отстанет от сегодняшней Америки, несущейся вперед «в бешеной скачке», подобно гоголевской «птице-тройке».

На обложке картина ХАНСА ХАРТУНГА

По всем вопросам, связанным со сроками выхода и распространения журнала, а также по поводу полиграфического брака редакция просит обращаться в издательство «Известия».

Главный художник **С. И. Мухин**
Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41, Телефон 233-51-47.

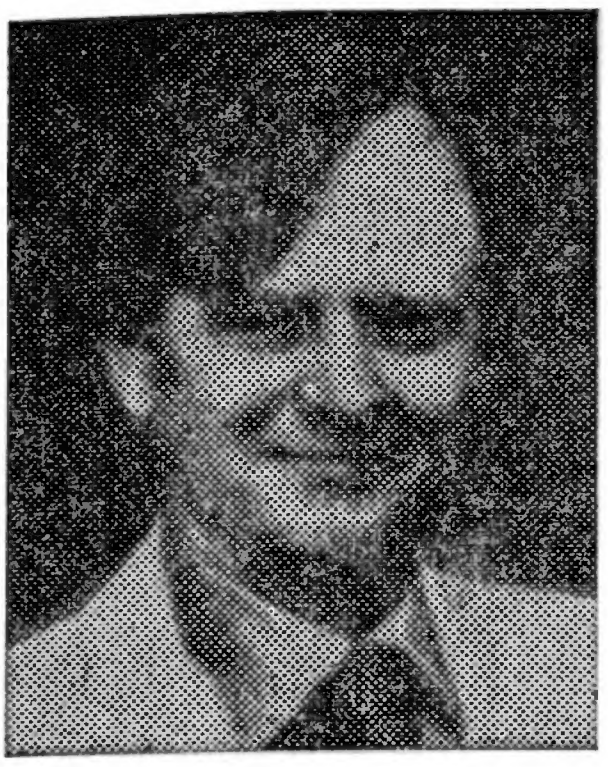
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»,
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 01.08.91. Подписано в печать 25.09.91. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. Бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4.
Усл. кр.-отт. 23,4. Уч.-изд. 26,50.

Тираж 166 900 экз. Цена 2 р. 95 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». 103473, Москва И-473, Краснопролетарская, 16. Зак. 2148.
Отпечатано и изготовлен тираж в типографии издательства «Советская Сибирь». 630048, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 44. Зак. 70



ТОМ ВУЛФ

Костры амбиций

РОМАН

Перевод с английского И. БЕРНШТЕЙН

Приподняв шляпу,
автор посвящает эту
книгу
советнику ЭДДИ
ХЕЙСУ,
который, пройдя между
костров,
заметил зловещие
отсветы;
а также выражает
глубокое почтение
БЕРТУ РОБЕРТСУ,
первым указавшему
путь.

Пролог

ДАЙ СУКЕ ПРИКУРИТЬ

— А по-твоему, значит так: мол, забудьте голод, да? Забудьте, что расисты-полицейские стреляют вам в спину... Главное дело — *Чак* явился к вам в Гарлем...

— Да нет, я вам объясняю...

— Раз *Чак* явился к вам в Гарлем, он...

— Я вам объясняю...

— Мол, раз *Чак* явился в Гарлем, он теперь позаботится о черных?

Этого оказалось довольно.

— Хо-хо-хо-хооо! — раздается из публики раскат нечеловечески низкого женского утробного хохота, прямо из таких глубин, из-под стольких слоев сала, что ясно, как она должна выглядеть: двести фунтов весу, это уж по меньшей мере, и сложена, как керосинка. В ответ подключаются мужские голоса, поднимается характерный нутряной гогот, который внушает ему такое отвращение:

— Ххе-ххе-ххеее!.. Ххо-ххо-ххооо!.. Точно!.. Врежь ему, брат... Йооо!

Чак! Безобразие! Вон он, в первом ряду, посредине. Посмел назвать его «Чарли»! «Чак» — это уменьшительное от «Чарли», так называют на Юге белых расистов. Какая наглость! Какое бесстыдство! От ламп жарко и режет глаза. Мэр сильно щурится. Телевидение... Вокруг — слепящее марево. Даже не разглядишь толком этого грубияна в первом ряду. Только долговязый силуэт и фантастические выверты локтей, когда он вскидывает вверх руки. В одном ухе у него большая золотая серьга.

© 1987 by Tom Wolfe

Мэр наклоняется к самому микрофону и говорит:

— Сейчас я вам объясню, идет? Приведу конкретные цифры.

— На хрен нам твои цифры!

Как грубо. Негодяй.

— Вы же сами затронули эту тему, дружище. Так что выслушайте конкретные цифры. Договорились?

— Хватит нам мозги пудрить своими цифрами!

Новый взрыв в публике, громче прежнего:

— Аааа!... Хоооо!... Врежь ему, брат!... Выдай ему!... Йо, *гобер!*

— Процент, который нынешняя администрация — и эти данные обнародованы — выделила из общегородского бюджета Нью-Йорка...

— Иди ты знаешь куда со своими цифрами и всяким бюрократизмом! Наслушались! — орет заводила.

Этот выкрик вызывает в зале новый взрыв. Сквозь марево телевизионных огней мэр старается разглядеть лица. Он мучительно щурится. Перед ним — только мутные силуэты. Народу все прибывает. Потолок давит. Он покрыт желтоватой плиткой. Плитка слоится, заворачивается по краям. Асбест! Уж в чем-в чем, а в асбесте мэр разбирается. И ряды лиц. Ждут скандала, предвкушают радостно драку, расквашенные носы — это для них первое удовольствие. Все должно решиться в следующую минуту. Он с ними совладает! Приходилось осаживать и не таких крикунов. Их там раз-два — и обчелся. А он в делах такого рода — мастер, почище, чем Коч когда-то был. Он — мэр Нью-Йорка, величайшего города в мире! Не кто-нибудь!

— Ну, хорошо! Порезвились, а теперь помолчите минуту, ясно?

Заводила не ожидал, видно, оторопел. Вот так. Уметь надо.

— Только что вы задали мне вопрос. И вся ваша шайка смеялась, чуть животики не надорвала. Ну, а теперь молчите и слушайте ответ. Лады?

— Шайка, говоришь? — растерянно повторяет верзила с серьгой. Но не садится.

— Договорились? Вот вам статистика по району, где вы живете. По Гарлему.

— Говоришь, шайка?! — вцепился в это слово, как шавка в кость.— Статистикой сыт не будешь, дядя!

— Го-го-го!.. Врежь ему!.. Йо... Йо, *гобер!*

— Дайте договорить. Вы что же, думаете, что...

— Пошел ты со своими процентами и бюджетами! Нам подавай рабочие места!

Толпа снова взрывается. Еще громче прежнего. Луженая глотка в заднем ряду орет пронзительнее всех:

— Йо, гобер! Йо, гобер! Йо, гобер!

Только это вовсе не «гобер». Он кричит «Гольдберг».

— Йо, Гольдберг! Йо, Гольдберг! Йо, Гольдберг!

Мэр потрясен. Не где-нибудь, а здесь, в Гарлеме! В Гарлеме «Гольдберг» — эквивалент «жида». Возмутительно! Безобразие! Бросать такие слова в лицо мэру Нью-Йорка!

Крики, шиканье, рев, утробный хохот. Им нужны выбитые зубы. Ситуация вышла из-под контроля.

— По вашему мнению...

Бесполезно. Его не слышно даже в микрофон. На лицах ненависть. Враждебность. Завороженные злобой.

— Йо, Гольдберг! Йо, Гольдберг! Йо, Хаим!

Еще и Хаим! Вон один орет *Гольдберг,* а там другой — *Хаим.* И вдруг он все понял: Преподобный Бэкон! Это люди Бэкона. Ясно как день. Граждански сознательные жители Гарлема, которые посещают митинги,— предполагалось, что именно таких соберет здесь сегодня Шелдон,— не стали бы себя вести подобным образом и выкрикивать такие

гнусности. Это работа Бэкона! Шелдон не справился. Бэкон нагнал сюда своих людей.

Мэру становится горько и жаль самого себя. Краем глаза он видит, как суетятся в клубах дымного света телеоператоры с камерами на голове. Похоже на рога. Поворачиваются туда-сюда. Им только подавай зрелища. Они и рады. Свалка на митинге! И, конечно, пальцем не шевельнут. Трусы! Паразиты! Вши на теле общества.

Еще минута, и мэру становится ужасающе ясно: «Все кончено. Немыслимо, но я проиграл».

— Хватит!.. Довольно!.. Воон!.. Воон!.. Не надо нам!.. Йо, Гольдберг!

Сбоку из-за кулисы к мэру направляется Гульяджи, начальник охраны. Но мэр, не глядя, низкой отмашкой руки отсылает его обратно. Все равно, что он может сделать? При нем только четверо охранников. Не приезжать же было сюда с целой армией. Весь смысл в том как раз и был, чтобы показать, что мэр может запросто, как в Ривердейл или Парк-слоуп, приехать в Гарлем и провести встречу с жителями.

Сквозь марево мэр встречает взгляд миссис Лэнгхорн, она сидит в первом ряду, коротко стриженная, серьезная, председательница совета избирателей. Всего несколько минут назад она представляла его присутствующим. А теперь поджала губы и качает головой — мол, рада бы помочь, но что тут сделаешь? Гнев народа. Трусит, как и все. Знает, что ее обязанность — дать отпор этому безобразию! Ведь следующей их жертвой будут порядочные черные, такие, как она. И она это знает. Но порядочные люди здесь запуганы. Боятся рот открыть. Опять все решает кровь: они и мы!

— Убирайся-а-а!.. Буууу!.. Йааа!.. Йоо!

Мэр еще раз попробовал сказать в микрофон:

— Так вот вы как... вот — вы — как...

Невозможно. Как невозможно перекричать грохот прибоя.

Кажется, что зал ходит ходуном. Публика вскакивает. Трясут кулаками. Рты разинули. Орут. Прыгают. Еще немного — и головой в потолок.

Сегодня же это все покажут по телевидению. И весь город увидит. Будет любоваться. Гарлем восстал! Вот это зрелище! Не горстка хулиганов, не отребье, не провокаторы, а *Гарлем* восстал! Восстал весь черный Нью-Йорк. Он — мэр, но не для всех. Он — мэр только белого Нью-Йорка. Дадим ему, суке, прикурить! Итальянцы тоже будут смотреть передачу и радоваться. И ирландцы. И даже белые протестанты англосаксонских кровей. Но не смогут понять, на что они смотрят. Они будут сидеть в своих кооперативных роскошных квартирах на Парк авеню, на Пятой авеню, на Семьдесят второй восточной улице, на Саттон-плейс, любоваться сценой насилия, приятно поеживаться и получать удовольствие. Тупицы! Скоты! Дураки скудоумные! Задницы! *Гои!* Не понимаете, да? Думаете, этот город по-прежнему ваш? Разуйте глаза! Величайший город XX века! Никакими деньгами вам его не удержать.

Спуститесь на землю из своих кооперативных апартаментов, вы, юристы и бизнесмены. Внизу давно уже третий мир. Пуэрториканцы, вестиндийцы, гаитяне, доминиканцы, кубинцы, колумбийцы, гондурасцы, корейцы, китайцы, сиамцы, вьетнамцы, эквадорцы, панамцы, филиппинцы, албанцы, сенегальцы и афроамериканцы! Посмотрите, где проходит граница, вы, трусливые счастливчики! Морнингсайд-хайтс, Сент-Николас-парк, Уошингтон-хайтс, Форт-Трайон — por qué pagar más![1]. Вот и Бронкс — и Бронкс уже вами утрачен! Только Ривердейл там еще вроде последнего плацдарма. И Пелам-парквей — свободный коридор до Уэстчестера. Бруклин — ваш Бруклин больше не существует. Бруклин-хайтс, Парк-слоуп — это всего лишь маленькие Гонконги. А Куинс? Джексон-хайтс, Элмхерст, Холлис, Джамайка, Озоновый парк — чьи они, вам из-

[1] Ты еще за это заплатишь! *(исп.) (Здесь и далее — прим. перев.)*

вестно? А как насчет Риджвуда, Бэйсайда, Форест-хиллза? Вы не задумывались? А Стейтен-Айленд? Вы, домашние мастера-любители, вы все еще воображаете, что живете уютно и безопасно в своих домишках? Думаете, будущее не пройдет по мосту к вам? Или вы, потомки англосаксов, танцующие на благотворительных балах, владельцы наследственных сокровищ, засевшие в своих кооперативных квартирах, где потолки в двенадцать футов и имеются две половины — хозяйская и людская, думаете, вы у себя там, наверху, недосягаемы? И вы, немецко-еврейские финансисты, в конце концов поселившиеся в тех же кооперативных домах, чтобы полностью отгородиться от местечковых толп, неужели вы верите, что сумели тем самым отгородиться от третьего мира?

Дурачки мягкотелые! Тыквенные головы! Курицы! Коровы! Вот погодите, будет у вас мэром Преподобный Бэкон и Муниципальный совет с Оценочным комитетом — из одних бэконов поголовно, тогда посмотрите! Они к вам заявятся прямо на Уолл-стрит, 60, или на Чейз-Манхэттен-плаза, 1! Усядутся на край вашего стола, побарабанят пальцами по доске и выметут ваши сейфы до последней крупинки, не взяв ни гроша за труды...

Что за мысли лезут в голову! Полный бред! Никто не собирается никуда выбирать Преподобного Бэкона. И захватывать Уолл-стрит. Это очевидно. Просто он чувствует себя таким одиноким! Все его покинули. Никто не понимает. Это меня-то! Вот погодите, останетесь без меня, тогда узнаете. Тогда посмотрим, как вам это понравится! Вы допускаете, чтобы я стоял тут на трибуне, один как перст, и асбестовый потолок вот-вот обрушится на мою голову...

— Буууу!.. Хххеееe!.. Хххооо!.. Йо... Гольдберг!

Сбоку возле сцены началась потасовка. Лампы слепят глаза. Но он видит: свалка, толкотня, одного телеоператора сбили с ног. Некоторые из этих сволочей рвутся на сцену, а телевизионщики оказались на дороге. Лезут прямо по спинам. Их отпихивают, оттесняют обратно... Это его охранники в штатском, силач Норьехо сталкивает кого-то вниз по ступенькам. Что-то ударяет мэра в плечо. Дьявольски больно! Банка с майонезом, вон покатилась по полу, «майонез Хеллмана, восемь унций», наполовину выеденная! Кто-то швырнул в мэра банкой майонеза! В эту минуту его занимает самая несущественная сторона происшествия: кому это взбрело в голову приносить на встречу с мэром недоеденный майонез?

Лампы проклятущие! Какие-то люди на сцене... дерутся... настоящее сражение. Норьехо ухватил одного за пояс, делает подсечку ногой и швыряет его на пол. Двое других охранников, Холт и Дэнфорт, встали спинами к мэру, на чуть присогнутых ногах, как защитники-регбисты. Рядом с ним — Гульяджи.

— Держитесь вплотную за мной,— говорит Гульяджи.— Уходим вон в ту дверь.

Он что, улыбается? На губах у Гульяджи — некое подобие ухмылки. Он указывает кивком на дверь в глубине сцены. Небольшого роста, с маленькой головой, низколобый, глазки-щелочки, нос приплюснут, над широким зверским ртом — ленточка усов. Мэр не может отвести глаз от этого рта. Что это он, неужели вправду улыбается? Не может быть, но кто его знает. Издевательский изгиб губ как бы говорит: «До сих пор был твой бенефис, теперь командую я».

Эта ухмылка окончательно решает дело. Мэр оставляет свой гиблый пост на трибуне. И целиком полагается на маленькую каменную гору — Гульяджи. Остальные тоже здесь, обступили тесным кольцом: Норьехо, Холт, Дэнфорт. Как четыре угла ящика. По всей сцене топчутся люди. Гульяджи и Норьехо плечами прокладывают в толпе дорогу. Мэр продвигается вплотную за ними. Вокруг — оскаленные лица. Один какой-то подпрыгивает рядом и орет:

— У, белый говнюк! У, белый говнюк!

На пути у них оказался недавний заводила, собственной персоной!

Тот, с серьгой и вывернутыми локтями. Между ним и мэром один Гульяджи, но у долговязого рост больше, он возвышается над Гульяджи и кричит мэру прямо в лицо:

— Вали отсюда!

И вдруг начинает оседать, выкатив глаза и разинув рот. Это Гульяджи с размаху двинул его правой в солнечное сплетение.

Гульяджи добрался до двери. Открывает ее. Мэр идет следом. Остальные трое подталкивают его сзади. Он чуть не ложится Гульяджи на спину. Не человек — скала!

Спускаются по каким-то ступеням. Подошвы стучат об железные закраины. Кажется, цел. Никто не преследует. Опасность миновала... И тут сердце у него екает. Они даже не преследуют его! Они и не собирались его трогать. И в эту минуту... он все понял. Понял прежде, чем до конца осмыслил.

«Я допустил ошибку. Спасовал перед его ухмылкой. Смалодушничал. И теперь все пропало».

1

ВЛАСТИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ

В это же самое время в такой точно кооперативной квартире, какая стояла перед глазами мэра: потолки в двенадцать футов... две половины, одна — для белых хозяев англосаксонского корня протестантского вероисповедания, другая — для прислуги,— в холле на каменном полу стоял на коленях Шерман Мак-Кой и старался пристегнуть поводок к ошейнику своей таксы. Пол был из темно-зеленого мрамора, он раскинулся бесконечно во все стороны и доходил до широкой дубовой лестницы, которая великолепным изгибом вздымалась на целый этаж вверх. Как раз такая роскошная квартира, при одной мысли о которой любой житель Нью-Йорка, да, собственно, и всего мира, уже начинает корчиться на костре зависти и алчбы. Но Шермана Мак-Коя сейчас жгло только желание на полчаса вырваться из этого своего показательного рая.

Вот почему он стоял на коленях и воевал с таксой. Собака, по его замыслу, должна была послужить ему как бы выездной визой.

Глядя сейчас, как он елозит по полу, одетый по-домашнему в клетчатую рубаху и джинсы цвета хаки, на ногах мокасины, вы бы в жизни не догадались, что за импозантную фигуру он представляет собой обычно. Вполне еще молодой... тридцать восемь лет... рослый, шесть футов один дюйм (без малого)... осанка потрясающая, можно сказать, царственная... (так же царственно держался всю жизнь и его отец, Лев «Даннинг-Спонджета»)... густые светло-каштановые волосы... выступающий подбородок... Подбородок служит предметом его особой гордости — подбородок Мак-Коев, вот и у старого Льва такой же. Мужественный, крупный, чуть округлый, как рисовали Гибсон и Лейендеккер на портретах йейльских выпускников. Аристократический, если хотите, так считал Шерман. Он был тоже выпускник Йейла.

Но в данный момент весь его вид выражал одно: «Я хочу только выйти погулять с собакой».

Пес, похоже, ничего хорошего от прогулки не ждал. И вырывался. Его короткие кривые лапы создавали обманчивое впечатление. А попробуй его схватить, и он превращается в длинный валик стальных мускулов. Шерман сделал рывок, бросился на него, кобель увильнул, и Шерман ушиб о мрамор коленную чашечку. Это его обозлило.

— Стой, тебе говорят, Маршалл,— не переставал он бормотать.— Да стой же, черт бы тебя драл.

Кобель снова увернулся, Шерман еще раз ушиб колено и теперь разозлился не только на таксу, но и на жену. Новый дизайнер, видите ли, объявился. Развела тут мраморную показуху! Вдруг он увидел шелковый черный носок дамской туфельки — над ним стояла жена.

— Как у вас весело. Чем это ты занимаешься, Шерман?

Не поднимая головы:

— Хочу вывести Маршалла погулять.

«Погулять» прозвучало как стон, потому что такса попробовала применить новый ускользающий маневр, и Шерман едва успел в броске крепко обхватить ее поперек брюха.

— А ты знаешь, что идет дождь?

Все так же глядя вниз:

— Знаю.

Наконец удалось прицепить карабин поводка к ошейнику.

— Какая вдруг трогательная забота о Маршалле.

Минуточку. Это что, ирония? Может быть, она что-то подозревает?

Шерман поднял голову.

Но жена улыбалась, и как будто бы вполне искренне... У нее приятная улыбка... Вернее даже, обворожительная. *Моя жена еще очень недурна собой...* Тонкие, правильные черты лица, большие и ясные голубые глаза, пушистые темные волосы... *Но ведь ей сорок лет!..* От этого никуда не денешься... Сегодня *еще недурна...* А завтра будут говорить: *недурно* сохранилась... Это, конечно, не ее вина... *Но ведь и не моя же!*

— Знаешь, что я подумала,— говорит она.— Давай я схожу погуляю с Маршаллом. Или можно попросить Эдди. А ты ступай наверх и почитай что-нибудь Кэмпбелл перед сном. Она будет страшно рада. Ты нечасто бываешь так рано дома. Хорошо?

Он посмотрел ей в глаза. Нет, не хитрит. Она от души это предлагает! И, однако же, несколькими невинными фразами она — раз-два! — и связала его по рукам и ногам, оплела путами логики и вины! Пусть и неумышленно.

Во-первых, тем, что Кэмпбелл лежит в кроватке — *мое единственное дитя! бесконечная невинность шестилетней крошки!* — и хочет, чтобы он почитал ей перед сном... а он в это время собирается делать то, что... что у него задумано... *Один укор совести!..* Во-вторых, тем, что он, как правило, слишком поздно возвращается домой и совсем ее не видит... *Второй укор совести!..* Кэмпбелл он обожает! — любит ее больше всего на свете! А тут еще простая человеческая *логика.* Жена, чье доброе лицо он сейчас перед собой видит, внесла разумное, заботливое предложение, такое логичное... что у него просто нет слов! На всем свете не наберешься благовидных предлогов, чтобы обойти эту неоспоримую логику. И ведь жена только хотела как лучше.

— Ну так что, пойдешь? — говорит она.— То-то Кэмпбелл обрадуется! А я позабочусь о Маршалле.

Мир перевернулся кверху дном. Куда это годится, что он, Властитель Вселенной, сидит на карачках на полу у женины ног и лихорадочно ищет подходящий предлог, чтобы как-то обойти ее логичные, доброжелательные доводы? «Властителями Вселенной» назывались жуткие, ярко раскрашенные пластмассовые уроды, по четыре в коробке, которыми любила играть его безупречная во всех прочих отношениях дочь. Похожие на нордических богов, увлекшихся атлетизмом, они носили фантастические имена: Дракон, Ахор, Рыжегрив и Блутонг и были на редкость безобразны даже для пластмассовых игрушек. Тем не менее однажды в состоянии эйфории после заключения сделки по беспроцентным облигациям, принесшей ему 50 000 долларов комиссионных,— вот просто так, снял трубку, переговорил и готово! — ему на ум пришло как раз это название. На Уолл-стрит он и еще несколько ему подобных — сколько всего? триста, четыреста человек? пятьсот? — стали... именно что Властителями Вселенной. Для них не существует пределов! Понятно, он не обмолвился об этом ни одной живой душе. Не такой дурак. Но выражение «Властитель Вселенной» постоянно вертелось у него в голове. И вот, пожалуйста, Властитель Вселенной сидит на полу в обнимку с таксой, повязанный доброжелательностью, виной и логикой... Почему бы ему, раз он Властитель Вселенной, не объяснить жене про-

сто и ясно: послушай, Джуди, я тебя по-прежнему люблю и люблю нашу дочь, и наш дом, и наш образ жизни и не хочу ничего менять — просто я, Властитель Вселенной,— еще вполне молодой мужчина, в соку и заслуживаю время от времени бóльшего под настроение.

...но он знал, что никогда в жизни не осмелится облечь такие мысли в слова. И поэтому в душе у него стала подниматься досада на жену. Ведь сама же виновата, разве нет?.. Эти дамочки, с которыми ей так нравится водить дружбу, не женщины, а... *прозрачные мученицы,* пришло вдруг ему в голову... Такие тощие, все ребра видны как на рентгене... Прозрачные на просвет. Болтают про свои *интерьеры*... и *пейзажную архитектуру*... Ездят в гимнастические классы, натянув на поджарые ляжки блестящие тренировочные трико... А что проку-то? Прокуто — ноль! Достаточно поглядеть, какое у нее худое лицо, какая тощая шея... Он представил себе женины шею и лицо... Костлявая, что правда, то правда... Вот тебе и гимнастические классы! Такая же *прозрачная мученица*... И, собравши всю свою досаду, он, наконец, сумел распалить в себе знаменитую ярость Мак-Коев. Кровь бросилась в лицо. Он набычился и сквозь крепко сдавленные зубы простонал: «Джуууууди...» А потом, подняв сведенные в щепоть три пальца левой руки, играя желваками скул и пламенея взором, раздельно произнес:

— Послушай... Я — намерен — выйти — с собакой... И я — выйду с собакой... Ясно?

Еще не договорив, он почувствовал, что перебрал, что взял несуразно серьезный тон, но пойти на попятный был уже не в состоянии. В конце-то концов в этом и есть секрет знаменитой ярости Мак-Коев, прославленной по всему банковскому миру... и повсеместно: в неотступном напоре.

Джуди поджала губы. Тряхнула головой.

— Пожалуйста. Делай как знаешь,— проговорила она без выражения... Повернулась, пересекла холл и взошла по великолепным ступеням.

Шерман, как был на коленях, смотрел ей вслед, но она не оглянулась. *Делай как знаешь.* Наша взяла. Сопротивление подавлено. Но это была безрадостная победа.

Еще один спазм совести.

Властитель Вселенной поднялся с пола и, не выпуская собачьего поводка, изловчился напялить плащ, старый, но несокрушимый английский макинтош с массой карманов, хлястиков и пряжек. Купленный у Кнауда на Мэдисон авеню. До недавнего времени он считал, что поношенный вид этой вещи — как раз то что надо, но сейчас зашевелился червь сомнения. Дернув за поводок, он потащил таксу через прихожую и нажал кнопку лифта.

Лифт пошел вниз и двумя этажами ниже остановился. Квартира Браунингов. Дверцы разъехались, в кабину вступил толстощекий, гладко выбритый Поллард Браунинг. Он смерил взглядом Шермана и его таксу и без тени улыбки произнес:

— Привет, Шерман.

Это «Привет, Шерман» прозвучало как бы на расстоянии вытянутой руки и содержало в четырех слогах целое высказывание: «В этом плаще и с этим псом на поводке ты роняешь марку нашего нового, отделанного красным деревом лифта».

Шерман вознегодовал, но все-таки нагнулся и подобрал таксу на руки. Браунинг был председателем правления кооператива.

Шерман знал его с детства, они вместе учились в Бакли. Браунинг был толстым румяным маленьким снобом, в девятилетнем возрасте он уже драл нос из-за того, что-де фамилия Мак-Кой провинциальная, а вот они, Браунинги, настоящие нью-йоркцы. Он дразнил Шермана: «Шерман Мак-Кой, сиволапый ковбой».

Лифт остановился на нижнем этаже, Браунинг сказал:

— А ты знаешь, что идет дождь?

— Знаю.

Браунинг посмотрел на таксу и покачал головой.

— Шерман Мак-Кой, друг лучшего друга человека.

У Шермана опять вспыхнуло лицо. Он сказал:

— Это она и есть?

— Она?

— Ты с восьмого этажа до первого пыжился придумать какую-нибудь остроту. Это она и есть?

Его слова должны были прозвучать как дружеская насмешка, но он сам почувствовал, что досада выплеснулась через край.

— Не понял,— ответил Браунинг и первым вышел из лифта.

А что, погода как погода, ничего страшного, Шерман потянул поводок, но пес впился когтями в резиновую дорожку.

— Пошли, Маршалл.

В дверях стоял швейцар и наблюдал за его действиями.

— Похоже, он не настроен развлекаться, мистер Мак-Кой.

— Я тоже (так что можешь держать свои замечания при себе, мысленно добавил Шерман). Пошли, Маршалл, пошли, тебе говорят.

Шерман навалился уже всерьез. И сдвинул пса на несколько дюймов. Собачьи когти проскрежетали по асфальту. Может быть, если его так тащить, он уступит и пойдет своими ногами?

— Пошли, Маршалл! Только до угла.

Он опять с силой рванул поводок и стал тянуть сколько хватало мочи. Пес проехал еще немного. Едет, но ногами не перебирает! Не сдается! У него, у гада, центр тяжести чуть не под землей. Тащишь, все равно как сани, груженные кирпичом. Только бы зайти за угол, черт его дери! Это все что нужно. Шерман опять дернул за поводок и потащил, весь подавшись вперед, точно матрос навстречу урагану. В прорезиненном плаще стало невыносимо жарко. По лицу струился дождь. Пес упирался, растопырив все четыре лапы. Спасибо хоть не лает, а идет молча, только когти скрежещут. Уперся, и ни в какую! Шерман, опустив голову, ссутулив плечи, сквозь тьму и дождь тащил зловредное животное по Парк авеню. За воротник по спине стекали дождевые струи.

Потом он присел и снова подобрал пса на руки, попутно оглянувшись на швейцара. Все стоит, чтоб ему! Кобель стал извиваться и выворачиваться. Шерман споткнулся. Поглядел под ноги: оказывается, он запутался в поводке. И прямо так, стреноженный, побрел по тротуару. Вот, наконец, и угол. Телефон-автомат. Шерман опустил таксу на асфальт.

Черт! Чуть не удрал! Шерман едва успел ухватить конец поводка. Весь в поту, волосы промокли от дождя, сердце колотится. Он надел петлю поводка на локоть. Собака продолжала дергаться. Поводок опять опутал ему ноги. Подняв трубку и зажав ее между плечом и щекой, Шерман нащупывает в кармане четвертак, опускает в прорезь и набирает номер.

Три гудка, и женский голос отвечает:

— Алло?

Но голос не Марии. Наверно, это ее подруга Жермена, у которой она подснимает квартиру. Поэтому он просит:

— Будьте добры, позовите Марию.

Женщина говорит:

— Шерман? Это ты?

Вот черт! Джуди! Набрал свой номер! Какой ужас. Он беспомощно молчит.

— Шерман?

Он вешает трубку. Господи! Что теперь делать? Надо будет набраться нахальства и, если она спросит, сказать, что понятия не имеет, о чем речь. В конце концов он произнес каких-то три-четыре слова. Она не может быть совершенно уверена.

Да нет, бесполезно. Уж как-нибудь она его узнала, да и не умеет

он притворяться. Она сразу угадает обман. С другой стороны, что же еще остается?

Он стоял в темноте под дождем у телефона. Теперь и спереди под воротничок рубашки просачивалась вода. Тяжело, шумно дыша, он размышлял о том, что теперь будет. Как она себя поведет? Что будет говорить? Очень ли сильно разозлится? На этот раз у нее действительно есть причина. И если она вздумает закатить ему сцену, то это будет только справедливо. Дьявольщина! Надо же оказаться таким болваном! Он крыл себя последними словами. На Джуди он больше не сердился. Сумеет ли он дома держаться как ни в чем не бывало, или дело совсем плохо? Похоже, что он по-настоящему огорчил ее.

Вдруг Шерман заметил, что в мокрой густой тени деревьев и старых домов к нему движется какая-то фигура. Даже на расстоянии двадцати шагов, в темноте, с настороженностью, свойственной каждому обитателю Парк авеню южнее Девяносто шестой улицы, он уже определил, что это чернокожий парень, долговязый, длинноногий, обутый в белые кроссовки. Вот он уже в пятнадцати шагах, в десяти... Шерман стоял и смотрел прямо на него. Пусть, пусть только подойдет! И шагу назад не сделаю. Это моя территория! Стану я отступать перед всякой шпаной!

Внезапно чернокожий парень повернул на девяносто градусов и перешел через улицу. По его черному лицу промелькнул желтый отблеск неонового фонаря.

Перешел на другую сторону! Какая удача!

Шерману Мак-Кою ни на секунду не пришло в голову задуматься, что за картина представилась тому парню: тридцативосьмилетний белый мужчина, весь мокрый, в каком-то вроде бы военном плаще с клапанами и пряжками, держит на поводке рвущуюся собаку, а сам смотрит, выпучив глаза, прямо на него и что-то бормочет.

Часто, шумно дыша, Шерман стоял у телефона и ломал голову, что ему делать. Настроение совсем испортилось, хоть сию же минуту возвращайся домой. Но если он прямо сейчас вернется, это будет слишком очевидно, не так ли? Значит, он вышел не с собакой погулять, а именно позвонить. И притом, что бы ни собиралась ему сказать Джуди, он еще к этому не готов. Надо подумать. И посоветоваться. И чтобы этот сволочной пес не рвался с поводка под крышу.

Поэтому он достал из кармана еще один четвертак, вызвал из недр памяти номер телефона Марии. Сосредоточился. Повторил про себя. И медленно, старательно набрал, словно впервые в жизни пользовался такой механической новинкой, как телефон.

— Алло?

— Мария?

— Да?

— Это я,— чтобы уж совсем без риска.

— Шерман? — У нее получалось: «Шууман». Шерман окончательно успокоился. Это безусловно Мария, ее нечленораздельный южный выговор, искажающий почти все гласные и сглатывающий согласные.

— Послушай,— сказал он.— Я сейчас зайду. Я тут поблизости, в телефонной будке. Всего в двух кварталах.

В ответ — молчание, которое он истолковал как недовольство. Наконец, она спросила:

— Где же это ты, интересно, пропадал?

Шерман мрачно рассмеялся.

— Сейчас приду. Тогда узнаешь.

Лестница старого перестроенного особняка скрипела под его ногами. На каждой площадке горела кольцеобразная двадцатидвухсвечовая флюоресцентная трубка, известная под названием «нимб домохозяина», она отбрасывала на сизо-зеленые стены слабый, чахоточный

свет. Двери квартир были облеплены бессчетными разнокалиберными замками, врезанными столбиком, один над другим. Филенки обиты железом — не проломить, косяки укреплены стальными штырями — не высадить, замочные скважины прятались под металлическими щитками — никакая отмычка не пролезет.

В сладостные минуты, когда царствовал мирный Приап безо всяких кризисов и катаклизмов, Шерман, взбегая на четвертый этаж к Марии, испытывал романтический восторг. Какое богемное... какое настоящее любовное гнездышко! Как удивительно подходит оно для тех мгновений, когда Властитель Вселенной сбрасывает с себя кислую благопристойность и позволяет разгуляться своим гормонам! Мариина единственная комната с двумя чуланчиками: кухней и санузлом, так называемая однокомнатная квартира на четвертом этаже окнами во двор, которую она подснимает у своей подруги Жермены, это ну просто в своем роде совершенство! Сама Жермена — не женщина, а нечто неописуемое. Шерман видел ее только два раза. Сложена как пожарный кран с круглой головой, на верхней губе — устрашающая черная поросль, практически настоящие усы. Шерман не сомневался, что она лесбиянка. Ну и что? Это все — жизнь. Нью-Йоркская, непристойная, трущобная. Огонь в паху!

Но сегодня Приап не царствовал. Сегодня мрачная атмосфера бывшего особняка давила на Властителя Вселенной.

Только такса радовалась от души, весело переваливая длинное тело со ступеньки на ступеньку. Здесь было тепло и сухо, да и место знакомое.

Пока поднялся до Мариной двери, Шерман, к собственному удивлению, запыхался и вспотел. Он чувствовал, как под плащом, ковбойкой и майкой у него горит кожа.

Не успел постучать, как дверь приоткрылась. Вот, наконец, и Мария. Но она стояла, придерживая дверь. Смерила Шермана взглядом с головы до ног, словно бы сердясь. Глаза над удивительными, выступающими скулами блестят. Черные волосы подстрижены в виде шлема. Губы поджаты в плотное «О». Но вот они раздвинулись в улыбку. Мария шмыгнула носом и хихикнула.

— Ну, ты что это? — сказал Шерман.— Дай войти. Подожди, сейчас услышишь, что случилось.

Тогда Мария отпахнула дверь во всю ширину, но не повела его в комнату, а осталась стоять, прислонясь спиной к косяку, нога за ногу, и скрестив руки под грудью. Она продолжала посмеиваться и смотрела ему прямо в лицо. На ногах у нее были черно-белые плетеные туфельки на высоком каблуке. Шерман плохо разбирался в фасонах обуви, но это, насколько он понимал, был последний писк. Костюм ее состоял из белой, в обтяжку, габардиновой юбки, очень короткой, открывавшей сильно выше колен стройные, как у танцовщицы, ноги и перетягивавшей узкую талию, и белой шелковой блузы с глубоким вырезом на груди. Свет в крохотной прихожей падал так, что наглядно очерчивал всю ее фигуру: темные волосы, эти выпуклые скулы, тонкий нос, выгиб полных губ, матовую блузу, матовый верх сдобных грудей и мерцающие шелковые ноги, скрещенные в такой непринужденной позе.

— Шерман (Шууман). Какая прелесть. Знаешь, ты ужасно похож на моего маленького братика.

Властитель Вселенной, слегка раздосадованный, тем не менее прошел в дверь.

— Господи! Ты бы знала, что сейчас произошло!

Мария, не меняя позы, посмотрела на таксу, занятую обнюхиванием ковра.

— Привет, Маршалл (Муушалл). Привет, ты, мокрая колбаса.

— Нет, правда. Ты бы знала...

Мария рассмеялась звонче и захлопнула дверь.

— Шерман... У тебя такой вид, будто тебя только что смяли в комок,— она смяла в горсти воображаемый лист бумаги,— и выбросили.

— Вот именно. Как раз так я себя и чувствую.

— В точности мой братик. Каждый божий день он приходил из школы весь встрепанный, и пуп наружу.

Шерман посмотрел на себя... Действительно. Ковбойка вылезла из штанов, и пуп был наружу. Он заправил ковбойку обратно, не снимая плаща. Располагаться здесь сейчас было некогда. Нельзя задерживаться. Только вот как сделать, чтобы Мария это поняла?

— Каждый божий день мой братик ввязывался в драку...

Шерман перестал вслушиваться. Его этот Мариин братик порядком раздражал. И не столько потому, что таким сравнением она намекала на его, Шермана, ребячливость, а просто, раз начав, она могла говорить о нем без конца. Вообще Мария по первому взгляду не соответствовала распространенным представлениям о девушке с Американского Юга. Она скорее походила на итальянку или гречанку. Только говорила, как южане, заведется — не остановишь. Она все еще продолжала рассказывать, когда Шерман, не дождавшись, громко произнес:

— Знаешь, я сейчас звонил тебе из автомата. И представляешь, что случилось?

Но Мария повернулась к нему спиной, вышла на середину комнаты, сделала пируэт и стала в позу — голова склонена к плечу, руки в боки, нога на высоком каблуке небрежно выставлена вперед, а плечи откинуты и спина выгнута, так что выпятились груди. И чуть выждав, задорно спросила:

— Ты ничего нового не замечаешь?

Господи, о чем это она? Шерману сейчас было не до новшеств. Однако он послушно огляделся. Прическа у нее, что ли, новая? Или украшение какое-нибудь? Этот ее чертов муж увешал ее драгоценностями, разве запомнишь? Нет, наверно что-то в квартире. Он обвел глазами комнату. Сто лет назад это, похоже, была детская спальня. С маленьким выступом-фонарем, а в нем — три окна в свинцовых переплетах и полукруглый диван. Мебель?.. Те же три старых венских стула, тот же невзрачный дубовый стол на одной ноге, тот же раздвижной диван-кровать с вельветовой обивкой и на нем разбросаны пестрые диванные подушки. Вся обстановка кричит об одном: кое-как, и ладно. Нет, в ней ничего не переменилось.

Шерман покачал головой.

— Неужели правда не замечаешь?

Мария кивнула в сторону дивана.

И тогда Шерман заметил на стене небольшую картину в рамке светлого дерева. Подошел на два шага. Это было изображение голого мужчины сзади, набросанное грубыми черными мазками, как нарисовал бы восьмилетний ребенок, если допустить, что восьмилетнему ребенку вздумается изображать обнаженного мужчину. Мужчина, по-видимому, принимал душ, во всяком случае, у него над головой было нечто похожее на душевую воронку и от нее отходили неровные черные линии. Мазутом, что ли, обливается? Тело мужчины было кое-как заляпано сиренево-розовой краской, словно в ожогах. Господи, какая мазня... Гадость... Но от картины исходил священный дух «серьезного искусства», и поэтому Шерман поостерегся высказываться начистоту.

— Где это ты взяла?

— Нравится? Ты знаешь его работы?

— Чьи?

— Филиппо Кирацци.

— Нет, не знаю.

Она широко улыбалась.

— Про него была целая большая статья в «Таймс».

Чтобы не выступить в роли уолл-стритовского филистера, Шерман снова обратился к созерцанию шедевра.

— Н-да, в этом есть... как бы это сказать?.. какая-то прямота.— Он подавил желание съязвить.— Где взяла?

— Он сам мне подарил! — очень радостно.

— Какая щедрость.

— Ну, четыре работы Артур у него купил, четыре больших полотна.

— Но подарок он преподнес не Артуру, а тебе.

— Мне хотелось одну для себя. Те, большие, собственность Артура. А ведь Артуру, если бы я ему не объяснила, ему что Филиппо, что... уж и не знаю кто,— все равно.

— М-м.

— Тебе что, не нравится?

— Да нравится. Но, понимаешь, я сейчас в полной растерянности. Я совершил ужасную глупость.

Мария опустила плечи, отошла с середины комнаты и села на край дивана-кровати, как бы говоря: «Ну, ладно, рассказывай, я слушаю». При этом она перекинула ногу на ногу. Белая юбка задралась. И хотя ее шикарные ноги, эти до половины открывшиеся ляжки и стройные голени сейчас не имели отношения к делу, Шерман не мог отвести от них глаз. Обтянутые шелковистыми чулками, они так и лоснились, так и переливались, стоило ей чуть пошевелиться, и по ним пробегали блики.

Шерман остался стоять. У него было мало времени, сейчас она поймет почему.

— Выхожу я прогуляться с Маршаллом.— Маршалл теперь лежал, развалясь, на половичке у двери.— А на улице льет. Я с ним так намучился...

Пока дошло до телефонного разговора, Шерман, повествуя о своих бедах, совсем разволновался. Он, правда, заметил, что Мария если и чувствует к нему сострадание, то воли чувству не дает, но сам уже взять себя в руки не мог. Горячась, он приступил к главному: какие ощущения он испытал, когда повесил трубку, но тут Мария прервала его, пожав плечами и отмахнувшись:

— Ой, Шерман, ерунда это.

Шерман выпучил на нее глаза.

— Подумаешь, по телефону позвонил! Я вообще не понимаю, почему тебе было не сказать: «Извини, ради бога. Я звоню своей знакомой Марии Раскин». Лично я Артуру не тружусь врать. Не то чтобы я ему все до мелочи сообщала, но врать не вру.

А он — мог бы он вот так же, нахально? Он попробовал представить себя в такой роли.

— Гм-мм,— у него получился стон.— Интересно. Значит, выхожу я в половине десятого из дома якобы погулять с собакой, а потом звоню и говорю: «Прости, пожалуйста, на самом деле я вышел, чтобы поговорить по телефону с Марией Раскин»?

— Знаешь, какая разница между тобой и мной, Шерман? Ты жалеешь свою жену, а я Артура нисколько не жалею. Ему семьдесят два года. Он знал, когда женился на мне, что у меня есть свои знакомые, и знал, что они не в его вкусе, а его знакомые, у него их полно, они не в моем вкусе, это ему тоже было известно. Я их просто не перевариваю, старых жидов... Не гляди на меня так, пожалуйста, будто я говорю ужасные вещи. Артур сам так выражается. И еще — *«гои»*. А я у него — *«шикса»*. Я до него ничего такого в жизни не слышала. Ты бы вот вышел за еврея, а тогда бы говорил. Да я за пять лет столько наслушалась еврейских разговоров — уж как-нибудь да могу себе позволить словечко-другое из ихнего лексикона.

— Ты рассказала ему, что у тебя есть эта квартира?

— Конечно, нет. Я же тебе говорю, я ему не вру, но и не сообщаю про каждую мелочь.

— А это — мелочь?

— Гораздо ближе к мелочи, чем ты думаешь. Но мороки хватает. Домохозяин вот опять взбеленился.

Мария встала, подошла к столу, взяла и протянула Шерману лист бумаги, а сама вернулась обратно и снова села на край кровати. Это было письмо из адвокатской фирмы «Голан, Шендер, Морган и Гринбаум», адресованное мисс Жермене Болл касательно ее положения квартиросъемщицы в домовладении «Уинтер инкорпорейтед» с контролируемой квартплатой. Но Шерману было не до этого. Он был сейчас не в состоянии вникать в существо дела. Время уходило даром. Мария перескакивала на другие темы. А ему некогда.

— Не знаю, Мария. Это дело Жермены.

— Шерман.

Она улыбалась, приоткрыв рот. Встала.

— Шерман, подойди сюда.

Он подошел, но не слишком близко. Она-то, судя по выражению лица, имела в виду, чтобы он подошел совсем близко.

— Ты думаешь, у тебя будут неприятности с женой из-за какого-то звонка?

— Не думаю, а знаю, что у меня будут неприятности.

— Ну тогда, раз у тебя все равно будут неприятности ни за что, почему бы тебе не заслужить их, по крайней мере, а?

Тут она прикоснулась к нему.

И царь Приап, испуганный было до смерти, восстал из мертвых.

Повалившись на диван, Шерман краем глаза увидел, что такса поднялась с половика, подошла и смотрит на них, виляя хвостом.

Вот черт! А вдруг собаки могут как-то дать знать?.. Может быть, собаки каким-то образом показывают, если они что-то такое видели?.. Джуди в животных разбирается, чуть что не так, квохчет и трясется над своим Маршаллом, даже противно. Что, если таксы ведут себя как-нибудь по-особенному, после того как наблюдали?.. Но тут его нервы размякли, и стало на все наплевать.

Его Наидревнейшее Величество царь Приап, Властитель Вселенной, угрызений совести не ведал.

Шерман отпер дверь и вошел к себе в квартиру, нарочито громко беседуя с таксой:

— Молодец, Маршалл, умная собачка, хорошая собачка.

Разделся, шумно шурша прорезиненным макинтошем, побрякивая пряжками, присвистывая.

Джуди не показывалась.

В мраморный холл внизу выходили двери столовой, гостиной и небольшой библиотеки. В каждой комнате блестели и лучились на своих раз навсегда определенных местах полированная резная мебель, хрусталь, лампы под шелковыми кремовыми абажурами, лаковые шкатулки и прочие немыслимо дорогостоящие «находки» его жены, начинающего дизайнера по интерьерам. Но потом он заметил: кожаное кресло «с закрылками», всегда стоявшее в библиотеке передом к двери, повернуто наоборот, и сверху над спинкой виднеется макушка Джуди. Рядом горит лампа. Якобы Джуди читает.

Шерман остановился в дверях.

— Вот мы и вернулись!

Никакого ответа.

— Ты была права: я вымок насквозь, и Маршалл не получил ни малейшего удовольствия.

Она не повернулась к нему. Только из-за спинки кресла донесся ее голос:

— Шерман, если тебе нужно было поговорить с кем-то по имени Мария, зачем было звонить мне?

Шерман сделал один шаг в комнату.

— О чем ты? С кем мне нужно было поговорить?

Голос:

— Ради Бога. Не трудись врать.

— Врать? Да о чем?

Тогда Джуди высунула голову из-за спинки. И так на него посмотрела!

С екающим сердцем Шерман сделал еще несколько шагов, обошел кресло. Лицо Джуди в венце пушистых каштановых волос выражало муку.

— Что ты такое говоришь, Джуди? Я не понимаю.

Она была так расстроена, что сначала не могла выговорить ни слова.

— Видел бы ты сам, какие у тебя сейчас жалкие, лживые глаза.

— Я совершенно не понимаю, о чем ты!

Голос у него дал петуха, и она усмехнулась.

— Ну, хорошо, ты будешь утверждать, что не звонил сюда и не просил к телефону некую Марию?

— Кого-кого?

— Какую-то шлюху, так надо понимать, по имени Мария.

— Джуди, клянусь Богом, я совершенно не знаю, о чем речь! Я ходил гулять с Маршаллом. Да я и не знаком ни с одной Марией! Кто-то сюда позвонил и попросил Марию?

— Господи,— она встала с кресла и саркастически посмотрела ему прямо в глаза.— И у тебя хватает духу?.. Неужели я не знаю твоего голоса?

— Может, и знаешь, но сегодня по телефону ты его не слышала. Клянусь Богом.

— И врешь! — Она жалко улыбнулась.— Ты очень плохой притворщик. И очень плохой человек. Строишь из себя невесть кого, а на самом деле просто дрянь. Ты ведь врешь, да?

— Нет, не вру. Клянусь Богом, я пошел погулять с Маршаллом, вернулся, и вот, пожалуйста... то есть я даже не знаю, что сказать, потому что не понимаю, о чем речь. Ты хочешь, чтобы я доказывал отрицательное утверждение?

— *Отрицательное утверждение,*— она брезгливо повторила ученый термин.— Ты достаточно долго отсутствовал. Ходил поцеловать ее перед сном? И подоткнуть одеяльце?

— Джуди...

— ...Да?

Шерман отвернул лицо от ее испепеляющего взгляда и со вздохом протянул руки кверху ладонями.

— Слушай, Джуди, ты абсолютно... совершенно... полностью не права. Клянусь тебе перед Богом.

Она молча смотрела на него. И вдруг ее глаза наполнились слезами.

— Ты... ты клянешься перед Богом? О, Шерман! — Она шмыгнула носом, сглатывая слезы.— Я не собираюсь... Я ухожу наверх. Телефон — вот он. Можешь звонить отсюда.— Слезы мешали ей говорить.— Мне нет дела. Мне совершенно нет дела.

И вышла из комнаты. Каблуки простучали по мрамору в направлении лестницы.

Шерман сел к столу в вертящееся кресло. Запрокинул голову. Под потолком вокруг всей библиотеки тянулся резной фриз-барельеф из красного дерева: фигуры людей, спешащих друг за другом по улице. Его изготовили по заказу Джуди в Гонконге за фантастическую сумму... *моих денег.* Шерман переменил позу и свесил голову над столом. *Черт бы ее драл.* Он постарался распалить в себе пламя праведного негодования. Правы были родители, когда его отговаривали. Разве он не заслуживал лучшей партии? Джуди старше его на два года, и мама мягко предупреждала, что такие вещи могут рано или поздно сказаться, то есть понимай так, что непременно скажутся, и что же, он ее послушал?

Как бы не так! А отец, говоря будто бы про Каулса Уилтона и его недолгий скандальный брак с никому не знакомой еврейкой, заметил тогда: «Разве нельзя влюбиться в богатую девушку из приличной семьи?» А он что? Послушал отца? Куда там... И все эти годы Джуди, дочь преподавателя истории в каком-то колледже на Среднем Западе,— дочь провинциального учителя истории — корчила из себя интеллектуальную аристократку. Но ведь не гнушалась же пользоваться его, Шермана, деньгами и семейными связями, чтобы заиметь полезные знакомства и затеять этот свой дизайнерский бизнес, и не постеснялась размазать его фамилию и снимки их квартиры по страницам дешевых журналов вроде «W» и «Архитектурного обозрения». Разве не так? Еще бы! И вот теперь с чем он остался? С сорокалетней женой на руках, да и то она только и знает что бегает на свою гимнастику...

...и вдруг он представил себе ее такой, какой увидел первый раз четырнадцать лет назад в квартире Хола Торндайка в Гринич-Виллидж — там были бархатно-коричневые стены, огромный стол, заставленный конусами салфеток, а публика более чем богемная, если он правильно понимал смысл этого слова,— и там была девушка с пушистыми каштановыми волосами и таким милым, славным лицом, в отважно коротком облегающем платьице, нисколько не скрывавшем ее безупречную фигурку. И он снова ощутил ту невыразимую словами близость, что тогда окутывала их, как кокон, у него в квартирке на Чарльз-стрит и у нее на Девятнадцатой западной и отгораживала ото всего, что было ему привито родителями, и школой Бакли, и колледжем Св. Павла, и Йейльским университетом. Он даже вспомнил, как говорил ей — вот именно этими самыми словами,— что их любовь преодолеет все-все...

А теперь она, сорокалетняя, безукоризненно заморенная диетой и гимнастикой, ушла спать в слезах.

Шерман обмяк в кресле. Не он первый, не он последний осознает свою беспомощность перед женскими слезами. Уронил великолепный подбородок на грудь. Сник.

И в рассеянности надавил кнопку на столешнице. Сразу же раздвинулись дверцы изящного шкафчика «под шератон», обнаружив экран телевизора,— еще одна художественная находка его милого огорченного дизайнера.

Шерман достал из ящика приборчик дистанционного управления, щелкнул. Экран зажегся. Новости. Мэр Нью-Йорка. Подмостки. Негодующая толпа, черные лица — Гарлем. Размахивают руками... вскакивают... Мэр спасается бегством. Шум... свалка.. Прямо драка. Для Шермана во всем этом не больше смысла, чем в порыве ветра. Ему неинтересно. Щелчок — и телевизор выключен.

Правильно она сказала. Он, Властитель Вселенной, человек жалкий, дрянной. И лживый.

2

ГИБРАЛТАРСКАЯ СКАЛА

Утром она является Лоренсу Крамеру в сером сумраке рассвета, эта девушка, которая мажет губы коричневой помадой. Встает рядом. Лица не различить, но он знает, что это она. Не разбирает он и слов, что сыплются мелким жемчугом с ее коричневых губ, и тем не менее он понимает, она говорит: «Побудь со мной, Ларри. Приляг со мной, Ларри». Он бы рад! Ему очень хочется! Тогда за чем дело стало? Что мешает ему прижаться губами к этим коричневым губам? Как что? Жена! Все из-за нее, из-за нее! Из-за нее!..

Он проснулся от тряски и качки: жена задом сползала к изножью кровати, пятилась раком — ну и зрелище... Дело в том, что супружеское ложе, большой упругий матрац на фанерном основании, занимает почти всю ширину спальни, и чтобы слезть на пол, надо сначала как-то добраться до конца матраца.

Вот она сползла, встала на ноги, наклонилась взять со стула халат. Бедра, обтянутые фланелью ночной рубашки, необъятной ширины. И сразу же он раскаялся в этой мысли. Даже вспотел от стыда. Моя Рода! Ведь она только три недели как родила. Эти чресла дали жизнь его первенцу. Его сыну! Просто не вернула еще себе прежнюю форму. Надо же понимать.

Но зрелище от этого приглядней не становится.

Он смотрел, как она просовывает руки в рукава халата. Повернулась к двери. За дверью зажегся свет. Няня из Англии, мисс Безупречность, уже, конечно, на ногах и приступила к безупречному исполнению своих обязанностей. Ему видно освещенное лицо жены — бледное, заспанное, неприбранное лицо в профиль.

Двадцать девять лет, а уже вылитая мать.

Ну до того похожа, потрясающе! Здравствуйте, я ваша теща. Дай только срок, не отличишь. Те же рыжеватые волосы, веснушки, курносый деревенский нос и круглые щеки. Даже мамашин второй подбородок уже наметился. Готовая местечковая *ента*. Молодка из нью-йоркского околотка.

Крамер зажмурился, пусть думает, что он еще спит. Она вышла из комнаты. Что-то сказала няне, ребенку. По-особенному сюсюкая, она раздельно произносит: «Джо-шу-а». Он уже раскаивается, что мальчика так назвали. Если хотели еврейское имя — чем плохо Дэвид, Дэниэл, Джонатан? Он снова натянул одеяло на плечи. Еще пять или десять минут блаженного, бесчувственного полусна. Побыть с девушкой, которая мажет губы коричневой помадой. Закрыл глаза... Бесполезно. Она не возвращалась. А в голову лезли мысли о том, какая толкотня будет в метро, если он сейчас же не встанет.

Поэтому он встал. Поднявшись в рост, дошел до конца матраца. Все равно как идти по дну качающейся лодки. Но ползком не хотелось, некрасиво пятиться раком... Он был в майке и трикотажных трусах. Только стоя, заметил, что у него обычная неприятность молодых мужчин — утренняя эрекция. Взял со стула и надел старый клетчатый махровый халат. Они с женой стали ходить по утрам в халатах с тех пор, как в их жизнь вошла англичанка-няня. Одним из трагических недостатков их квартиры было то, что из спальни в ванную проход только через гостиную, а там на диване как раз спала няня и в кроватке у подножья заводной музыкальной шкатулки с игрушечными клоунчиками, прыгающими на проволоке, помещался младенец. Музыкальную шкатулку уже запустили. Она играла только одну мелодию — «Пусть клоуны войдут». Без конца одно и то же: плинк, плинк, плинкплинк, плинк, плинк, плинкплинк, плинк, плинк, плинкплинк.

Он поглядел на себя сверху вниз. Халат не спасал положения. Как палатка на шесте. Правда, если согнуться в поясе, то незаметно. Так что можно пройти через гостиную в рост, и пусть няня видит, а можно согнувшись, будто тебя разбил радикулит. Он стоял и мрачно раздумывал.

Мрак. Самое подходящее слово. Появление в их семье няни наглядно показало ему и Роде, в какой трущобе они живут. Вся их квартира, трех-с-половиной-комнатная — на современном нью-йоркском жилищном жаргоне,— была на самом деле разгороженной спальней, просторной, но не бог весть какой грандиозной, на третьем этаже бывшего городского особняка. В ней имелись три окна, выходящие на улицу. Теперешняя так называемая спальня, где он сейчас стоял, была всего лишь узкой щелью за перегородкой из сухой штукатурки. На нее приходилось одно окно. Остальная часть прежней комнаты исполняла роль гостиной, ей достались два других окна. А у входной двери еще две щели, одна — кухня, где не могли разойтись два человека, другая — ванная. Обе без окон. Больше похоже на ходы в термитном гнезде, в зоомагазинах продаются такие. Но квартира обходилась им в 888 долларов ежемесячно — это при стабилизированной квартплате, а если бы не за-

кон о стабилизации, то набралось бы, наверно, и все 1500, о чем для них не могло быть и речи. А они еще так радовались, когда удалось ее снять! Господи, да в Нью-Йорке сколько угодно его ровесников, тридцатидвухлетних дипломированных специалистов, мечтающих о такой трех-с-половиной-комнатной квартире в бывшем городском особняке на Семидесятых улицах Вест-Сайда — с высокими потолками, с видом из окон и стабилизированной квартплатой! Подумать только, прямо оторопь берет. Они едва могли себе это позволить, пока оба работали и получали на двоих жалованья 56 000 в год, 41 000 после всех вычетов. План был такой, что мать Роды даст денег, вроде бы в подарок по случаю рождения ребенка, чтобы оплатить няню на четыре недели, пока Рода оправится и сможет вернуться на работу. А они за это время найдут жиличку, которая в уплату за стол и кров будет смотреть за ребенком. Теща свою часть плана выполнила, но стало уже более или менее очевидно, что эта мифическая жиличка, которая согласится спать на диване в вест-сайдском термитнике, в реальной жизни не существует. Так что вернуться на работу Рода не сможет. И придется дальше существовать только на его 25 000 (после вычетов), а квартплаты за эту трущобу, даже и стабилизированной, с них причитается 10 656 долларов в год.

И то хорошо, что эти мрачные размышления вернули его халату благопристойный вид. Он вышел из спальни.

— Доброе утро, Гленда,— произнес он.

— О, доброе утро, мистер Крамер,— этим своим холодным английским тоном. Крамер считал, что терпеть не может англичан с их английским акцентом. А на самом деле он перед ними просто робел. В одном этом ее «О», обыкновенном «О», звучал недвусмысленный упрек: «Проспался, наконец, слава тебе, Господи».

Сама няня, полная такая тетя лет под пятьдесят, уже успела облачиться в безупречно белую униформу. Волосы стянуты в безукоризненный пучок. Диван-кровать составлен, и по нему раскиданы желтые синтетические подушечки для придания непринужденного дневного вида. Няня сидит на краешке, спину держит прямо и пьет чай. А ребенок лежит в кроватке, довольный и ублаготворенный. О женщина, имя тебе — Безупречность. Ее нашли через «Агентство Гофа», которое «Таймс» рекламировал как наилучшее и самое модное. Вот и выкладывай теперь модную цену — 525 долларов в неделю за няню-англичанку. Иногда в разговоре она упоминала разные адреса, где ей доводилось работать прежде,— Парк авеню, Пятая авеню, Саттон-плейс... Ничего не поделаешь, мадам, теперь вы насмотритесь, как живут в Вест-Сайде на верхнем этаже без лифта! Они с женой звали ее Гленда. А она их — только мистер Крамер и миссис Крамер, никаких Ларри и Рода. Все шиворот-навыворот: Гленда, благообразная, прилизанная, попивала чай, а мистер Крамер, хозяин в термитнике, пробирался мимо нее в ванную комнату босиком, с голыми икрами, встрепанный, в вытертом клетчатом махровом халате. В углу, под пыльным деревцем «драцена душистая» в кадке, уже работал телевизор. Кончился всплеском красок рекламный клип, улыбающиеся лица стали комментировать новости. Впрочем, звук был выключен. Неужели она, такая безупречная, допустит, чтобы в комнате орал телевизор? Интересно, что она на самом деле думает, эта британская арбитресса, поставленная (вернее, посаженная на диван) судить убогий быт Крамеров?

Что до миссис Крамер, то она как раз в это мгновение выходила из ванной, по-прежнему в халате и шлепанцах.

— Ларри,— промолвила она,— глянь-ка, что у меня на лбу, а? Не сыпь ли? В зеркало плохо видать.

Все еще сонный, Крамер посмотрел, что у нее на лбу.

— Да ничего, Рода. Прыщик, наверно, будет.

И вот еще это. С тех пор как у них появилась няня, он стал обращать внимание на речь жены. Раньше он ничего предосудительного не

замечал, ну, разве иногда. Рода окончила Нью-Йоркский университет. Последние четыре года работала редактором в издательстве «Уэверли плейс букс». Интеллигентка, можно сказать, когда они познакомились, увлекалась поэзией Джона Эшбери и Гэри Снайдера, могла подолгу рассуждать про Никарагуа и Южную Африку. И тем не менее говорит как необразованная.

Это у нее тоже от матери.

Рода прошлепала мимо, и Крамер протиснулся в ванную комнату. Типичный переоборудованный санузел. На пруте душевого занавеса сохнет белье и на веревке, протянутой наискось от угла до угла, тоже: комбинезончик ребенка, два слюнявчика, женские трусы, несколько пар колготок и еще бог весть что, не нянино, разумеется. Крамеру понадобилось пригнуться, чтобы пролезть к унитазу. Мокрые колготки задели его по уху, неприятно. На крышке унитаза валялось влажное полотенце. Он огляделся: куда бы его повесить? Некуда. Бросил на пол.

Помочившись, он сдвинулся на несколько дюймов вправо к зеркалу над раковиной. Снял халат и майку, положил на крышку унитаза. Крамер любил рассматривать по утрам свое лицо и мускулатуру. При такой широкоскулой плоской физиономии, вздернутом носе и крепкой шее никто с первого взгляда не принимал его за еврея. Скорее уж за грека, или славянина, или итальянца, даже и за ирландца,— а что, у него вид вполне мужественный. Обидно, конечно, что вон намечается лысина, но и это опять же признак мужественности. Так, с макушки, лысеют футболисты-профессионалы. А уж мускулатура у него... Но в это утро он упал духом. Его шикарные массивные плечи, шея, грудь, дельтовидные, трапециевидные, грудные мышцы, его выпуклые, литые бицепсы,— из них словно воздух выпустили. Атрофия, черт бы вас всех подрал! С тех пор как в доме ребенок и няня, у него нет возможности работать с тяжестями. Он держит снаряды в коробке позади кадушки с драценой и раньше всегда упражнялся рядом с диваном, но разве на глазах у английской няни — или мифической будущей жилички — он может делать упражнения, кряхтеть, ухать, отдуваться, напрягаться, поглядывая на себя сбоку в трюмо? Исключается. Остается признать неизбежное — оставить детские честолюбивые мечты. Теперь ты кормилец семьи, американская рабочая лошадка. И больше никто.

Когда он вышел из ванной, Рода и няня-англичанка сидели бок о бок на диване и смотрели, не отрываясь, на экран телевизора. Звук теперь был включен. Шла информационная программа «Сегодня».

Рода обернулась к нему и взволнованно сказала:

— Нет, ты только посмотри, Ларри! Это мэр. Вчера в Гарлеме такая заварушка была! В него бутылкой запузырили!

Но Крамер уже не слышал, как она говорит. Перед ним на экране совершались фантастические дела: какие-то подмостки — потасовка — вскакивающие с мест люди — потом огромная пятерня на миг заполнила экран и скрыла все остальное. И снова крики, искаженные лица, размахивающие руки. Полная свистопляска. Впечатление было такое, будто хулиганы вот-вот выпрыгнут из телевизора прямо на пол рядом с кроваткой маленького Джошуа. И это была программа «Сегодня», а не местные новости. Ее получит к завтраку вся Америка: на глазах у телезрителей граждане Гарлема в порыве праведного гнева сгоняют с трибуны белого мэра. Вон, вон он удирает за сцену! Был мэр всего города Нью-Йорка. А теперь оказалось, что он мэр только белого Нью-Йорка.

Когда передача кончилась, все трое посмотрели друг на друга, и Гленда, английская няня, взволнованно проговорила:

— Ну, знаете ли, по-моему, это просто возмутительно. Цветные не ценят, в каких условиях они здесь живут, вот что я вам скажу. У нас в Англии не встретишь цветного в полицейской форме, не говоря о влиятельных деятелях, как тут у вас. Да вот на днях в газете было: в стране свыше двухсот мэров из цветных. И им теперь подавай мэра Нью-

Йорка на растерзание. Некоторые просто не понимают, когда с ними по-хорошему обращаются, я так считаю.

Она сердито дернула головой.

Крамеры переглянулись. Они поняли друг друга без слов.

Слава Господу в небесах! Какое облегчение! Можно дух перевести. Мисс Безупречность-то оказалась расисткой. В наши дни иметь такие взгляды — дурной тон. Свидетельствует о детстве в бедном квартале, о принадлежности к низшим слоям общества, плохом вкусе. Так что Крамеры все-таки могут смотреть на свою няню-англичанку сверху вниз. Фу-ты, прямо камень с души.

[. . .]

Он спустился в метро и вошел в поезд «Д», едущий в Бронкс. Вагон дергался, кренился и скрипел, а он стоял и держался за стойку из нержавеющей стали. Лицом к нему на пластиковом сиденье, словно разросшееся продолжение намалеванного на стене рисунка, горбился старичок с газетой. Крамер прочел газетный заголовок: В ГАРЛЕМЕ ТОЛПА ПРОГОНЯЕТ МЭРА — огромными буквами, чуть не во всю полосу. А сверху шрифтом помельче: «Убирайся к себе в Хаим-таун!». На ногах у старичка бело-лиловые полосатые кроссовки. Казалось бы, диковатая обувь для человека его возраста. Но на самом деле здесь, в поезде «Д», в ней ничего странного. Крамер посмотрел понизу вдоль вагона: половина пассажиров была в разноцветных кроссовках на выгнутых подошвах, напоминающих большие соусницы. И молодежь, и старики, и мамаши с детишками на руках, да и сами детишки тоже. И дело было вовсе не в молодежной спортивной моде, как в центре города, где по утрам можно встретить массу хорошо одетых молодых белых мужчин и женщин, вышагивающих по тротуарам в таких же кроссовках. Нет, в поезде «Д» причина была другая: здесь имело значение, что они дешевы. Здесь кроссовки на ногах прочитывались как знак: «Я из трущобы» или «Я из Эль-Баррио».

По какой причине сам он носит кроссовки, Крамеру не хотелось додумывать. Он повел взглядом по рядам сидящих пассажиров. У некоторых в руках были газеты с заголовками про сорванный митинг в Гарлеме, но вообще-то публика в поезде «Д» нельзя сказать чтобы читающая... Отнюдь... Что бы там такое ни произошло в Гарлеме, Бронксу до этого дела нет. Каждый в вагоне смотрел на мир с застарелым равнодушием, стараясь ни с кем не встречаться глазами.

Внезапно гул мчащегося поезда стих, возникла та минутная пауза, какая образуется, когда открываются двери между вагонами. Вошли трое — подростки лет по пятнадцать-шестнадцать, черные, в огромных кроссовках с незавязанными толстыми шнурками, хитро уложенными сверху, и в черных дутых куртках. Крамер расправил плечи и придал своему лицу бесстрастно-скучающее выражение. Слегка набычился, чтобы грудинно-ключичные мышцы вздулись, как у борца. Один на один... один на один он бы любого из них на куски разорвал... Но в том-то и дело, что с ними никогда не бывает один на один... Он каждый день видит таких парней в суде... Троица неспешно продвигалась по вагону, вихляясь и перекатываясь с пятки на носок, «сутенерской развалочкой», как это теперь называется. На «сутенерскую развалочку» он тоже вдоволь насмотрелся... В хорошую погоду по Бронксу расхаживают такой походкой толпы молодежи — кажется, колышутся и волнуются целые улицы. Вот приблизились... лица, как полагается,— равнодушные, ничего не выражающие... Ну хорошо, что они могут сделать?.. Но они обошли его с двух сторон и повихляли дальше... Ничего не случилось. Понятное дело, ничего... Такой бык, такой здоровенный жеребец, как он... Уж к кому-к кому, а к нему бы они никогда не рискнули приставать... Но все равно, когда поезд, наконец, остановился на станции «161-я улица», Крамер, как всегда, вздохнул с облегчением.

Он поднялся по лестнице и вышел на Сто шестьдесят первую улицу. Небо расчистилось. Прямо впереди вздымалась огромная чаша стадиона «Янки». А за ней чернели гибнущие башни Бронкса. Лет десять или пятнадцать назад стадион перестроили. Потратили сто миллионов долларов. Предполагалось, что это вольет новую жизнь в сердце Бронкса. Какая мрачная шутка! С тех пор 44-й участок, вот эти самые улицы, стал самым криминогенным во всем Бронксе. В этом Крамер тоже имеет возможность убеждаться каждый день.

Он зашагал в гору по Сто шестьдесят первой улице в своих белых кроссовках, неся в пластиковом пакете кожаные туфли. Вдоль улицы, в дверях магазинов и закусочных стояли жители печального района.

Он посмотрел вперед — и на миг увидел Бронкс во всем его прежнем великолепии. Вверху, где Сто шестьдесят первая улица пересекается с Большой Магистралью, солнце прорвалось сквозь уходящие тучи и позолотило белый фасад отеля «Конкорс Плаза». С такого расстояния он и теперь мог сойти за европейски известный курортный отель двадцатых годов. Здесь во время спортивных сезонов останавливались звезды американского бейсбола, только самые знаменитые, кто могли себе это позволить. Крамер всегда воображал, что они жили в роскошных номерах-люксах. Джо ДиМаджио, Бейб Рут, Лу Геринг... Других имен он не помнит, хотя отец, бывало, рассказывал еще о многих. О, еврейские златые горы прошлого! Там, вверху, где пересекаются Сто шестьдесят первая улица и Большая Магистраль, была вершина еврейской мечты, новый Ханаан, новый еврейский район Нью-Йорка — Бронкс! Отец Крамера вырос в семнадцати кварталах отсюда, на Сто семьдесят восьмой улице, и пределом его мечтаний в этой жизни было снять квартиру... когда-нибудь... в одном из тех величественных зданий на горе, где проходит Большая Магистраль. Большая Магистраль замышлялась как своего рода Парк авеню Бронкса, только здесь, в новой земле Ханаанской, она должна была оказаться еще лучше. Большая Магистраль строилась шире, чем Парк авеню, и проходила по более живописной местности. Но — вот опять же мрачная насмешка судьбы. Хотите сегодня снять квартиру на Большой Магистрали? Выбирайте любую. «Гранд-отель» новой еврейской мечты превратился в приют для неимущих, а сам Бронкс, Земля Обетованная, заселен на семьдесят процентов неграми и пуэрториканцами.

Бедный еврейский Бронкс! В двадцать два года, поступая в юридическую школу, Крамер думал о своем отце как о скромном еврее, который к закату жизни осуществил великое переселение из Бронкса в Оушенсайд на Лонг-Айленде, за целых двадцать миль, и каждый день таскался оттуда на Двадцатые улицы Вест-Сайда в писчебумажный магазин, где служил главным бухгалтером. Он, Ларри Крамер, будет адвокатом... космополитом... И вот теперь, десять лет спустя, что же получилось? А то, что он живет в термитнике, в сравнении с которым отцовский домик о три спальни в Оушенсайде выглядит дворцом Сен-Симона, и каждый божий день ездит в метро поездом «Д» на работу в... тот самый Бронкс!

Солнце впереди тронуло золотом другое здание на горе — дом, в котором Крамер работает, Окружную прокуратуру Бронкса. Этот огромный известняковый парфенон был построен в начале тридцатых годов в стиле «учрежденческий модерн». В девять этажей вышиной, он занимал площадь трех кварталов, между Сто шестьдесят первой и Сто пятьдесят восьмой улицами. Какими наивными оптимистами были тогда люди, замыслившие и возведшие это сооружение!

Но все-таки вид дворца правосудия волнует Крамерову душу. Его четыре внушительных фасада — воистину праздник скульптуры и барельефа. Классические скульптурные группы стоят по углам, символизируя собой Сельское хозяйство, Коммерцию, Индустрию, Религию, Искусства, Правосудие, Правительство, Законопорядок и Права Человека.

Благородные римляне, облаченные в тоги,— в Бронксе. Золотая мечта о грядущей гармонии!

Нынче, если бы который-нибудь из этих славных античных парней спустился сверху на землю, он бы живым не дошел до Сто шестьдесят второй улицы — купить стакан газировки или пачку сигарет. Его бы тут же прикончили, польстились бы на тогу. В 44-м участке людям вообще не до шуток. Со стороны Сто пятьдесят восьмой улицы здание прокуратуры выходит на парк Франца Зигеля, из окна шестого этажа кажется: зеленое море, английская ландшафтная архитектура, поэзия деревьев, кустов, травянистых склонов, живописных валунов в траве. И, однако же, этих слов: «Парк Франца Зигеля» никто, кроме Крамера, теперь не знает. Потому что ни один человек мало-мальски в своем уме не отважится войти и углубиться на те несколько шагов, которые отделяют от входа мемориальную доску с названием. Вот, скажем, на прошлой неделе какого-то беднягу зарезали в десять часов утра на одной из скамеек, которые были установлены в парке в 1971 году «с целью создать условия для культурного отдыха и вернуть к жизни парк Франца Зигеля как ценное достояние общественности». Эта скамейка стояла в пяти шагах от входа. Человека убили из-за большого транзисторного радиоприемника, который в Окружной прокуратуре Бронкса именуется «чемоданчиком». Сотрудники прокуратуры не ходят погожими майскими днями в парк перекусить в обеденный перерыв, даже те из них, кто, как Крамер, выжимает лежа двести фунтов. Даже судебные пристава, в полицейской форме и с законным револьвером на поясе. Все остаются в здании, в этой островной цитадели Власти, твердыне белых, на этой Гибралтарской скале, окруженной горестным Саргассовым морем Бронкса.

На Уолтон авеню, которую Крамеру надо перейти, у прокуратуры выстроились три оранжево-голубых тюремных фургона в ожидании, когда откроются служебные ворота. Фургоны доставляют арестованных из окружной тюрьмы Бронкса, на Райкерс-Айленде, и из здания Уголовного суда, тут же за углом, на слушания в суде первой инстанции, где рассматриваются самые серьезные преступления. Залы судебных заседаний расположены на верхних этажах, арестованных ввозят в подвал, а потом поднимают на лифтах и размещают в арестантских вольерах при суде.

Крамер едва опустил ногу с тротуара, как мимо с грохотом проехал белый «понтиак бонневиль», похожий на лодку, с большими свесами спереди и сзади, настоящий фрегат в двадцать футов длиною, какие перестали делать в начале восьмидесятых. Прокатил, скрежеща тормозами и зарываясь носом, и остановился напротив на углу. Печально чмокнув, отворилась тяжелая литая дверца в добрых пять футов шириной, и из машины вылез судья Майрон Ковицкий. Лет шестидесяти, сухонький, небольшого роста, плешивый, жилистый, с длинным носом, глубоко посаженными глазами и жесткой складкой у рта. Крамер увидел через заднее стекло, как кто-то сдвинулся на переднем сиденье и занял место за рулем. Должно быть, жена.

Смотреть, как открывается тяжелая дверца старого громоздкого автомобиля и как вылезает из него маленький судья, Крамеру было горько. Судья Майк Ковицкий приезжает на службу в рыдване, которому по меньшей мере десять лет. Как работник суда первой инстанции он получает 65 100 долларов, со всеми отчислениями — 45 000. Для шестидесятилетнего специалиста в высшем эшелоне юридической профессии сумма просто нищенская. В Манхэттене столько платят новичкам, прямо со скамьи юридического факультета. А этот человек, у которого так громогласно чмокает дверца машины, находится наверху служебной пирамиды островной цитадели. Он, Крамер, занимает место где-то посредине. Если он будет правильно себя вести и добьется расположения демократов Бронкса, это — максимум, на что он может уповать через три десятилетия.

Крамера начала одолевать тоска. И он принял решение сделать

что-нибудь, сделать во что бы то ни стало, не откладывая, совершить какой-то необыкновенный, дерзкий, из ряда вон, поступок. Вырваться отсюда. Выкарабкаться из грязи. Устроить что-нибудь этакое, чтобы небу было жарко! Схватить Жизнь под уздцы...

3

С ВЫСОТЫ ПЯТИДЕСЯТОГО ЭТАЖА

Шерман Мак-Кой вышел из своего кооперативного дома, держа за руку дочурку Кэмпбелл. В туманные дни, как сегодня, воздух на Парк авеню кажется особенным, пепельным. Но стоит только выйти из-под навеса, протянутого поперек тротуара, и... какой золотистый блеск! Вдоль осевой линии высажены сотни и сотни желтых тюльпанов, хоть коси косой. Недаром владельцы квартир, вроде Шермана, платят взносы в Ассоциацию жильцов Парк авеню, а Ассоциация платит тысячи долларов компании «Уилтширские загородные сады», принадлежащей трем корейцам с Лонг-Айленда. В золотом сиянии тюльпанов есть словно бы что-то неземное. Так оно и подобает. Шерман, идя с дочкой к остановке школьного автобуса, ощущал себя избранником богов. Упоительное чувство. И стоит недорого. Автобус останавливается тут же, через улицу. Поэтому, как ни медленно приходится тащиться с маленьким ребенком, досада не успевает испортить Шерману удовольствие от этого ежеутреннего бодрящего глотка отцовства.

Кэмпбелл учится в первом классе в школе «Тальяферро», что на самом деле, как знают все, tout le monde, произносится: «Толивер». Каждое утро школа отправляет свой автобус, со своим шофером и со специальной женщиной, чтобы приглядывать за детьми, по маршруту вдоль Парк авеню, потому что почти все ее ученицы живут самое далекое — в нескольких минутах ходьбы от этой фешенебельной магистрали.

В глазах Шермана семенящая с ним рядом по мостовой Кэмпбелл — ну, просто небесное видение! Небесное видение, каждое утро — другое. Какие у нее волосы, густые, мягкие, волнистые, как у матери, только светлее и золотистее! Какое личико — просто совершенство! Даже нескладные подростковые годы ничего не смогут в нем испортить. Это ясно как день. В темно-красной вязаной кофточке, в белой блузке с круглым воротничком, за спиной — крохотный нейлоновый рюкзачок, на ногах — белые носочки до колен. Настоящий ангел. Шерман не может смотреть на нее без волнения, даже удивительно.

В подъезде этим утром дежурит старый швейцар-ирландец по имени Тони. Он открыл перед ними дверь да еще вышел под навес и посмотрел им вслед. Приятно, очень даже приятно! Шерман любит показаться людям в отцовской роли. Он сейчас серьезный, солидный гражданин, представитель и Парк авеню, и Уолл-стрит. Одет в серо-стальной шерстяной английский костюм, сшитый на заказ за 1800 долларов, пиджак однобортный, на двух пуговицах, лацканы обычные, с неглубоким разрезом. На Уолл-стрит двубортные пиджаки и сильно заостренные лацканы считаются немного слишком франтовскими, несолидными. Густые каштановые волосы Шермана зачесаны со лба назад. Он идет, расправив плечи и гордо задрав свой крупный нос и замечательный подбородок.

...Подкатил автобус, внушительный экипаж, с добрый «Грейхаунд» размерами, и девочки бросились к подножкам.

Шерман двинулся по тротуару к стоянке такси на углу Первой авеню и Семьдесят девятой улицы. На душе у него легко и весело. Он вообще всегда уходит с остановки школьного автобуса в приподнятом настроении. Лучшая школа, лучшие девочки, лучшие семейства, лучший район города — столицы всего Западного мира на исходе двадцатого века. Но главное не это, а оставшаяся в руке память о тепле детской

ладошки. Вот почему ему так хорошо. Это доверчивое, во всем от него зависимое прикосновение было — сама жизнь!

Но вскоре настроение у Шермана стало портиться. Он шагал довольно быстро, на ходу оглядывая каменные фасады бывших особняков. В это пасмурное утро они выглядят совсем старыми, унылыми. Перед подъездами на краю тротуара выставлены бесформенные полиэтиленовые мешки с мусором — коричневые, цвета собачьего кала, или зеленые, тоже навозного оттенка. Они блестят, словно покрытые слизью. Как могут люди жить в таких условиях? В двух кварталах отсюда — квартира Марии... И Ролстон Торп тоже обитает тут где-то поблизости. Шерман и Роли вместе учились в Бакли, и в колледже Св. Павла, и в Йейле. И теперь вместе работают в «Пирс-и-Пирсе». Роли после развода съехал из шестнадцатикомнатной кооперативной квартиры на Пятой авеню и поселился в двух верхних этажах старого особняка где-то в этих местах. Ужасно. Шерман и сам вчера умудрился сделать большой шаг к разводу. Мало того что Джуди поймала его, так сказать, на «измене по телефону», но еще после этого он, жалкая жертва похоти, не повернул назад, а пошел туда, где его просто-напросто раздели и завалили на кровать — вот именно!... и появился дома только через сорок пять минут... Что будет с Кэмпбелл, если он и Джуди расстанутся? Он даже представить себе не в состоянии, как бы он стал после этого жить. Право еженедельных посещений родной дочери? Как выражаются официально, «по праздничным и прочим удобным дням»... Фу, как пошло и неприлично!... Душа его дочурки Кэмпбелл начнет черстветь, черстветь и покроется жесткой, хрупкой корочкой...

Пройдя полквартала, он уже просто ненавидел себя. Подмывало повернуть назад, возвратиться домой и попросить прощения, дать клятву *больше никогда в жизни!*... Подмывало. Но он знал, что не повернет. Это означало бы опоздать на работу, на что в «Пирс-и-Пирсе» смотрят довольно косо. Вслух ничего такого не говорится, но подразумевается, что ты должен быть на месте с утра пораньше и не теряя времени делать деньги... и покорять Вселенную. Выброс адреналина! «Жискар»! Шерман подготовил к заключению величайшую сделку своей жизни — французский золотой заем «Жискар»... И снова заныло сердце. Эту ночь Джуди спала на кушетке в гардеробной при супружеской спальне. Когда он встал, она еще не проснулась или делала вид, что не проснулась. И слава богу. Новый раунд объяснений, прямо с утра, да притом еще, что могут услышать Кэмпбелл или Бонита,— нет, это его отнюдь не прельщало. Бонита относится к той категории латиноамериканских слуг, которые держатся вполне приветливо, однако подчеркнуто соблюдают дистанцию. Выказывать при ней раздражение или обиду — бестактно. Неудивительно, что в прежние времена браки были прочнее. У родителей Шермана и их знакомых всегда было много слуг, они работали с утра допоздна и жили в доме. Так что кто не хотел ссориться при слугах, практически не имел возможности ссориться вообще.

И поэтому в лучших традициях Мак-Коев, в полном соответствии с тем, как поступил бы на его месте отец,— хотя отца совершенно невозможно себе представить в такой передряге — Шерман и вида не показал, что что-то не так. Позавтракал в кухне вместе с Кэмпбелл, потом Бонита собирала девочку в школу, то и дело озираясь на портативный телевизор. Передавались последние известия про сорванную встречу с мэром в Гарлеме. Конечно, событие, но Шерман не обратил внимания. Мало ли что там где-то... Такие вещи у них случаются, у этих людей... Он был занят тем, что накачивал себя бодростью и обаянием, только бы Бонита и Кэмпбелл не почувствовали нездоровую атмосферу в доме.

Шерман уже дошел до Лексингтон авеню. Он всегда заходил в кондитерский магазинчик за углом и покупал там номер «Таймс». Завернул — навстречу идет рослая деваха, по плечам разметаны густые белокурые волосы, через плечо на ремешке — большая сумка. Шагает быстро, видно, торопится на метро на Семьдесят седьмой улице. Длинная вя-

заная кофта нараспашку, снизу поддет тонкий свитерок под горлышко с какой-то эмблемой на левой груди. И белые штаны небывалого фасона — «оторви и брось» — штанины широкие, болтаются мешком вокруг ног, но в шагу все обтянуто — ну, потрясающе! Просто с ума сойти. Даже раздвоенная складочка образовалась. У Шермана слегка полезли глаза на лоб. Он посмотрел ей в лицо. Она встретила его взгляд, глаза в глаза, и улыбнулась. Не замедлила шаги, не бросила зазывный взор, а просто улыбнулась с самоуверенным оптимизмом, словно говоря: «Привет! Мы с тобой — пара красивых животных». Так откровенно! Так беззастенчиво! Так радостно-нескромно!

Выходя с газетой из кондитерской, Шерман скользнул взглядом по журнальной стойке у двери. Шибанула в нос ярко-розовая нагота... женщины... мужчины... женщины с женщинами... мужчины с мужчинами... женщины с мужчинами... голые груди... голые зады... все подробности... буйный карнавал порнографии, пиршество плоти, оргия, скотство... На одной обложке изображена совсем голая женщина, на ней только туфли на высоких каблуках и пестрая тряпочка на лобке, набедренная повязка. Но только это вовсе не повязка, а живая змея... Каким-то образом держится там и смотрит прямо на Шермана... Женщина тоже смотрит на него... И улыбается самой солнечной, самой благодушной улыбкой... Такие девушки подают присыпанные шоколадом шарики мороженого в детских кафе.

Шерман зашагал дальше в сторону Первой авеню, охваченный возбуждением. *Это* пропитало воздух! *Это* катит на тебя гигантской волной! *Это* — повсюду! Настигает!.. Секс!.. Только руку протянуть!.. Идет по улице и ничуть не стесняется... Расплескан по киоскам и магазинным полкам. Если ты хоть мало-мальски живой молодой мужчина, тебе и думать нечего противостоять всему этому... Формально говоря, он изменил жене. Ну да, верно... но о каком единобрачии может идти речь, когда по всему миру прокатывается такая волна, настоящее цунами умопомрачительного вожделения? Да господи! Не может же Властитель Вселенной быть святым. Так устроен мир. Бесполезно уклоняться от дождевых капель, когда ты под дождем, тем более когда такой ливень! Он просто попался, только и всего. Это совершенно ничего не значит. Это не нравственно и не безнравственно. Все равно как вымокнуть под дождем. Подходя к стоянке такси на углу Первой и Семьдесят девятой, он уже почти уладил это дело с самим собой.

На углу Семьдесят девятой улицы и Первой авеню каждое утро выстраиваются такси, предназначенные единственно для того, чтобы доставлять молодых Властителей Вселенной на Уолл-стрит. По правилам-то всякий шофер такси обязан отвозить вас куда бы вы ни пожелали, но на этой стоянке берут только тех пассажиров, которые едут на Уолл-стрит или в ее ближайшие окрестности. Проезжают два квартала на восток и дальше катят к югу вдоль Ист-ривер по шоссе, которое называется ФДР,— шоссе Франклина Делано Рузвельта.

Поездка обходится в десять долларов ежеутренне, но что такое десять долларов для Властителя Вселенной? Отец Шермана всю жизнь ездил на Уолл-стрит подземкой, даже когда стал руководителем фирмы «Даннинг Спонджет и Лич». Он и теперь, в семьдесят один год, отправляясь в «Даннинг Спонджет» только для того, чтобы три-четыре часа в день дышать одним воздухом со своими давними дружками-юристами, пользуется исключительно подземкой. Принципиально. Чем обшарпаннее становилось нью-йоркское метро, чем гуще разрисовывали «эти люди» стенки вагонов, чем больше золотых цепочек срывали они с девичьих шей, чем чаще грабили стариков и сталкивали женщин под колеса, тем решительнее держался Джон Кэмпбелл Мак-Кой: он не допустит, чтобы «эти люди» помешали ему пользоваться тем видом городского транспорта, каким он считает нужным.

Но у них, людей новой формации, молодых Властителей вроде Шермана, таких принципов нет. Изоляция — вот их жизненное правило. Этот термин придумал Роли Торп. «Хочешь жить в Нью-Йорке,— как-то сказал он Шерману,— позаботься об изоляции», то есть отгородись от «этих людей». Откровенное высокомерие, заключенное в этой мысли, вполне, на взгляд Шермана, отвечало духу времени. Действительно, если можно пронестись мимо на такси по шоссе ФДР, тогда зачем вообще ввязываться в городские бои?

Водитель на этот раз попался... турок, что ли? Или армянин? Шерман попытался разобрать фамилию в рамке на приборной доске. Бог его знает. Когда выехали на шоссе, он откинулся на спинку и развернул «Таймс». На первой странице — фотография: какие-то люди столпились на эстраде, а возле трибуны стоит мэр и недоуменно смотрит на них. Ну да, та самая сорванная встреча. Взялся было прочесть, что про это пишут, но отвлекся. Сквозь облака проглянуло солнце, слева Шерману видны блики на воде. Жалкая, грязная река, а сейчас вся сверкает. Все-таки сегодня солнечный майский день, разгар весны. Впереди, над шоссе, уже вздымаются бастионы Нью-Йоркской городской больницы. А вон знак, предупреждающий о выезде с шоссе на Семьдесят первую улицу Ист-Сайда, здесь всегда сворачивал отец, когда они возвращались из Саутгемптона воскресными вечерами. При взгляде на больницу и на этот дорожный знак Шерман сразу вспомнил, вернее не вспомнил, а словно бы кожей ощутил былую жизнь на Семьдесят третьей улице в отцовском доме с традиционно серо-зелеными комнатами. В этих зеленоватых стенах он вырос, бегал по четырем маршам узкой лестницы и был твердо уверен, что здесь, в обиталище великого Джона Кэмпбелла Мак-Коя, Льва «Даннинг-Спонджета и Лича», они живут по законам высшей элегантности. Только недавно до него дошло, что его родители немало рисковали, когда в 1948 году купили, в сущности, старую развалину в довольно захудалом районе и привели в порядок, высчитывая, можно сказать, каждый грош и от души гордясь, что сумели за сравнительно небольшие деньги создать такой приличный дом. Господи! Да если бы отец узнал, сколько он заплатил за свою кооперативную квартиру и на каких условиях, его бы удар хватил! Два миллиона шестьсот тысяч долларов, из них 1 800 000 в долг... с обязательством ежемесячно выплачивать по 21 000 в погашение основного долга и процентов, а через два года, в окончательный расчет, выложить круглую сумму: миллион. Лев «Даннинг-Спонджета» был бы поражен, более того — уязвлен, так как убедился бы, что все его наставления насчет долга, обязательств, меры и скромности просвистели навылет сквозь голову сына.

Баловался ли когда-нибудь отец на стороне? Не исключено. Он был красивым мужчиной, и Подбородок у него имелся. Но Шерман, как ни старался, не мог этого себе представить. А когда увидел Бруклинский мост, то уже и стараться перестал. Еще несколько минут, и он окажется на Уолл-стрит.

Инвестиционно-банковская фирма «Пирс-и-Пирс» занимала пятидесятый, пятьдесят первый, пятьдесят второй, пятьдесят третий и пятьдесят четвертый этажи стеклянной башни, выросшей из темной развилки Уолл-стрит. Зал операций с ценными бумагами, где работал Шерман, находился на пятидесятом этаже. Каждое утро, выходя из серебристого лифта, он оказывался в просторном помещении, похожем на вестибюль тех лондонских гостиниц, которые специализируются на обслуживании американцев. Рядом с дверью лифта в стене был устроен бутафорский камин, даже с каминной доской из красного дерева с резными гроздьями плодов по углам. Спереди камин был заставлен медной оградкой, или каминной решеткой, как называются такие штуковины в загородных домах Западной Англии. В соответствующее время года в глубине бутафорского камина пламенел бутафорский огонь, бросая бегущие

блики на медные каминные щипцы огромных размеров. А стены вокруг были одеты резными панелями из красного дерева, такого густо-красного и с такой глубокой резьбой, имитирующей штофные складки, что с первого взгляда прямо кожей чувствовалась их фантастическая стоимость.

В этих чертах декора сказывалось пристрастие главного управляющего фирмой Юджина Лопвица ко всему английскому. Английские вещи: библиотечные стремянки, полукруглые консоли, шератоновские ножки, чиппендейльские стенки, ножнички для сигар, кресла с бахромой, мягкие уилтонские ковры — день ото дня скапливались на пятидесятом этаже в «Пирс-и-Пирсе». Вот только с потолками Юджин Лопвиц, к сожалению, мало что сумел сделать. Они совсем невысокие — восемь футов. Дело в том, что пришлось на целый фут поднять полы для прокладки кабелей и проводов,— их там столько, что хватило бы на электрификацию всей Гватемалы. Провода питают компьютерные терминалы и телефоны в зале операций с ценными бумагами. И потолки пришлось на фут понизить, чтобы пропустить проводку освещения, трубы кондиционеров и несколько дополнительных миль проволоки. Полы поднялись, потолки опустились, и получился хоть и английский интерьер, но как бы приплюснутый.

Как только проходишь бутафорский камин, слышен какой-то жуткий гул, будто рев толпы. Он раздается поблизости, за стеной,— ошибиться невозможно. И Шерман Мак-Кой, радостно встрепенувшись, устремляется ему навстречу. Сегодня — как и всегда — на этот звук отозвались все струны его души.

Завернул за угол — и вот он, зал операций с ценными бумагами фирмы «Пирс-и-Пирс». Огромное помещение, футов, наверно, восемьдесят на шестьдесят, но тот же низкий потолок нависает над самой головой. Давит. Да еще слепящий свет, извивающиеся тени и рев. Свет щедро льется в широкое, во всю южную стену, окно с видом на Нью-Йоркскую гавань, статую Свободы и Стейтен-Айленд, а также на Бруклинский и Джерсийский берега. Извивающиеся тени — это руки и торсы молодых мужчин, редко кому за сорок. Скинули пиджаки, возбужденно жестикулируют, расхаживают с утра в поту, и все орут, отчего и образуется общий слитный рев — лай своры образованных молодых белых мужчин, взявших след наживы.

— Возьми, пожалуйста, трубку, так твою мать! — кричит румяный круглолицый гарвардский выпускник 1976 года кому-то через два ряда столов. «Операционный зал» напоминает редакцию местных новостей в газете: здесь тоже нет перегородок и не соблюдаются ранги. Все на равных сидят за серыми металлическими столами перед черными экранами розовых терминалов. По экранам, спотыкаясь, пробегают ряды электронно-зеленых значков.

— Я же сказал, пожалуйста, возьми трубку, так твою мать! Блин, непонятно, что ли?

Под мышками у него — темные полукруги пота, а рабочий день только-только начался.

Йейльский выпускник 1973 года — шея как у гуся, торчит из воротничка рубашки — выпучился на экран и орет в телефонную трубку брокеру в Париже:

— Да вы на экран взгляните, вашу мать!... Господи, Жан-Пьер, это же покупатель заявил пять миллионов! Покупатель! И новые цифры не поступают.

Он прикрывает трубку ладонью, заводит глаза к потолку и говорит, ни к кому, кроме Мамоны, конкретно не обращаясь:

— Ох уж эти лягушатники, хрен их дери! Эти лягушатники, так их мать!

За четыре стола от него станфордский выпускник 1979 года сидит и вглядывается в лист бумаги, прижав плечом телефонную трубку. Правая нога у него стоит на переносной подставке, и чистильщик Феликс,

чернокожий мужчина лет пятидесяти — или шестидесяти? — наводит бархоткой глянец на его ботинок. В течение всего рабочего дня Феликс со своей подставкой переходит от стола к столу и чистит молодым маклерам обувь, не отрывая от работы, из расчета по три доллара за пару, включая чаевые. Общения при этом обычно не возникает — они его в упор не видят. Внезапно Станфорд-79, не отрывая глаз от листа и не выпуская прижатой плечом трубки, вскакивает на одной ноге и орет:

— А тогда какого хрена все сбывают двадцатилетний заем?

Даже не снял ногу с подставки! Крепкая мускулатура, подумал Шерман. Он сел за свой стол, где тоже стоит телефон и компьютерный терминал. Ор, матерщина, жестикуляция, подлый страх и откровенная алчность окружают его со всех сторон. Это — его стихия. Шерман считается специалистом номер один, «лучшим производителем», как здесь говорят, и рев, стоящий в зале операций с ценными бумагами на пятидесятом этаже фирмы «Пирс-и-Пирс», сладостен его слуху.

— Заказ Гольдмана спутал на хрен всю картину!

— ...да вы подойдите, взгляните на таблицу, хрен дери, и тогда...

— Предлагаю восемь с половиной!

— Отстаю на две тридцать вторые!

— Вам же кто-то нарочно, блин, мозги пудрит! Неужели непонятно?

— Беру заказ и даю шесть пунктов дополнительно.

— Сбивай цену на пятилетний!

— Продаю за пять!

— На десять не согласны?

— Думаете, они и дальше будут подниматься?

— Сбывают двадцатилетний как полоумные. Кретины, ни о чем другом слышать не хотят.

— Сто миллионов сроком до июля девяностого...

— ...минуя биржу...

— Да господи! Что ж это такое!

— Так я и поверил, хрен дерьмовый!

— Хрен дерьмовый! — орут выпускники Йейла, Гарварда и Станфорда.— Хрен дерьмовый, так твою мать!

У себя за столом Шерман немедленно погрузился в работу. Внимательно пригляделся к рядам зеленых значков, бегущих по дисплею. Поднял телефонную трубку. Французский золотой заем... Очень своеобразная, многообещающая ситуация, и он наткнулся на нее случайно, один приятель походя упомянул эти облигации как-то вечером в баре «У Генри».

Еще в блаженном 1973 году, в преддверии резкого подскока цен, французское правительство выпустило заем, получивший название «Жискар» по имени французского президента Жискар д'Эстена, на номинальную сумму в шесть с половиной миллиардов долларов. У «Жискара» была одна интересная особенность: он имел золотое обеспечение. Так что когда цены на золото падали или подымались, вместе с ними колебались и цены «жискаровских» облигаций. С тех пор цены на золото и на французский франк неоднократно проделывали такие головокружительные скачки, что американские инвесторы давно утратили к «Жискару» всякий интерес. Но в последние годы цены на золото твердо держались в районе 400 долларов, и при ближайшем рассмотрении Шерман обнаружил, что американский покупатель облигаций «Жискара» может рассчитывать на процентную ставку в два или три раза выше, чем по любым государственным займам США, да плюс еще тридцать процентов прибыли по истечении заемного срока. Просто Спящая Красавица! Единственная опасность — это возможное падение франка. Но против него Шерман застраховался, приготовившись в случае необходимости выбросить франки на рынок без покрытия по высокой цене.

Вот только сложновато все это выглядит. Понять и оценить ситуацию могут только крупные и опытные инвесторы. Крупные и опытные

и полностью доверяющие ему, Шерману. Какой-нибудь брокер — новичок без имени — никого не соблазнит вложить миллионы в «Жискар». Для этого надо иметь имя. Надо быть одаренным человеком! — гением! — Властителем Вселенной! — как Шерман Мак-Кой, лучший специалист по размещению ценных бумаг в фирме «Пирс-и-Пирс». Он убедил Джина Лопвица выделить 600 миллионов из денег фирмы на покупку «Жискара». И осторожно, исподволь, пользуясь услугами подставных брокеров, чтобы не почувствовали могучую руку «Пирс-и-Пирса», скупил облигации у всевозможных европейских держателей займа. Теперь для Властителя Вселенной настал главный экзамен. На такие никому не ведомые бумаги в биржевом мире найдется всего дай бог дюжина потенциальных покупателей. С пятью из них Шерман уже завел переговоры. Это — два кредитных банка: «Трейдерс траст компани» (в обиходе — «Трейдер Т.») и «Метроленд»; два финансовых учреждения и один из самых его надежных частных клиентов Оскар Сьюдер из Кливленда, который дал понять, что готов купить десять миллионов. Но, конечно, самым крупным покупщиком должен быть «Трейдер Т.», там выразили намерение приобрести половину всего пакета, 300 миллионов облигаций. Сделка принесет «Пирс-и-Пирсу» законный один процент комиссионных — шесть миллионов — за идею и за риск своим капиталом. Доля Шермана, включая комиссию, премии, участие в прибыли и оплату услуг по продаже, должна составить примерно миллион 750 тысяч. Эти деньги он намерен употребить на погашение своего личного неподъемного долга в миллион 800 тысяч, взятых на покупку квартиры.

Поэтому сейчас первым на очереди — звонок Бернару Леви, французу, который занимается этой сделкой со стороны «Трейдер Т.», чтобы напомнить, что хотя накануне вечером и сегодня с утра произошло падение золота и франка (на европейских биржах), это ровным счетом ничего не означает, все в полном порядке, и беспокоиться не о чем.

В десять часов Шерман, Роли и еще пятеро собрались на совещание в конференц-зале при кабинете Юджина Лопвица. Предстояло выработать стратегию «Пирс-и-Пирса» в главном событии дня на рынке ценных бумаг — аукционе десяти миллиардов облигаций Федерального казначейства, выпускаемых сроком на двадцать лет. О том, какое значение для фирмы имело размещение ценных бумаг, свидетельствовало то обстоятельство, что кабинет Лопвица открывался прямо в «операционный зал».

В конференц-зале не было обычного стола посредине. Он скорее походил на гостиную в английском отеле для американцев, где сервируют чай. Всюду понаставлены всякие столики и шкафчики, такие древние, хрупкие и полированные, кажется, щелкни по доске пальцем — рассыпятся. И в то же время за широким, во всю стену, окном открывался грандиозный вид на Гудзон и заброшенные пристани у Джерсийского берега.

Шерман сел в кресло в стиле Георга II. Рядом на старинном стуле со спинкой в виде щита — Роли Торп. Остальные подлинно — или подельно — старинные стулья и кресла с придвинутыми шератоновскими или чиппендейльскими столиками заняли: главный посредник по правительственным операциям Джордж Коннор, на два года моложе Шермана, его помощник Вик Скази, которому вообще всего двадцать восемь лет, главный рыночный аналитик Пол Файфер и Арнольд Парч, вице-президент и правая рука Лопвица.

Все сидят на антикварной мебели и не спускают глаз с коричневого пластмассового аппарата, который стоит на верху шкафчика с пузатыми дверцами. Шкафчик работы братьев Адам, изготовлен двести двадцать лет назад и относится к тому периоду, когда они любили украшать деревянные панели своих изделий картинками и цветными бордюрами. У этого на средней дверце — овальное изображение греческой

девы: она сидит у входа в грот, а на заднем плане курчавая древесная листва уходит, темнея, в сизую даль сумеречного неба. Вещь сто́ила баснословных денег. Пластмассовая коробка, которая стоит на ней,— размером с прикроватный радиоприемник-часы. Все смотрят на него и ждут, чтобы раздался голос Джина Лопвица. Лопвиц в Лондоне, там сейчас 16 часов. Он будет проводить совещание по телефону.

Из аппарата послышалось невнятное гудение. Не то человек заговорил, не то пролетел самолет. Арнольд Парч встал с кресла, приблизился к адамовскому шкафчику и, глядя в пластмассовое жерло, спросил:

— Джин, слышишь меня хорошо?

И вопросительно, выжидательно посмотрел на коричневую коробку, словно она и есть Джин Лопвиц, только заколдованный, как в сказках принцы бывают заколдованы и превращены в лягушек. Пластмассовая лягушка сначала не отозвалась. И вдруг произнесла:

— Да, я тебя отлично слышу, Арни. Тут сейчас крик был большой.— Голос Лопвица шел словно бы из водосточной трубы, но разобрать было вполне можно.

— Ты где находишься, Джин?

— На крикетном матче,— и менее внятно, в сторону: — Эй, как, вы говорили, это место у вас называется? — По-видимому, он был в окружении каких-то людей.— А, да. Тоттнем-парк. Сижу вроде как на такой террасе.

— А кто играет? — спросил Парч с улыбкой, которая должна была показать пластмассовой лягушке, что вопрос этот задан в шутку.

— К черту подробности, Арни. Откуда я знаю? Какие-то очень приличные молодые джентльмены в толстых свитерах и белых фланелевых штанах, вот все, что я могу сказать.

В конференц-зале эту шутку встретили одобрительным смехом, у Шермана губы тоже сами собой растянулись в обязательную усмешку. Он посмотрел вокруг. Все ухмылялись, посмеивались, обращаясь к пластмассовой коробке, один Роли картинно закатил глаза к потолку. А потом перегнулся к Шерману и громким шепотом сказал:

— Смотри, как эти болваны скалятся, верно, думают, что коробочка-то с глазами.

Шерман не нашел здесь ничего остроумного, поскольку тоже скалился, как и остальные. К тому же он опасался, как бы преданный заместитель Лопвица Парч не решил, что он с Роли заодно и тоже потешается над главным.

— Итак, мы здесь все в сборе, Джин,— сказал коробке Парч,— и сейчас я попрошу Джорджа доложить тебе, как обстоит дело с аукционом на текущий момент.

Он кивнул Джорджу Коннору, отошел и сел на свое прежнее место, а Коннор поднялся с кресла, приблизился к адамовскому шкафчику, устремил взгляд на коричневую коробку и произнес:

— Джин? Говорит Джордж.

— Да-да, здоро́во, Джордж,— ответила пластмассовая лягушка.— Валяй, я слушаю.

— Докладываю ситуацию, Джин,— Коннор вытянулся перед антикварным шкафчиком, не в силах отвести взгляд от коробки.— Положение благоприятное. Старые двадцатилетние идут по восемь процентов. Посредники заявляют, что новые пойдут по восемь-ноль-пять, но наше мнение: они хитрят. Мы считаем, что реализуем их по восемь. Мое предложение: будем повышать от восьми-ноль-один, ноль-двух, ноль-трех, предельно до восьми-ноль-четырех. Я иду на шестьдесят процентов от всего выпуска.

Что в переводе означало: он готов купить на шесть миллиардов облигаций из предлагаемого на аукцион десятимиллиардного займа с ожиданием прибыли в две тридцать вторые, то есть шесть с четвертью центов на каждую сотню долларов. Это называлось — «две точки».

Шерман не удержался и опять посмотрел на Роли. У того на лице застыла язвительная полуулыбка, взгляд устремлен на несколько градусов вправо от адамовского шкафчика, к верфям Хобокена за окном. Своим видом Роли действовал на Шермана, как выплеснутый в лицо стакан холодной воды. Шерман еще больше разозлился. Понятно, что Роли сейчас думает: мол, этот нахальный выскочка Лопвиц сидит, важничает на трибуне английского крикет-клуба и одновременно проводит в Нью-Йорке совещание по вопросу о том, следует ли фирме вложить два, или четыре, или даже шесть миллиардов долларов в покупку облигаций государственного займа, который будет выпущен через три часа. Конечно, играет на публику, и весь крикет-клуб почтительно внимает тому, как его решающее слово взмывает в эмпиреи к спутнику связи и оттуда, отраженное, падает на Уолл-стрит. Ну и что? Насмешничать легко. Но ведь Лопвиц действительно настоящий Властитель Вселенной. Ему сейчас лет сорок пять. Дай Бог того же и Шерману через семь лет. Стоять одной ногой по ту сторону Атлантики, другой — по эту... и ворочать миллиардами! А Роли пусть кривит нос... и впадает в ничтожество... Только подумать, сколько Лопвиц уже огреб, сколько он зашибает каждый год в одном «Пирс-и-Пирсе», по меньшей мере — 25 миллионов! И какими благами пользуется в жизни! Тут Шерман, в первую голову, имеет в виду молодую жену Лопвица, Белоснежку, как прозвал ее Роли. Волосы черные, как вороново крыло, губы красные, как кровь, и кожа белая, как снег... У Лопвица она четвертая жена, француженка, кажется, даже какая-то графиня, лет двадцати пяти самое большее, и говорит, как Катрин Денёв в видеоклипе про пенное мыло для ванны. Да, это женщина... Шерман познакомился с ней на приеме у Питерсонов. Убеждая его в чем-то, она положила ладонь ему на локоть — и не отняла, а сдавила и заглянула прямо в глаза, близко-близко придвинув лицо! Резвое молодое животное. Лопвиц получил что хотел. Хотел иметь резвое молодое животное с губами красными как кровь и кожей белой как снег — и имеет. А что сталось с миссис Лопвиц номер один, номер два и номер три никто не знает. Когда достигаешь таких высот, как Лопвиц, это уже не важно.

— Да, пожалуй, мысль неплоха, Джордж,— произнесла пластмассовая лягушка-квакушка.— А что скажет Шерман? Шерман, ты меня слышишь?

— Привет, Джин! — откликнулся Шерман, вставая с кресла в стиле Георга II. Обращенный к пластмассовой коробке, его голос даже на его собственный слух прозвучал как-то странно. Не отваживаясь взглянуть на Роли, он приблизился к адамовскому шкафчику и подобострастно воззрился на стоящий сверху аппарат.

— Джин, все мои клиенты называют восемь-ноль-пять. Но у меня такое чувство, что они на нашей стороне. Рынок в нашу пользу. Можно предлагать процент выше заказчика.

— О'кей,— сказала квакушка.— Только смотрите не превысьте лимит торгово-операционных расходов. А то как бы еще Саломон или кто другой не вылез без покрытия.

Шерман про себя только подивился лягушачьей мудрости.

Из аппарата раздался придушенный рев. Все с недоумением на него посмотрели.

Снова зазвучал голос Лопвица:

— Тут сейчас один как заехал по мячу!.. Но мяч у них какой-то не прыгучий. Ну, да это надо видеть,— неопределенно заключил шеф.— Да, так вот, Джордж. Джордж, ты меня слышишь?

Коннор встрепенулся, вскочил с кресла, семеня подбежал к адамовскому шкафчику.

— Да, я тебя слышу, Джин.

— Я хотел сказать, если вас тянет сегодня хватануть побольше, валяйте. Мне кажется, дело верное.

И все. Решение было принято.

За сорок пять секунд до закрытия аукциона, а оно было назначено на час пополудни, Джордж Коннор, сидя в зале операций, продиктовал по телефону представителю «Пирс-и-Пирса» в здании Федерального казначейства, где физически происходил аукцион, окончательные повышенные предложения. За каждые 100 долларов облигаций по номиналу покупщик предлагал 99,62643 доллара. В час с секундами пополудни «Пирс-и-Пирс», как и было задумано, оказался владельцем облигаций двадцатилетнего казначейского займа на номинальную сумму в шесть миллиардов. В распоряжении Отдела ценных бумаг оставалось четыре часа на то, чтобы создать благоприятный рынок сбыта. Атаку возглавил Вик Скази за своим рабочим столом в зале операций, по телефону продавая облигации брокерским фирмам. Шерман и Роли повели в бой всю армию операторов, перепродавая облигации — тоже по телефону — страховым компаниям и кредитным банкам. К двум часам рев в зале операций с ценными бумагами, порожденный не столько алчностью, сколько страхом, приобрел оглушительную силу. К пяти часам Шерман парил в адреналиновой высоте. Разве он не принадлежит к Властителям Вселенной? С какой потрясающей отвагой была проведена вся операция! Рискнуть шестью миллиардами в расчете на «две точки», то есть на прибыль в 6 с четвертью центов на каждые 100 долларов, и получить в результате «четыре точки» — «четыре точки»! Пусть Лопвиц сколько влезет смотрит крикетные матчи — на здоровье! Пусть прикидывается пластмассовой лягушкой! Властитель Вселенной!.. Исполнен отвагой!.. Ощущение отваги разливалось по телу Шермана, бежало по лимфатическим путям, горело в паху. «Пирс-и-Пирс» — это сила, и он, Шерман, подключен к этой силе, она гудит и распаляется у него в жилах.

Джуди... О ней он не вспоминал уже несколько часов. Ну, что такое один дурацкий телефонный звонок... на страницах приходно-расходной книги «Пирс-и-Пирса»? Пятидесятый этаж предназначен для тех, кто бестрепетно берет от жизни все что хочет. И, ей-богу, не так уж он многого хочет — по сравнению с тем, что заслужил как Властитель Вселенной. Только порезвиться немного, когда придет охота, предаться простым удовольствиям, которые причитаются мужественному воину.

А она-то кто такая, чтобы так его мучить?

Неизвестно почему Джуди всегда его презирала, смотрела сверху вниз — а с каких таких высот? Подумаешь, дочь профессора Миллера, Э. Рональда Миллера из университета в Тервиллиджере, штат Висконсин, грузного, дурно одетого профессора Миллера, прославившегося за всю жизнь разве что одной нашумевшей (Шерман даже читал) статьей в журнале «Аспекты» за 1955 год, в которой довольно вяло нападал на своего земляка, сенатора Джозефа Маккарти. И, однако же, тогда, в Гринич-Виллидж, Шерман признавал ее превосходство. Он с удовольствием говорил ей, что хотя и работает на Уолл-стрит, но душой свободен, и на самом деле это Уолл-стрит работает на него. И радовался, когда Джуди, со своих высот, одобряла его пробуждающуюся сознательность. Она старалась внушить ему, что, в отличие от ее отца, его отец, Джон Кэмпбелл Мак-Кой, Лев «Даннинг-Спонджета» — скорее все же обыватель, высококлассный хранитель чужих капиталов. Почему, собственно, это было для Шермана так важно, он никогда не задумывался, его интерес к психоанализу, изначально вполне умеренный, совсем в одночасье угас еще в Йейле, когда Роли Торп как-то назвал фрейдизм «еврейской наукой». (Именно такое отношение тревожило и сердило самого Фрейда еще семьдесят пять лет назад.)

Впрочем, все это принадлежит прошлому, детству, проведенному на Семьдесят третьей улице Ист-Сайда, и юности в Гринич-Виллидж. Теперь — другая эра. На Уолл-стрит — новая жизнь. А Джуди — это пережиток времени его детства... но она живет, стареет... становится худой, высушенной... *приятной дамой.*

Шерман откинулся на спинку кресла и оглядывает зал операций с ценными бумагами. По экранам компьютерных терминалов все еще

бегут цепочки зеленых фосфоресцирующих цифр, но гул поубавился, стал больше похож на говор в спортивной раздевалке. У кресла Вика Скази стоит, руки в карманах, Джордж Коннор и просто-напросто болтает. Вик выгнул спину, повел плечами — сейчас зевнет. Вон, отвалившись от стола, разговаривает по телефону Роли, а сам ухмыляется и поглаживает плешивую макушку. Воины-триумфаторы после сражения... Властители Вселенной...

А у нее хватает духу причинять ему страдание из-за какого-то телефонного звонка!

4

ВЛАДЫКА ДЖУНГЛЕЙ

— Трах-татах-татах-татах-татах-татах-татах! — грохот взлетающих авиалайнеров больно бьет по барабанным перепонкам. В воздухе густо намешаны запахи самолетных выхлопов. От вони спазмы под ложечкой. По пандусу одна за другой въезжают машины и пробираются через толпу людей, которые ищут в сумерках вход на эскалатор, или свои машины, или чужие машины — обворовать! угнать! Его «мерседес», конечно, обворуют в первую очередь. Шерман стоял и держался за дверцу, не решаясь оставить свой черный двухместный «мерседес» спортивного образца стоимостью в 48 000 долларов — или в 120 000, зависит от точки зрения. Шерман как Властитель Вселенной относится к той категории налогоплательщиков, которым надо заработать 120 000, чтобы после расчетов с федеральным правительством, властями штата и города Нью-Йорка иметь 48 000 на автомобиль. И как он объяснит Джуди, если эту дорогую игрушку у него угонят отсюда, с крыши павильона прибытия в аэропорту имени Кеннеди?

Хотя — почему он вообще обязан ей что-то объяснять? Он целую неделю подряд каждый вечер как проклятый ужинал дома — впервые, кажется, за все годы, что работает в «Пирс-и-Пирсе». Уделял внимание Кэмпбелл, один раз просидел с ней чуть не сорок минут, что было уж и вовсе редкостью, хотя скажи ему это кто-нибудь, он бы удивился и даже обиделся. Не кряхтя и не злясь, подсоединил новый шнур к торшеру в библиотеке. На четвертые сутки его образцового поведения Джуди покинула кушетку в гардеробной и перешла спать обратно в спальню. Правда, теперь супружескую кровать разделила надвое Берлинская стена, и он все так же не удостаивался от жены ни слова на сон грядущий. Но при Кэмпбелл она соблюдала вежливость. А это — самое главное.

Два часа назад, когда он позвонил Джуди и предупредил, что задержится на работе, она отнеслась к этому спокойно. Что ж. Он ли не заслужил? Шерман бросил последний взгляд на «мерседес» и пошел в зал прибытия международных рейсов.

Зал находится внизу, в недрах аэровокзала, первоначально предназначенных, видимо, под багажное отделение. Длинные лампы дневного света были не в силах развеять подвальный сумрак. Встречающие теснились за металлическим барьером в ожидании, пока прибывшие из-за границы пассажиры пройдут таможенный досмотр. А вдруг среди них есть кто-нибудь знакомый? Шерман стал разглядывать толпу. Шорты, кроссовки, джинсы, спортивные свитера — господи, что это за публика? Авиапассажиры поодиночке выходили от таможенников. В тренировочных трикотажных костюмах, теннисках, ветровках, цветных гетрах, комбинезонах, утепленных куртках, бейсбольных фуражках, майках-безрукавках — только что из Рима, Милана, Парижа, Брюсселя, Мюнхена и Лондона; скитальцы по белу свету, граждане мира... Стоя в людском потоке, Шерман независимо вздернул свой йейльский подбородок.

Когда, наконец, появилась Мария, не заметить ее было бы трудно — среди этой шушеры она казалась пришелицей из другой галактики. На ней был ярко-синий костюм — юбка и жакет с огромными подложенными плечами по парижской моде, шелковая блуза в бело-синюю поло-

су и туфли-лодочки из крокодиловой кожи цвета электрик с белыми замшевыми мысками. Одни только туфли и блуза стоили не меньше, чем одежда любых двадцати женщин в этой толпе. Мария шла, задрав нос и переставляя ноги «от бедра» — походкой манекенщицы, рассчитанной на то, чтобы вызывать жгучую зависть и злобу. И на нее смотрели. Рядом с ней носильщик катил алюминиевую тележку, доверху загруженную поклажей, грудой набитых чемоданов и чемоданчиков, все — из одинаковой светлой кремовой кожи с шоколадной отделкой по краям. Вульгарно, конечно, подумал Шерман, но бывает вульгарнее. Летала в Италию всего на неделю, чтобы снять на лето виллу на озере Комо,— к чему столько вещей, совершенно непонятно. (Подсознательно Шерман относил такое барство за счет дурного воспитания.) Еще войдет ли все в его «мерседес»?

Он обошел барьер и шагнул ей навстречу, мужественно расправив плечи.

— Привет, крошка,— сказал он.

— Крошка? — переспросила Мария. К вопросу она добавила улыбку в знак того, что не обижается, но на самом деле такое обращение ее явно задело. Надо признать, что до сих пор он никогда не называл ее крошкой. Хотелось, чтобы прозвучало самоуверенно и невзначай: Властитель Вселенной встретил в аэропорту свою приятельницу.

Он взял ее под руку и пошел рядом. Решил сделать еще одну попытку:

— Ну, как летелось?

— Отлично,— ответила Мария,— если не считать, что один бритт шесть часов подряд наводил *тыщщу* своими разговорами (Шерман не сразу догадался, что она сказала: *тощищу*).— И посмотрела вдаль, словно вновь переживая выпавшие на ее долю страдания.

«Мерседес» оказался на месте, убереженный судьбой от вороватой толпы. В маленький спортивный багажник все чемоданы, конечно, не вошли, носильщик свалил половину на заднее сиденье, представлявшее собою всего лишь узкий уступ. Очаровательно, подумал Шерман; если резко затормозить, то как раз получишь по затылку одним из этих кремовых ридикюльчиков с шоколадной отделкой.

К тому времени, когда они выбрались из аэропорта на скоростное шоссе Ван-Вик и покатили в сторону Манхэттена, остатки дневного света быстро тускнели между домами и за деревьями Южного Озонового парка. Был тот миг сумерек, когда зажигаются фары и фонари, но света не добавляют. Впереди несся рой красных задних огней.

Шерман решил попробовать еще раз:

— Ну, как там в Милане? Что слышно на озере Комо?

— Шерман, кто такой Кристофер Марло?

Кристофер Марло?

— Не знаю. Я разве с ним знаком?

— Этот, о ком я тебя спрашиваю, был писатель.

— Драматург, что ли?

— Может быть. Он кто?

Мария глядела прямо перед собой и говорила так сокрушенно, будто у нее только что умер самый близкий человек.

— Кристофер Марло... Такой английский драматург, жил, кажется, в одно время с Шекспиром. Или, может, пораньше немного. А что?

— То есть когда именно? — страдальчески спросила Мария.

— Сейчас соображу. Бог его знает... В шестнадцатом веке вроде бы. Зачем тебе?

— А что он написал?

— М-м... Ей-богу, не знаю. И то хорошо, что вспомнил, кто это. Что он тебе дался?

— Да, но кто это, ты все-таки знаешь.

— Смутно.

— А насчет доктора Фауста?

— Доктора Фауста?

— Писал он что-нибудь про доктора Фауста?

— М-м-м...— Взблеснуло было что-то в памяти, но погасло.— Может, и писал. Доктор Фауст, доктор Фауст... А-а, «Мальтийский еврей»! Вот что он написал: драму «Мальтийский еврей». По-моему, я не ошибаюсь. «Мальтийский еврей». Удивительно, как это я вспомнил. Драма «Мальтийский еврей». Что я ее в жизни не читал, это совершенно точно.

— Но, по крайней мере, ты знаешь, кто это. О нем ведь полагается знать, да?

Вот именно. Тут она не ошибалась. Единственное, что Шерман запомнил про Кристофера Марло после девяти лет учения в Бакли, четырех — в колледже Святого Павла и четырех — в Йейле, это что о нем полагается знать. Но он ей этого говорить не стал. Наоборот, спросил:

— Кому полагается?

— Всем,— хмуро отозвалась Мария.— Мне, например.

«Мерседес» уже влился в поток машин на Гранд-Сентрал-парквей, а Мария все еще хмуро глядела прямо перед собой. Целая галактика мчащихся автомобильных фар и задних огней заполнила обзор — точно вся энергия огромного города преобразилась в неисчислимый хоровод светил, вращающихся в черной пустоте. Едешь в «мерседесе» с поднятыми стеклами, кругом все летит и несется, но в салон не проникает ни звука. Потрясающе.

— Знаешь, что я тебе скажу, Шерман (у нее, как всегда, получилось: «Шууман»). Я этих бриттов терпеть не могу. Ненавижу.

— Ненавидишь Кристофера Марло?

— Спасибочки за остроумие. Подумаешь, какой умник нашелся. Не хуже того гада, что сидел со мной рядом.

Теперь она глядела на Шермана и улыбалась. То была вымученная, отважная улыбка наперекор большой боли. И глаза вот-вот наполнятся слезами.

— Какого еще гада? — не понял Шерман.

— В самолете. Ну, того, что рядом сидел. *Бритт.*— Синоним: червь.— Завел разговор. Я смотрела каталог Райнера Феттинга, была на его выставке в Милано,— Шермана покоробило, что она произнесла на итальянский манер: Милано, а не просто Милан, тем более что о Райнере Феттинге он никогда не слышал.— И он стал рассуждать о Райнере Феттинге. У него был золотой «роллекс» на руке, знаешь? такие здоровущие часы? кажется, не поднять руку? — привычка барышни с Американского Юга произносить утвердительные фразы с вопросительной интонацией.

— Думаешь, кадрился?

Мария улыбнулась, на этот раз самодовольно.

— Конечно!

У Шермана с души свалился камень. Слава богу, она больше не дуется. Хотя в чем тут было дело, он не понимал. Ему было невдомек, что для некоторых женщин собственная сексуальная привлекательность так же важна, как для него — успех на рынке ценных бумаг. Он знал только одно: она больше не дуется и на сердце у него теперь легко. Пусть болтает о чем хочет, не важно о чем. И она, действительно, принялась болтать. Ее занимало только что пережитое унижение:

— Не успел рот разинуть и уже сообщил мне, что он, видите ли, кинорежиссер. Ставит фильм по этой вот самой драме «Доктор Фауст» Кристофера Марло, или он просто Марло сказал, кажется. Не знаю, кто меня за язык потянул, я просто думала, что какой-то Марло пишет сценарии для фильмов. А может, мне на самом-то деле просто вспомнилось, фильм такой есть, в нем герой — Марло, Роберт Митчем его играл.

— Верно. По роману Реймонда Чандлера.

Мария посмотрела на него непонимающими глазами. Он сразу бросил Реймонда Чандлера.

— Так что же ты ему сказала?

— А я возьми и ляпни: «А-а, Кристофер Марло! Он ведь написал какой-то сценарий?» И знаешь, что этот... гад... ответил? «Ну, не думаю. Он ведь скончался в 1593 году». Представляешь? «Ну, не думаю»!

Глаза ее жарко вспыхнули. Шерман минуту переждал. А потом спросил:

— И это — все?

— Все? Я думала, я его удушу. Он меня... унизил. *«Ну, не думаю»*. Такое хамство, я своим ушам не поверила.

— Ну, и что ты ему сказала?

— Больше ничего. Покраснела как вареный рак. И не могу слова выговорить.

— И от этого у тебя такое настроение?

— Шерман, скажи мне по честности. Если человек не знает, кто такой Кристофер Марло, разве это значит, что он кретин?

— Ну, что за вздор, Мария. Я просто не могу поверить, чтобы ты из-за этого впала в такой мрак.

— Какой еще мрак?

— Ну, мрачное настроение, в каком ты приехала.

— Ты мне не ответил, Шерман. Кто не знает, кто такой Марло, тот, значит, кретин?

— Не смеши меня. Я вон едва вспомнил, кто это, а ведь небось мы его проходили.

— В том-то все и дело! Ты зато его проходил. А я не проходила. И из-за этого я чувствую себя так... ты, похоже, даже и не понимаешь, о чем я говорю?

— Вот это точно! — подтвердил он с улыбкой.

И Мария улыбнулась ему в ответ.

В это время они проезжали аэропорт «Ла-Гуардия», залитый желтыми огнями сотен неоновых фонарей. На ворота в небеса это было мало похоже, больше на какой-то завод. Шерман перестроился в крайний ряд, съехал на полной скорости под путевод Тридцать первой улицы и взял подъем на мост Трайборо. Мрак рассеялся. Шерман снова был полон довольства собой. Ему удалось ее хоть немножко растормошить.

Но дальше пришлось притормозить. Все четыре дорожки были забиты медленно ползущими машинами. Поднявшись на высокий горб моста, он увидел слева силуэт Манхэттена. Небоскреб к небоскребу, прямо чувствуется вес и мощь. Сколько народу во всем мире мечтают очутиться на этом острове, на его узких улицах, в его потрясающих небоскребах! Вот он — Рим, Париж, Лондон двадцатого века, город честолюбивых мечтаний, магнитная скала, конечная цель всех, кто борется за право быть в центре событий. И он, Шерман,— в ряду победителей! Живет на Парк авеню, улице Всеобщей Мечты. Работает на Уолл-стрит на пятидесятом этаже над уровнем земли в легендарной фирме «Пирс-и-Пирс», откуда открывается вид на весь мир. А сейчас вот сидит за рулем спортивного «мерседеса» стоимостью в 48 тысяч, и рядом — одна из первых красавиц Нью-Йорка, не ахти какая специалистка по истории литературы, допустим, но зато женщина просто роскошная! Резвое молодое животное! Он, Шерман, принадлежит к той породе людей, чье предназначение — получать от жизни то, что они хотят.

Он отнял одну руку от баранки и указал в окно на чудесный остров:

— Полюбуйся, крошка!

— Мы опять перешли на «крошку»?

— Просто мне пришла такая охота — называть тебя крошкой, крошка. Полюбуйся, полюбуйся. Великий город Нью-Йорк!

— Ты считаешь, что я из тех женщин, которым подходит обращение «крошка»?

— Вполне. Где ты хочешь ужинать, Мария? Весь город Нью-Йорк к твоим услугам.

— Шерман! Разве здесь не надо свернуть?

Он посмотрел вправо. Совершенно верно. Он был на два ряда левее тех машин, что двигались к съезду в Манхэттен, и перестроиться теперь не было никакой возможности. Все ряды представляли собой сплошные потоки легковых и грузовых автомобилей, друг за другом, бампер к бамперу, продвигающихся к площадке с турникетами в ста ярдах впереди. Над турникетами залитая желтым светом фонарей была растянута огромная, во всю ширину, зеленая надпись: БРОНКС СЕВЕР ШТАТА НЬЮ-ЙОРК НОВАЯ АНГЛИЯ.

— Шерман, я точно знаю, что поворот на Манхэттен — вон там.

— Ты права, дорогая, но я не могу перестроиться.

— А эта куда идет?

— В Бронкс.

Очередь машин в туче частиц серы и углерода ползла к турникетам.

«Мерседес» так низко сидел на колесах, что Шерману пришлось привстать, чтобы отдать свои два доллара пошлины. Чернокожий служащий в будке устало посмотрел на него сверху вниз. По боку будки шла длинная царапина. И ее уже тронуло ржавчиной.

Шерман испытал мутное, неопределенное ощущение опасности. Бронкс... Он родился и вырос в Нью-Йорке и гордился своим знанием города. *Я Нью-Йорк знаю.* Но на самом деле его знакомство с Бронксом за тридцать восемь лет жизни ограничивалось пятью или шестью поездками в зоопарк и двумя — в Ботанические сады, да еще он раз десять ездил на стадион «Янки», в последний раз — в 1977 году на мировое первенство по футболу. Он знал, что улицы в Бронксе носят номера в продолжение манхэттенской нумерации. Значит, что надо сделать? Надо доехать до перекрестка, свернуть по улице, идущей на запад, и ехать по ней, пока не попадется авеню, которая ведет в Манхэттен. Вроде ничего страшного.

Туча красных задних огней теперь мешала ему. В темноте, окруженный этим красным роем, он не мог толком сориентироваться. Терялось чувство направления. Похоже, едут по-прежнему на север. На подъезде к мосту заметного поворота не было. Но теперь приходилось довольствоваться только подсказкой дорожных знаков. На глаз он тут уже ничего не узнавал, ничего не помнил. После моста дорога раздваивалась. Влево, как оповещалось,— по шоссе Майора Дигана к мосту Джорджа Вашингтона. Вправо — по Брукнеровскому бульвару и дальше в Новую Англию... Дигановское шоссе — это на север. Не годится... Крутим баранку направо... Вот тебе на! Опять развилка. Либо в Восточный Бронкс и в Новую Англию, либо по Сто тридцать восьмой восточной улице на Брукнеровский бульвар... Как хочешь, так и выбирай... Орел или решка?.. Снова крутим направо... Восточная Сто тридцать восьмая. Съезд. Кончилось просторное размеченное скоростное шоссе, кончился пологий съезд. Они очутились на земле. Словно провалились на какую-то свалку. Скоростное шоссе идет по эстакаде. В темноте Шерман видит с левой стороны парапет и сетку... Там что-то торчит... Женская голова!.. Да нет же, это трехногий стул с прогоревшим сиденьем, и болтаются космы жженного мочала... Кому понадобилось воткнуть стул в сетку ограждения? Для чего?

— Шерман, где мы находимся?

По голосу Шерман сразу понял, что ни о Кристофере Марло и ни о том, где бы поужинать, сейчас больше речи нет.

— В Бронксе.

— А как отсюда выбраться, ты знаешь?

— Конечно. Нужно только найти поперечную улицу... Ну, скажем... например, ту же Сто тридцать восьмую.

Они едут на север под скоростным шоссе. Но куда это шоссе ведет? Движение в два ряда, оба — прямо... С левой стороны — ограждение и бетонные опоры эстакады... Чтобы найти улицу, ведущую в Манхэттен, надо свернуть на запад... то есть налево... но налево не свернешь, там

забор... Давай сообразим... Сто тридцать восьмая улица... Где она может проходить?.. Вон, вон! Указатель: 138-я! Шерман начинает прижиматься влево, чтобы сделать левый поворот... Впереди — большой разрыв в ограждении, именно туда и надо свернуть... Но свернуть невозможно! Слева от него — четыре или пять рядов автомашин, два — на север, два — навстречу, да еще за ними полоса, катят, громыхая, легковые и грузовые машины, одни туда, другие сюда... Разве поперек движения свернешь?.. И поэтому Шерман продолжает ехать дальше... В Бронкс... Снова впереди просвет в ограждении... Шерман жмется левее — опять та же картина! Нет тут левого поворота!.. Словно в ловушку попал под темным путепроводом. Но ведь ничего страшного? Полно машин...

— Шерман, куда мы едем?

— Пытаюсь повернуть налево, но с этой сволочной дороги нет левого поворота. Я постараюсь сейчас свернуть где-нибудь направо, там развернусь и оттуда уже попаду на другую сторону.

Мария промолчала. Шерман скосил глаза: она сидит и хмуро смотрит прямо перед собой. Впереди справа, над крышами низких старых домов, показалась вывеска:

ЛУЧШАЯ В БРОНКСЕ
ОПТОВАЯ МЯСНАЯ ТОРГОВЛЯ

Мясная торговля... в недрах Бронкса... Вон просвет в ограждении... Шерман начинает выруливать вправо — и сразу оглушительный гудок! — мимо проносится тяжелый грузовик! — едва успел отрулить.

— Шерман!

— Прости, крошка.

Пропустил правый поворот... Едет дальше, держась как можно правее в правом ряду, чтобы при первой же возможности сразу свернуть... Снова просвет... Свернул на какую-то широкую улицу. Сколько вдруг пешеходов, половина на тротуарах, половина прямо на мостовой... Темнокожие, но не негры... пуэрториканцы?.. На той стороне — длинное низкое здание, окна второго этажа — в резных наличниках... похоже на швейцарское шале из детской книжки... но стены все прокопчены... С этой стороны — пивная. Шерман смотрит во все глаза. Окна до половины закрыты железными ставнями... Сколько народу на улице... Лучше сбавить ход... Низкие жилые дома с оконными проемами без рам... Красный свет. Шерман тормозит. Мария крутит головой во все стороны... «Уууууааа!» — громкий вопль откуда-то слева... Через улицу ленивой походкой переходит молодой человек с усиками, в спортивной рубашке. За ним, пронзительно крича: «Уууууааа!», бежит женщина. Лицо смуглое, мелко-курчавые желтые волосы... Закидывает руки ему на шею, но как-то замедленно, будто спьяну. «Уууууааа!» Душит, что ли? Но он, не глядя, бьет ее с размаху локтем в живот. И она отпускает его шею, отшатывается. Падает посреди мостовой на четвереньки. А парень продолжает шагать через улицу, даже не оглянувшись. Женщина поднимается. Бросается вслед за ним. «Уууууааа!» Теперь они оба очутились перед «мерседесом». Шерман и Мария сидят на креслах-сиденьях из желтой кожи и смотрят прямо на дерущихся. Женщина снова обхватила мужчину за шею. Он опять ударяет ее локтем под ложечку. Зажегся зеленый свет, но Шерман не может стронуться с места. С обоих тротуаров на мостовую сошли люди и наблюдают драку с близкого расстояния. Смеются. Улюлюкают. Она вцепилась ему в волосы. Он морщится от боли и отбивается обоими локтями. Улица запружена публикой. Шерман смотрит на Марию. Что тут скажешь? Двое белых, мужчина и молодая женщина в ярко-синем парижском жакете с вот эдакими плечами... на заднем сиденье навалены одинаковые чемоданы и сумки — столько багажа, что отправляйся хоть в Китай... спортивный «мерседес» за 48 000... И все это — в самом центре Южного Бронкса... Удивительно! Никто даже не обращает на них внимания. Будто просто —

автомобиль как автомобиль, стоит перед светофором. Дерущиеся постепенно перебрались через улицу, и теперь, на тротуаре, схватились, как борцы сумо, лицом к лицу. Качаются, наступают, пятятся. Оба устали. Тяжело дышат. Воинственный пыл весь вышел. Можно подумать, что они не дерутся, а танцуют. Публика утратила интерес, начинает расходиться.

Шерман говорит Марии:

— Вот что делает любовь, крошка.

Хочет показать, что ему нисколько не страшно.

Теперь путь перед «мерседесом» свободен, но снова зажегся красный свет. Выждав зеленого, он трогается дальше. Тут уже не так много народу... улица широкая. Он разворачивается и едет по этой же улице в обратном направлении.

— Шерман, что ты теперь собираешься делать?

— По-моему, теперь все в порядке. Это — главная поперечная улица. И мы едем туда, куда надо. На запад.

Но, переехав автостраду под путепроводом, они оказались на запутанном перекрестке. Улицы сходились под неожиданными углами... Во все стороны двигались пешеходы... Лица темнокожие... Вон вход в подземку... Дальше — низкие дома, магазины... «Самые вкусные китайские блюда навынос»... Не поймешь, какая улица идет на запад... Пожалуй что вон та. Вернее всего. Шерман свернул... Опять широкая улица, по обеим сторонам — припаркованные машины... там, дальше, уже в два ряда, и даже в три... сколько народу! Как тут проедешь?.. И Шерман опять свернул. Название улицы значилось на табличке, но таблички тут висели не вдоль улицы, а где-то сбоку. Восточная какая-то — это если ехать в ту сторону... Шерман поехал, но улица вскоре слилась с другой, и по обе стороны потянулись низкие здания. По-видимому, пустующие. На ближайшем перекрестке он повернул — на запад, по его представлениям,— и проехал еще несколько кварталов. Опять какие-то низкие здания, то ли гаражи, то ли склады. Заборы со спиральной проволокой поверху. Народу на улицах никого, это как раз хорошо, убеждал он себя, но сердце почему-то стучало громко и нервно. Снова свернул. Тесная улица, в два ряда жилые дома в семь и восемь этажей. Не видно ни души, и окна — ни одно не светится. Следующий квартал — то же самое. Еще один поворот, и за углом —

— поразительно. Большой, совершенно незастроенный, голый пустырь. Квартал за кварталом — шесть? восемь? двенадцать? — городских кварталов без единого здания. Мостовые есть. И тротуары. И уличные фонари на столбах. А больше — ничего. Сетка призрачного городского плана, залитая химически-желтым электрическим светом. Кое-где виднелись кучи мусора, щебня. Земля словно бетонированная, только не ровная, а то вверх, то вниз под уклон... Холмы и ложбины Бронкса... оголенный асфальт, бетон и гарь... в зловещем желтом сиянии.

Трудно даже поверить, что едешь по нью-йоркской улице. Начался длинный пологий подъем. Впереди, в двух кварталах... или в трех, не разберешь на этом грандиозном пустыре... стоит на углу одинокое здание, последнее... этажа в три-четыре... Кажется, что вот-вот повалится... Нижний этаж освещен, вроде там магазин или бар... На тротуаре перед входом — люди, три или четыре человека, подсвеченные угловым фонарем.

— Это что за район, Шерман?

Мария заглядывает ему в лицо.

— Наверно, Юго-Восточный Бронкс.

— То есть ты не знаешь, где мы?

— Представление имею: если будем ехать все время на запад, то в конце концов выберемся.

— А ты уверен, что мы едем на запад?

— Конечно, на запад, не волнуйся, пожалуйста. Мне бы вот только...

— Что?

— Может, ты увидишь какую-нибудь табличку с названием улицы... Мне бы найти нумерованную улицу.

Вон там дома... Шерман свернул. Проехал мимо зданий с пустыми глазницами окон.

Впереди показался скверик, обнесенный низкой железной оградой. Надо было взять либо левее, либо правее. Улицы расходились под самыми немыслимыми углами. Шерман окончательно утратил представление об уличной сетке города. Здесь было уже совсем не похоже на Нью-Йорк. Какой-то заштатный, полувымерший городишко Новой Англии. Шерман еще раз повернул налево.

— Шерман, мне это начинает сильно не нравиться.

— Не беспокойся, детка.

— Перешли на «детку»?

— Ты же возражала против «крошки».— Он постарался сказать это легкомысленным тоном.

Здесь вдоль тротуаров припаркованы машины... Под фонарем стоят три юнца; черные лица; стеганые куртки. Глазеют на «мерседес». Шерман снова свернул.

Впереди — мутное желтое свечение, должно быть, там проходит какая-то более главная улица. Чем ближе к ней, тем больше народу — на тротуарах, в дверях, на мостовых... Сколько черных лиц... Впереди на мостовой — какое-то препятствие. Темнота поглощает свет фар. Потом Шерман все-таки разглядел: посередине улицы стоит автомобиль... вокруг толпятся подростки... Опять черные лица. Как, интересно, их объедешь? Надавил кнопку запора дверей. И сам же вздрогнул от электронного щелчка — словно сработала пружина капкана. Медленно повел «мерседес» сквозь толпу. Чернокожие парни, наклоняясь, заглядывали в стекла. Шерман уголком глаза приметил одного, он широко улыбался. Ничего не говорил, просто смотрел и скалил зубы. Слава богу, можно как-то протиснуться. «Мерседес» полз вперед. А что если спустит баллон? Или заглохнет мотор? Вот это будет история... Но Шерман не паникует. Он по-прежнему хозяин положения. Главное — двигаться вперед! Кати давай! «Мерседес» за 48 000 долларов. Ну-ка, немецкие головы, стальные инженерские мозги... Смотрите не подкачайте... Объехал! Поперек идет большая улица. В обе стороны — оживленное движение. Шерман облегченно вздохнул. Теперь поедем по ней. Можно направо, можно налево, не имеет значения. Подъехал к перекрестку. Красный свет. Ну и черт с ним! Двинулся с ходу вперед.

— Шерман, ты едешь на красный свет!

— Ну и хорошо. Может, постовой появится. Я не обижусь.

Мария не ответила. Все заботы ее роскошного бытия свелись к одной: как бы поскорее выбраться из Бронкса.

Впереди горчичный свет фонарей стал ярче и раздался в стороны... Какой-то крупный перекресток... Минуточку! Вон там вход в подземку. С этой стороны — магазин, дешевые закусочные... «Жареные цыплята по-техасски»... «Самые вкусные китайские блюда навынос»... *Самые вкусные китайские блюда!*

У Марии — та же мысль.

— Господи Иисусе, Шерман! Мы выехали туда же, откуда свернули! Описали круг.

— Знаю. Знаю. Минутку помолчи, дай сообразить. Вот что: я сейчас поверну направо, вернусь под эстакаду и...

— Шерман! Только не под эту чертову эстакаду!

Скоростное шоссе шло по эстакаде, у них над головами. На светофоре зажегся зеленый. Шерман никак не мог решить, что делать. Сзади нетерпеливо гудели.

— Шерман! Взгляни вон туда! Там написано: мост Джорджа Вашингтона!

Где? Гудки сзади не умолкали. Но тут Шерман тоже увидел. Знак был на той стороне, под эстакадой, в сером слабом свете — дорожный

указатель на бетонном основании: 95 и 895 МОСТ ДЖ. ВАШИНГТОНА... Там должен быть и въезд...

— Но ведь нам не в ту сторону! Это же на север!

— Шерман! Ну и что? По крайней мере, известно, где это! По крайней мере, цивилизация! Только бы отсюда вырваться.

Сзади надрывается гудок. Добавился еще человеческий раздраженный крик. Шерман рванул с места на последних секундах зеленого света. Пересек пять полос — туда, где маячил вожделенный дорожный указатель. И снова очутился под эстакадой.

— Вон туда, Шерман!

— Хорошо, хорошо, я вижу.

Въезд похож на узкую черную шахту для сбрасывания угля, справа и слева — бетонные ограждения. «Мерседес» сильно тряхнуло на выбоине в асфальте.

— Черт,— пробормотал Шерман.— Я даже не заметил.

Он всматривается вперед, перегнувшись через баранку. Лучи фар одну за другой перебирают бетонные стойки. Шерман переключил на вторую. Выехал на крутой подъем, дал газ... Человеческие тела!.. Трупы на мостовой!.. Лежат, скрючившись, с подогнутыми коленями... Нет, это не тела. Это асфальт вспучился... Да нет же, это контейнеры... мусорные баки. Надо прижаться влево, иначе не объедешь. Он переключил на первую скорость и взял левее... Опять что-то там виднеется в свете фар... Сначала показалось, что человек спрыгнул с ограждения на мостовую... Но размеры не те... Небольшое животное... Залегло посреди дороги, нельзя проехать... Шерман резко нажал на тормоз... Один из чемоданов ударил по затылку... Второй по шее...

Вскрикнула Мария. Ей на подголовник съехала большая сумка. Мотор заглох. Шерман поставил на тормоз, снял сумку у Марии с головы и запихнул обратно на заднее сиденье.

— Цела?

Мария смотрела не на него. Она вглядывалась сквозь лобовое стекло.

— Что это там?

На пути «мерседеса» — не животное... узоры протектора... Колесо! Первая мысль Шермана: наверху, на эстакаде, у машины отвалилось колесо и с разгону скатилось сюда. Он вдруг услышал тишину — мотор «мерседеса» безмолвствовал. Снова включил стартер. Проверил тормоза, держат ли. И открыл дверцу.

— Шерман, ты что?

— Надо оттащить эту штуковину с дороги.

— Смотри, осторожнее. Вдруг машина навстречу.

— Была не была.— Шерман пожал плечами и вылез.

Странно как-то — стоишь на крутом асфальтированном подъеме, вверху по эстакаде катятся машины, звонко лязгая на металлическом стыке, и смотришь снизу на черное подбрюшье путепровода. Машин, идущих поверху, конечно, не видно, только слышно, как они проносятся на больших скоростях и эстакада лязгает и вибрирует. Гулко дрожит вся огромная, изъеденная ржавчиной инженерная конструкция. И в то же время — тихо. До того тихо, что слышно, как поскрипывают и шуршат на каждом шагу вверх подметки и каблуки его ботинок — английских кожаных ботинок, купленных за 650 долларов в магазине фирмы «Нью и Лингвуд», что в Лондоне, на Джермин-стрит. Скрип и шорох его подошв звучат с удивительной отчетливостью. Шерман нагнулся. Нет, это все-таки не колесо. Просто покрышка. Как мог автомобиль на ходу потерять покрышку? Он поднял ее.

— Шерман!

Шерман оглянулся на «мерседес». Сзади к нему приближаются два человека... два чернокожих парня... «Бостон Селтикс»!.. Тот, что впереди, одет в серебристую баскетбольную куртку с надписью «Селтикс» поперек груди... Он уже в четырех-пяти шагах от Шермана... Здоровен-

ный... Молния спущена, куртка нараспашку... видна белая футболка на мощных грудных мышцах... Квадратное лицо... широкие скулы... Смотрит плотоядно... как хищник! Смотрит Шерману прямо в глаза... и медленно приближается. Второй — долговязый, но щуплый, длинная шея, узкое лицо... слабое лицо... глаза вытаращил... словно испуган. На тощих плечах болтается широкий свитер. Этот идет на два шага позади здоровенного.

— Йо! — окликает здоровяк Шермана.— Помощь не нужна?

Шерман стоит как вкопанный, держит перед собой покрышку и смотрит на парней.

— Случилось чего? Помочь не надо?

Голос дружелюбный. *Это они подстроили! Вон он держит руку в кармане!* Но говорит вроде бы искренне. *Это ловушка, дурак ты несчастный!* Может быть, он правда хочет помочь? *А что они делают тут на въезде, интересно знать?* Так ничего же и не делают — и не угрожают. *Подожди, сейчас они тебе покажут!* Надо просто ответить вежливо. *Да ты что, спятил? Действуй! Не жди.* В голове у Шермана — шум, будто шипит вырывающийся пар. Он держит покрышку перед грудью. *Ну!* Рраз! Он шагнул навстречу переднему, бросил в него покрышку. Но она полетела обратно! Прямо в Шермана — парень вскинул руки и отбил ее. И сам не устоял на ногах. Шерман тоже по инерции пролетел вперед, но дорогие кожаные подошвы удержали. Он извернулся.

— Шерман!

Мария сидит за рулем «мерседеса». Мотор бешено работает. Дверца со стороны пассажирского сиденья отпахнута.

— Садись!

Между ним и машиной теперь второй парень, щуплый... рожа перепуганная... глаза вылуплены... Шерман в панике... Только бы прорваться к машине! Побежал, набычив голову, налетел на того. Отшвырнул его с ходу, парень отлетел на задний бампер «мерседеса», но удержался на ногах.

— Генри!

Здоровенный поднимается с асфальта. Шерман плюхнулся на пассажирское сиденье.

Ужас на лице Марии.

— Сел?

Мотор ревет... Ну, немецкая боевая техника, давай... Снаружи что-то метнулось... Шерман поймал ручку и на резком выплеске адреналина захлопнул дверцу. Краем глаза он видит, что здоровенный детина уже у дверцы с Мариной стороны. Шерман надавил кнопку запора. Здоровяк дергает ручку, буквы «Селтикс» — у самого ее лица, отгороженные только стеклом. Мария включила первую скорость, «мерседес», взвыв, сорвался с места. Парень отпрыгнул в сторону. «Мерседес» идет прямо на мусорные бачки. Мария нажала тормоз. Шермана швырнуло на приборную доску. Сверху на ручку скоростей спланировал баул. Шерман стащил его к себе на колени. Мария дала задний ход. Шерман взглянул в окно. Щуплый парень стоит справа и смотрит ему в глаза... узкое юное лицо не выражает ничего, кроме страха... Мария снова переключила на первую... Она тяжело и громко дышит, будто захлебываясь...

Шерман крикнул:

— Осторожно!

Здоровенный опять двинулся на машину, держа покрышку над головой. Мария направила «мерседес» прямо на него. Он отскочил... Метнулось что-то темное... Сильный удар... Покрышка шмякнулась в лобовое стекло и отрикошетила. Стекло целехонько... Молодцы немцы!.. Мария выкрутила баранку влево, чтобы не наехать на мусорные баки... Там стоит второй парень, щуплый... Задний мост занесло... *чпок!*.. Щуплого парня там больше нет. Мария бешено крутит баранку. Между ограж-

дением и мусорными баками — узкий промежуток. «Мерседес» едва вписался, скрежеща колесами... Взлетел вверх на эстакаду... Шерман вцепился в приборную доску... Вот и длинный язык автострады. Мимо несутся автомобильные огни... Мария затормозила. Шермана с баулом бросило вперед... *Ххаа! Ххааа! Ххаааа!*.. Он, было, подумал, что Мария смеется. Но нет, это она так дышала.

— Жива?

Не отвечая, она с места снова рванула вперед. Сзади гудок...

— Ты что? Мария!

Задняя машина, не переставая сигналить, обошла их и унеслась. Они выехали на скоростное шоссе.

Глаза щиплет от пота. Шерман отнял одну руку от баула, чтобы утереться, но оказалось, рука так дрожит, что пришлось опустить ее обратно. Сердце колотится прямо в горле. Рубашка взмокла. Пиджак сползает с плеч, по-видимому, лопнули швы на спине. Легким не хватает кислорода.

«Мерседес», как вихрь, несется по шоссе, ни к чему так быстро.

— Сбавь, Мария! Слышишь?

— Куда идет эта дорога, Шерман?

— Следуй по указателям на мост Джорджа Вашингтона и, ради бога, сбавь скорость.

Мария отняла одну руку от баранки, чтобы откинуть волосы со лба,— вся рука, от плеча до пальцев, заметно дрожала. Можно ли ей в таком состоянии доверять машину? — мелькнула мысль у Шермана. Но лучше ее сейчас не отвлекать. У него у самого сердце глухо бухает о ребра, словно с цепи сорвалось в грудной клетке.

— Мать твою, у меня руки трясутся! — выругалась Мария. Он до сих пор не слышал, чтобы она употребляла такие слова.

— А ты успокойся,— сказал Шерман.— Все в порядке, мы уже выбрались.

— Но куда мы так попадем?

— Не нервничай! Следуй по указателям на мост Вашингтона, и все.

— Мать твою! Мы же так и ехали.

— Да успокойся ты, в самом деле! Я тебе скажу, где сворачивать.

— Только опять не наложи в штаны, Шерман.

Шерман обеими руками сжимал баул, словно вторую баранку. И старался не отрывать глаза от дороги. Вдруг впереди над автострадой возник указатель: КРОСС-БРОНКС МОСТ ВАШИНГ.

— Что значит: Кросс-Бронкс?

— Не важно. Сворачивай туда.

— Какого хрена, Шерман?

— Все в порядке. Давай дальше прямо.

Лоцман. Он смотрит на белую полосу, тянущуюся посреди проезжей части. Смотрит сосредоточенно, не отрываясь... И вот уже линия сама по себе, дорога сама по себе, полосы... указатели... задние огни... Он вдруг утратил связную картину... Он видит все врозь... по частям, по деталям!.. Господи! *Я потерял рассудок!* Сердце колотится... Но потом — щелчок!.. И все стало на свои места.

Над головой новый указатель: МАЙОРА ДИГАНА МОСТ ТРАЙБОРО.

— Видишь, Мария! Мост Трайборо! Сворачивай сюда.

— Ты что? Нам же нужен мост Вашингтона!

— Да нет же! Трайборо! Это прямая дорога на Манхэттен.

Они свернули. Снова указатель: УИЛЛИС АВ.

— Где это, Уиллис авеню?

— По-моему, в Бронксе,— сказал Шерман.

— Мать твою!

— Прижимайся влево! Все правильно.

— Заткнись, Шерман!

Огромный дорожный знак над головой: ТРАЙБОРО.

— А? Что? Теперь видишь, Мария?

— Вижу.

— Держись правее. Съезд будет в правую сторону.

Шерман сжимает баул, словно это не баул, а баранка у него в руках и он делает правый поворот. Он сидит и вертит баул у себя на коленях. Рядом — Мария в парижском ярко-синем жакете... с вот эдакими подложенными плечами... Испуганная зверушка под квадратными синими парижскими плечами... Они едут в «мерседесе» за 48 000 долларов, оснащенном шикарными авиационными приборами... И не чают, как выбраться из Бронкса... Вот съезд. Шерман изо всех сил держится за баул, словно сейчас должен налететь смерч, сбить их с верной дороги и швырнуть обратно в Бронкс!

Свернули. Перед ними простирается длинный, пологий спуск к мосту и дальше в Манхэттен.

Хаахх! Хаахх! Хаахх! Хаахх!

— Шерман.

Он повернулся к ней. Она тяжело дышит, хватает ртом воздух.

— Ну, вот и все, дорогая.

— Шерман, он его швырнул... прямо в меня!

— Что швырнул?

— Да колесо это.

Действительно, покрышка ударилась в стекло прямо перед ее лицом. Но в памяти Шермана мелькнуло еще кое-что... *чпок!*.. удар заднего бампера!.. и щуплого парнишки — как не бывало... У Марии вырвалось рыдание.

— Слушай, возьми себя в руки. Теперь совсем недалеко.

Она шмыгнула носом.

— Господи...

Шерман протянул левую руку и принялся массировать ей сзади шею.

— Ты молодчина. Вела себя как герой.

— Ой, Шерман.

Особенно нелепо — он и сам чувствует, как это нелепо,— что его все время подмывает улыбнуться. Я ее спас! Я — ее защитник! И он продолжает массировать ей шею.

— Это была всего лишь покрышка,— говорит защитник, упиваясь своей ролью утешителя слабых.— А то бы разбилось лобовое стекло.

— Он бросил... прямо в меня!

— Я знаю, знаю. Теперь все в порядке. Все позади.— Но мысленно он слышал: *чпок!* — и нет щуплого парнишки.

— Мария, по-моему, ты... мы одного из них сбили.

Ты... мы — глубокий патриархальный инстинкт, пробуждаясь, уже назойливо норовит принять вину на себя.

Мария молчит.

— Знаешь, когда нас занесло. Был такой... вроде бы звук... звучок: *чпок!*

Мария ничего не говорит. Шерман смотрит вопросительно. Наконец, она отозвалась.

— Д-да... Может быть, не знаю. Плевать, Шерман! Главное, мы оттуда выбрались!

— Ну ясно, это главное, но..

— О господи, Шерман! Это был какой-то кошмар! — И она стала давиться рыданиями, не сбавляя скорости и напряженно вглядываясь сквозь лобовое стекло в дорогу.

— Все в порядке, дорогая. Теперь все хорошо.

Он еще немного помассировал ей шею. Щуплый парнишка только что стоял там. *Чпок.* И вот его уже там нет.

Движения на автостраде все прибавлялось. Рой красных задних огней впереди увильнул под путепровод, и начался пологий подъем. Скоро мост. Мария сбавила газ. Площадь с турникетами раскинулась в тем-

ноте бетонным пространством, черным и чуть в желтизну от света фонарей. Красные огни разобрались на стайки перед каждой будкой. А впереди уже ощущалась густая чернота Манхэттена.

Весомая... в огнях... и столько народу... Столько людей окружают Шермана на этом желтом бетонном пятачке... а разве хоть один догадывается, что он сейчас пережил?

Шерман выждал, пока они не выехали на шоссе ФДР и не покатили по берегу Ист-ривер к себе, в белый Манхэттен, и Мария уже окончательно успокоилась, и только тогда снова завел разговор на эту тему:

— Так ка́к ты считаешь, Мария? Может, заявить в полицию?

Она не ответила. Он повернул голову: она хмуро смотрела на дорогу.

— Как ты считаешь?

— Зачем?

— Ну, просто я подумал...

— Шерман, заткнись.— Она проговорила это тихо, даже ласково.— Не мешай мне спокойно вести машину.

Впереди показалась знакомая ограда Нью-Йоркской городской больницы. Конструктивистская готика. Белый Манхэттен! Мария свернула с проспекта на Семьдесят первую улицу. Припарковалась против перестроенного особняка, где на четвертом этаже помещалась ее «конспиративная квартирка». Шерман вылез и поторопился осмотреть правое заднее крыло «мерседеса». Слава тебе, Господи! Ни вмятинки и ни малейшего следа — по крайней мере, сейчас, в темноте. Мужу Мария сообщила, что приедет только завтра, поэтому она захотела перенести из машины в квартирку весь багаж. Шерману трижды пришлось карабкаться по скрипучей лестнице в нищенском свете «экономических нимбов», втаскивая наверх ее модные чемоданы.

Мария сняла свой ярко-синий жакет с парижскими плечами и положила на кровать. Шерман тоже снял пиджак — он, действительно, разорвался по боковым швам на спине. «Хантсмен», Сэвил-роу, Лондон. И сколько, черт бы его драл, стоил. Он тоже швырнул пиджак на кровать. Рубашка на нем была мокрая, хоть выжми. Мария скинула туфли, села на венский стул у одноногого стола, облокотилась и подперла голову ладонью. Старый стол жалобно накренился. Тогда она выпрямилась и поглядела на Шермана.

— Я хочу чего-нибудь выпить. А ты?

— Не прочь. Хочешь, чтобы я налил?

— Угу. Мне — много водки, капельку апельсинового сока и лед. Водка в кухонном шкафчике.

Шерман вышел в тесную кухоньку, включил свет. На плите на краю грязной сковородки сидел таракан. Ну и черт с ним. Он смешал для Марии водку с апельсиновым соком, себе налил в высокий стакан виски, положил лед и добавил немного воды. И тоже сел за стол против Марии. Оказалось, что стакан крепкого — как раз то, что ему надо. Каждый ледяной глоток приносил облегчение. «Мерседес» занесло. *Чпок.* И того, длинного и щуплого, уже больше не было.

Мария отпила половину большой рюмки, которую он ей налил. Зажмурилась, запрокинула голову. А потом взглянула на Шермана и устало улыбнулась.

— Знаешь,— сказала она,— я, ей-богу, думала, что нам... крышка.

— Ну, так что будем делать теперь? — спросил Шерман.

— Ты это о чем?

— Я думаю... по-моему, надо заявить в полицию.

— Это ты уже говорил. Хорошо. Объясни зачем.

— Они ведь пытались нас ограбить... И потом, мне кажется, что ты... что мы, возможно, сшибли одного из них.

Она смотрела на него и молчала.

— Когда, помнишь, ты газанула, и машину занесло.

— Знаешь, что я тебе скажу? Надеюсь, что так оно и было. Но даже если и было, если я его и ударила, то совсем слабо. Я почти ничего не услышала.

— Да, только *чпок* — и его нет.

Мария пожала плечами.

— Я просто размышляю вслух,— сказал Шерман.— По-моему, надо заявить. Так мы себя обезопасим.

Мария шумно выдохнула, как человек, возмущенный до предела, и отвернулась.

— Понимаешь, а вдруг этот парень пострадал?

Она посмотрела на него и ответила со смехом:

— Честно тебе признаюсь: меня это не беспокоит, ну вот ни настолечко.

— Да, но что, если...

— Послушай, мы выбрались оттуда, а как — не имеет значения.

— Но если...

— Муть все это, Шерман. Куда ты хочешь обратиться со своим заявлением? И что ты скажешь?

— Не знаю. Расскажу, как было на самом деле.

— Шерман, я тебе сейчас сама расскажу, как было на самом деле. Я — девушка из Южной Каролины и скажу тебе все просто и ясно. Два ниггера хотели нас убить, но мы от них удрали. Два ниггера напали на нас в джунглях, чуть нас не убили, но мы выбрались, мы живы, только и делов.

— Да, но представь себе, если...

— Нет, это ты представь себе! Представь, что ты обратился в полицию. Что ты им скажешь? Как объяснишь, что мы делали в Бронксе? Ты говоришь, что расскажешь им, как было на самом деле. Так вот, лучше ты мне расскажи. Расскажи, расскажи! Что там было на самом деле?

Вот она о чем! Что же, действительно, объяснять в полиции, что миссис Артур Раскин с Пятой авеню и мистер Шерман Мак-Кой с Парк авеню встретились для тайного ночного свидания, но пропустили поворот на Манхэттен при съезде с моста Трайборо и попали в Бронксе в небольшую переделку? Шерман прикинул, как это получится. Можно было бы, например, сказать Джуди, что... Нет! Сказать Джуди, что он ехал в машине с женщиной по имени Мария,— об этом не может быть и речи. Но если они... если Мария сбила того парня, лучше, наверно, все-таки сжать зубы и рассказать все, как было. А именно — как? Ну, два парня пытались их ограбить. Загородили дорогу. Подошли. И сказали... Тут Шерман ощутил словно толчок в солнечное сплетение. «Йо! Помощь не нужна?» Ведь это все, что сказал здоровенный. И оружия не вытащил. Ни тот, ни другой не сделал ни одного угрожающего движения, пока он не швырнул в одного покрышку. А что, если?.. Одну минуту! Не может быть. Что же еще они делали на въезде на автостраду поздно вечером, в темноте, у препятствия, брошенного на проезжую часть?.. Мария поддержит мою версию... *версию!..* резвая молодая кобылка... Он вдруг подумал, что совсем ее не знает.

— Н-ну, не знаю,— проговорил он.— Может, ты и права. Надо еще подумать. Я просто размышляю вслух.

— Совершенно тут не о чем думать, Шерман. Есть вещи, которые я понимаю лучше тебя. Не много, но есть. Они, знаешь, как обрадуются, что мы попали к ним в лапы.

— Кто — они?

— Да полицейские. А проку-то что? Им все равно в жизни не поймать тех парней.

— Что значит: попали к ним в лапы?

— Забудь о полиции, вот что.

— О чем ты говоришь?

— О тебе, например. Ты же — лицо известное.

— Вовсе нет! — Властители Вселенной выше какой-то жалкой известности.

— Ах нет? А чья квартира сфотографирована в «Архитектурном обозрении»? И твой портрет был в «W». И твой отец был... или есть... кто он там у тебя, сам знаешь.

— Это жена поместила в журнале снимки квартиры!

— Вот и объясни в полиции, Шерман. Уверяю тебя, им будет очень интересно.

Шерман онемел. Какая чудовищная мысль!

— И меня им тоже зацапать лестно. Я, конечно, простая девушка из Южной Каролины, но у моего мужа сто миллионов долларов и квартира на Пятой авеню.

— Ну хорошо. Я же просто прикидываю, какие могут быть последствия, только и всего. Какие могут возникнуть осложнения. Что если ты действительно его сбила — если он пострадал?

— А ты видел, как я его сбила?

— Нет.

— И я не видела. Ничего не знаю, никого не сбивала. На самом-то деле очень даже надеюсь, что ему попало как следует. Но вообще я знать ничего не знаю, и ты тоже, так что никого я не сбивала. Правильно?

— Ну-ну, пожалуй... Наверно, ты права. Лично я ничего не видел. Хотя слышал. И почувствовал толчок.

— Шерман, все произошло так быстро, ты просто не успел сообразить, что это было. И я тоже не успела. Парни те в полицию не обратятся. Уж в этом-то можешь быть уверен. И даже если ты заявишь, их все равно не найдут. В полиции просто посмеются над тобой — да ты ведь и не знаешь, что было на самом деле, верно?

— Вроде бы верно.

— Конечно, верно. Если когда-нибудь возникнет разговор, мы только знаем, что двое парней загородили дорогу и пытались нас ограбить, а мы от них ушли. И точка.

— А почему же не заявили?

— Потому что бессмысленно. Сами мы не пострадали и понимали, что тех парней все равно не найдут. И знаешь что, Шерман?

— Что?

— Ведь это истинная правда. Воображать можно что хочешь, но это — действительно все, что нам известно, и тебе, и мне.

— Да. Это верно. Не знаю, конечно... Все-таки мне было бы спокойней, если бы...

— А тебе-то чего беспокоиться, Шерман? Ведь за рулем была я. Если мы его, сукина сына, сбили, значит, это я сбила, а я говорю, что никого не сбивала и заявлять в полицию мне не о чем. И перестань страдать, пожалуйста.

— Я не страдаю. Просто я...

— Вот и хорошо.

Шерман задумался. Ведь это правда, разве нет? Машину вела она. Владелец машины — он, но управление взяла на себя Мария, и если когда-нибудь зайдет об этом разговор, то и отвечать придется ей. Она была за рулем... И решать, случилось ли что-нибудь, о чем надо заявить в полицию,— тоже ей. Он, естественно, всегда ее поддержит... Но с плеч уже скатилось тяжелое бремя.

— Ты права, Мария. Мы выбрались на волю из джунглей.— Он несколько раз подряд кивнул головой в знак того, что наконец осознал правду.

— Да, и нас там могли убить за милую душу.

— И знаешь что, Мария? Мы ведь сражались.

— С кем?

— Ну как же. Мы оказались в этих страшных джунглях... на нас напали... и мы вырвались с боем.— Картина рисовалась ему все яснее.— Черт, я уж и не помню, когда последний раз по-настоящему дрался. Лет в двенадцать, наверно. Или в тринадцать. И знаешь, что я тебе скажу, крошка? Ты вела себя молодцом. Просто потрясающим молодцом. Нет, правда. Я когда увидел тебя за рулем... я ведь даже не знал, умеешь ли ты водить! — Мрак отступил. Машину же действительно вела она.— Но ты вырвалась из этой ловушки. Вынеслась на волю! Молодец!

Мрак окончательно развеялся. Мир сиял и лучился.

— Я даже и не помню, что я делала,— говорит Мария.— Все както... получилось одновременно. Самое трудное было перелезть на водительское сиденье. Зачем только они выдумали ставить рукоятку скоростей посередине? Я зацепилась подолом.

— Я как увидел тебя за баранкой, глазам не поверил! Если бы ты не пересела,— он потряс головой,— нам бы несдобровать.

Теперь, предаваясь героическим воспоминаниям, он бы не прочь услышать и ответную похвалу.

Но Мария сказала:

— Я действовала... сама не знаю как... наобум.

Характерно для нее: она не уловила намека.

— Понимаю,— кивает Шерман.— И угадала в самую точку. Мне малость не до того было в эту минуту.

Еще один намек, и такой толстый, что уж толще некуда.

На этот раз даже она поняла.

— Ну, конечно, Шерман, еще бы! Когда ты запустил в него колесо... Ну, то есть покрышку... Бог мой! Я думала, я... Честное слово! Ты справился с обоими, Шерман! Один побил двоих!

Я побил один двоих! Никогда еще музыка слаще этой не ласкала слух Властителя Вселенной! Играй же дальше! Не прерывай напева!

— Я сам не понимал, что происходит! — упоенно подхватил Шерман. Он улыбается во весь рот и даже не старается сдержать улыбку.— Швырнул покрышку, и вдруг она обратно летит мне в лицо!

— Это он руки поднял, подставил бок, вот она и отскочила...

Они уже пьют будоражущую брагу подробностей. Голоса набирают звучность. На душе веселей. Шерман и Мария смеются — как будто бы над забавными подробностями недавней битвы, а на самом деле просто от радости, от восторга перед свершившимся чудом. Вдвоем, бок о бок, они столкнулись с самым ужасным кошмаром Нью-Йорка — и победили.

Вот Мария выпрямила спину, смотрит на Шермана широко открытыми глазами, губы дрогнули, готовые разомкнуться в улыбке. О, сладкое предчувствие! Без единого слова она встала с кресла и сняла блузку. Под блузкой на ней ничего не было. Он видит ее роскошные груди — белая нежная плоть пересыщена вожделением, увлажнена по́том. Она подходит и становится у него между колен. Развязывает ему галстук. Он обнял ее за талию и с такой силой прижал, что она не устояла на ногах. Оба валятся на ковер — и то-то смеху, то-то упоения, пока разденешься в такой позиции!

Они лежат на полу, на ковре, а ковер такой грязный, в хлопьях пыли, но грязь и пыль — это совершенно не важно. Оба разгоряченные и потные, но и это тоже не важно. Так даже лучше. Они вдвоем прошли сквозь стену огня. Бились не на жизнь, а на смерть во мраке джунглей. И теперь лежат рядом, еще не остывшие от этой битвы. Шерман целует ее в губы, целует долго-долго, и они просто лежат, губы к губам и крепко прижимаясь друг к другу. Но вот он проводит пальцами по ее спине, по совершенному выгибу ее бедра, по совершенной линии ляжки, он никогда еще не испытывал такого возбуждения! Огонь от кончиков пальцев бежит в пах, оттуда — по всей его нервной системе, через бесчетные взрывные устройства крохотных синапсов. Он хочет владеть этой женщиной в буквальном смысле, вобрать в себя ее горячее белое

тело, в расцвете грубого, молодого здоровья, и никогда не отпускать. Совершенная любовь! Чистейший восторг! Приап, покоритель и владыка! Властитель Вселенной! Владыка джунглей!

Обе свои машины, «мерседес» и большой универсал «меркурий», Шерман держал в подземном гараже в двух кварталах от дома. Съехав по пандусу, он, как обычно, остановился у деревянной будки. Из будки вышел маленький румяный толстячок в трикотажной футболке с короткими рукавчиками и широких мешковатых саржевых штанах. Сегодня дежурит как раз тот, которого Шерман недолюбливает,— рыжий Дэн. Шерман вылез из машины, пиджак нараспашку, полы подвернуты, руки в брюки, авось этот рыжий не заметит разодранной спины.

— Привет, Шерм! Как делишки?

Это Шермана особенно бесит. Мало того что рыжий служитель с ним панибратствует, зовет его по имени. Но еще в сокращенной форме, как его в жизни никто не звал,— это уже нахальство, переходящее в издевательство. Кажется, Шерман никогда, ни словом, ни жестом, не давал ему повода для фамильярности. Конечно, в наши дни такая самочинная фамильярность считается в порядке вещей, но Шерман ее не выносит. Она — вид агрессии. *Думаешь, ты лучше меня, ты, уолл-стритовский господин с йейльским подбородком? Ну, так я тебе покажу!* Сколько раз Шерман пытался придумать какой-нибудь вежливо-ледяной ответ, чтобы пресечь его фальшиво-компанейские приветствия! Но ничего подходящего в голову не приходило.

— Шерм, как жизнь? — Дэн был уже рядом. Он и не думал отвязываться.

— Отлично,— отозвался Шерман холодно, но в то же время смущенно.

Одно из неписаных правил поведения в стратифицированном обществе гласит, что на вопрос нижестоящего «как вы поживаете?» отвечать не следует. Шерман повернулся и пошел к выходу.

— Шерм!

Он остановился. Дэн стоит возле «мерседеса», уперев руки в толстые бабьи бока.

— У тебя пиджак разорван, знаешь?

Шерман, ледяной монолит, вздернул йейльский подбородок и промолчал.

— Прямо через всю спину! — В голосе Дэна слышно злорадство.— Аж подкладка наружу. Надо же. Где это ты так?

Шерман отчетливо представил себе: *чпок!* Задние колеса занесло, и долговязого, щуплого парнишки — как не бывало. Об этом ни слова. А ужасно хочется излить душу перед неприятным толстяком. Когда пройдешь живой сквозь стену огня, испытываешь одну из острейших и наименее изученных потребностей человека: информационное недержание. Так и тянет поведать миру о своих подвигах.

Но осторожность победила, осторожность, подкрепленная высокомерием. Должно быть, не надо вообще никому рассказывать о том, что с ним было; а уж этому субъекту — подавно.

— Понятия не имею,— отвечает он.

— Неужто не заметил?

Снежный человек, мистер Шерман Мак-Кой, указывает своим йейльским подбородком на «мерседес» и говорит:

— Он теперь мне не понадобится до конца недели.

И, сделав поворот налево кругом, торжественно удаляется.

На улице его прохватило ветерком, и он сразу почувствовал, как промокла на нем рубашка. Влажны и брюки на сгибе колена. Полы разодранного пиджака перекинуты через локти. Волосы взлохмачены. Выглядит черт знает как. И сердце все еще частит. *У меня есть секрет.* Но чего ему, собственно, беспокоиться? Ведь не он вел машину, когда

это случилось,— если и случилось. Вот именно: *если*. Он же не видел своими глазами, как был сбит тот парень, и она тоже не видела, и потом, это произошло в разгаре сражения, которое они вели не на жизнь, а на смерть,— и вообще за рулем была она. И раз она не хочет заявлять, ее дело.

Он остановился, вздохнул полной грудью и огляделся. Да, вот он, белый Манхэттен, заказник Семидесятых улиц Ист-Сайда. На той стороне в подъезде кооперативного дома стоит швейцар и курит сигарету. По тротуару навстречу Шерману идут молодой человек в костюме служащего и симпатичная девушка в белом. Он что-то втолковывает ей.

Внезапно на сердце у Шермана становится легко-легко. Чего это он переполошился? Он стоит посредине тротуара и улыбается во весь рот. Молодой человек и девушка, наверно, подумали, что он сумасшедший. А он — просто настоящий мужчина, который сегодня сразился со своим природным врагом, плотоядным хищником, и голыми руками, силой духа — победил. Когда потребовалось выказать себя мужчиной, он повел себя как мужчина. И одержал победу. Мало того что он Властитель Вселенной, он еще — человек, воплощенное мужество. Улыбаясь и напевая: «Покажите мне хоть дюжину бесстрашных храбрецов!», бесстрашный храбрец, еще в поту после битвы, прошагал два квартала до своей двухэтажной кооперативной квартиры окнами на улицу Всеобщей Мечты.

5

ДЕВУШКА, КОТОРАЯ МАЖЕТ ГУБЫ КОРИЧНЕВОЙ ПОМАДОЙ

Рэй Андриутти и Джимми Коуфи сидят, развалясь в одинаковых позах,— левая лодыжка на правом колене, будто ближе сдвинуть ноги им, жеребцам, природа не позволяет. Так принято сидеть в Отделе особо опасных преступлений, самом мужественном из подразделений Окружной прокуратуры.

Оба сидят, сняв пиджаки и прицепив их на крюки вешалки. Воротнички рубашек у обоих расстегнуты, узлы галстуков приспущены. Андриутти потирает правой ладонью левое плечо, как будто почесывает, а на самом деле любовно поглаживает свой выпуклый трицепс, который он старательно накачивает трижды в неделю, работая с гирями в Нью-Йоркском Атлетическом клубе. Андриутти-то может себе позволить занятия в Атлетическом клубе, а не на коврике в гостиной между кадкой с драценой душистой и диваном-кроватью, ему не надо содержать жену и ребенка в термитнике на Семидесятых улицах Вест-Сайда и выплачивать за это по 888 долларов в месяц. Его трицепсам, дельтовидным и широким спинным не угрожает атрофия. Андриутти любит обхватить себя одной мускулистой рукой за плечо другой руки и чувствовать, как от этого напрягается самый большой мускул на спине — широкая спинная мышца, latissima dorsae, того и гляди рубашка лопнет по швам. Крамер и Андриутти принадлежат к тому поколению, которому такие термины, как «трицепс», «дельтовидная», «широкая спинная» или «большая грудная», уже стали ближе знакомы, чем имена планет. Андриутти растирает свои трицепсы в среднем по сто двадцать раз в день.

Не переставая тереть, он поглядел на вошедшего Крамера и сказал:

— Господи ты боже мой! Те же и нищенка с мешком! Что это у тебя в пакете, Ларри? Всю неделю таскаешь на службу этот вшивый пакет.— И повернувшись к Джимми: — Ведь верно, вылитая нищенка с мешком?

Крамер говорит:

— У тебя плечо чешется? — А в скобках — Джимми: — У нашего бедного Рэя аллергия, называется: болезнь тяжелоатлетов.— И снова Андриутти: — Чешется, нет сил терпеть, да?

Андриутти отнял ладонь от своего трицепса, опустил руку.

— А что это за обувка — кроссовки? — наступает он на Крамера.— Ты у нас, как барышни из «Меррил Линч», они тоже ходят на работу все расфуфыренные, а на ногах — резиновые шлепанцы.

— Что в пакете-то? — спросил Коуфи.

— Как — что? Туфли на высоком каблуке,— ответил Крамер. Он снял пиджак, тоже прицепил его как попало на вешалку, расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке, растянул узел галстука, сел в свое вращающееся кресло и, достав из пакета коричневые кожаные полуботинки «Джонстон и Мэффи», принялся стягивать кроссовки.

— Джимми, ты не слышал,— говорит Андриутти,— что у всех еврейских парней — не сочти за обиду, Ларри,— у всех еврейских парней, будь ты хоть какой разудалый молодец, обязательно есть один бабий ген. Общеизвестный факт. Или они под дождем без зонтика не могут, или заводят у себя в квартирах всякую новомодную техническую хреновину, или не ходят на охоту, или борются за ядерное разоружение и шляются на демонстрации, или приезжают на службу в кроссовках, или еще там какая-нибудь хреномудия. Ты это знаешь?

— Одного не понимаю, откуда ты взял, что я сочту это за обиду? — говорит Крамер.

— Нет, ты признайся по честности, Ларри,— продолжает его донимать Андриутти.— Ведь тайно, в глубине души, ты бы хотел быть итальянцем или ирландцем?

— А как же. Чтоб не смыслить ни хрена, какая здесь бодяга творится.

Коуфи рассмеялся.

— Ну, ладно. Смотри только, чтобы Ахав не увидел на тебе кроссовок, Ларри. А то он немедленно продиктует Жанетте очередной говенный меморандум.

— Нет, он устроит очередную говенную пресс-конференцию,— сказал Андриутти.

— Ну, это уж обязательно, блин.

Так начинается очередной говенный рабочий день в говенном Отделе особо опасных преступлений в говенной Окружной прокуратуре говенного Бронкса.

Один сотрудник из Отдела крупных правонарушений прозвал прокурора Эйба Вейсса Капитаном Ахавом [1], и теперь его все так называют. Вейсс одержим страстью к средствам массовой информации и неустанно гоняется за ними, выделяясь даже среди прокуроров других округов, которые все, как известно, от природы помешаны на саморекламе. В отличие от знаменитых окружных прокуроров прошлого, таких, как Фрэнк Хоган, Берт Робертс или Марио Мерола, Вейсс в суде даже не показывается. У него на это нет времени. Сутки коротки, всего двадцать четыре часа, а надо поддерживать связь с Первым, Вторым, Четвертым, Пятым и Одиннадцатым телеканалами, а также с газетами «Дейли ньюс», «Пост», «Сити лайт» и «Таймс».

Джимми Коуфи сказал:

— Я только что был у Капитана Ахава. Вы бы посмотрели...

— Да? Зачем? — с любопытством и некоторым оттенком зависти спросил Крамер.

— Он нас вдвоем с Берни вызвал. Интересуется делом Мура.

— Ну, и как?

— Да типичная бодяга. Этот Мур хренов, он владеет большим домом в Ривердейле, и там с ним проживала теща, тридцать семь годков кишки у него мотала. Потом вдруг — раз! И он теряет работу. Он работал в перестраховочной конторе, получал двести тысяч или даже триста, а тут восемь месяцев, девять месяцев сидит без работы, никто его не берет, и он совсем уж не знает, куда, к эдакой матери, податься. Так?

---

[1] Капитан Ахав — герой романа Г. Мелвилла «Моби Дик», фанатически преследовавший Зло.

Ну и вот, ковыряется он однажды у себя в саду, а теща выходит и говорит: «Ага. Знай сверчок свой шесток». Дословно. «Знай сверчок свой шесток. Тебе давно надо было пойти в садовники». Тут он взбеленился, идет в дом и говорит жене: «Достала меня твоя мамаша. Пойду сниму ружье и припугну ее хорошенько». Поднялся в спальню, взял там свой дробовик двенадцатого калибра и идет с ним прямо на тещу, хочет дать ей шороху, чтоб знала. Он ей только сказал: «Вот что, Глэдис...» — споткнулся о половик, ружье выстрелило, ба-бах! — и убийство II степени.

— А Вейссу-то что до этого?

— Ну, как же. Белый, с деньгами, крупный домовладелец в Ривердейле. Возможно, он попытается выдать это за выстрел по случайности.

— Есть шансы?

— Куда там. Я у него обвинитель, знаю его как облупленного. Типичный разбогатевший ирландец, но все равно ирландец, до пуза. Тонет в раскаянии. До того, хрен дери, извелся, можно подумать, что застрелил родную маму. Сейчас он готов любую вину на себя взять. Посади его Берни перед видеокамерой, и в Бронксе не останется ни одного нераскрытого убийства за последние пять лет, этот все на себя примет. Да, красиво бы можно все обделать. Фигня это. Бодяга.

«Бодяга» понятна Крамеру и Андриутти без дальнейших разъяснений. В Бронксе не только сам Капитан Ахав, но и все прокурорские помощники, от юнца-итальянца, едва со скамьи Юридической школы Святого Иоанна, и до старшего начальника отдела, ирландца, вроде Берни Фицгиббона, которому сорок два, лелеют страстную мечту о Великом Белом Преступнике. Во-первых, не так-то приятно всю жизнь сознавать, что зарабатываешь свой хлеб, табунами отправляя в кутузку черных и «латинян». Крамер, например, воспитан в либеральном духе. В еврейских семьях, наподобие крамеровской, либерализм воспринимают с молочной смесью «Симилак», яблочным соком «Мотт», фотоаппаратом «Инстаматик» на день рождения и папиной улыбкой перед сном. Но даже и на итальянцев, вроде Рэя Андриутти, и ирландцев, как Джимми Коуфи, которых родители нельзя сказать чтобы особенно пичкали либерализмом, неизбежно накладывает отпечаток духовная атмосфера юридических факультетов, где, кстати сказать, среди преподавателей очень много евреев. Так что к тому времени, когда кончаешь любой юрфак университета в Нью-Йорке и по соседству, бывает как-то... по-житейски неловко острить насчет «черненьких». Не с нравственной точки зрения дурно, а просто *дурной тон.* И это вечное преследование негров и южноамериканцев угнетает.

Не то чтобы они не были виноваты. Уже через две недели работы в Бронксе в должности прокурорского помощника Крамер убедился, что девяносто пять процентов задержанных, против которых в суде возбуждается дело, даже, может быть, девяносто восемь процентов, бесспорно виноваты. Дел через суд пропускается столько, что на сомнительные случаи стараются время не тратить, разве если навалится пресса. Сине-оранжевые фургоны тоннами завозят на Уолтон авеню виноватых. Но, глядящие в зарешеченные окошки, они как-то не тянут на звание «преступник», если под этим словом понимать в романтическом духе личность, ставящую перед собой определенную цель и добивающуюся ее беззаконными средствами. Нет, это все главным образом придурковатые недотепы, и они совершают немыслимо идиотские, мерзкие поступки.

Андриутти и Коуфи сидели перед Крамером, выворотив в стороны могучие ляжки. Он чувствовал свое превосходство над ними. Во-первых, он кончал Юридическую школу в Колумбийском университете, а они оба — из школы Святого Иоанна, куда, как всем известно, попадают те, кто не отличался успехами в колледжах. И потом, он — еврей. Еще чуть не в детстве он усвоил, что итальянцы с ирландцами — это животные: итальянцы — свиньи, а ирландцы — мулы или козлы. Конкретно этих слов его родители вроде бы, насколько он помнит, не употребляли, но

общую мысль вполне сумели ему внушить. Родители воспринимали весь Нью-Йорк — да что Нью-Йорк? все Соединенные Штаты, весь мир! — как одну большую сцену, на которой играется драма *«Евреи и гои»,* и *гои* в ней — это животные. Так что же он тут делает вместе с этой публикой? Еврей в Особо опасном отделе — вещь довольно редкая. Особо опасный отдел — это отборный отряд Окружной прокуратуры, ее, так сказать, морская пехота: ведь убийства, которыми здесь занимаются,— самый серьезный вид преступлений. Прокурорский помощник из Отдела по расследованию особо опасных преступлений должен быть способен в любое время дня и ночи выйти из цитадели на улицу и явиться на место преступления; как настоящий коммандос, он должен работать плечом к плечу с полицией, допрашивать задержанных и свидетелей и, когда понадобится, приводить их в трепет, пусть даже это будут самые подлые, самые жестокие и гнусные убийцы среди всех задержанных и свидетелей за всю историю уголовного правосудия. На протяжении пятидесяти лет, если не дольше, Особо опасный отдел был епархией ирландцев, хотя в последнее время туда стали просачиваться итальянцы. Ирландцы определяли лицо отдела. Потому что они отличались гранитной храбростью и не отступали ни на шаг, даже если стоять на своем было уже чистым безумством. Так что Андриутти был прав или прав наполовину. Крамер не хотел бы быть итальянцем, но ирландцем — хотел, и даже очень. Как, впрочем, и сам Андриутти, чертов болван. Да, животные. *Гои* — животные. И Крамер гордится тем, что вместе с ними работает в Отделе особо опасных преступлений.

И вот они сидят втроем у себя в конторе, обставленной в стиле «для госслужащих сойдет» и получают в год от 36 до 42 тысяч жалованья, а не служат в какой-нибудь фирме вроде «Крават, Суэйн и Мур», где могли бы огребать от 136 до 142 тысяч. Они родились в необозримой дали от Уолл-стрит, то есть, попросту говоря, в Бруклине, Куинсе или Бронксе. Для их родителей то, что они поступили в высшие учебные заведения и стали юристами, было величайшим событием со времен Франклина Д. Рузвельта. Вот они и сидят в этом вшивом Отделе особо опасных преступлений, обсуждают то, блин, и се, блин, и говорят «ихний» и «ни хрена», словно иначе и не умеют.

Так что вот они тут и сидят... и он с ними. Куда ему сейчас надо идти? Какими делами заниматься? Сплошное дерьмо и бодяга! Служба по вывозу мусора... Артур Ривера. Артур Ривера сидел в клубе вместе с еще одним торговцем наркотиками, у них вышла ссора из-за пиццы, дошло до ножей, и Артур говорит: «Давай отложим ножи и подеремся как мужчина с мужчиной». Ножи отложили, после чего Артур вытащил другой нож и вонзил противнику в грудь — насмерть... Джимми Доллард. Джимми Доллард со своим закадычным другом Отисом Блейкмором и еще тремя чернокожими приятелями напились, накачались кокаином и затеяли игру в «дюжины», которая состоит в том, кто кого больнее заденет за живое. Блейкмор очень ловко ущучил Джимми, Джимми тогда вытащил револьвер и выстрелил ему прямо в сердце, а сам в слезах повалился на стол, рыдая и приговаривая: «Кореша!.. Кореша своего убил!..» Или это дело Герберта 92ИКС. На миг мысль о деле Герберта 92ИКС вызвала у Крамера в памяти образ девушки, которая мажет губы коричневой помадой.

Пресса таких дел в упор не видит. Бедняки убивают бедняков, только и всего. Выступать обвинителем по таким делам — это и значит вывозить мусор, работа нужная и почтенная, на которой ни развлечься, ни прославиться...

Зазвонил телефон. У Рэя.

— Отдел особо опасных преступлений. Андриутти. Берни сейчас нет. В суде, наверно... Что, что?.. Повторите еще раз.— Длинная пауза.— Ну, так как же, сбила его машина или не сбила?.. Так-так... Ну, я не знаю. Лучше поговорить с Берни. О'кей?.. О'кей.— Он положил трубку и оглянулся на Джимми, качая головой.— Звонил следователь из клиники

Линкольна, говорит, у них там парень один попал через травмопункт, вряд ли выживет, и не может точно сказать, то ли он в ванне поскользнулся и сломал запястье, то ли его сбил «мерседес-бенц». Что-то в этом роде. Хотел поговорить с Берни. Вот и пусть, блин, разговаривает с Берни.

Он еще раз покачал головой. Крамер и Коуфи сочувственно кивнули. Вечно одна и та же бодяга.

Крамер взглянул на часы и встал.

— Ну, ладно,— сказал он.— Вы, ребята, можете тут прохлаждаться, а я должен, блин, идти и слушать, как этот прославленный специалист по культуре Среднего и Ближнего Востока Герберт 92ИКС, хрен его дери, будет читать выбранные места из Корана.

В здании Окружной прокуратуры Бронкса имеется тридцать пять залов для заседаний уголовного суда, иначе называемых «секциями». Строились они в начале тридцатых годов, когда еще считалось, что даже внешний вид зала, где вершится суд, должен выражать идею величия и всемогущества закона. Потолки в добрых пятнадцать футов высотой. Стены снизу доверху обшиты темными панелями. Судейский помост — настоящая эстрада, через нее, от края до края, протянулся такой массивный, грандиозный стол, весь в резьбе, инкрустациях, карнизах и бордюрах, что произвел бы, пожалуй, впечатление даже на монарший взгляд самого царя Соломона. Скамьи для публики отделяет от судейского помоста, ложи присяжных и столов обвинителя, защитника и секретаря несокрушимая резная деревянная загородка, так называемый Барьер правосудия. Словом, по виду этого помещения человеку непосвященному нипочем не догадаться о том, какая колготня и неразбериха царят в обыденном уголовном судопроизводстве.

Едва переступив через порог 60-й секции, Крамер уже понял, что рабочий день здесь начался неблагоприятно. Достаточно взглянуть на судью. Ковицкий в черном одеянии восседал на судейском помосте, положив на стол обе руки и низко, едва не до самой столешницы, свесив голову. Вислый крючковатый нос торчал из черных одежд, придавая судье сходство с нахохлившимся стервятником. Крамеру видно, как он поводит туда-сюда глазами, оглядывая зал, где собраны разномастные представители человеческого рода. Вот сейчас, кажется, взмахнет крыльями и спикирует на добычу. У Крамера к Ковицкому отношение двойственное. С одной стороны, ему неприятны судейские тирады, обычно нацеленные на то, чтобы задеть и унизить. Но, с другой стороны, Ковицкий — еврейский воитель, сын Масады [1].

— Где мистер Сонненберг? — произнес Ковицкий. Ответа не последовало.

Он повторил, на этот раз неожиданно звучным баритоном, как бы вбивая слог за слогом в дальнюю стену и вселяя страх в души всех входящих:

— ГДЕ МИ-СТЕР СОН-НЕН-БЕРГ!

Присутствующие в зале, кроме одной маленькой девочки и двух мальчуганов, игравших в салочки между рядами, затаили дыхание. Про себя каждый радовался, что при всем своем ничтожестве, слава Богу, не пал так низко, чтобы оказаться этим презренным неведомым существом по имени мистер Сонненберг.

Это презренное существо было адвокатом, и Крамер знал, в чем состоит его прегрешение. По причине его отсутствия застопорилась подача пищи из 60-й секции в ненасытную глотку пенитенциарной системы. В каждой секции рабочий день начинается с так называемого кален-

---

[1] Масада *(ист.)* — крепость в Иудее, последний оплот восставших зелотов (I в. н. э.), которые при взятии крепости римлянами погибли все до последнего, но не сдались.

дарного разбора, во время которого судья рассматривает заявления и ходатайства по разным делам, иной раз по десять — двенадцать дел за утро. Крамера всегда душил смех, когда он видел по телевизору судебные сцены. Там всегда изображают заседания суда честь по чести, с присяжными и всеми церемониями. Суд присяжных! Кто у них, интересно, ставит на телевидении такие спектакли? Ежегодно через Окружной суд Бронкса проходит 7000 уголовных дел, при том что пропускная способность у него — самое большее 650 судебных разбирательств. С остальными 6350 уголовными делами судьи могут управиться только двумя способами. Либо дело прекращают, либо вступают в соглашение с обвиняемым, он признает себя виновным по менее серьезной статье, а за это приговор выносится без участия коллегии присяжных. Прекращение дела — вещь довольно опасная, даже если председатель озабочен исключительно разгребанием судебных завалов и правосудие не ставит ни в грош. Каждый раз, когда уголовное обвинение отвергается, возникает серьезная опасность, что кто-нибудь, может быть, пострадавший или его родственники, поднимут крик, а пресса всегда рада наброситься на правовую систему за то, что пускают преступника гулять на свободе. Так что остаются только сделки с признанием вины, и именно этим занимаются на календарных разборах.

Раз в неделю секретарь каждой секции подает Луису Мастрояни, главному уголовному судье Бронкса, сводную ведомость. В ведомости обозначено, сколько всего дел было передано в данную секцию на неделю, сколько из них было рассмотрено, сколько прекращено, по скольким вынесены приговоры по согласию с ответчиками и сколько прошли судебное разбирательство в суде присяжных. В зале заседаний на стене над головой судьи — надпись: «На Господа уповаем». А ведомость озаглавлена: «Анализ прохождения дел», и работа судьи оценивается именно по данным этого «Анализа».

Все дела назначаются на девять тридцать утра. Если секретарь объявляет какое-то дело, а в зале не обнаруживается обвиняемого или его адвоката или случается еще какая-нибудь из десятка возможных заминок, то под рукой всегда имеются действующие лица следующего по списку дела. Поэтому на скамьях для публики здесь и там кучками теснятся люди, не являющиеся, в собственном смысле, зрителями. Это обвиняемые со своими адвокатами, обвиняемые с приятелями, обвиняемые в окружении семьи.

Из прохода между скамьями выбежали со всех ног трое детишек, с хохотом устремились к дальней стенке и снова скрылись из виду за спинками скамеек. Какая-то женщина сердито оглянулась на них, но не потрудилась встать и призвать их к порядку. Крамер теперь узнал всю троицу: это были дети Герберта 92ИКС. Хотя вообще-то в их присутствии ничего особенного не было — на судебных заседаниях часто можно видеть детей. Суды в Бронксе служат и своего рода детскими площадками. Взрослые зачитывают заявления, выступают с ходатайствами, ведут прения сторон и выносят приговор по делу папаши — и тут же играют в салки, растут и набираются жизненного опыта его дети.

Ковицкий обратился к секретарю суда, сидящему внизу и чуть сбоку от судейского помоста. Это дюжий итальянец по имени Чарльз Бруцциелли. Он сидит без пиджака, в белой крахмальной рубашке с короткими рукавчиками, воротник нараспашку, треугольный узел широченного галстука сильно приспущен, так что видна майка.

— Это дело мистера...— Ковицкий заглянул в список на столе,— ...Локвуда?

Бруцциелли кивнул, и Ковицкий обращает взор на худощавого человека, который встал со скамьи для публики и подошел к загородке.

— Мистер Локвуд,— спрашивает Ковицкий,— где ваш адвокат? Где мистер Сонненберг?

Тот что-то буркнул, недоуменно передернув плечами. Голоса его

практически не слышно. Это темнокожий парень лет двадцати самое большее, такой тщедушный, что под черной утепленной курткой вообще не просматриваются плечи, на ногах — черные джинсы-дудочки и огромные белые кроссовки не на шнурках, а на липучках.

Ковицкий минуту молча смотрит на него, потом говорит:

— Хорошо, можете пока сесть, мистер Локвуд. Когда и если мистер Сонненберг снизойдет до того, чтобы осчастливить нас своим присутствием, мы вернемся к вашему делу.

Локвуд поворачивается и идет обратно к скамьям для публики. Как и все обвиняемые в Окружном суде Бронкса, он идет, вихляясь, «сутенерской развалочкой». Глупое, самоубийственное позерство, думает Крамер, строят из себя эдаких мужественных героев — обязательно в черной куртке, обязательно кроссовки и обязательно ходить «сутенерской развалочкой». И, конечно, в глазах судей, присяжных заседателей, патронажных инспекторов, судебных психиатров и вообще всех, от кого хоть как-то может зависеть их судьба, кто решает, сажать ли их в тюрьму и на сколько, они выглядят прожженными, стопроцентными уголовниками.

Локвуд, вихляясь, дошел до задней скамьи и сел рядом с двумя другими точно такими же юнцами в таких же черных теплых куртках. Это, несомненно, его дружки, «кореши». Друзья ответчиков, их, так сказать, соратники, тоже являются в суд в блестящих черных куртках и умопомрачительных кроссовках. Что тоже очень остроумно: сразу видно, обвиняемый — не беззащитная жертва обстоятельств, воспитанная в условиях гетто, а свой парень в банде наглых хулиганов, которые сбивают на улице с ног старушек с палочками и отнимают у них сумки. Банды приходят в полном составе, играя мускулатурой и вызывающе перекатывая желваки на скулах, приходят, чтобы защитить честь, а то и жизнь одного из своих, которому угрожает Система. Но вскоре их начинает одолевать растерянность и скука. Они-то шли сюда, чтобы действовать. И совсем не приспособлены к тому, что встречает их здесь, о чем они не имеют никакого понятия,— к календарному разбору, обрушивающему на их бедные головы разные заковыристые словеса, вроде «снизойдет до того, чтобы осчастливить нас своим присутствием».

Крамер прошел за барьер и направился к столу секретаря. Там уже стояли три других прокурорских помощника и понуро ждали своей очереди быть призванными пред очи судьи.

Секретарь возгласил:

— Народ против Элберта и Мэрилин Крин...— споткнулся и стал всматриваться в бумагу на столе. Потом театральным шепотом спросил стоящую поблизости молодую женщину, помощника прокурора Патти Стуллиери: — Это что за чертовщина?

Крамер заглянул в бумагу. Там значилось: «Элберт и Мэрилин Крнкка».

— Кри-ни-ка,— разъяснила Патти Стуллиери.

— ...против Элберта и Мэрилин Кри-ни-ка! — объявил секретарь.— Обвинительное заключение номер три-два-восемь-один! — и в сторону, Патти Стуллиери: — Господи, это что же за имя, интересно знать?

— Югославское.

— Ах, югославское! Больше похоже, что у машинистки пальцы заплелись.

Из глубины зала к барьеру подошла пара, оба встали и перегнулись через поручень. Он, Элберт Крнкка, зазывно улыбался, по-видимому надеясь привлечь внимание судьи Ковицкого. Это был долговязый мужчина с длинной козлиной бородкой, но без усов и со светлыми волосами до плеч, как носили когда-то рок-музыканты. Лицо его украшал большой хрящеватый нос, а по длинной шее кадык ходил то вверх, то вниз чуть не на целый фут. На Элберте Крнкка — рубаха сизого цвета с большим воротом и с застежкой-молнией вместо пуговиц, идущей наискось от левого плеча до пояса на правом боку. Рядом с ним — жена, Мэрилин

Крнкка, черноволосая, с худым, тонким лицом, с глазами-щелочками. Она постоянно пожевывает губами и кривится.

Все, включая судью Ковицкого, секретаря, Патти Стуллиери и даже Крамера, смотрели на супругов Крнкка, ожидая, что вот сейчас поднимется из зала, или войдет через боковую дверь, или еще каким-нибудь способом материализуется их адвокат. Но адвокат не появлялся.

Ковицкий свирепо спросил у секретаря:

— Кто представляет этих людей?

— По-моему, Марвин Саншайн,— отозвался Бруцциелли.

— Ну, так где же он? Я видел его в глубине зала всего минут пять назад. Что с ними со всеми происходит?

Бруцциелли ответил, как повелось от века: вздернул плечи и закатил глаза, показывая этим, что и сам очень, очень огорчен, но что же тут можно поделать?

Ковицкий еще ниже опустил голову. Зрачки его поплыли по залу, как эсминцы на белых волнах. Но прежде чем он успел разразиться убийственной тирадой про недисциплинированных адвокатов, от загородки донесся голос:

— Ваша честь! А, ваша честь! Судья!

Это был Элберт Крнкка. Он размахивал рукой, стараясь привлечь внимание Ковицкого. Руки у него худые, а запястья и кисти огромные, тяжелые. Он приоткрыл рот в полуулыбке, долженствующей, вероятно, убедить судью, что тот имеет дело с рассудительным человеком. На самом же деле он, похоже, относится к разряду тех неотесанных, долговязых и костлявых субъектов, у которых обмен веществ совершается с утроенной интенсивностью и которые больше других склонны к неожиданным взрывам темперамента.

— Эй, судья! Послушайте!

Ковицкий устремил на него изумленный взгляд.

— Послушайте, судья! Две недели назад она нам сказала, от двух до шести, понимаете?

Произнося «от двух до шести», Элберт Крнкка поднял вверх обе руки, выставил по два пальца, как знак победы, и колотил ими в такт по воздуху, словно по двум невидимым барабанам:

— От-двух-до-шес-ти!

— Мистер Крнкка,— предостерег Ковицкий, для него сравнительно негромко.

— А теперь вдруг приходит и говорит, от трех до девяти,— продолжал Элберт Крнкка.— Мы уже согласились, ладно, от двух до шести,— он опять вскинул руки с двумя растопыренными пальцами и отбил ими в воздухе такт: «от-двух-до-шес-ти»,— а она теперь говорит, от трех до девяти. От двух до шести,—он помахал пальцами.— От-двух-до-шес-ти!

— МИСТЕР КРИ-НИ-КА, ЕСЛИ ВЫ...

Но Элберт Крнкка не уступил сокрушительному голосу судьи.

— От двух до шести,— взмах! взмах! взмах! взмах! — вы поняли?

— МИСТЕР КРИ-НИ-КА! Если вы желаете заявить ходатайство в суд, сделайте это через своего адвоката.

— Судья, слышите? Можете спросить у нее.— Он ткнул указательным пальцем в сторону Патти Стуллиери. Ну и ручищи! В милю длиной.— Это вот она. Сама предложила от двух до шести, судья. А теперь вдруг...

— Мистер Крнкка...

Ларри Крамер продвинулся туда, где стояла Патти Стуллиери, и спросил:

— А эти что натворили?

Патти ответила:

— Жена держала нож у горла девушки, пока муж ее насиловал.

— Господи Иисусе! — сорвалось у Крамера.

Патти Стуллиери ответила усталой, изверившейся усмешкой. Патти — лет 28—29. Крамер иногда подумывал, не приударить ли за ней.

До красотки, конечно, не дотягивает, но есть что-то в ее циничной манере для него привлекательное. Интересно, какая она была в колледже? Небось нервная и стервозная, такие вечно дуются и фыркают — ни женственности, ни силы. С другой стороны, у нее смуглая кожа, густые волосы как смоль, большие черные глаза и рот Клеопатры — все вместе складывалось в его представлении в образ Испорченной Итальянской Девчонки. Эти Испорченные Итальянские Девчонки в школе, Господи ты Боже мой! Грубые, дуры, каких свет не видывал, необразованные, невоспитанные, противные — и удивительно желанные.

Дверь в зал судебных заседаний распахнулась, и вошел пожилой человек с крупной, картинно закинутой, даже царственной головой. Вальяжный — вот правильное слово, во всяком случае, по-гибралтарским меркам. Одет в двубортный костюм синего цвета в белую полоску, с крахмальной белой сорочкой и густо-красным галстуком. Черные волосы тусклого чернильного оттенка, явно крашеные, прилизаны назад. И черные, старомодные, ниточкой усы в провале под носом.

Ларри Крамер, стоя у секретарского стола, разглядывал вошедшего. Человек этот ему знаком. Человек большого обаяния — или, может быть, бесстрашия? И в то же время от его вида у Крамера мороз по коже. Когда-то он был прокурорским помощником, вроде как Крамер теперь. С тех пор прошло — фьюить! — тридцать годков, и вот он заканчивает свою адвокатскую практику, представляя в суде этих беспомощных бедолаг, включая категорию 18-б, у которых нет денег нанять себе адвоката. Только-то и всего. Тридцать лет — это не так-то много.

Ларри Крамер не один смотрел во все глаза на этого человека. Его приход вызвал всеобщее оживление. Самодовольно задрав обвислый, похожий на дыню подбородок, он проходит по залу гуляющей походкой старого бульвардье, словно явился из тех времен, когда вдоль Большой Магистрали еще росли деревья.

— МИС-ТЕР СОННЕНБЕРГ!

Старый адвокат обратил взгляд на судью. Он явно был приятно удивлен такой сердечной встречей.

— Ваше дело объявили пять минут назад!

— Прошу меня извинить, ваша честь,— отозвался Сонненберг, подходя к столу защиты.— Меня задержал судья Мелдник в шестьдесят второй секции.

— Какого черта вы торчали в шестьдесят второй секции, когда здесь ваше дело поставлено первым в списке по вашему же ходатайству? Помнится, вы говорили, что ваш клиент мистер Локвуд должен быть на работе?

— Верно, ваша честь, но меня заверили...

— Ваш клиент уже на месте.

— Я знаю.

— Он вас ждет.

— Мне это известно, ваша честь, но я никак не думал, что судья Мелдник...

— Ну, ладно, мистер Сонненберг. Теперь вы готовы приступить к делу?

— Да, ваша честь.

По знаку Ковицкого Бруцциелли снова объявил дело Локвуда. Чернокожий юнец Локвуд поднялся со скамьи для публики и, вихляясь, подошел к Сонненбергу за столом защиты. Вскоре стало очевидно, что слушание имеет целью получить от обвиняемого признание в содеянном, а именно в вооруженном грабеже, и за это Окружная прокуратура сулит ему более легкую статью, по которой полагается от двух до шести лет. Но Локвуд уперся и не шел на сделку. Сонненбергу оставалось только повторить за своим клиентом, что они виновными себя не признают.

Ковицкий сказал:

— Мистер Сонненберг, будьте добры, подойдите к судейскому столу. И вы, мистер Торрес.

Торрес — представитель прокуратуры в деле Локвуда. Низенький, еще молодой, от силы лет тридцати, но очень толстый, и на губе — усики, какие носят молодые юристы и врачи, чтобы казаться старше, солиднее. Приблизившемуся Сонненбергу Ковицкий простым дружеским тоном заметил:

— Вы сегодня вылитый Дэвид Найвен, мистер Сонненберг.

— Ну, что вы, судья. Какой я Дэвид Найвен. Уильям Пауэлл [1], может быть, но не Дэвид Найвен.

— Уильям Пауэлл? Вы себя старите, мистер Сонненберг. Разве вам столько лет? — и повернувшись к Торресу: — Эдак мы оглянуться не успеем, как мистер Сонненберг нас покинет и поселится на Солнечном Берегу в комфортабельном кондоминиуме, где не будет знать иных забот, как только бы поспеть с утра пораньше в торговый центр, пока идет продажа по сниженным ценам. Тогда уж ему не надо будет рано вставать, чтобы поспеть в Бронкс к началу разбора дел в шестидесятой секции.

— Послушайте, судья, клянусь, я...

— Мистер Сонненберг, вы знакомы с мистером Торресом?

— Да, конечно.

— Ну, так вот, мистер Торрес как раз большой специалист по частности кондоминиумов и льготных утренних цен. Он сам наполовину еврей.

— Да? — Сонненберг явно не знал, как он должен на это реагировать.

— Да. Наполовину пуэрториканец, наполовину еврей. Правильно, мистер Торрес?

Торрес улыбнулся и пожал плечами, делая вид, что его все это очень забавляет.

— Он когда поступал на юрфак, придумал своей еврейской головой подать заявление на стипендию, полагающуюся для национальных меньшинств,— продолжал Ковицкий.— Представляете? Еврейская половина отхватила стипендию для пуэрто-риканской половины! Мы же все в одном мире живем, разве нет? Вот что значит еврейская голова.

Ковицкий посмотрел на Сонненберга, подождал, чтобы тот улыбнулся, потом обернулся и задержал взгляд на Торресе, покуда тот тоже не улыбнулся, а затем и сам одарил обоих любезной улыбкой. С чего это он вдруг такой веселый? Крамер посмотрел на обвиняемого Локвуда. Парень стоял у стола защиты и наблюдал издалека веселую троицу. Что, интересно, он при этом думает?

Стоит, упираясь пальцами о край стола, грудь запала, а глаза... смотрят загнанно, глаза преследуемого в ночи. Перед ним разворачивается спектакль: его белый защитник болтает и пересмеивается с белым судьей и с жирной белой сволочью, которая старается его упечь.

Сонненберг и Торрес у судейского помоста взирают на Ковицкого снизу вверх. Теперь судья приступает к работе.

— Что вы ему предложили, мистер Торрес?

— От двух до шести, судья.

— А что говорит ваш клиент, мистер Сонненберг?

— Он не согласен, судья. Я разговаривал с ним на той неделе, разговаривал сегодня утром. Он хочет суда присяжных.

— Почему? — спрашивает Ковицкий.— Вы объяснили ему, что он бы через год получил право выхода на работу? Сделка для него выгодная.

— Дело в том,— отвечает Сонненберг,— что мой клиент, мистер Торрес вот знает, уже имел один условный приговор как малолетний преступник. Обвинение то же — вооруженный грабеж. Если он теперь признает себя виновным, то должен будет отсидеть оба срока, и старый, и новый.

— Ах так,— говорит Ковицкий.— Сколько же он хочет?

---

[1] Популярные в 40-х годах киноактеры.

— Он хочет от полутора до четырех с половиной, с поглощением первого срока.

— Что вы скажете, мистер Торрес?

Молодой помощник прокурора набирает в грудь воздух, опускает глаза и энергично качает головой.

— На это я не могу согласиться, судья. Речь идет о вооруженном грабеже.

— Так-то оно так,— говорит Ковицкий.— Но разве револьвер держал он?

— Нет,— отвечает Торрес.

Ковицкий поднимает голову и смотрит на Локвуда.

— Он не похож на отпетого негодяя,— говорит он Торресу.— На кого он похож, так это на желторотого младенца. Я вижу здесь таких младенцев каждый божий день. Они легко попадают под чужое влияние. Они живут среди подонков и кончают тем, что совершают какую-нибудь глупость. Что он собой представляет, мистер Сонненберг?

— В общем, как раз то, что вы и сказали, судья,— отвечает Сонненберг.— Идет у других на поводу. Не семи пядей во лбу, но и не заядлый преступник. Так я считаю.

Эта характеристика предназначена для Торреса, чтобы тот, в конце концов, сдался и предложил Локвуду срок от года до четырех и фактически предал забвению предыдущий условный приговор.

— Пустое дело, судья,— заартачился Торрес.— На это я пойти не могу. От двух до шести — мой минимум. Да у нас в конторе...

— Может быть, позвоним Фрэнку? — предлагает Ковицкий.

— Судья, это бесполезно. Речь идет о вооруженном грабеже! Наставлял револьвер на пострадавшего, может, и не он, но это только потому, что он в это время обеими руками рылся у того в карманах! Шестидесятидевятилетний старик, перенесший инсульт. Еле ходит — вот так.

Торрес, подтягивая ногу, ковыляет вдоль судейского помоста, показывая, как ходит старик, перенесший инсульт.

И возвращается к судье.

— Пострадавший мистер Борсалино заявляет, что получил перелом ребра. Но мы даже не включили это в обвинительный протокол, потому что старик не обращался к врачу насчет ребра. Нет. От двух до шести, и точка.

Ковицкий задумался.

— А это вы объяснили своему клиенту?

— Еще бы.— Сонненберг пожимает плечами и кривит рот, выражая осуждение упрямству клиента.— Он хочет испытать свой шанс в суде присяжных.

— Свой шанс? Но ведь он же подписал признательное заявление!

Сонненберг снова скривил рот и вздернул брови.

— Вот что, дайте мне потолковать с ним,— говорит Ковицкий.

Сонненберг поджимает губы и обращает глаза к нему, как бы говоря: «Сделайте одолжение. Желаю удачи».

Ковицкий второй раз поднимает голову, смотрит на Локвуда и, выпятив подбородок, зовет:

— Подойди-ка сюда, сынок.

Парень стоит у стола неподвижно, он даже не уверен, что приглашение относится именно к нему. И тогда Ковицкий изобразил улыбку, благодушную, многотерпеливую улыбку старшего, поманил его правой рукой и позвал еще раз:

— Подойди, подойди сюда, сынок. Я хочу с тобой поговорить.

Юный Локвуд нерешительно делает первый шаг, второй, и так медленно, настороженно, подходит к судейскому помосту. Стоя бок о бок с Сонненбергом и Торресом, он взглядывает снизу в лицо Ковицкому. Глаза его бессмысленны, пусты. Ковицкий смотрит на него. Это все равно что смотреть ночью в окна пустого дома, где погашены все огни.

— Сынок,— говорит Ковицкий.— Мне кажется, ты неплохой парень.

Просто даже хороший парень. И я хочу, чтобы ты не закрывал себе дорогу. Я дам тебе шанс. Но только ты сам не закрывай себе дорогу.

И Ковицкий смотрит в глаза Локвуду так пристально и многозначительно, словно сейчас скажет ему что-то самое важное в жизни.

— Сынок,— выговаривает он,— на черта ты ввязываешься в эти хреновые грабежи?

Локвуд шевельнул губами, но сдержался и так ничего и не сказал — может быть опасаясь подвоха.

— А что мать говорит? Ты же с матерью живешь?

Локвуд кивнул.

— Что мать говорит? Она тебя хоть когда лупила по голове?

— Не-а.

Глаза у Локвуда затуманились. Ковицкий счел это добрым предзнаменованием.

— Скажи мне, сынок, у тебя есть работа?

Локвуд кивает.

— Кем ты работаешь?

— Охранником.

— Охранником,— повторяет Ковицкий, глядя куда-то вдаль и, похоже, обдумывая, что это означает для судеб общества. Но потом решает не уклоняться от темы.

— Вот видишь? — говорит Ковицкий.— У тебя есть работа, есть дом, ты молодой, недурен собой, вполне видный и толковый юноша. Но у тебя есть одна проблема, которую нужно разрешить: ты на кой-то черт ввязался в грабежи! Так вот, Окружная прокуратура предлагает тебе от двух до шести лет. Если ты примешь это предложение и будешь хорошо себя вести, тогда оглянуться не успеешь, уж все это будет у тебя позади, а ты еще совсем молодой, и перед тобою вся жизнь. Но если ты попадешь на суд при присяжных и тебе вынесут обвинительный вердикт, ты получишь от восьми до двадцати пяти. Подумай об этом. Тебе сделали хорошее предложение.

Локвуд молчал.

— Почему ты его не принимаешь?

— Не резон.

— Не резон?

Локвуд отвел глаза. Он не собирается вступать в перебранку. Но намерен прочно стоять на своем, и все.

— Слушай, сынок,— продолжал Ковицкий.— Я стараюсь тебе помочь. Само это не разрешится. Не думай, что ты можешь закрыть глаза, а потом откроешь — и ничего этого уже нет. Ты понимаешь, что я тебе говорю?

Локвуд упорно смотрел либо вбок, либо себе под ноги, чтобы не встречаться глазами с судьей. А Ковицкий крутил головой, стараясь перехватить его взгляд, словно хоккейный вратарь — шайбу.

— Посмотри на меня, сынок. Ты понял, что я тебе говорю?

Локвуд сдался и посмотрел на судью. Так могут смотреть разве что на расстрельную команду.

— Ты думай про это дело так, сынок. Представь, что у тебя рак. Рак — знаешь, что такое?

В глазах — ни проблеска знания ни о раке и ни о чем другом.

— Рак, он тоже сам собой не проходит. Против него надо бороться. Если заметил его в начале, пока он еще маленький, пока не разошелся по всему телу, не пронизал всю твою жизнь, не порушил и не погубил твою жизнь — понимаешь? *не погубил твою жизнь,*— если принял меры, пока беда еще не велика, сделал небольшую операцию,— то все в ажуре! — Ковицкий вскинул ладони, задрал подбородок и улыбнулся; воплощенная жизнерадостность.— И то же самое — твоя теперешняя проблема. Пока что это еще небольшая проблема. Если ты признаешь перед судом свою вину и получишь срок от двух до шести лет и будешь вести себя хорошо, тебя через год уже будут выпускать на работу, а через два

года вообще условно-досрочно освободят. И все останется позади. Но если твое дело будет разбираться в суде присяжных и тебя признают виновным, тогда самый маленький приговор, какой ты сможешь получить,— восемь лет. От восьми с третью и до двадцати пяти. Восемь лет — а тебе сейчас девятнадцать. Чуть ли не половина от всех лет, что ты успел прожить на земле. Ты что, хочешь молодость провести в тюряге?

Локвуд снова отвел глаза. Но ничего не сказал.

— Ну, так как? — спросил Ковицкий.

Локвуд, понурясь, отрицательно помотал головой.

— Конечно, если ты не виноват, я вовсе не хочу, чтобы ты признавался, мало ли что там предлагают. Но ведь ты подписал признательное заявление! У прокурора есть видеозапись твоего признания! Что ты с этим намерен делать?

— Не знаю,— буркнул Локвуд.

— А адвокат что советует?

— Не знаю.

— Да ты что, сынок? Конечно, знаешь. У тебя прекрасный адвокат. Мистер Сонненберг один из лучших. У него огромный опыт. Послушай его. Он тебе скажет, что я правильно говорю. Сама по себе эта твоя история не рассосется, как не рассасывается сам по себе рак.

Локвуд смотрел в пол. Что бы там ни затевали судья, защитник и прокурор, они его не купят.

— Послушай, сынок,— сказал Ковицкий,— посоветуйся еще со своим адвокатом. И со своей матерью. Мать-то что говорит?

Локвуд вскинул голову и посмотрел на судью с лютой ненавистью. На глаза ему навернулись слезы. Болезненное это дело — разговаривать с такими мальчишками об их матерях. Но Ковицкий продолжал сверлить его взглядом.

— Ну, хорошо, коллега,— произнес он, наконец, повысив голос и обращаясь к Сонненбергу.— И вы, мистер Торрес! Я откладываю это дело на две недели, начиная с сегодняшнего дня. А ты, сынок, еще раз подумай над тем, что я сказал, проконсультируйся с мистером Сонненбергом и прими окончательное решение. Договорились?

Локвуд напоследок сверкнул на Ковицкого глазом, кивнул и пошел от судейского помоста к скамьям для публики. Сонненберг шел с ним рядом и что-то говорил, но Локвуд ничего не отвечал. Пройдя за барьер и увидев своих дружков, поднявшихся с задней скамьи ему навстречу, он спохватился, и в его походке снова появилось прежнее вихлянье. Скорее вон отсюда! Назад к... к Жизни? Вся троица вразвалочку вышла из зала судебных заседаний. Сзади непринужденной светской походкой двигался Сонненберг, склонив чуть набок жирный отвислый подбородок.

Время шло, а Ковицкий до сих пор не решил ни одного дела.

Только уже перед самым обедом Ковицкий добрался до конца календарного списка и дошла очередь до Герберта 92ИКС, суд над которым длился уже четвертый день. Крамер стоял у стола обвинения. Судебные пристава подтягивали животы и расправляли плечи, готовясь к встрече с Гербертом 92ИКС, который, как человек одержимый, был, по их мнению, готов на любую глупость, включая буйство в судебном зале. К Крамеру от стола защиты подошел Элберт Тесковиц, назначенный от суда адвокат Герберта 92ИКС. Это был тщедушный, сутулый человечек. Его тощая шея одиноко торчала из сползающего с плеч пиджака в бледно-голубую клетку, а нижнюю часть костюма составляли коричневые джинсы, уж никак не вязавшиеся с клетчатым пиджаком. Шевелюра у него была жидкая, седоватая, цвета сухого льда. Он криво ухмыльнулся Крамеру, как бы говоря: «Начинается потеха».

— Ну, Ларри,— произнес Тесковиц,— готов слушать премудрости Аллаха?

— Вот что я хочу спросить,— отозвался Крамер.— Этот Герберт,

он заранее подбирает текст, подходящий к той или иной стадии процесса, или же просто открывает книгу наобум? Не поймешь.

— Не знаю,— ответил Тесковиц.— По правде сказать, я стараюсь не затрагивать этой темы. Ему только дай повод, и часа из твоей жизни как не бывало. Тебе никогда не случалось разговаривать с логическим психом? Они еще хуже, чем психи обыкновенные.

Тесковиц был таким плохим адвокатом, что Крамер даже жалел Герберта. Собственно, он его вообще жалел. Законное имя его было — Герберт Кантрелл, 92ИКС — это его мусульманское прозвание. Он работал шофером грузовика в мелкооптовом винном заведении. Это, кстати, служило Крамеру одним из поводов для сомнения в том, что он — настоящий мусульманин. Настоящий мусульманин не стал бы вообще иметь никакого дела с вином. Но как бы то ни было, в один прекрасный день на грузовик Герберта напали на улице три бандита-итальянца из Бруклина, последние десять лет ничем другим не промышлявшие, как только нападениями на грузовики по заказу тех, кто платит за нападения на грузовики. Они на Герберта наставили револьверы, связали его, двинули кулаком в морду, скинули в мусорный контейнер за углом и велели ближайший час не подавать признаков жизни. А сами погнали грузовик с бутылками на склад к своему нанимателю, хитроумному торговцу спиртными напитками, который склонен был захватывать чужой товар и тем сокращать свои накладные расходы. Подогнали добычу к воротам, а старшина грузчиков говорит:

— Ну и ну! Ох, ребята, вы и вляпались! Это же наш грузовик!

— То есть как это?

— А так, что этот грузовик — наш. Я сам его загрузил два часа назад. Вы отбили товар, который мы сами только недавно отбили. Да еще отделали одного из наших парней. Ну, вы и вляпались!

Трое итальянцев попрыгали в грузовик и прикатили обратно к тому мусорному контейнеру, чтобы вернуть Герберту 92ИКС его машину. Но Герберт уже успел как-то вылезти. Они туда-сюда, разъезжают по улицам, ищут, куда он делся. Наконец, нашли в одном баре, куда он зашел успокоить нервы. Опять же совершенно не по-мусульмански. Итальянцы вошли в бар, желая попросить у него прощения, и пусть, мол, он берет назад свой грузовик, но он решил, что они явились рассчитаться с ним за ослушание, он же раньше времени вылез из мусорного контейнера. Поэтому он вытаскивает из внутреннего кармана куртки револьвер тридцать восьмого калибра — ствол все время был при нем, но эти рецидивисты набросились слишком неожиданно — и делает два выстрела. В итальянцев он ни в одного не попал, зато застрелил насмерть некоего Нестора Кабрильо, который зашел позвонить по телефону. Оружие, честно сказать, было ему необходимо ввиду очевидно опасного характера его работы. Однако разрешения на него не имелось, а Нестор Кабрильо был почтенный горожанин, отец пятерых детей. Так что Герберту предъявили обвинение в непредумышленном убийстве и в незаконном владении огнестрельным оружием. И обвинителем досталось выступать Крамеру. Все дело с самого начала было воплощением бессмыслия, глупости и некомпетентности,— короче говоря, типичная бодяга, как у них выражались. На признательную сделку Герберт 92ИКС не согласился, так как считал все происшедшее несчастным случаем, и только сожалел, что при выстреле у него так дернулась рука. Словом, типичную бодягу передали в суд присяжных.

Дверь сбоку от судейского помоста открылась, и вошел Герберт 92ИКС в сопровождении двух конвойных. При Исправительном отделе имеются камеры предварительного заключения, представляющие собой вольеры без окон на пол-этажа выше зала суда. Герберт 92ИКС — высокий мужчина. Глаза, затененные головным платком в клеточку, как у Ясира Арафата, горят. На плечах болтается коричневый балахон до икр. А из-под балахона выглядывают изжелта-белые подштанники, простроченные сбоку цветной ниткой, и кожаные коричневые уличные ботинки.

Руки у него заведены за спину. Когда конвойные повернули его спиной, чтобы снять наручники, Крамер увидел, что он держит в руках Коран.

— Йо, Герберт! — Голос веселого мальчугана. Дети стоят у самого барьера. Судебные пристава грозно посмотрели на них. С задней скамьи поднялась женщина в черном и крикнула малышу: «А ну поди сюда!». Он со смехом бежит к ней. Герберт, обернувшись, смотрит на мальчика. Его мрачная физиономия преображается. В широко распахнутых глазах и улыбке столько любви и нежности, что Крамер сглатывает комок в горле.

Но вот Герберт садится за стол защиты. Бруцциелли, секретарь, провозглашает:

— Народ против Герберта Кантрелла. Обвинительное решение номер два-семь-семь-семь.

Герберт 92ИКС вскочил и замахал рукой.

— Он опять назвал меня неправильно!

Ковицкий наклонился к нему через стол и терпеливо отвечает:

— Мистер 92ИКС, я уже объяснял вам вчера, и позавчера, и третьего дня.

— Он назвал меня неправильно!

— Как я вам уже объяснял, мистер 92ИКС, секретарь обязан подчиняться действующим судебным правилам. Но ввиду выраженного вами намерения сменить фамилию, на что вы имеете полное право и для чего существует установленная законом процедура, суд согласен на настоящем заседании именовать вас Герберт 92ИКС. Вас это устраивает?

— Спасибо, ваша честь,— отвечает Герберт 92ИКС, но не садится. Он открывает Коран и начинает быстро перелистывать страницы.— Сегодня, ваша честь...

— Мы можем приступать?

— Да, судья. Сегодня я...

— Тогда садитесь!

Мгновенье Герберт недоуменно смотрит на Ковицкого, потом опускается на стул, держа перед собой раскрытый Коран. И спрашивает обиженным тоном:

— А почитать вы мне дадите?

Ковицкий отрешенно кивает, замечает по своим часам время и, отвернувшись вполоборота вместе со стулом, устремляет взгляд в стену над пустой ложей присяжных.

Герберт 92ИКС, сидя, кладет раскрытый Коран на стол защиты и провозглашает:

— Сегодня, ваша честь, я прочту из суры сорок первой, озаглавленной: «Разъяснены...» «Во имя Аллаха милостивого, милосердного!.. Ниспослание милостивого, милосердного... Таково воздаяние врагам Аллаха — огонь, для них там вечное обиталище в воздаяние за то, что они отрицали Наши знамения...»

Пристава скучливо закатывают глаза. Один из них, Каминский, настоящий боров, чье жирное брюхо так и распирает над поясом белую форменную рубаху, издает громкий вздох и разворачивается кругом на каблуках своих черных полицейских башмаков. И защитники, и обвинители считают судью Ковицкого безжалостным чудовищем. А вот пристава, простые рабочие парни из подразделений охраны общественного порядка, полагают, что Ковицкий, как и почти все другие судьи, возмутительно либеральничает и заискивает перед преступниками. Надо же, позволяет этому психу читать вслух Коран, а его ублюдкам — бегать между скамьями и орать: «Йо, Герберт!». Ковицкий же, по-видимому, исходит из тех соображений, что, поскольку нрав у Герберта 92ИКС бешеный, а чтение Корана его успокаивает, это дает в конечном итоге не потерю, а выигрыш времени.

— «...Не равны доброе и злое. Отклоняй же тем, что лучше, и вот — тот, с которым у тебя вражда, точно он горячий друг. Но не даровано это никому...»

Заунывные звуки чтения — точно моросящий дождь... Мысли Крамера отлетают... Девушка, у которой коричневая помада... Она скоро должна выйти вон через ту дверь... Он сразу выпрямил спину... Жалко, не догадался оглядеть себя перед тем, как идти в суд... в порядке ли волосы, галстук. Он напряг шею, вскинул голову... Он убежден, что женщинам нравятся мужчины с развитыми грудинно-ключично-сосцевидными мышцами... Закрыл глаза... Герберт все еще громко читал Коран, когда Ковицкий прервал его словами:

— Спасибо, мистер 92ИКС, на сегодня достаточно.

— Это как это? Я еще не кончил!

— Я сказал, на сегодня достаточно, мистер 92ИКС. РАЗВЕ ВЫ МЕНЯ НЕ ПОНЯЛИ?

Голос Ковицкого вдруг обрел такую оглушительную силу, что публика в зале охнула.

Герберт вскочил:

— Нарушение прав!

Задрал подбородок, в глазах огонь. Он похож на ракету, которая вот-вот взмоет в воздух.

— Вы нарушаете мое право на свободу религиозных отправлений!

— СЯДЬТЕ, МИСТЕР 92ИКС!

— Не по закону! — орет Герберт.— Несоблюдение! — Он обращает ярость на сидящего рядом Тесковица: — Ну, чего сидите? Вставайте! Несоблюдение законности!

Растерянный и слегка испуганный Тесковиц встает.

— Ваша честь, мой клиент...

— Я СКАЗАЛ, СЯДЬТЕ! ОБА!

Оба садятся.

— Вот что, мистер 92ИКС, этот суд отнесся к вам с большим терпением. Никто не посягает на вашу свободу религиозных отправлений. Час уже не ранний, и в комнате для присяжных, где двадцать пять лет не производили ремонта, давно ждут присяжные заседатели, так что чтение Корана на этом заканчивается.

— Заканчивается? Запрещается! Вы нарушаете мои религиозные права!

— Обвиняемый, прекратите разговоры! Никакого права читать вслух Коран, или Талмуд, или Библию, или Книгу Мормона ангела Морони, или любой другой религиозный текст, каким бы он священным ни был, у вас нет. Я напомню вам, сэр, что здесь — не исламское государство. Страна, где мы живем,— республика, и в ней осуществлено отделение церкви от государства. Вы меня поняли? Этот суд подчиняется закону республики, записанному в Конституции Соединенных Штатов.

— Неправда!

— Что неправда, мистер 92ИКС?

— Отделение церкви от государства. Могу доказать.

— О чем вы говорите, мистер 92ИКС?

— А вы обернитесь! Посмотрите, что у вас на стене написано!

Он вскочил и размахивает руками, указывая под потолок за спиной Ковицкого. Судья повернулся в своем вращающемся кресле. Действительно, на деревянной панели была вырезана надпись: «На Господа уповаем».

— Вот вам и отделение! — торжествуя, кричит Герберт.— Выбито большими буквами у вас над головой.

Какая-то женщина в публике прыснула со смеху. Хохотнул, было, и один из судебных приставов, но вовремя сдержался и принял серьезный вид, прежде чем Ковицкий обернулся. Осклабился секретарь суда Бруцциелли. Патти Стуллиери прикрыла рот ладонью. Крамер смотрел на Майка Ковицкого и ждал грома и молний.

Но вместо этого Ковицкий широко улыбнулся. Хотя голову опять опустил, и зрачки его снова плавали, качаясь на волнах бушующего белого моря.

— Вы, как я вижу, наблюдательны, мистер 92ИКС, и я вас с этим поздравляю. Но как человек наблюдательный вы могли бы заметить и то, что у меня на затылке глаз нет. Глаза у меня на лице, и они видят перед собой подсудимого, которому предъявлены серьезные обвинения и которому грозит тюремное заключение сроком от двенадцати с половиной до двадцати пяти лет, в случае если присяжные, равные ему по положению, признают его виновным. И я хочу, чтобы у них было время рассудить его вину или невиновность по всей справедливости... со всей возможной тщательностью и беспристрастностью. У нас свободная страна, мистер 92ИКС, и никто не может запретить вам верить в любое божество, в какое вам вздумается. Но здесь, в суде, нет для вас иного Евангелия, как только Евангелие от Майка.

Ковицкий произнес эти слова с такой силой, что Герберт 92ИКС без единого звука плюхнулся на стул. И только посмотрел свирепо на Тесковица. Тесковиц в ответ тряхнул головой и пожал плечами— дескать, вот так, Герберт.

— Пригласите присяжных,— распорядился Ковицкий.

Пристав распахнул дверь, ведущую в комнату для присяжных. Крамер за столом обвинения приосанился. Запрокинул голову, демонстрируя могучую шею. Присяжные выходили гуськом, один за другим... трое негров, шесть пуэрториканцев... А где же она?.. Наконец-то появляется в двери. Чудесные, роскошные каштановые волосы, так бы и зарылся лицом, расчесаны на прямой пробор и убраны с белого, чистейшего лба. Глаза огромные, в пушистых ресницах. И эти изогнутые темные губы... Ну да, они у нее опять намазаны коричневой помадой, цвета жженого сахара, с чертовщинкой, не как у всех, ну до того элегантно...

По пути в ложу присяжных она проходит вблизи стола обвинения. На ней шерстяная кофточка персикового цвета, пушистая, из ангоры или мохера, спереди открытая, и видна атласная шелковая блузка в желто-розовую полоску, а под блузкой Крамер видит — угадывает — пышную выпуклость бюста. Ну, и кремовая габардиновая юбка в обтяжку, подчеркивающая линию бедер.

Она поравнялась с Крамером. И смотрит прямо на него. Вроде бы без выражения, но взгляд такой откровенный, такой нелицемерный! И коричневая помада на губах! Прошла мимо, поднялась в ложу присяжных. Неприлично, конечно, оборачиваться и глазеть, а так и подмывает. Многие ли из здесь присутствующих успели, как и он, узнать у секретаря ее адрес и номер телефона, домашний и рабочий?

Все-таки время от времени в ложу присяжных попадают экзотические цветки вроде мисс Шелли Томас, проживающей в Ривердейле. Интересно, что это за фамилия — Томас? Вроде бы протестантская англосаксонская. Хотя есть же, например, Дэнни Томас, а он — араб, ливанец, что ли. Белые протестанты англосаксонского происхождения в Бронксе — редкие птицы. Пока шел отбор присяжных, Крамер выяснил у нее, что она работает художественным редактором в рекламном агентстве «Пришкер и Болка» в Манхэттене. На слух Крамера это означает нечто невыразимо шикарное — просторное помещение, белоснежные стены, полупрозрачные перегородки, очаровательные девушки пробегают туда-сюда под записи «новой волны» — ну как в телестудии «Эм-Ти-Ви»... У него есть оба ее телефона: у «Пришкера и Болки» и домашний. Естественно, пока длится суд, у него руки связаны. Но когда суд кончится... «Мисс Томас? Это говорит Лоренс Крамер. Я был... Ах, вы меня помните? Чудесно! Мисс Томас, я позвонил потому, что часто после окончания большого процесса я задаюсь вопросом, что́ именно убедило присяжных заседателей?» Внезапно на него напали опасения... А что, если именно из-за нее он дело бесславно проиграет? В Бронксе присяжные вообще не подарок для прокурора. Они происходят из той среды, где люди знают, что полицейские вовсе не обязательно говорят чистую правду. Так что присяжные в Бронксе часто остаются при своих сомнениях, обоснованных или необоснованных — все равно, и не раз бывало, что подсудимые,

негры и пуэрториканцы, заведомо, стопроцентно виновные, уходили из зала суда свободными, как птицы. К счастью, Герберт 92ИКС застрелил хорошего человека, бедняка, многодетного отца, обитателя гетто. Слава богу, что так. Ни один житель Южного Бронкса не посочувствует такому бешеному психопату, как Герберт. Единственно, кто может проникнуться к нему сочувствием, это как раз необыкновенная мисс Шелли Томас из Ривердейла. Образованная белая девушка, живущая в достатке, художественная натура, возможно, еврейка... Тот самый тип, который склонен к идеализму. Глядишь, еще подложит Крамеру свинью — не даст в обиду Герберта 92ИКС, раз он и без того чернокожий, удивительный и вообще пасынок судьбы. Что ж. Крамер будет сражаться. Он не может упустить такую девушку. Он сидит в самом центре зала, в середине арены. И девушка, не отрываясь, смотрит на него. Он это знает. Чувствует кожей. Между ними уже возникла некая связь. Между ним, Ларри Крамером, и девушкой, которая мажет губы коричневой помадой.

В тот день постоянных посетителей суда поразил воинственный раж прокурорского помощника Крамера, и это в каком-то копеечном деле о непредумышленном убийстве!

Он начал с того, что изничтожил свидетелей защиты:

— Правда ли, мистер Уильямс, что ваши, если можно так выразиться, «показания» — результат денежной сделки между вами и обвиняемым?

Да что такое творится с Крамером? Тесковиц мало-помалу вознегодовал. Сукин сын выставляет его в самом невыгодном свете! Крушит все направо и налево, можно подумать, что этот суд не бодяга, а процесс века.

А Крамеру нет дела до оскорбленных чувств Тесковица, до Герберта 92ИКС и до всех остальных. Потому что в этом гулком зале, в стенах, обшитых панелями красного дерева, их сейчас только двое — Ларри Крамер и девушка, у которой губы выкрашены коричневой помадой.

В перерыв Крамер пошел к себе в отдел. Рэй Андриутти и Джимми Коуфи явились тоже. В Бронксе прокурорскому помощнику и его свидетелям в те дни, когда он участвует в судебном разбирательстве, полагается бесплатный ленч за счет штата Нью-Йорк. На практике это означает, что все служащие отдела могут поесть на дармовщину, и Андриутти с Коуфи дважды приглашать не приходится. В отделе к этому жалкому пиршеству отношение самое серьезное. Секретарша Берни Фицгиббона Глория Доусон заказывает сандвичи из соседней кулинарии. В том числе и на себя. Радостное событие дня! Дармовая кормежка!

И так повсюду, думает Крамер. Сейчас не только молодые прокурорские помощники вроде него или Андриутти и Коуфи, но и все представители власти в гибралтарской цитадели Бронкса, сверху донизу, заперлись в своих кабинетах и, сгорбившись, пожирают доставленные из кулинарии сандвичи. И в кабинете у Эйба Вейсса он сам и с ним все присутствующие, кого он счел сегодня людьми нужными и сумел к себе заманить в своей вечной погоне за гласностью, сидят за круглым столом для совещаний и едят сандвичи из кулинарии. И за столом в кабинете у главного уголовного судьи сектора Луиса Мастрояни едят сандвичи из кулинарии. И даже если этот достойный законовед принимает у себя сейчас какое-нибудь светило, пусть хоть сенатора Соединенных Штатов, все равно они в эту минуту сидят и едят сандвичи из кулинарии, и светило в том числе. Можно подняться на самую вершину системы уголовного судопроизводства в Бронксе и, пока ты не пенсионер или покойник, кормиться сандвичами из кулинарии.

А почему? Да потому что они, носители власти в Бронксе, боятся. Боятся среди бела дня выйти в центр Бронкса и пойти поесть в ресторане. Боятся! А ведь они управляют Бронксом, районом с населением в один миллион сто тысяч человек! Центр Бронкса представляет собой те-

перь такую трущобу, что там не найдется ничего и отдаленно похожего на ресторан для служащего человека. А если бы, допустим, и нашлось, какой судья, прокурор, прокурорский помощник или даже судебный пристав с револьвером на боку решится покинуть цитадель и туда отправиться? Обыкновенная боязнь, это в первую голову. Ходят, конечно, если нужда заставит, из Прокуратуры на ту сторону Большой Магистрали и дальше под гору по Сто шестьдесят первой улице в здание Уголовного суда, это полтора квартала. Но благоразумный носитель власти все время начеку. Нападения на прохожих случались прямо при переходе через Большую Магистраль, этого бывшего украшения Бронкса, в одиннадцать часов ясного солнечного утра. А почему бы нет? В одиннадцать часов ясного солнечного утра на улицах больше бумажников и дамских сумок. Дальше же здания Уголовного суда вообще никто не ходит. Есть помощники прокурора, которые десять лет проработали в Гибралтаре, а на пари не ответят, что находится на Сто шестьдесят второй или Сто шестьдесят третьей улице, то есть в одном квартале от Большой Магистрали. Которые ни разу в жизни не были в Музее искусств Бронкса, что на Сто шестьдесят четвертой улице. Но даже, допустим, вы человек в этом смысле безбоязненный. Существует еще другой, более сложный страх. На улицах 44-го полицейского участка вы чужак, и это чувствуешь сразу, как только, по воле рока, попадаешь на *их* территорию. Как на вас тут смотрят! Как смотрят! С каким убийственным недоверием! Вас сюда не звали. Вам тут делать нечего. Гибралтар и власть в Бронксе принадлежат Демократической партии, в основном — евреям и итальянцам. А вот улицы Бронкса — это владения Локвудов и Артуров Ривера, и Джимми Доллардов, и Отисов Блейкморов, и Гербертов 92ИКС.

Мысль эта Крамера угнетала. Вот они с Андриутти, один еврей, другой итальянец, сидят в четырех стенах крепости, внутри каменной скалы, и питаются сандвичами, заказанными по телефону. А во имя чего? Что им светит в будущем? Разве может сохраниться вот такое устройство до той поры, пока они докарабкаются до самого верха, даже если место наверху стоит того, чтобы к нему карабкаться? Рано или поздно негры и пуэрториканцы соберутся политически с силами и захватят все, в том числе и Гибралтар со всем его содержимым. А он, Крамер, пока что будет шуровать отбросы... шуровать отбросы... покуда у него не отнимут палку.

И тут зазвонил телефон.

— Хелло?

— Берни?

— Другой добавочный,— сказал Крамер.— Но кажется, его все равно нет на месте.

— А кто у телефона?

— Крамер.

— А-а, я вас помню. Говорит следователь Мартин.

Никакого Мартина Крамер не помнил, но имя и голос ассоциировались с чем-то неприятным.

— Чем могу быть полезен?

— Мы находимся в клинике Линкольна, я и мой напарник Гольдберг, и у нас тут такой случай, наполовину вроде как убийство, я подумал, надо доложить Берни.

— Вы уже звонили сюда часа два назад? Говорили с Рэем Андриутти?

— Точно.

— Ну, не знаю. Берни еще не вернулся. Где он, неизвестно.

Пауза.

Крамер вздохнул.

— Черт. Может, передадите ему?

Еще вздох.

— Ладно.

— Парнишка один, Генри Лэмб. Эл, э, эм, бэ, восемнадцать лет, лежит в блоке интенсивной терапии. Вчера вечером обратился в клинику в связи с переломом запястья. Ясно? Вчера, когда он здесь был, так, во всяком случае, здесь записано, он ничего не сказал о том, что его сбила машина. Значится просто — упал. Ясно? Ему наложили гипс в травмопункте и отпустили домой. А утром мать привозит его обратно, и у него оказывается сотрясение мозга, он теряет сознание, и врачи считают, что вряд ли выживет. Ясно?

— Да.

— Когда нас вызвали, он уже был без сознания, но тут одна медсестра говорит, он сказал матери, что его сшибла машина «мерседес» и уехала, он запомнил часть номера.

— Свидетели?

— Свидетелей нет. Сведения получены от медсестры. Даже мамашу неизвестно где искать.

— Так что там было, два происшествия или одно? Вы сказали, перелом запястья и сотрясение?

— Одно происшествие, по словам медсестры, которая тут подняла шухер, что, мол, был наезд и виновник скрылся, чуть голову мне не отъела. Бодяга какая-то, но я решил поставить Берни в известность, может, он захочет предпринять какие-нибудь шаги.

— Хорошо, я ему передам, только, по-моему, к нам это не относится. Никто не видел, водитель скрылся, пострадавший без сознания — но я все передам.

— Да, ладно. Скажите Берни, если мы найдем мать и получим дополнительные сведения, я ему позвоню.

— Ладно.

Повесив трубку, Крамер написал записку Берни Фицгиббону. Пострадавший не сказал, что был сбит машиной. Характерный для Бронкса случай. Опять типичная бодяга.

6

НАРОДНЫЙ ВОЖДЬ

На следующий день с Шерманом Мак-Коем случилось то, чего за все восемь лет работы в «Пирс-и-Пирсе» не случалось ни разу: он оказался не в силах сосредоточиться. Обычно, как только он входил в зал ценных бумаг и в глаза ему ударял свет из окна во всю стену, а в уши обрушивался рев целой армии молодых мужчин, воспламененных страстью к наживе, тотчас вся остальная его жизнь отодвигалась на задний план, и мир сжимался до зеленых светящихся символов, бегущих по темным экранам терминалов. Но сегодня у него в мозгу будто крутилась магнитофонная лента с двумя дорожками и механизм без конца перескакивал с одной на другую, а он ничего не мог с этим поделать.

Газета лежит и тлеет у его ног. В утренних — ни в «Таймс», ни в «Пост», ни в «Дейли ньюс» — ничего не было, он их просмотрел в такси по дороге. Но первый выпуск «Сити лайт» появляется после десяти часов, это газета дневная. Поэтому двадцать минут назад он дал чистильщику Феликсу пять долларов, чтобы тот спустился и принес ему номер «Сити лайт». А прочитать все равно нельзя. Нельзя даже, чтобы кто-нибудь увидел газету, пусть и сложенную, у него на столе. У кого-нибудь, но только не у него. Вот почему газета лежит под столом, на полу, и тлеет у его ног. Она тлеет, а он полыхает. Сгорает от желания развернуть и удостовериться... *прямо сейчас*... и наплевать, пусть видят... Но это, конечно, бессмыслица. И вообще какая разница, прочтет ли он ее сейчас или шестью часами позже? Что изменится? Почти ничего, можно сказать. Почти ничего. Но он все сгорал и сгорал, покуда это не стало уже совершенно невыносимо.

Может, посоветоваться с адвокатом? Позвонить Фредди Баттону?

Но Фредди — слишком близкий знакомый, он ведь работает в «Даннинг-Спонджете». Когда-то Шермана свел с Фредди Баттоном отец — что, если он проболтается Льву? Ну уж нет. А вдруг? Фредди считает себя другом семьи. Знаком с Джуди, всегда справляется про Кэмпбелл, когда случается болтать с Шерманом, хотя он, по-видимому, гомосексуалист. Ну и что? Гомосексуалисты вполне могут любить детей. У него и свои дети есть. Хотя, конечно, это еще ничего не доказывает... Господи! Ну, при чем тут все это? При чем тут Фредди Баттон и его сексуальные наклонности? Нашел о чем думать. Фредди Баттон. Хорош он будет, если выложит все Фредди, и окажется, что это ложная тревога...

Он больше не в состоянии ждать. Можно пойти в уборную. Законами не возбраняется. Шерман взял со стола коричневый конверт большого формата с веревочной петелькой на клапане, которая застегивается под бумажным кружком. В таких конвертах доставляются документы из одного отдела в другой. Шерман обвел взглядом зал операций с ценными бумагами: никто не смотрит. Он наклонился под стол, затолкал «Сити лайт» в конверт и пошел в уборную.

Там было четыре кабинки, два писсуара и большая раковина. В кабинке он вытащил из конверта газету, безумно боясь шелеста бумаги. Как переворачивать страницы? Шелест, шорох, хруст будут громче грома выдавать присутствие нерадивого читальщика газеты. Он подтянул ноги к самому основанию унитаза. Так, по крайней мере, никто не увидит в просвете под дверью его полууличные ботинки «Нью и Лингвуд» с подошвой на клею и выгнутым подъемом и не поймет, что там находится Шерман Мак-Кой.

Укрывшись за дверью общественного туалета, Властитель Вселенной стал лихорадочно, страницу за грязной страницей, просматривать газету.

Ничего. Никаких упоминаний о подростке, сбитом машиной в Бронксе на подъеме к шоссе. Какое облегчение! Прошло уже почти двое суток — и ничего. Черт, ну и жарища же тут. Он вдруг страшно вспотел. Разве можно так распускаться? Мария совершенно права. Негодяи на них напали, но он от них отбился, и они с Марией спаслись, только и всего. Он один победил их двоих голыми руками!

А что, если все-таки парнишку они сбили и полиция разыскивает машину, но газеты считают, что это случай заурядный и нечего о нем писать?

Снова стало жарко. Ну, а если что-то все же просочится в газеты... даже малейший намек... Как же он осуществит задуманную операцию с «Жискаром» при таких неблагоприятных обстоятельствах?.. Нет, тогда конец!.. Тогда он пропал... Но, даже холодея при мысли об эдаком несчастье, он одновременно отдает себе отчет, что предается дурным предчувствиям по соображениям отчасти суеверным. Если нарочно вообразить себе какой-то особенно неприятный оборот будущих событий, то как раз этого и не произойдет... Не допустит же Господь Бог — или Фатум,— чтобы простой смертный предугадал Его решение... Ему непременно нужно, чтобы удары, которые Он обрушивает, сохраняли всю чистоту неожиданности. Хотя... хотя есть такие беды, как бы сказать — очевидные, от которых этим способом не уклониться, это факт. *Малейший намек на скандал...*

Он совсем упал духом. Малейший намек на скандал — и не только операция с «Жискаром» провалится, но и вся его карьера рухнет! И что тогда? *Я и так, имея миллион в год доходу, можно сказать,— несостоятельный должник!* В голову так и лезли устрашающие цифры. За прошлый год его доход составил 980 000 долларов. Но надо было выплачивать 21000 в месяц в счет процентов по ссуде на 1,8 миллиона, которая была им взята на покупку квартиры. Казалось бы, что такое 21 тысяча в месяц для того, кто получает в год миллион? Вот и он так думал, когда брал ссуду. А оказалось, что это — тяжелейшее, сокрушительное бремя, не больше не меньше! В год это составляет 252 000, и ничего не вычита-

ется из налогов, потому что взято не под залог, а в качестве личной ссуды. (Правление жилищных кооперативов на Парк авеню не разрешало своим членам оформлять закладные на квартиры.) Так что вместе с налогами выходило на практике, что нужно иметь 420 000, чтобы выплатить 252 000. Из оставшихся 560 000 дохода за прошлый год 44 400 ежемесячно требовало содержание квартиры; 116 000 уходило на виллу в Саутгемптоне (84 000 — плата по закладной и проценты, 18 000— отопление, коммунальные услуги, страховка и ремонт, 6000 — за стрижку газона и живой изгороди, 8000 — налоги). Приемы гостей дома и в ресторанах обошлись в 37 000. И это еще очень скромная цифра в сравнении с тем, что тратят некоторые другие, например, при праздновании дня рождения Кэмпбелл в Саутгемптоне дело ограничилось только одним карнавальным поездом (плюс, конечно, обязательные пони и фокусник), и стоило это меньше 4000. За школу «Тальяферро», включая автобус, он платит в год 9400. На одежду и мебель ушло около 65 000, и что эта статья расходов в будущем сократится, надеяться не приходится, ведь Джуди все-таки дизайнер, должна держать марку высоко. Слуги (Бонита, мисс Лайонс, уборщица Люсиль и Хоби, сторож дома в Саутгемптоне) обходятся в 62 000 за год. И остается всего 226 200, или 18 850 в месяц, на дополнительные налоги, на то да се, включая страховые взносы (набегает около тысячи в месяц, если брать в среднем), оплату гаража на две машины (840 в месяц), домашнюю еду (1500 в месяц), взносы в клуб (около 250 в месяц) — убийственная правда состоит в том, что в минувшем году он потратил *больше,* чем 980 000. Да, конечно, кое-какие траты можно слегка подсократить — но этого вовсе не достаточно, *если дойдет до худшего!* От долга в 1,8 миллиона долларов, оборачивающегося непосильными ежемесячными выплатами процентов в 21 тысячу, не избавиться иначе, как вернув всю сумму, или же можно продать квартиру и переехать в другую, поменьше и поскромнее,— но об этом и помыслить невозможно! Обратно ходу нет. Тот, кто жил на Парк авеню в квартире ценой в 2 миллиона 600 тысяч, не может переселиться в квартиру, которая стоит один миллион! И никому этого не объяснишь. Даже и выговорить-то не рискнешь, если, понятно, ты не круглый идиот. Тем не менее — *факт.* Такая вещь *совершенно невозможна.* Кооперативный дом, в котором они живут,— один из первых, построен еще до первой мировой войны. Тогда еще не совсем принято было приличным семьям селиться в многоквартирном доме (а не в особняке), и поэтому квартиры строились наподобие особняков — с высокими, в одиннадцать, двенадцать, тринадцать футов потолками, просторными холлами, лестницами, помещениями для слуг, с паркетными полами в елочку, с внутренними перегородками в фут толщиной, а наружными стенами потолще крепостных, и повсюду — камины, камины, камины, хотя здания возводились с центральным отоплением. Особняк, да и только. Правда, в парадную дверь попадают не с улицы, а из лифта, который открывается в ваш личный отдельный вестибюль. Вот что ты имеешь за свои 2 миллиона 600 тысяч, и всякий, кто переступает порог двухэтажной квартиры Мак-Коев на десятом этаже, сразу чувствует, что попал в сказочные чертоги, по которым обмирает весь мир, tout le mond! А за миллион что можно сегодня иметь? Самое большее, самое лучшее — квартирку на три спальни, в башне из белого кирпича, которые возводили в шестидесятые годы к востоку от Парк авеню,— ни помещения для прислуги, ни запасных спален для гостей, не говоря о солярии и гардеробной, потолки не выше восьми с половиной футов, столовая есть, библиотеки нет, холл размерами с чулан, ни одного камина, лепнина грубая, топорная, а то и вовсе никакой, перегородки из сухой штукатурки, проводят любой шепот, и лифт прямо в квартире не останавливается — вместо этого жалкая площадка без окон, на которую выходит, по меньшей мере, пять ядовито-бежевых голых, унылых дверей, обитых железом и украшенных двумя или более хитроумными замками каждая, одна из которых — твоя.

Так что совершенно очевидно: *это невозможно.*

Он сидел, поджав свои ботинки «Нью и Лингвуд» по 650 долларов пара к холодному белому основанию унитаза, шурша зажатой в дрожащих руках газетой и воображая, как его Кэмпбелл, с глазами, полными слез, в последний раз выходит из мраморного холла их квартиры на десятом этаже... чтобы начать спуск вниз.

Раз я эту беду предугадал, о Господи, Ты ее не допустишь, ведь правда же?

«Жискар»!.. Надо действовать немедленно. Только бы уже получить отпечатанный текст... Когда заключается крупная сделка, вроде той, что задумана с «Жискаром», заключается окончательно и бесповоротно, тогда составляют документальный контракт и отпечатывают типографским способом. Хоть бы уже получить отпечатанный текст!

Шерман Мак-Кой восседал на белом фаянсовом унитазе и молил Создателя о благополучном завершении операции с «Жискаром».

А в Гарлеме в одном роскошном особняке сидели два белых молодых человека лицом к лицу с пожилым негром. Младший из двух, тот, что вел разговор, был потрясен тем, что ему открылось. У него было такое ощущение, будто он вынесся из своего тела в поднебесье и оттуда как посторонний слушает собственную речь.

— Одним словом, как бы это выразиться, Преподобный Бэкон, я уж и не знаю, дело в том, что мы, то есть епархия... Англиканская церковь... мы вам выделили 350 000 долларов... в качестве затравки для создания фонда детского центра «Маленький пастырь», а вчера нам позвонил один репортер и сообщил, что ваша заявка на организацию такого центра отклонена Ассоциацией взаимопомощи еще два месяца назад, даже с гаком, и мы, ну, то есть, понимаете, мы не могли поверить, и поэтому...

Слова продолжают вылетать у него изо рта, но сам молодой посетитель, который, кстати, носит имя Эдвард Фиск III, уже мысленно от них отвлекся. Речь его идет в автоматическом режиме, а ум старается осознать, что, собственно, здесь происходит. Помещение, в котором они находятся, представляет собой просторный зал в стиле модерн: непременные темные балки и карнизы из мореного дуба, вызолоченные гипсовые розетки, и гирлянды, и лепные бордюры по верху стен, и фигурные плинтусы понизу. Все тщательно отреставрировано, всему возвращен исходный вид начала века. Такие замки возводили себе текстильные бароны в Нью-Йорке перед первой мировой войной. Но теперешний барон этого замка, сидящий за массивным столом красного дерева,— негр.

Он сидит во вращающемся кресле с высокой спинкой, обитом кожей цвета бычьей крови. Лицо его совершенно невозмутимо. Это крупный, крепкий мужчина, из таких, которые производят впечатление мускульной силы, даже не обладая особой мускулатурой. У него лысый до самого темени лоб, а дальше идут гладко зачесанные волосы и только за ушами взрываются мелкими завитками. На нем черный двубортный пиджак с острыми лацканами, белая рубашка с высоким, туго накрахмаленным воротничком и черный галстук в косую белую полоску. На левом запястье — часы, такие массивные, ослепительно золотые, что светят, как электрический фонарик.

Фиск снова отчетливо услышал собственный голос:

— ...мы позвонили,—собственно, это я позвонил — в Ассоциацию, со мной говорил некий мистер Любидов, и он сказал, я только повторяю его слова, он сказал, что несколько — он даже точно сказал: семь — членов дирекции детского центра «Маленький пастырь» отбывали тюремное заключение, а трое и в настоящее время отпущены под залог, то есть формально, с точки зрения закона,— Фиск оглянулся на своего товарища Моуди, адвоката,— должны считаться — рассматриваться — как заключенные.

Фиск вытаращил глаза, выжидательно вздернул брови и вперился в Преподобного Бэкона. Это была попытка, явно безнадежная, втянуть барона в вакуум разговора. Спрашивать, требовать объяснений он, конечно, не смел. Самое большее — предъявить кое-какие факты, чтобы сама логика положения вынудила того на ответ.

Но у Преподобного Бэкона на лице не дрогнул ни один мускул. Он смотрел на молодого человека с отвлеченным интересом, словно перед ним клетка с тушканчиком, скачущим в колесе. Узенькая ленточка усов по краю верхней губы осталась неподвижной. Потом Преподобный забарабанил по столу двумя пальцами левой руки, всем своим видом как бы говоря: «Так. Ну и что из этого следует?»

В конце концов не выдержал и ринулся в вакуум не Преподобный Бэкон, а Фиск:

— Из этого следует... ну, то есть, по мнению Ассоциации взаимопомощи... как они на это дело смотрят... ведь они — инстанция, оформляющая лицензии на организацию детских центров, и вы можете себе представить, какое впечатление... Они так заботятся, чтобы все было безупречно... это дело важное, политическое... а тут трое из директоров детского центра «Маленький пастырь», те, что выпущены под залог, они в глазах закона в настоящее время — заключенные, поэтому на них распространяется все, что... ну, в общем, все ограничения... И остальные четверо — это люди с уголовным прошлым, что само по себе уже дает основание... Словом, правилами запрещается...

Неловкие обрывки фраз продолжают вырываться у него изо рта, а мысли мечутся в поисках выхода. Фиск относится к тем замечательно здоровым людям с белой кожей, которые сохраняют нежный персиковый цвет лица с тринадцатилетнего возраста и чуть ли не до тридцати. Сейчас его свежее лицо начинает заливать краска. Он испытывает смущение. Вернее, даже страх. Через несколько секунд ему предстоит заговорить на щекотливую тему о 350 000 долларов, если, конечно, разговор не возьмет теперь на себя его напарник-адвокат. Боже Всемогущий! Как он до этого докатился?! После Йейла Фиск еще окончил Уортонскую школу бизнеса, защитил там магистерскую диссертацию на тему «Количественные аспекты нравственного поведения в капиталоемкой корпорации». А последние три года заведовал внешними связями Нью-йоркского англиканского прихода, и через него осуществлялась та основательная моральная и финансовая поддержка, которую приход оказывал Преподобному Бэкону и его деятельности. Однако уже в те светлые многообещающие дни, два года назад, как-то не по душе ему были поездки в этот огромный старый особняк в Гарлеме. С самого начала его глубокий интеллигентский либерализм стал спотыкаться о тысячу разных мелочей. Взять, например, само это словосочетание: «Преподобный Бэкон». Всякому выпускнику Йейла, по крайней мере, если он англиканского вероисповедания, очевидно, что «преподобный» — это титул, а вовсе не имя. Как титул «достопочтенный» у судьи или конгрессмена. Можно сказать: «достопочтенный Уильям Ренквист», но нельзя просто: «достопочтенный» — или даже: «достопочтенный Ренквист». Точно так же можно говорить: «преподобный Реджинальд Бэкон», или: «преподобный мистер Бэкон», но «Преподобный Бэкон» — невозможно. Невозможно всюду, кроме этого особняка и этой части города Нью-Йорка, где этого человека называли так, как он хотел, а Йейл можно было выбросить из головы. Правду говоря, Преподобный Бэкон производил на Фиска отталкивающее впечатление уже тогда, в первые дни, когда он только и знал что улыбался. Тогда меж ними царило полное согласие по всем философским и политическим вопросам. И все-таки они были люди принципиально разные. Это — в первые дни. А теперь и подавно. Теперь дни, уж скорее можно сказать,— последние.

— ...Поэтому, как вы понимаете, Преподобный Бэкон, имеются серьезные сложности — очень жаль, кстати, что мы о них узнали только те-

перь, а не тогда же, когда они возникли,— и пока дело с лицензией не уладится... Словом, я не вижу в настоящее время возможности заниматься созданием центра. Я не говорю, что это окончательно, но надо... прежде всего, я полагаю, надо проявить реализм в связи с упомянутыми тремястами пятьюдесятью тысячами долларов. Естественно, ваш совет директоров, в нынешнем его составе, не вправе ничего тратить из этих средств, сначала совет должен быть реорганизован, а это, как я понимаю, приведет в конечном счете к реорганизации всего фонда, на что потребуется время. Возможно, что не так уж и много времени, но какое-то время все же потребуется, и...

Продолжая сражаться с фразами, Фиск покосился на своего спутника — но тот и ухом не вел. Сидел себе в кресле как ни в чем не бывало, голова набок, с таким выражением, будто видит Преподобного Бэкона насквозь и потихоньку, вчуже про себя забавляется. Моуди был самый младший сотрудник фирмы «Даннинг Спонджет и Лич», и его, как новенького, сплавили на работу в епархии, с одной стороны престижную, а с другой — «непыльную». По пути, в автомобиле, молодой адвокат рассказал Фиску, что тоже учился в Йейле. Играл защитником в футбольной команде. Эти сведения о себе он умудрился сообщить собеседнику по меньшей мере пять раз, пока ехали. В штаб Преподобного Бэкона он вошел вразвалку. Устроился в кресле, откинулся, расслабился. И помалкивает...

— А пока что, Преподобный Бэкон,— продолжал Эд Фиск,— мы сочли целесообразным, мы обсуждали в совете епархии, и таково общее мнение, не только мое, мы решили, что правильнее всего будет... то есть исключительно в интересах будущего детского центра... потому что мы по-прежнему на все сто процентов — за, в этом отношении совершенно ничего не изменилось... мы сочли, что правильнее всего поместить эти триста пятьдесят тысяч — разумеется, за вычетом суммы, которая истрачена на аренду здания на Сто двадцать девятой улице,— но остальные... сколько?.. Триста сорок тысяч или меньше?.. поместить пока в банк, условно депонировать до того времени, когда вы уладите дело с составом директоров и получите лицензию от Ассоциации, и больше не будет бюрократических препон... а тогда эти средства будут переданы вам и вашему совету директоров, и... ну, в общем, вот и все.

Фиск опять расширил глаза и поднял брови и даже сделал попытку дружески улыбнуться, как бы говоря: «Мы же все заодно, в одной лодке сидим». Оглянулся на Моуди, который по-прежнему молча, незаинтересованно взирал на Преподобного Бэкона. А Преподобный Бэкон даже глазом не моргнул, и что-то в его твердом взгляде подсказало Фиску, что лучше с ним больше в гляделки не играть. Он перевел глаза на пальцы Преподобного Бэкона, отбивающие чечетку по столу.

...Преподобный Бэкон перестал барабанить по столу. Концами всех десяти пальцев уперся в край столешницы. Вздернул подбородок и произнес:

— Здесь Гарлем.

Негромко. Неспешно. Фиск нервничает, а он абсолютно спокоен. Фиск вообще ни разу не слышал, чтобы он повысил голос. Лицо Преподобного Бэкона снова окаменело, руки застыли, вся сила выражения ушла в слова.

— Здесь,— еще раз повторяет он,— Гарлем. Да...

И, помолчав, заговорил:

— Вы приходите спустя столько времени и сообщаете *мне,* что в правлении детского центра «Маленький пастырь» есть люди с уголовным прошлым. Вы уведомляете об этом *меня.*

— Не я уведомляю вас, Преподобный Бэкон,— возразил Фиск.— Это Ассоциация взаимопомощи уведомляет нас обоих.

— Но я хочу кое-что сказать вам. Хочу напомнить, что вы же мне говорили. Кто должен, по-вашему, распоряжаться детским центром «Маленький пастырь»? Помните? Хотим ли мы призвать для этой цели [illegible]

рышень из Уэлсли-колледжа или Вассара, чтобы они смотрели за детьми Гарлема? Хотим ли воспользоваться помощью частных благотворителей? Или дипломированных бюрократов социального обеспечения? Или бессменных членов городского муниципалитета? Разве этого мы хотим? Разве этого?

Фиск почувствовал, что обязан ответить. И послушно, как первоклассник, отвечает:

— Нет.

— Нет,— одобрительно повторяет Преподобный Бэкон.— Не этого мы хотим. Чего же, в таком случае? Мы хотим, чтобы за детьми Гарлема смотрели жители Гарлема. Нам силу дает наш народ, люди с наших улиц. Я объяснил вам это еще давно, в самом начале. Помните? Вы помните это?

— Да,— отвечает Фиск, чувствуя себя под его твердым взглядом с каждой минутой все более малолетним и беспомощным.

— Да. С наших улиц. А если человек рос на улицах Гарлема, на него, вполне вероятно, имеются в полиции протоколы приводов. Вам это понятно? Полицейские протоколы. И вот вам, пожалуйста, уголовное прошлое. Так что если вы каждому, кто сидел в тюрьме, и кто освобожден, и кто отпущен условно, заявите: «Ты не можешь участвовать в возрождении Гарлема, потому как на тебя в полиции есть дело и мы махнули на тебя рукой»,— тогда, значит, вы говорите о чем угодно, но не о возрождении Гарлема. Вы говорите о каком-то вымышленном месте, о сказочном королевстве. Вы обманываете сами себя. А не ищете радикального решения. Вы хотите лучше играть в прежние старые игры и видеть прежние старые лица. Хотите сохранить прежний колониализм. Вам понятно? Понятно, что я вам говорю?

Фиск уже готов утвердительно кивнуть, как вдруг в разговор встревает Моуди:

— Послушайте, Преподобный Бэкон, это все понятно. Но сейчас речь о другом. Перед нами сейчас стоит четкая и недвусмысленная юридическая проблема. По закону Ассоциация, при данных обстоятельствах, не имеет права выдать лицензию, вот и все. Так что вот этим давайте и займемся, уладим дело с тремястами пятьюдесятью тысячами, а там можно будет обратиться и к более общим вопросам.

Фиск не поверил своим ушам. Он непроизвольно съежился в кресле и опасливо взглянул на Преподобного Бэкона. Преподобный Бэкон без всякого выражения воззрился на Моуди. Воцарилось безмолвие. Помолчав, Преподобный, не разжимая губ, изнутри растянул щеку языком, покуда весь не перекосился. И, обратившись к Фиску, тихо спросил:

— Как вы сюда добирались?

— На... на машине,— пролепетал Фиск.

— Где она? Какой марки?

Фиск замялся в недоумении. Потом ответил.

— Надо было мне раньше сказать,— заметил Преподобный Бэкон.— Здесь много преступного элемента.— И позвал: — Эй, Красавчик!

Из кухни вышел верзила с золотой серьгой; рукава его рабочей блузы закатаны, наружу выставлены исполинские локти. Преподобный Бэкон поманил его, он приблизился и склонился, уперев ладони в колени, а локти полусогнутых рук выворотив под каким-то немыслимым углом. Хозяин что-то сказал ему шепотом. Он распрямился, мрачно кивнул и пошел вон.

— И вот еще что, Красавчик,— окликнул его Преподобный Бэкон.

Тот остановился и обернулся.

— Пригляди за машиной.

Красавчик опять кивнул и вышел.

Преподобный Бэкон обратился к Фиску:

— Надеюсь, уличные мальчишки... ну, да с Красавчиком, они знают, шутки плохи. Да, так что я говорил?

Он разговаривал с одним Фиском. А Моуди словно вообще не существовало в комнате.

— Преподобный Бэкон,— произнес Фиск.— Я считаю, что...

Зажужжал селектор.

— Да?

Женский голос объявил:

— Ирв Стоун из Первого телеканала на проводе.

Преподобный Бэкон повернулся в кресле к стоявшей рядом этажерке и снял телефонную трубку.

— Хелло, Ирв... Спасибо. Отлично!.. Нет, нет, почти одна только «Всенародная солидарность». Нам ведь еще нужно в ноябре свалить мэра... Нет, Ирв, пока еще нет, пока нет. Этот человек, его только чуть-чуть подтолкнуть и все. Но я не об этом вам звонил. Я насчет Коалиции по трудоустройству «Открытые двери»... Я говорю: Коалиция по трудоустройству «Открытые двери»... Как давно? Да уж порядком, порядком. Вы что, газет не читаете? ...Ну, ладно, бывает. Я насчет этого вот вам и звонил. Знаете манхэттенские рестораны, где люди выкладывают по сотне за обед и по две сотни за ужин, и даже не почешутся?.. Что, что?.. Ну да, так я вам и поверил, Ирв. А то я вас, телевизионщиков, не знаю! Ведь вы там каждый день обедаете. «La Boue d'Argent», да? — Фиск обратил внимание, что Преподобный Бэкон безо всякого труда произнес французское название одного из самых дорогих и модных ресторанов Нью-Йорка.— Хе-хе! Так я слышал. Или путаю, вы предпочитаете «Лестер»? — «Лестер» он тоже произносит правильно, на британский манер. И, довольный, посмеивается. Слава Богу, что довольный, думает Фиск, а чем — не важно.— Да, ну так вот, видели ли когда-нибудь в этих ресторанах черных официантов? Вы, например, видели? Хотя бы одного черного официанта... Вот именно, никогда. Ни в одном. А почему?.. Именно, именно. И профсоюзы тоже. Поняли, что я хочу сказать?.. Вот именно. Ну, так вот. Этого так оставить нельзя. Да... Нельзя так оставить. Во вторник на той неделе Коалиция начнет пикетирование ресторана «Лестер», а управимся там, переберемся к «La Boue d'Argent», потом и «Макака», «La Grise», «Три пташки» и так далее... Как? Любыми средствами, какие потребуются. Вы все время толкуете об эфирном времени, Ирв. Так вот, могу вам обещать, что эфирное время вы получите. Вы меня поняли?.. Позвонить в «Лестер»? Валяйте, звоните... Нет, нет, я в самом деле возражений не имею.

Положив трубку, он сказал словно бы про себя:

— Будем надеяться, что позвонят.

И обернулся к своим посетителям.

— Итак,— произнес он бодрым голосом, словно настало время подвести итоги и отправить всех по домам.— Как вы сами видите, ребята, у меня забот выше головы. Я веду борьбу. Это — дело всей моей жизни. Дело... всей... жизни. «Всенародная солидарность», она должна в ноябре скинуть самого расистского мэра за всю историю Соединенных Штатов. С Коалицией по трудоустройству «Открытые двери» будем рушить стену апартеида на рынке рабочих мест. А с Антидиффамационной лигой третьего мира ведем наступление на эксплуататорскую кинокомпанию, которая ставит стопроцентно расистский фильм «Гарлемские ангелы» — одни бандиты, торговцы наркотиками, алкоголики, наркоманы; обычный набор расистских штампов. Думают, раз у них там один черный парень приводит группу молодежи к Иисусу, значит, это уже не расизм. Но на самом деле картина все равно расистская, на сто процентов, и надо, чтобы они на этот счет не заблуждались. Так что в Нью-Йорке близится день. Наступает заветный час. Решительный бой, можно сказать. Войско Гедеоново... А вы?.. вы являетесь сюда со всяким дерь... дерзким разговором насчет правления детского центра «Маленький пастырь»!

В голос барона закралась гневная нота. Он едва не сказал «дерьмовым», а Фиск, сколько его знает, еще ни разу не слышал, чтобы он произнес хоть одно мало-мальски грубое слово или хотя бы чертыхнулся.

Фиска раздирают противоречивые желания: с одной стороны, ему хочется бежать из этого дома, пока не разразился решительный бой и стрелы адовы не посыпались на их головы, а с другой — жалко потерять работу, пусть и не ахти какую. Триста пятьдесят тысяч долларов отдал Преподобному Бэкону не кто-нибудь, а именно он. Ему их и выручать.

— Может быть, вы и правы, Преподобный Бэкон,— говорит он, пробуя занять промежуточную позицию.— Мы, епархия, вовсе не хотим усложнять положение. Честно говоря, мы, наоборот, хотим вас обезопасить и обезопасить средства, которые мы в вас вложили. Мы выдали вам триста пятьдесят тысяч под условие лицензии на детский центр. Теперь верните нам эти триста пятьдесят или триста сорок тысяч, сколько там осталось на балансе, чтобы мы могли пока депонировать их в банк, и мы тогда вам поможем. Встанем за вас горой.

Преподобный Бэкон задумчиво посмотрел на него, словно взвешивая важное решение.

— Это не так-то просто,— произнес он.

— Но почему же?

— Большая часть этих денег уже... связана.

— Связана?

— Предназначена подрядчикам.

— Каким подрядчикам?

— Ну, как каким? Да Господи, оборудование, компьютеры, телефоны, ковер, кондиционеры, вентиляция — вентиляция особенно важна, когда имеются дети,— безопасные игрушки. Всего не упомнишь.

— Но, Преподобный Бэкон,— голос Фиска слегка зазвенел,— все, что у вас есть на данный момент, это пустой старый склад! Я только что оттуда! Никакие работы не ведутся! Архитектор не приглашен! У вас даже чертежей нет!

— Это все мелочи. В таком предприятии главное — общая согласованность.

— Согласованность? Но я не понимаю... Ну ладно, допустим, но если вы уже наняли подрядчиков, по-моему, им придется объяснить, что теперь предстоит некоторая неизбежная задержка.— Внезапно Фиск спохватывается, не слишком ли строгий тон он взял.— Если вы не возражаете — сколько именно этих денег у вас осталось на руках, Преподобный Бэкон, связанных и не связанных?

— Ничего,— последовал ответ.

— Ничего?! Как это может быть?

— Эти деньги были предназначены на затравку, на семена. И мы эти семена посеяли. Некоторые упали на неплодородную почву.

— Посеяли? Преподобный Бэкон, неужели вы всем этим людям заплатили вперед, до того как сделана работа?

— Это фирмы национальных меньшинств. Местные люди. Мы же так и хотели. Или я ошибаюсь?

— Нет. Но не могли же вы выплатить им всем вперед?

— У этих фирм нет возможности пользоваться «линиями кредита», и «компьютеризованными каталогами», и «перераспределением наличных поступлений», и «системой конвертируемых активов», и «чувствительными ликвидными расчетами», и прочими благами. Они не могут получать деньги под накопленные счета, как делают промышленники готового платья, когда случаются тяжелые времена вроде ваших неизбежных задержек... Вот так. Это все фирмы, принадлежащие здешнему люду. Нежные ростки тех семян, что посеяны нами,— мною, вами, Англиканской церковью, церковью «Врата Царства». Нежные ростки... а вы говорите, неизбежная задержка. Это не просто выражение такое, не просто ваш белый бюрократизм — это смертный приговор. Смертный приговор. Все равно как сказать: «Будьте любезны подохнуть». Так что не говорите мне, что я должен им это объяснить. Неизбежная задержка... Неизбежная гибель, вот что это такое.

— Но послушайте, Преподобный Бэкон! Речь идет о трехстах пятидесяти тысячах! Ведь это...

Фиск оглянулся на Моуди. Моуди весь подобрался, утратил безразлично-высокомерный вид. Но молчал.

— Совет епархии будет вынужден... Придется назначить ревизию,— сказал Фиск.— Безотлагательно.

— О да,— отозвался Преподобный Бэкон.— Давайте. Давайте устроим ревизию. Безотлагательно. Я вам покажу вашу ревизию. Вы у меня услышите кое-какие истины о капитализме к северу от Девяносто шестой улицы. Вы думаете, вы зачем даете нам деньги? Зачем вкладываете эти свои триста пятьдесят тысяч в детский центр Гарлема? Ну, зачем?

Фикс молчал. Сократические диалоги Преподобного Бэкона всегда приводили его в состояние детской беспомощности.

Но Бэкон не отступался.

— Нет, нет, вы ответьте. Я хочу услышать, что вы скажете. Как вот вы сказали: назначим ревизию. Ревизию, понимаете ли. Я хочу услышать из ваших собственных уст: почему вы вкладываете капитал в Гарлемский детский центр? Для чего?

Фиск не смог больше сопротивляться и послушно, как шестилетний мальчик, ответил:

— Потому что центры, где днем можно оставлять детей, очень нужны в Гарлеме.

— Нет, друг мой,— покачал головой Бэкон.— Не поэтому. Если бы вас так заботили интересы детей, вы бы сами понастроили детских центров и наняли туда профессионалов, имеющих необходимый опыт. Вы бы и мысли не допустили о том, чтобы нанимать людей с улицы. Разве они знают, как должен работать детский центр? Нет, друг мой, вы вкладываете деньги в другое. Вы вкладываете деньги в предохранительный клапан. И получаете за свои деньги что вам надо. Получаете что вам надо.

— Предохранительный клапан?

— Он самый. Отличное помещение капитала. А вы знаете, что такое капитал? Думаете, это собственность, которая принадлежит вам, так? Заводы, машины, здания, товары, ценные бумаги, деньги, банки, корпорации. Вы думаете, это ваша собственность, потому что так было раньше. Вам принадлежит здесь вся земля.— Он махнул рукой в сторону окна, за которым виднелся сумрачный двор и три могучих платана.— Здесь... и там... в Канзасе... в Оклахоме... люди выстраивались в ряд — на старт! приготовились! марш! — и все белые люди пускались бегом, и была вся эта свободная земля, кто первый добежит и станет на участке, тому он в собственность и достался, а белая кожа подтверждала их право собственности... вот так. Мешали краснокожие, их устранили. Люди с желтой кожей, эти годились, чтобы прокладывать рельсы по земле, их потом заперли в Чайнатаун. Ну, а чернокожие так и так оставались в оковах. Вот все и оказалось ваше, оно ваше и есть, и вы вообразили, что капитал — это собственность. Но вы ошибаетесь. Капитал — это не владение, а контроль. Власть. Хотите иметь земельный участок в Канзасе? Хотите воспользоваться своим белым правом собственности? Сначала вы должны иметь контроль над Канзасом... Да. Главное не владеть, а контролировать. Вам, я думаю, не приходилось работать в котельной? Котлы кому-то принадлежат, но это совершенно ничего не значит, главное — надо уметь регулировать давление... Да. Если вы не способны регулировать давление... пара, то вы рано или поздно взлетите на воздух со всеми своими подручными. Когда паровой котел выходит из-под контроля, люди бегут от него во все стороны, спасая жизнь. И они тогда не думают о том, что котел этот — их собственность, не думают про возмещение затрат, про депонентный счет, про ревизии и прочие разумные действия... Да. Они тогда говорят себе: «Господи Всемогущий! Я утратил контроль!» — и бегут, спасая жизнь. Только бы ноги унести. Посмотрите на этот дом,— он сделал широкий жест над головой.— Его построил в одна тысяча девятьсот шестом году человек по имени Стэнли Лайтфут Бру-

ман. Оптовый торговец турецкими банными полотенцами и камчатными скатертями Стэнли Лайтфут Боуман. Продавал полотенца и скатерти большими партиями. Он потратил на этот дом в одна тысяча девятьсот шестом году без малого полмиллиона долларов... Да... Его инициалы «С.Л.Б», отлитые в бронзе, стоят вдоль лестницы вместо стоек перил. Неплохой был особнячок в одна тысяча девятьсот шестом году. Тогда такие строили по всему Вест-Сайду, начиная с Семьдесят второй улицы и дальше на север, до самых этих мест. Да. А в одна тысяча девятьсот семьдесят восьмом я купил его у... у одного еврея за шестьдесят две тысячи долларов, и он еще рад был, что выручил такие деньги. Облизывался, поди, и говорил себе: «Вот нашел дурака, который дал мне за этот дом шестьдесят две тысячи!» Ну, а что сталось со всеми здешними Стэнли Лайтфутами Боуманами? Утратили они, что ли, свои богатства? Нет, они утратили контроль... вот так. Утратили контроль к северу от Девяносто шестой улицы, а утратив контроль, утратили капитал. Вам понятно? Весь ихний капитал сгинул с лица земли. Дом стоит, а капитал сгинул... Да. И вот что я вам говорю: проснитесь, пора! Вы хотите жить в капитализме будущего, а не знаете, что это. Вы вкладываете средства не в детский центр для детей Гарлема, а в души... в души людей, которые слишком давно живут в Гарлеме и которые уже больше не дети, они выросли с праведным гневом в сердце, их сердца полны, переполнены, еще немного — и взрыв. Праведное давление копится, растет!.. Праведное давление... Да. Вы когда являетесь сюда с разговорами про подрядчиков из национальных меньшинств и про обслугу из национальных меньшинств, про детские центры для людей улицы, чтоб они были ихние, ими и создавались — из народа, для народа, руками народа,— это вы поете на верный мотив, только пока еще слова у вас неправильные. Вы не хотите честно сказать: «Господи Боже Всемогущий! Пусть они делают с этими деньгами что хотят, лишь бы через это спускались пары... пока еще не поздно...». Ну, идите, устраивайте ревизии, объясняйтесь с Ассоциацией взаимопомощи, реорганизуйте совет директоров, ставьте все точки над i. А я, между прочим, дал вам возможность правильно поместить капитал, и благодаря мне вы опережаете события... Да, ради Бога, устраивайте ваши ревизии! Но близится время, когда вы скажете: «Слава Тебе, Господи, что мы распорядились деньгами так, как рекомендовал Преподобный Бэкон!» Потому что я — консерватор, хоть вам, может, и невдомек. Вы просто не знаете, что там за люди, на голодных, беззаконных улицах. Я — ваш умный брокер Судного дня. Взорвутся Гарлем, Бронкс и Бруклин, вот тогда-то, друг мой, вы будете рады, что у вас есть умный брокер... Да. Умный брокер... который знает, как регулировать давление пара... Да-да! В тот день владельцы капиталов, они будут рады отдать все, что имеют... отдать даже свое первородство за контроль над этим голодным, беззаконным паром. Нет, уезжайте обратно и скажите там: «Епископ, я был в Гарлеме и вернулся сообщить вам, что мы хорошо поместили капитал. Мы нашли умного брокера. И когда все обрушится, мы окажемся на возвышенном месте».

Тут снова зажужжал селектор, и голос секретарши произнес:

— Звонит мистер Симпсон из Общества взаимного гражданского страхования, хочет говорить с президентом компании «Гарантированные инвестиции».

Преподобный Бэкон снял трубку.

— Реджинальд Бэкон слушает... Да, верно, президент и главный управляющий... Верно, верно... Да, ценю ваш интерес, мистер Симпсон, но этот выпуск мы уже передали на продажу... Именно так, весь выпуск... Ну, конечно, мистер Симпсон, эти облигации пользуются широкой популярностью. Разумеется, знать рынок очень полезно, как раз для этого и существует компания «Гарантированные инвестиции». Мы хотим вовлечь в рынок наш Гарлем... Да. Не выставлять, как испокон веку, на продажу, а чтобы сам принимал участие в продажах... Спасибо, спасибо... Почему бы вам не обратиться к нашим партнерам на Уолл-стрит?

Знаете такую фирму «Пирс-и-Пирс?»... Да, да, они самые. Через них был реализован большой пакет этих облигаций, даже очень большой пакет. Я уверен, они будут рады делать с вами дела.

«Гарантированные инвестиции»? «Пирс-и-Пирс»? «Пирс-и-Пирс» — это одна из самых крупных и активных инвестиционно-банковских фирм на Уолл-стрит. Страшное подозрение закралось в душу к Фиску, от природы такую доброжелательную. Он покосился на Моуди — Моуди смотрел на него и явно думал о том же. Не употребил ли Бэкон их 350 000 на операцию с ценными бумагами, о которой он сейчас в неопределенных выражениях упоминал? Если деньги утекли на рынок ценных бумаг, то теперь уже и следов не отыщешь.

Не успел Преподобный Бэкон положить трубку, как Фиск сразу же забормотал:

— Я не знал, что вы... Впервые слышу, что у вас... Так, может быть, вы... Но я не думаю... Что такое... Я поневоле услышал... Что такое «Гарантированные инвестиции»?

— А, мы немного занимаемся бизнесом, если можем помочь, гарантируем размещение бумаг, знаете ли,— ответил Преподобный Бэкон.— Почему Гарлем обязательно должен покупать в розницу, а продавать оптом? Почему бы Гарлему самому не быть брокером?

По понятиям Фиска, это был совершеннейший вздор.

— Но где вы берете... Каким образом вы финансируете... Ведь такая деятельность...— Последнюю словесную петарду он оказался не в силах выговорить до конца. А подходящие эвфемизмы как на грех не приходили в голову. И тут неожиданно опять заговорил Моуди:

— Я немного разбираюсь в инвестиционном деле, Преподобный Бэкон, и знаю, что оно требует изрядных капиталовложений.— Тут он сделал паузу, и Фиск догадался, что он тоже тонет в волнах околичностей.— То есть я хочу сказать, нужен капитал, капитал в обычном смысле. Вы тут... мы тут сейчас вели разговор о капитале к северу от Девяносто шестой улицы, который должен, э-э-э, регулировать давление, как вы выразились... Но тут, на мой взгляд, речь о простом капитале, о капитале в классическом смысле, если можно так выразиться.

Преподобный Бэкон бросил на него желчный взгляд и недобро ухмыльнулся.

— Нам капитал не требуется. Мы только даем гарантии, предлагаем для продажи облигации, если они — на благо общества... Да. Школы, знаете ли, больницы...

— Да, но...

— Как было известно Павлу, много дорог ведет в Дамаск, мой друг. Много дорог.

Слова «много дорог» повисли в воздухе, насыщенные смыслом.

— Да, я знаю, но...

— Будь я на вашем месте,— произнес Преподобный Бэкон,— я бы не беспокоился о «Гарантированных инвестициях». А, как говорили старые люди, занимался бы своим вязанием.

— Именно это я и делаю,— сказал Моуди.— Триста пятьдесят тысяч долларов — вот оно, мое вязание.

Фиск снова вобрал голову в плечи. Моуди как расхрабрился! Сдуру, конечно, по невежеству. Сейчас Бэкон ему покажет почем фунт лиха. В эту минуту опять зажужжал селектор.

Секретаршин голос объявил:

— На проводе Энни Лэмб. Говорит, ей надо вам что-то сказать.

— Энни Лэмб?

— Да, Преподобный.

Глубокий вздох.

— Хорошо. Я возьму трубку... Энни?.. Энни, подожди минуту. Не так быстро... Что ты сказала? Генри?.. Какой ужас, Энни... И серьезно?.. О-ох, Энни, горе-то какое... Ах, все-таки? — Преподобный Бэкон долго слушает, понуря взор.— Что говорят в полиции?.. Ихние штрафные та-

лоны?! Но это же... Это же не... Я говорю, это не... Вот что, Энни, слушай. Давай прямо сейчас приезжай сюда и все мне подробно расскажешь... Я пока позвоню в клинику... Да. Они не сделали что положено, Энни. Так, по-моему. Не сделали что положено... Что-что?.. Вот именно. Ты совершенно права. Они не сделали что положено. И я им этого так не оставлю... Не беспокойся. Давай прямо сюда.

Преподобный Бэкон положил трубку, повернулся вместе с креслом к Фиску и Моуди и посмотрел на них с мрачным прищуром.

— Джентльмены, тут у меня произошел несчастный случай. Одна из моих самых верных сотрудниц, наш народный вожак... ее сына сбила машина. Сбила и даже не остановилась... «Мерседес-бенц»... Да, «мерседес-бенц». Юноша на пороге смерти, а эта добрая женщина боится обратиться в полицию, и знаете почему? Из-за штрафных талонов. Из-за ихних штрафных талонов! Они выписали ордер на арест. Это женщина, которая работает. Ездит на службу на Ратушную площадь, ей машина нужна, а они выписали ордер на арест из-за штрафных билетов. Конечно, вас бы такие осложнения не остановили, если б это с вашим сыном случилось, но вы никогда не жили в гетто. Если б это было с вашим сыном, разве они бы так сделали? Забинтовали руку и отправили домой, когда у человека сотрясение мозга, и он теперь на пороге смерти... Да. Но в гетто это самое обычное дело. Наплевательское отношение к человеку... Наплевательское отношение — в этом суть гетто... Да. Джентльмены, наши переговоры откладываются. Меня ждут серьезные дела.

В машине по дороге из Гарлема молодые питомцы Йейла чуть не до самой Девяносто шестой улицы хранили молчание. Фиск радовался, что нашел машину там, где оставил, с непроколотыми баллонами и неразбитым лобовым стеклом. А Моуди — Моуди проехал двадцать кварталов, ни разу даже не пикнув больше о том, что играл защитником в Йейльской футбольной команде.

Потом он сказал:

— Может, поедем пообедаем в «Лестере»? У меня там метрдотель знакомый, здоровенный такой черный верзила с одной золотой серьгой в ухе.

Фиск только слегка улыбнулся и ничего не ответил. Шутка Моуди дала ему повод почувствовать свое превосходство. Юмор отчасти состоял в допущении, что они могут пойти в «Лестер», самый модный нью-йоркский ресторан сезона. Так вот, Фиск как раз должен был вечером быть в «Лестере». Кроме того, Моуди не знает, что «Лестер», хоть и самый модный, не относится к классическим вечерним ресторанам с шеренгами крахмальных мэтров и официантов. Он скорее в духе лондонских бистро, и потому его облюбовало английское землячество в Нью-Йорке, а Фиск со многими англичанами на дружеской ноге, и вообще этого не объяснишь такому парню, как Моуди, но англичане удивительно владеют искусством застольной беседы. Фиск считает себя, в главном, англичанином, и по происхождению, и по... врожденному аристократическому пониманию, как надо жить,— аристократическому не в смысле «самый богатый», а в смысле «самый лучший». Фиск, он вроде великого лорда Филбэнка,— а что, разве нет? Вроде Филбэнка, который был столпом Англиканской церкви и использовал свои связи и финансовые познания, чтобы помогать бедным в лондонском Ист-Энде.

— Я, кстати, действительно не встречал черных официантов в нью-йоркских ресторанах,— говорит Моуди.— Только в закусочных. Думаете, Бэкону это дело удастся?

— Смотря, что, по-вашему, значит «удастся».

— А чем все-таки кончится?

— Ну, не знаю,— пожимает плечами Фиск.— Им так же хочется работать официантами в «Лестере», как вам или мне. Скорее всего получат

от «Лестера» взнос на бэконовскую благотворительность в Гарлеме и перенесут пикет к следующему ресторану.

— Значит, это просто вымогательство?

— Понимаете ли, самое смешное, что перемены все равно наступают. Преподобному мистеру Бэкону они, может быть, и не нужны, но перемены наступают. Заведения, о которых он и слыхом не слыхал, а слыхал бы — ухом не повел, начинают нанимать черных официантов, не дожидаясь, пока появится на пороге такой вот Красавчик с товарищами.

— Спускание паров,— сказал Моуди.

— Наверно, так. Понравились вам эти его рассуждения про котельную? Он сроду не работал ни в каких котельных. Но он отыскал в обществе новые ресурсы, так, пожалуй, можно это назвать. Или, скажем, открыл особую форму капитала, если определить капитал как средство для приращения богатства. Кто его знает, этого Бэкона, может, он ничем не отличается от Рокфеллера или Карнеги. Открываешь новые ресурсы и гребешь денежки, пока молод, и за это в старости тебе присуждают премии и называют твоим именем разные учреждения, и ты остаешься в истории как вождь народа.

— Хорошо, а «Гарантированные инвестиции»? На новый ресурс они что-то не похожи, по-моему.

— Трудно сказать. Я не знаю, что это за штука, но выясню. За одно могу ручаться: чем бы эта фирма на самом деле ни занималась, какая-нибудь преступная закавыка в ее деятельности наверняка есть, и они в конце концов сведут меня к чертовой матери с ума.

Фиск прикусил губу. Он был вполне набожным приверженцем Англиканской церкви и редко прибегал к бранным выражениям, он считал их не только грешными, но и вульгарными. В этом вопросе, в частности, он даже и теперь был одного мнения с Преподобным Бэконом.

Они пересекли Семьдесят девятую улицу и вновь очутились в безопасных пределах белого Манхэттена. Фиск ехал и думал: а ведь Бэкон и в этом тоже прав, они, действительно, не в детский центр вкладывают средства, они делают попытку купить души людей. Усмирить праведно негодующую душу Гарлема.

Да, надо смотреть правде в лицо!

Но тут он как бы очнулся. Болван ты, Фиск. Если ты не выцарапаешь обратно эти триста пятьдесят тысяч или хотя бы какую-то их часть, значит, тебя, со всей твоей праведностью, оставили в дураках.

7

КАРАСЬ НА КРЮЧКЕ

Телефонный звонок взорвал яичную скорлупу сна, и Питер Фэллоу остался только в мягком пленчатом мешке. О-о! Пленчатый мешок — это его голова, правая ее сторона лежит на подушке, а желток, тяжелый, как ртуть, катается внутри и давит ему на правый висок и на правое ухо. Если он вздумает подняться, чтобы подойти к телефону, ртутный желток, эта ядовитая масса, переместится, перекатится, пленка разорвется, и его мозги вывалятся наружу.

Покоя голову на подушке, он смотрит на надрывающийся телефон. Все-таки надо бы поставить телефонный столик рядом с кроватью — если, конечно, имеет право называться кроватью пружинный матрас на этой их американской металлической раме, которая подвинчивается по размеру, да только начнешь подвинчивать — все пальцы обдерешь. Аппарат, такой весь заляпанный, липкий, стоит в углу на грязном ковре. Хотя у него здесь не бывает гостей, только женщины иногда, и то поздно вечером, когда он уже высосал бутылку-другую и плевать на всех хотел. Только это неправда, если честно сказать. Приводя к себе женщину, он каждый раз заново видит свою жалкую дыру ее глазами, по крайней мере в первые минуты. Мысль о выпивке и женщине выбила предохра-

нитель у него в мозгу, и по всей нервной системе побежали волны раскаяния. Что-то вчера произошло очень неприятное. В последние дни он часто просыпался в таком же виде, отравленный похмельем, боясь шевельнуться и испытывая неконкретное чувство стыда и отчаяния. То, что произошло вчера, скрыто от него, как чудовище на дне холодного, темного озера. Память затонула, осталось одно ледяное отчаянье. Отыскать чудовище можно было только усилием ума, промеривая глубину фут за футом. Вдруг приходило знание, что вид этого неизвестного чудовища невыносим, так что лучше не стараться и не вспоминать, отвернуться навсегда...

Настойчивый звон телефона начал внушать тревогу. Что, если это из «Сити лайт»? После того как Грязный Мыш последний раз отчитал его, он дал себе слово каждый день являться в редакцию к десяти утра, а сейчас уже начало второго. И раз так, лучше совсем не отвечать. Нет, не ответив, он навсегда погрузится на дно, туда, где чудовище. Он выкатывается из постели, ставит ступни на пол — кошмарный желток внутри черепа болтнулся. И сразу свирепо заболела голова. Потянуло рвать, но при головной боли это слишком мучительно, лучше не надо. Несколько шагов к телефону. Опустился на колени, затем на четвереньки. Подполз, взял трубку и растянулся на ковре, чтобы желток перестал болтаться.

— Хелло?

— Питер? — слава богу, акцент английский.

— Да?

— Питер, что за хриплый голос? Разбудил я тебя, что ли? Говорит Тони.

— Нет, нет! Нет, нет, нет. Это я просто... я был в другой комнате. Я сегодня работаю дома.— Он сам заметил, что как-то воровато басит.

— Ну, знаешь, ты очень удачно изображаешь разговор спросонья.

— Значит, ты мне не веришь, да?

Слава богу, что это Тони. Он тоже англичанин и приехал работать в «Сити лайт» одновременно с Питером. Они — два коммандоса в этой дикой стране.

— Ну, что ты, конечно, верю. Но по этому вопросу я в абсолютном меньшинстве. На твоем месте я бы сейчас же, как можно скорее, приехал в редакцию.

— Ммм. Понял.

— Только что ко мне подошел Мыш и спросил, где ты. Не из праздного любопытства, между прочим. У него был чрезвычайно раздосадованный вид.

— А ты что ему сказал?

— Что ты находишься в Опекунском суде.

— Ммм. Не сочти за бестактное любопытство, но чем хоть я там занимаюсь?

— Да ты что, Питер, в самом деле, похоже, только-только глаза продрал? Наследство Лейси Патни, помнишь?

— Ммм. Лейси Патни.— Боль, тошнота и сон накатили, как гавайская волна. Голова плашмя лежит на ковре. Внутри болтается ядовитый желток.— Ммм...

— Не умолкай, пожалуйста, Питер. Я не шучу. По-моему, тебе надо приехать сюда показаться.

— Понимаю. Понимаю, понимаю. Спасибо, Тони. Ты совершенно прав.

— Приедешь?

— Да.— Он ясно представил себе, какая мука будет даже просто встать на ноги.

— И сделай мне одолжение.

— Все что угодно.

— Постарайся не забыть, что ты был в Опекунском суде. В связи

с наследством Лейси Патни. Вообще-то я не уверен, что Грязный Мыш мне поверил. Но все-таки.

— Да, да. Лейси Патни. Спасибо, Тони.

Фэллоу положил трубку, с трудом поднялся на ноги и, качнувшись, ткнулся мордой в жалюзи. Разрезал губу. Эти янки делают жалюзи из узких металлических полос, как бритвы. Костяшкой указательного пальца стер кровь. Прямо держать голову не получается. Ртутный желток в черепе нарушил его чувство равновесия. Кое-как он добрел до двери в ванную и закрылся там при чахоточных иссиня-бледных отсветах флюоресцентной лампы из коридора. В таком больном освещении кровь на губе кажется в зеркале аптечки фиолетовой. Это-то ладно. Можно жить и с фиолетовой кровью. А вот если включить свет в ванной, тогда конец.

Ряды мерцающих компьютерных экранов в серых обтекаемых научно-фантастических окладах как будто придают помещению редакции «Сити лайт» упорядоченный и очень современный облик. Но это только на первый взгляд. А чуть присмотришься — столы, как у всех, завалены бумагами, пластиковыми стаканами, книгами, блокнотами, журналами, справочниками и переполненными пепельницами; за клавишными панелями сидит та же каторжная молодежь. Клавиши устало, мирно стрекочут — чок, чок, чок, чок, чок — словно в редакции играется грандиозный турнир по маджонгу. Репортеры, правщики, выпускающие редакторы горбятся над гранками, как спокон веку горбятся во всех редакциях. По временам вскидывается одинокая голова, будто выныривает глотнуть воздуха, и выкрикивает особенные слова: «шпоны», «кегль», «висячая строка».

Фэллоу пользуется минутным затишьем, чтобы просочиться в свою кабину. Но на середине компьютерного поля задерживается и с видом знатока берет в руки свежий оттиск дневного выпуска, только что поступивший в зал.

Так, держа перед собой газетный лист, словно не в силах оторваться от созерцания его совершенств, он проходит вторую половину пути через зал и оказывается у себя. Это так называемое «рабочее место», огороженное прессованными пластиковыми стенками неприятного телесно-розового цвета и со скругленными углами. Внутри — серый металлический стол, непременный компьютер с клавишной панелью, кресло из пластика неудобно-ортопедической конфигурации и цельнопластиковая вешалка, хитроумно вдвигающаяся в пластиковую стену. Вешалка уже дала трещину. На ней уныло болтается поношенный плащ Питера Фэллоу, никогда не покидавший пределов кабины.

Рядом с вешалкой находится окно, в нем Питер Фэллоу видит свое отражение. Анфас он выглядит тридцатишестилетним молодцом, а вовсе не опустившимся пропойцей за сорок. Белокурые волосы, мыском на лбу, а сзади локонами чуть не до плеч, имеют вид, даже можно сказать, байронический, и нисколько не заметно намечающейся плеши. Да, если смотреть анфас... все должно быть хорошо! Длинный тонкий нос — весь аристократический, от переносицы и до самого кончика, а вовсе не с нашлепкой внизу. Подбородок вытянутый и раздвоенный, и не видно, что уже немного отвислый. Темно-синий блейзер, сшитый у Блейдса восемь... нет, простите, уже десять лет назад, немного, конечно, лоснится на отворотах... но можно будет, наверно, поднять ворс проволочной щеткой. Брюшко намечается, и стали жирноваты бедра и ляжки. Но теперь это не проблема, раз он бросил пить. Больше капли в рот не возьмет. И сегодня же с вечера начнет регулярные занятия гимнастикой. В крайнем случае, завтра с утра, сегодня самочувствие слишком хреновое.

Он втянул живот, вдохнул поглубже.. Сразу закружилась голова. Снял телефонную трубку, прижал к уху. Главное — иметь занятой вид. Ровный гудок убаюкивал. Так бы, кажется, забрался в трубку и поплыл на спине по плавным волнам телефонного гудка, омывающим нервные окончания...

Фэллоу кладет трубку, встает и подходит к вешалке, где висит его старый плащ. Он дал зарок, но... Не снимая с крюка, он распахивает плащ и засовывает внутрь голову, как будто рассматривает швы. А вслед за головой прячет в плащ и плечи, и торс до пояса. В этом плаще имеются сквозные прорези, так что в дождь можно добраться до пиджака или брюк, не расстегивая пуговиц спереди. Оказавшись под плащом, как в палатке, Фэллоу нащупывает левый карман. Достает из него пинтовую походную флягу. Отвинтив крышку, прижимает горлышко к губам, делает два затяжных глотка и замирает, дожидаясь, когда водка ударит в стенки желудка. Удар, и горячая волна рикошетом бежит по телу, бросается в голову. Он завинтил горлышко, сунул флягу обратно в карман и выпростался из плаща. Лицо горит, на глазах слезы. Настороженно осмотрелся и — вот черт! — наткнулся прямо на взгляд Грязного Мыша. Он застыл, боясь не то что улыбнуться, но даже мигнуть. Главное — не привлечь внимания Грязного Мыша. Повел головой дальше, словно бы вовсе его не заметил. Правда ли, что водка не пахнет? Дай-то бог! Он снова сел за стол, взял трубку, зашевелил губами. В трубке ровный гудок, но нервы слишком взбудоражены, теперь уже не убаюкивает. Заметил ли Мыш, как он лазил в плащ? И если заметил, то догадался ли зачем? Эти жалкие два глотка так не похожи на праздничные тосты, которые поднимались в честь него полгода назад! Да, прекрасные открывались перспективы, и все псу под хвост! У него перед глазами как сейчас эта сцена... званый обед у Мышей, в их дурацкой квартире на Парк авеню... Напыщенные, велеречивые пригласительные карточки с тиснеными золотом буквами: «Сэр Джеральд Стейнер и леди Стейнер просят Вас любезно почтить своим присутствием ужин, который они дают в честь м-ра Питера Фэллоу» («ужин» и «м-ра Питера Фэллоу» вписано от руки)... Нелепый музей бурбоновской мебели и вытертых обюссонских ковров, в который Грязный Мыш и леди Мышь превратили свое жилище на Парк авеню. И тем не менее какой был упоительный вечер! Все гости за столом — англичане. В верхних эшелонах редакции «Сити лайт» вообще американцев раз-два — и обчелся, и не был приглашен ни один. Такие же обеды, шикарные пиршества, где собираются только англичане, или только итальянцы, или только европейцы,— во всяком случае, без американцев — как он вскоре узнал, устраиваются на Восточной стороне Манхэттена чуть ли не ежевечерне — словно секретный иностранный легион очень богатых и очень благородных господ тайно занял позиции на Парк и Пятой авеню, чтобы, совершая оттуда набеги на американскую жирную индейку, пожрать мягкое белое мясо, сколько его еще осталось на косточках капитализма.

В Англии Фэллоу всегда называл про себя Джеральда Стейнера — «этот еврей Стейнер», но тогда вечером всякая такая снобистская спесь забылась, они сидели рядом как товарищи по оружию, члены секретного легиона на службе уязвленного шовинизма своей родины. Стейнер поведал за столом, какой Питер Фэллоу гений. Его пленила серия статей о загородой жизни богатых, которую Фэллоу сделал для газеты «Диспетч». Нашпигованная именами, титулами, собственными вертолетами и невероятными извращениями («что он проделывал с чашкой»), аристократическими болезнями, и притом все так ловко, обтекаемо сказано, что нельзя привлечь за клевету — не придерешься. Это был высший триумф Питера Фэллоу-журналиста (и, собственно говоря, единственный). Стейнер диву давался, как у него это получилось. Фэллоу-то знал как, но старательно прятал неприятные воспоминания под кружевами тщеславия. Все пикантные подробности ему сообщала его тогдашняя приятельница Дженни Брокенборо, язвительная дочь антиквара-букиниста, которая была допущена в высшие сферы, но на ролях паршивой овцы, и страдала от унижения. Когда маленькая мисс Брокенборо с ним рассталась, таинственные ежедневные разоблачения Питера Фэллоу сами собой прекратились.

Приглашение от Стейнера поехать в Нью-Йорк оказалось как раз

кстати, хотя сам Фэллоу так не считал. Как все авторы, когда-либо добивавшиеся успеха, даже на уровне лондонской «Диспетч», он был не склонен приписывать свои достижения удаче. Сможет ли он так же отличиться, попав в незнакомый город, в страну, которую считает дурацкой шуткой истории? А что, почему бы и нет? Его гений только вступил в пору расцвета. А в составе нью-йоркской бригады Стейнера он заодно и разбогатеет в этом жирном Новом Свете.

Многие удивлялись, как Стейнер, не имея ни малейшего опыта, ни связей в мире журнализма, отважился поехать в Штаты и затеять такое дорогостоящее дело, как дешевая газета. Глубокомысленное объяснение было таково, что «Сити лайт» предназначена служить наступательным или карательным оружием для его более серьезных финансовых предприятий в Америке, где он уже приобрел прозвище Грозный Бритт. Но Феллоу знал, что на самом деле все наоборот. «Серьезный» бизнес у него поставлен на службу газете. Стейнера вырастил, воспитал, натаскал и сделал владельцем наследственного состояния Старый Стейнер, шумный, неотесанный, самодовольный деляга, своими силами выбившийся из низов, и он хотел, чтобы его сын стал английским пэром, а не просто богатым евреем. Вот Стейнер-fils и вырос благовоспитанным, образованным, хорошо одетым мышонком, как мечтал его отец. У него не хватало духу взбунтоваться. Но с годами он открыл для себя желтую прессу. Каждый божий день ныряя в грязь, он испытывал от этого несказанную радость. Ухуру! Свободен, наконец!

Несмотря на успешную карьеру, успеха в обществе Стейнер так и не добился. Главным образом — из-за своих личных качеств, но и антиеврейские настроения все еще вполне живы, их тоже со счетов сбрасывать не приходится. Словом, он сладострастно предвкушал, как Фэллоу поджарит хорошенько на аппетитном костре всех этих вельмож, которые смотрят на него сверху вниз. И ждал...

Он ждал и ждал. Сначала творческие расходы Фэллоу, значительно превосходившие траты других сотрудников редакции (исключая отдельные загранкомандировки), не внушали беспокойства. В конце концов, чтобы втереться в высший свет, надо жить более или менее по его законам. Вместе с колоссальными счетами за обеды, ужины и выпивки поступали забавные отчеты о потрясающем успехе, который имел «долговязый душка-бритт» Питер Фэллоу в модных притонах Нью-Йорка. Постепенно отчеты перестали быть забавными. Сенсационных, разоблачительных материалов из жизни американского света от этого пирата все не поступало. Стало обычным явлением, что он подает заметку, а от нее назавтра остается в номере полстолбца без подписи. По временам Стейнер призывал его к себе и расспрашивал, как продвигается дело. Тон этих бесед раз от разу становился все холоднее. Уязвленный Фэллоу начал среди коллег называть за это Грозного Бритта Стейнера — Грязный Мыш. Всем страшно нравилось. Ведь действительно, у Стейнера длинный острый нос, как мышиная мордочка, скошенный подбородок, поджатый ротик, уши торчком, маленькие ручки и ножки, мутные глазки-пуговки и слабый писклявый голос. Беда в том, что в последнее время он стал разговаривать с Фэллоу совсем уж ледяным тоном, сквозь зубы, по-видимому, шутка насчет Грязного Мыша каким-то образом достигла его слуха.

Фэллоу поднял глаза... Стейнер стоит в двух шагах, у входа в кабину и, упершись ладонью в пластиковую стенку, смотрит прямо на него.

— Мило с вашей стороны навестить нас, Фэллоу.

«Фэллоу!» Сколько презрения и высокомерия. У него прямо язык отнялся.

— Ну,— говорит Стейнер,— что у вас есть для меня?

Фэллоу разевает рот. Лихорадочно ищет в своем отравленном мозгу, что бы такое привычно легкомысленное и остроумное сказать в ответ. Но только бормочет прерывающимся голосом:

— Ну... вы же помните... это наследство Лейси Патни... Я уже го-

ворил, кажется... К нам очень недружественно отнеслись в Опекунском суде... этот... как его? Вот черт! Репортер или как там его... В общем, я пока еще... Но у меня уже все в кармане!.. Осталось, ну, несколько... И увидите, получится такая бомба...

Стейнер не дослушал.

— Искренно надеюсь, Фэллоу,— с угрозой в голосе произнес он.— Искренно надеюсь.

И отошел к тем, кто делает его любимую газету.

Фэллоу откинулся на спинку кресла. Он сумел выждать целую минуту, прежде чем встать и спрятать голову в плащ.

С тротуара Питер Фэллоу смотрит, как мимо по Уэст-стрит катят лимузины и такси. Господи милосердный! Как бы ему хотелось сейчас забраться в такси, заснуть на заднем сиденье и проспать до самого «Лестера»... Да что это он? О чем думает? Никакого «Лестера», и больше ни единой капли алкоголя. Сегодня он поедет прямо домой. Уже темнеет. Чего бы он не дал сейчас за такси!..

Но за такси пришлось бы уплатить долларов девять-десять, а у него до ближайшей получки, то есть на неделю, не осталось и семидесяти пяти долларов, притом что в Нью-Йорке семьдесят пять долларов — совершенный пустяк, мимолетная мысль, прихоть — раз чихнуть, щелкнуть пальцами. Он стоит и наблюдает за центральным подъездом здания редакции, обшарпанной конструктивистской башни двадцатых годов,— не появится ли кто знакомый, американец какой-нибудь, с кем можно вместе поехать на такси. Хитрость в том, чтобы выяснить, куда надо американцу, а потом сказать, что тебе в ту же сторону, только квартала на четыре ближе. В такой ситуации ни один американец не наберется наглости спросить с тебя денег.

Вот вышел американец по имени Кен Гудрич, он заведует в «Сити лайт» отделом маркетинга, а что за «маркетинг» такой, один бог ведает. За последние два месяца Фэллоу уже дважды подсаживался к Гудричу, и второй раз радушие Гудрича, которому предоставлялась возможность попутной беседы с англичанином, разительно убавилось, разительно. Нет, лучше не рисковать. Фэллоу препоясал чресла и отправился пешком за восемь кварталов до станции метро «Сити-холл».

Фэллоу не опасался ездить на нью-йоркском метро. Он считал себя парнем крепким, да и сколько он ездил, никаких неприятных столкновений у него в подземке не было. Но что действительно внушало ему страх, и самый настоящий, это — нищета, убожество. Когда спускаешься по лестнице на станцию «Сити-холл» в толпе смуглых бедно одетых людей, то кажется, что добровольно сходишь в подземную темницу, и притом очень шумную и грязную темницу. Всюду, куда ни посмотришь, закопченные, черные решетчатые перегородки, клетка на клетке, кошмарные видения, мелькающие сквозь черные прутья решеток. Всякий раз, как у платформы останавливается поезд, слышишь душераздирающий металлический скрежет, словно титанически мощным рычагом раздирается по косточкам чей-то великанский стальной скелет. Почему в этой возмутительно богатой стране, где столько тучных сокровищ, где такое возмутительно большое значение придается земным благам, не могут построить нормальное, тихое, приличное метро, чтобы не противно было смотреть, как... ну, хоть бы в том же Лондоне? А все потому, что американцы — вроде малых детей. Раз под землей, то уже как бы и не видно.

Станция метро на углу Лексингтон авеню и Семьдесят седьмой улицы находится в опасной близости от «Лестера». Впрочем, это не имеет значения. Питер Фэллоу больше не играет в эти игры. Он поднялся на тротуар. Совсем стемнело. Он стал вспоминать, как сейчас в «Лестере»,— просто чтобы доказать себе собственную решимость. Мореное дерево, матовые стеклянные абажуры, освещенный задник стойки, ряды

бутылок залиты светом, народ толпится, уютный гомон голосов... английских голосов... Может быть, если бы он зашел просто выпить апельсинового сока и газировки и на протяжении пятнадцати минут послушать английскую речь...

Когда входишь в «Лестер», сразу попадаешь в зал, где стоят столики, покрытые скатертями в красную шашечку, действительно, как в бистро. Сбоку вдоль стены расположена длинная стойка с медной подножкой. Дальше — дверь ведет в зал поменьше. В нем, у окна, выходящего на Лексингтон авеню, стоит столик, за которым, если захотеть, могут поместиться человек восемь или даже десять добрых друзей. По негласному обычаю, этот стол считается английским, здесь своего рода клуб, и сюда по вечерам и даже на исходе дня собираются «бритты», сливки лондонского общества, временно проживающие в Нью-Йорке, заходят и уходят, только пропустят стаканчик-другой и... ну, и послушают английские голоса.

Голоса! Уютный гомон голосов уже стоял в зале, когда Фэллоу туда вошел.

За английским столом — Тони Мосс, и Каролина Хефтшенк, и Алекс Бритт-Уитерс, которому принадлежит «Лестер», и Сент-Джон Томас, директор музея, а заодно, подтихую, и агент по продаже картин; и его сердечный друг Билли Кортес, венесуэлец, который учился в Оксфорде и считай все равно что англичанин; и Рэчел Лэмпвик, одна из двух дочерей лорда Лэмпвика, которых папаша содержит в Штатах; и Ник Стоппинг, газетчик-марксист, вернее сказать — сталинист, зарабатывающий на жизнь льстивыми статьями из жизни богатых для таких изданий, как «Дом и сад», «Искусство и антиквариат», «Знаток». Судя по количеству бутылок и стаканов, сидят уже давно и скоро начнут искать, кто бы сегодня за них расплатился, если, конечно, Алекс Брит-Уиттерс, хозяин... но нет, Алекс счет не забывает.

Фэллоу присаживается и объявляет, что начал новую жизнь и пусть ему подадут только апельсиновый сок и газировку. Тони Мосс сразу поинтересовался, как это понимать: он бросает пить или платить? Фэллоу на Тони не обиделся, он ему симпатизирует, поэтому он со смехом отвечает, что сегодня о деньгах вообще речи нет, поскольку с ними за столом — сам их щедрый хозяин Алекс. Алекс ответил: «Только не твой». Каролина Хефтшенк сказала, что Алекс оскорбил Питера в его лучших чувствах, и Фэллоу подтвердил, что так оно и есть, а посему он вынужден изменить свое решение. Пусть официант принесет ему коктейль «Саутсайд». Все рассмеялись, потому что это — намек на Эшера Херцфелда, американца, наследника миллионного дела «Херцфелдовское стекло», который вчера закатил Алексу страшный скандал из-за столика. Этот Херцфелд всегда доводит до исступления официантов и барменов — заказывает водочный коктейль «Саутсайд», чудовищный американский напиток, который смешивают с добавлением мяты, а потом жалуется, что, мол, мята выдохлась. За столом пошли анекдоты про Херцфелда. Потом переходят к дежурной теме: домашние нравы американцев. Американцы страдают извращенным комплексом вины и поэтому всегда знакомят гостей со своими слугами, особенно «люди вроде Херцфелда»,— таково мнение Рэчел Лэмпвик. Потом говорят о женах, об американских женах, которые деспотически командуют мужьями. Ник Стоппинг говорит, что открыл причину, по которой бизнесмены Нью-Йорка устраивают себе такой длинный обеденный перерыв. Это единственное время, когда они могут улизнуть от жен на любовное свидание. Он собирается для «Ярмарки тщеславия» написать статью «Секс в полдень». Тут официант и вправду принес Питеру Фэллоу коктейль «Саутсайд», и он среди общего веселья, тостов и сетований на то, что мята явно выдохлась, выпивает один стакан и заказывает второй. Очень вкусный напиток, между прочим. Алекс их покидает и идет проверить, как обстоят дела в большом зале, а в это время появляется Джонни Робертсон, художественный критик, и рассказывает смешную исто-

рию, как вчера один американец на открытии выставки Тьеполо упорно называл итальянского посла и его супругу по имени, а Рэчел Лэмпвик кстати рассказала, что когда одного американца познакомили с ее отцом и сказали: «Это — лорд Лэмпвик», тот ответил: «Привет, Ллойд!». Однако американские университетские профессора очень болезненно реагируют, если забудешь назвать их «доктор», заметил Сент-Джон; Каролина Хефтшенк выразила недоумение, почему американцы пишут обратный адрес обязательно на лицевой стороне конверта; Фэллоу заказал еще один «Саутсайд», а Тони с Каролиной предложили откупорить еще одну бутылку вина. Фэллоу высказал мысль, что пусть бы янки называли его по имени, это бы ладно, но зачем они делают из него уменьшительное «Пит»? У них в «Сити лайт» все янки зовут его «Пит», а Найджела Стрингфеллоу — «Найдж», и еще они носят псевдополковые галстуки, которые за версту бросаются в глаза, так что стоит ему увидеть издалека такой вопиющий галстук, как у него сразу же включается условный рефлекс, и он уже с дрожью ожидает, что сейчас его назовут Пит.

Тут до Фэллоу начинает доходить, что он уже назаказывал выпивки на двадцать долларов, каковые двадцать долларов он отнюдь не намерен платить из своего кармана. Словно связанные коллективным подсознанием по Юнгу, Фэллоу, Сент-Джон, Ник и Тони одновременно осознают, что пора ловить на крючок карася. Но кто будет этим карасем?

В конце концов Тони первый кричит: «Хелло, Эд!» И с самой сердечной улыбкой машет рукой, подманивая к столу долговязого американца. Американец хорошо одет и вполне недурен собой, у него аристократические черты и нежные, гладкие, розовые, покрытые пушком щеки, как два персика.

— Эд, я хочу вас познакомить с Каролиной Хефтшенк. Каролина, это мой добрый приятель Эд Фиск.

Следуют одно за другим приветствия — Тони знакомит молодого американца со всеми, кто сидит за столом. Затем он провозглашает:

— Эд — это принц Гарлемский.

— Ну что вы,— смущается мистер Эд Фиск.

— Истинная правда! — настаивает Тони.— Эд — единственный известный мне человек, который может исходить Гарлем вдоль и поперек, из конца в конец, по магистралям и переулкам, явиться куда ему вздумается, хоть в хоромы, хоть в лачуги, хоть во дворцы, хоть в притоны, в любое время дня и ночи и всюду встретить самый радушный прием.

— Тони, вы страшно преувеличиваете,— возражает мистер Эд Фиск и краснеет, но при этом и польщенно улыбается, давая понять, что преувеличение не так уж далеко от истины. Его усаживают за стол и спрашивают, что он будет пить. Он заказывает.

— Ну, а что новенького в Гарлеме, Эд?

Мистер Эд Фиск краснеет еще пуще и признается, что как раз сегодня был в Гарлеме. Имен он не называет, но у него состоялась встреча с одним субъектом, к которому он приехал со щекотливым поручением вырвать долг в довольно круглую сумму — триста пятьдесят тысяч долларов. Рассказывает он сбивчиво, с заминками, потому что старательно обходит вопрос расовой принадлежности «субъекта», а также и происхождения денег. Но англичане смотрят ему в рот и восторженно ловят каждое слово, как будто он — самый лучший рассказчик, какого им довелось услышать в Новом Свете. Они ухмыляются, они покатываются со смеху и хором подхватывают концы фраз — ну прямо мюзикл Гилберта и Салливана! Мистер Эд Фиск распаляется, говорит все увереннее и свободнее. Выпитый стаканчик сделал свое дело. Фиск не скупясь вываливает самые драгоценные и пикантные гарлемские подробности. А его окружают такие приветливые английские лица! Сияют улыбки. Умеют же люди ценить дар непринужденной беседы! Он щедро, не глядя, заказывает выпивку на всех, Фэллоу получает еще один коктейль «Саутсайд», а американец рассказывает про зловещего вер-

зилу по прозвищу Красавчик, у которого одна большая золотая серьга в ухе,— ну, настоящий пират!

Англичане осушили свои стаканы и один за другим уходят, первый — Тони, потом Каролина, за Каролиной Рэчел, за ней Джонни Робертсон, за ним Ник Стоппинг. Когда и Фэллоу, извинившись тихой скороговоркой, поднялся и вышел, за столом остались только Сент-Джон Томас с Билли Кортесом, и Билли тянул Сент-Джона за рукав, так как в восхищении, с которым его друг внимал этому богатому пупсику с нежным, как персик, лицом, он уловил определенную толику неподдельности.

На улице Фэллоу представил себе, на какую сумму счет сейчас подадут молодому мистеру Фиску, и в темноте блаженно, пьяно ухмыльнулся. Под две сотни подлетит. Ничего, заплатит, бедный карасик, и не пикнет.

Ох, уж эти янки. С ума сойти.

Осталось только разрешить проблему ужина. Ужин в «Лестере», даже без вина,— это самое малое сорок долларов с носа. Фэллоу плетется к телефонной будке на углу. Есть, например, такой Боб Баулс, редактор одного американского журнала. Должно сработать... Конечно, его костлявая сожительница, Мона, как там ее, трудно переносима, даже когда молчит. Но ничего в жизни не дается даром.

Он входит в будку, опускает четвертак. Если повезет, то через какой-нибудь час он уже снова очутится в «Лестере» и будет есть свое любимое блюдо — пулярку «Вожделение», которая особенно хороша с красным вином. Ему больше всего нравится «Вье Галюш», французское, в бутылке с занятным таким горлышком.

8

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

За рулем — ирландский детектив Мартин, рядом с ним — его напарник еврейский детектив Гольдберг, а Крамер — на заднем сиденье и ровно посредине, так что ему виден спидометр. Едут по скоростному шоссе Майора Дигана в сторону Гарлема на приличной ирландской скорости шестьдесят пять миль в час.

Для Крамера Мартин — прежде всего типичный ирландец. Он вспомнил, где увидел его в первый раз. Он тогда только поступил на работу в Особо опасный отдел. Его направили на место преступления на Сто пятьдесят вторую улицу Ист-Сайда, где в автомобиле, на заднем сиденье, был застрелен человек. Автомобиль оказался седан «кадиллак де вилль». Одна задняя дверца была распахнута, и возле нее стоял следователь, небольшого росточка, поджарый и легкий, голова на тонкой шее, слегка асимметричное, худое лицо и глаза добермана-пинчера. Следователь Мартин. При его появлении следователь Мартин тороватым жестом метрдотеля указал на внутренность машины. Крамер заглянул, и зрелище, которое ему представилось, оказалось таким, что слова «застрелен на заднем сиденье автомобиля» даже отдаленно не могли выразить этой жути. Убитый был тучный мужчина в пестро-клетчатом пиджаке. Он сидел в машине, обеими руками держась за колени, будто вздергивая штанины, чтобы не помялась стрелка. А под подбородком у него ярко алело нечто вроде кумачового нагрудника. И не было двух третей головы. А заднее стекло «кадиллака» было заляпано, будто кто-то швырнул в окно томатную пиццу. Алый нагрудник — это была артериальная кровь, выхлеставшая фонтаном из разорванной шеи. «Черт! — отшатнулся Крамер.— Видал? Надо же!.. Полная машина кровищи!» На что Мартин ответил: «Ну. Испортили, к эдакой матери, денек человеку». Крамеру сначала послышалось в этой реплике осуждение: нечего было расклеиваться. Но потом он понял, что Мартину только того и надо — велика ли радость угощать новичка крепким кро-

вавым вином бронксского розлива, если человек даже не расклеивается? С тех пор Крамер старался по мере возможности держаться на месте преступления по-ирландски.

Напарник Мартина Гольдберг был в два раза крупнее, здоровенный такой кусок мяса, на голове — шапка курчавых волос, под носом — усы с обвислыми концами по углам рта, могучая шея. Мартины бывают ирландцы, а бывают евреи. Как Крамеры бывают евреи, а бывают немцы. Но за всю историю человечества не было Гольдберга — не еврея. За исключением разве что вот этого. Похоже, что, работая на пару с Мартином, он успел тоже заделаться ирландцем.

Мартин за рулем слегка повернул голову, обращаясь к Крамеру, сидящему сзади:

— Я поверить себе не могу, что еду в Гарлем слушать эту задницу. Добро бы еще по агентурной наводке, это бы другое дело. Но как он, гад, сумел дотянуться до Вейсса?

— Понятия не имею,— равнодушно пожал плечами Крамер, показывая этим, что он тоже свой малый и тертый калач и понимает, что дело, по которому их послали,— типичная бодяга.

В баронской приемной Преподобного Бэкона, куда секретарша ввела Крамера, Мартина и Гольдберга, не было ни души. И прежде всего блистал своим отсутствием сам Преподобный Бэкон. Вращающееся кресло, что высилось позади стола, торжественно пустовало.

Секретарша усадила их в кресла у стола и вышла. Крамер посмотрел в окно на мрачные голые стволы деревьев в гнилостных желто-зеленых плешах. Потом задрал голову и стал разглядывать своды и вычурную лепнину потолков и прочие архитектурные излишества, неотъемлемые черты миллионерского обиталища восьмидесятилетней давности.

Мартин и Гольдберг были заняты тем же. Мартин переглядывался с напарником, чуть вздернув угол рта, что явно означало: «Ничего себе халупка!»

Но вот растворились двери, и вошел высокий чернокожий господин в дорогом черном костюме особого покроя, подчеркивающего ширину плеч и тонкость талии. Пиджак застегивался на две пуговицы, и в глубоком вырезе открывалась роскошная белая крахмальная манишка. Жесткий белый воротничок на черной шее слепил глаза. А галстук был в черную косую клеточку — когда-то такой носил Анвар Садат. От одного взгляда на вошедшего Крамер ощутил себя помятым и затрапезным.

Он колебался, встать ему навстречу или нет, прекрасно понимая, как расценят его почтительность Мартин и Гольдберг. Но выхода не было. Он встал. Мартин немного выждал и тоже поднялся, а за ним и Гольдберг. При этом они переглянулись и оба одинаково скривили рты. Поскольку первым, кто встал, был Крамер, хозяин дома подошел сначала к нему, протянул руку и произнес:

— Реджинальд Бэкон.

Крамер руку пожал и отрекомендовался:

— Лоренс Крамер, Окружная прокуратура Бронкса. Следователь Мартин. И следователь Гольдберг.

Мартин поглядел на руку Бэкона глазами умного добермана, так что поначалу было непонятно, собирается ли он взяться за нее рукой или же вцепиться зубами. Но в конце концов взял и тряхнул. Так же поступил и Гольдберг.

— Позвольте предложить вам кофе, джентльмены?

— Нет, спасибо,— ответил Крамер.

А Мартин устремил на Преподобного Бэкона ледяной взгляд и дважды, очень-очень медленно, покачал из стороны в сторону головой, так же недвусмысленно, как будто сказал словами: «Нет уж, скорее от жажды подохну». И Гольдберг, еврейский ирландец, сделал то же самое.

Преподобный Бэкон, обойдя письменный стол, уселся в свое высо-

кое кресло. Сели и они. Он откинулся на спинку, задержал на Крамере бесстрастный взор, а потом тихим, мягким голосом осведомился:

— Окружной прокурор объяснил вам о том, что случилось у миссис Лэмб?

— Да, мой начальник отдела объяснил.

— Начальник отдела?

— Берни Фицгиббон. Начальник Отдела особо опасных преступлений.

— Значит, вы из Отдела особо опасных преступлений?

— Когда сообщается, что пострадавший в уличном происшествии может не выжить, дело для начала регистрируется как убийство. Не всегда, но по большей части.

— Миссис Лэмб лучше не говорить, что несчастье с ее сыном рассматривается как убийство.

— Я понимаю,— кивает Крамер.

— Буду вам признателен.

— А где же миссис Лэмб?

— Здесь. Сейчас придет. Но я хочу перед тем, как она появится, вам кое-что сказать. Она очень переживает. Ее сын при смерти, она это и знает, и одновременно не знает... Да... Она это и знает, и одновременно знать не хочет. Вы меня понимаете? И в то же самое время у нее неприятности из-за каких-то штрафных талонов. Она говорит себе: «Я должна быть рядом с сыном, но что, если из-за каких-то ихних штрафных талонов меня арестуют?»... Да.

— Ну, из-за ихних талонов она пусть не переживает,— говорит Крамер, пользуясь той же манерой выражаться. Он не может и не хочет отличаться речью от собеседников.— Окружной прокурор аннулировал ордер. Штрафы надо будет заплатить, но арест ей теперь не угрожает.

— Я говорил, но вы лучше ей сами скажите.

— Да, конечно, но вообще-то мы здесь, чтобы услышать, что скажет она.

Это — для Мартина и Гольдберга, чтобы не сочли его мямлей.

Преподобный Бэкон помолчал, глядя на Крамера, а затем снова заговорил тихим голосом:

— Это правда. У нее есть что вам сказать. Но я сначала расскажу вам об ихней судьбе, о ней и ее сыне Генри. Генри — прекрасный юноша... то есть был прекрасным юношей. Господи, какая трагедия! Прекрасный юноша, лучше не найти, да... Посещает церковь, не замешан ни в каких дурных делах, кончает среднюю школу, собирается в колледж... Достойный молодой человек. И он уже окончил одну очень трудную школу, потяжелее Гарвардского университета, школу жизни в муниципальной новостройке. Он ихнюю школу прошел и сумел выйти достойным молодым человеком. Генри Лэмб — наша надежда! Вернее, был нашей надеждой. Да... Надеждой! И вдруг кто-то, какой-то проезжий, р-раз! — и он громко шлепнул ладонью по столу,— переехал его и даже не остановился!

Из-за присутствия Мартина и Гольдберга Крамер почувствовал себя обязанным прекратить этот цирк.

— Возможно, так и произошло, Преподобный Бэкон,— говорит он,— но пока у нас нет данных, позволяющих утверждать, что был совершен наезд.

Преподобный Бэкон снова задерживает на нем взгляд, а затем, впервые за весь разговор, улыбается.

— Данные вы будете иметь, сколько понадобится. Вы встретитесь с матерью Генри Лэмба. Я знаю ее хорошо. Да... И что она говорит, можно верить. Она из моей паствы. Работящая, хорошая женщина... Да... Хорошая женщина. И работа у нее хорошая, в Бюро регистрации браков, при муниципалитете. Пособия никогда не брала ни полцента. Хорошая мать хорошего сына.— Тут он нажал кнопку у себя на столе,

пригнулся и произнес: — Мисс Хэдли, пригласите миссис Лэмб. Да, и вот еще что. У нее мужа, отца Генри, шесть лет назад убили, застрелили, когда возвращался вечером с работы. Оказал сопротивление грабителю.

Преподобный Бэкон, скорбно кивая, обвел взглядом посетителей.

Тут Мартин встает и принимается смотреть в полукруглое окно. Он смотрит так внимательно, что Крамер подумал, не заметил ли он грабителя в квартире напротив. Преподобный Бэкон оглядывается на него с недоумением.

— Это что за деревья? — спрашивает Мартин.

— Которые, Марти? — Гольдберг встает вслед за Мартином.

— Да вон те,— Мартин указывает пальцем.

Преподобный Бэкон разворачивает свое кресло и тоже смотрит в окно.

— Это платаны,— поясняет он.

— Платаны, надо же,— произносит Мартин вдумчивым тоном юного натуралиста в ботаническом саду.— Вон какие стволищи. Футов небось пятьдесят в высоту.

— Тянутся к свету,— говорит Преподобный Бэкон.— Тянутся к солнцу.

За спиной у Крамера распахиваются высокие дубовые двери, и секретарша мисс Хэдли пропускает в комнату подтянутую чернокожую женщину лет максимум сорока, а то и моложе в синем деловом костюме с белой блузкой. Ее черные волосы уложены волнами, выражение больших глаз на худом, почти даже тонком лице спокойное и уверенное — так смотрят педагоги и представители других профессий, имеющих дело с людьми. Преподобный Бэкон встает и идет вокруг стола ей навстречу. Встает и Крамер — и в эту минуту ему становится понятен внезапный интерес Мартина и его еврейского единоплеменника к дендро-ботанике. Они таким образом избегли необходимости встать навстречу этой женщине. С них достаточно того, что пришлось подняться, когда вошел этот мошенник Бэкон. Вставать вторично ради какой-то женщины из его же шайки — это был бы уже перебор. А так при ее появлении они уже стояли и разглядывали платаны за окном.

— Джентльмены, это миссис Энни Лэмб,— объявил Преподобный Бэкон.— Вот этот джентльмен — из Окружной прокуратуры Бронкса мистер Крамер. И... вот...

— Следователь Мартин и следователь Гольдберг,— представил Крамер.— Они занимаются делом вашего сына.

Миссис Лэмб не шагнула вперед, чтобы пожать им руки, и не улыбнулась. А только слегка кивнула. Словно она еще посмотрит, что они за люди.

Заботливый пастырь, Преподобный Бэкон пододвинул ей кресло. И вместо того чтобы возвратиться на свой вращающийся трон, в непринужденной позе атлета присел на край стола.

Он сказал миссис Лэмб:

— Я поговорил вот с мистером Крамером, насчет штрафных талонов все улажено.

И посмотрел на Крамера.

— Да, ордер аннулирован,— подтвердил Крамер.— Арест отменен. Остались только талоны, но штрафы — это не наше дело.

Преподобный Бэкон с торжествующей улыбкой поглядел на миссис Лэмб и кивнул, как бы говоря: «Видали? За Преподобным Бэконом не заржавеет».

Но она встретила его взгляд и только поджала губы.

— Итак, миссис Лэмб,— сказал Крамер.— Преподобный Бэкон говорит, что вы можете нам сообщить некоторые сведения о происшествии с вашим сыном.

Миссис Лэмб опять посмотрела на Бэкона. Тот кивнул.

— Не стесняйтесь, расскажите мистеру Крамеру, что мне рассказывали.

Она проговорила:

— Моего сына сшибла машина и даже не остановилась, а уехала с места происшествия. Но он запомнил номер, часть номера.

Тон был вполне деловой.

— Минуточку, миссис Лэмб,— сказал Крамер.— Если можно, начните, пожалуйста, с самого начала. Когда вы об этом узнали? Когда вам стало известно, что вашему сыну были нанесены телесные повреждения?

— Когда он пришел из больницы с этой штукой на руке... не знаю, как ее назвать.

— Гипс?

— Нет, это не гипс. Больше похоже на лубок. Такая большая холщовая рукавица.

— Ну, хорошо. Он вернулся из клиники с пораненной рукой. Когда это было?

— Это было... третьего дня вечером.

— И как он объяснил, что с ним случилось?

— Он почти ничего не объяснил. Рука болела, и он хотел скорее лечь. Сказал что-то насчет машины, но я так поняла, что они ехали в машине и попали в аварию. Я же говорю, он не хотел разговаривать. Я думаю, ему в больнице что-то дали, болеутоляющее. И он хотел скорее лечь. Ну, я и сказала, иди ложись.

— Не говорил он, кто с ним был при аварии?

— Никого с ним не было. Он был один.

— Тогда он не мог ехать в машине.

— Он и не ехал. А шел.

— Понятно. Дальше. Что было потом?

— Утром ему стало совсем плохо. Попробовал поднять голову и чуть не потерял сознание. Так ему было плохо, что я даже не пошла на работу. Позвонила и осталась дома. Тогда-то он и сказал, что его сшибла машина.

— Объяснил он, как это произошло?

— Он переходил Брукнеровский бульвар, и его сбил проезжавший автомобиль, он упал и ушиб руку, но, должно быть, он и голову ушиб, потому что у него оказалось страшное сотрясение мозга.— В этом месте самообладание ей изменило. Она закрыла глаза. А когда открыла, в них стояли слезы.

Крамер минуту переждал.

— В каком месте на Брукнеровском бульваре это произошло?

— Не знаю. Когда он пытался говорить, боль была непереносимая. Он лежал, и только глаза то закроет, то откроет. Даже сесть не мог.

— Но он был один, вы сказали. Что он делал на Брукнеровском бульваре?

— Не знаю. Там на углу Сто шестьдесят первой улицы есть кулинария «Жареные цыплята по-техасски», Генри любит куриные палочки, которые они продают, может, он туда шел, но я не знаю.

— Куда его ударил автомобиль? В какое место?

— Этого я тоже не знаю. Может быть, в больнице вам ответят.

Вмешался Преподобный Бэкон:

— В больнице они просто опозорились. Не сделали ни рентген, ни компьютерную томографию, ни анализ на ядерно-магнитный резонанс. Ничего не сделали. К ним обратились с тяжелой травмой головы, а они наложили повязку на запястье и отпустили пострадавшего домой.

— Должно быть, там не знали, что его сшибло машиной,— говорит Крамер и обращается к Мартину: — Так ведь?

— В регистрационном журнале травмопункта про машину ничего не записано,— ответил Мартин.

— У него была серьезная травма головы! — повторил Преподобный Бэкон.— Он, наверно, наполовину не соображал, что говорит. Они должны такие вещи сами определять.

— Хорошо. Не будем отклоняться,— призывает Крамер.

— Он запомнил часть автомобильного номера,— сказала миссис Лэмб.

— Что именно?

— Что первая буква была R. А вторая — E или F, или P, или B, какая-то такая.

— А штат какой? Нью-Йоркская?

— Какой штат? Не знаю. Нью-Йоркская, я думаю. Он не говорил, что машина не здешняя. И еще он назвал марку.

— Какая?

— «Мерседес».

— Понятно. Цвет?

— Цвета не знаю. Он не сказал.

— Две дверцы? Четыре?

— Не знаю.

— Как выглядел водитель, он не сказал?

— Сказал, что в машине были мужчина и женщина.

— Мужчина за рулем?

— Наверно. Не знаю.

— Что-нибудь про то, как они выглядели?

— Они были белые.

— Он сказал, что они были белые? Еще что-нибудь?

— Больше ничего. Только, что белые.

— Это все? Больше он ничего не сообщил ни о машине, ни о людях?

— Нет. Он почти не мог говорить.

— Как он добрался до клиники?

— Не знаю. Он не сказал.

Крамер обращается к Мартину:

— Что сказали в клинике?

— Пришел сам, с улицы.

— Не мог же он со сломанной рукой прийти пешком от Брукнеровского бульвара до клиники Линкольна.

— «Пришел сам» не значит, что шел пешком всю дорогу. Просто — на своих ногах пришел в травмопункт. Не санитары на носилках принесли. Не в машине «скорой помощи» приехал.

Крамер уже мысленно примеривается, как бы можно представить дело в суде. Куда ни кинь, всюду тупик. Он помолчал и проговорил, качая головой:

— Д-да, это все мало что нам дает.

— То есть как это мало? — в голосе Бэкона впервые зазвучала резкая нота.— Вам дают первую букву номерного знака, и кое-что насчет второй буквы, и марку автомобиля — сколько, по-вашему, есть «мерседесов» с номерным знаком RE, RF или RP?

— Трудно сказать,— отвечает Крамер.— Следователь Мартин и следователь Гольдберг этим, конечно, займутся. Но не хватает свидетеля. Без свидетеля тут нет материала для возбуждения уголовного дела.

— А, по-моему, тут материала хватит на два уголовных дела,— возражает Бэкон.— Молодой человек, выдающийся молодой человек на пороге смерти. Автомобиль. Номерной знак. Что еще нужно для дела?

— Послушайте,— мягко говорит Крамер, надеясь терпеливо-снисходительным тоном смягчить резкость слов.— Сейчас я вам кое-что попробую объяснить. Допустим, мы завтра же разыщем автомобиль. Так? Допустим, он зарегистрирован в Нью-Йорке, и допустим, в Нью-Йорке имеется только один «мерседес» с номерным знаком, начинающимся с буквы R. Ну, нашли мы автомобиль. Но водителя мы все равно не знаем.

— Да, но ведь можно...

— Из того, что кто-то имеет автомобиль, еще не следует, что в определенный момент времени именно он находился за рулем.

— Но вы можете допросить этого человека.

— Можем. И допросим. Но если только он нам прямо не заявит:

«Да, я лично тогда-то и там-то сшиб прохожего на улице и уехал, не остановившись»,— это опять же нам ничего не даст.

Преподобный Бэкон трясет шевелюрой.

— Не понимаю почему.

— Да потому, что нет свидетелей. Не только нет никого, кто бы нам указал место происшествия, но и некому подтвердить, что происшествие вообще имело место.

— У вас же есть сам Генри Лэмб!

Крамер вскидывает ладони и слегка пожимает плечами, тактично намекая на то обстоятельство, что сын миссис Лэмб, по-видимому, вообще уже не сможет выступить в качестве свидетеля.

— Есть его рассказ, что он рассказал матери.

— Да, он дает ориентир, но это — показания с чужих слов.

— Не с чужих, а родной матери!

— Вы можете считать их абсолютно достоверными, и я могу считать их абсолютно достоверными, но все равно для суда они не годятся.

— Глупость какая-то.

— Таков закон. Но чтобы уж совсем откровенно, я должен обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство. Когда три дня назад пострадавший явился в травмопункт, он не сказал, что был сбит автомобилем. Это тоже уменьшает достоверность их... ихних слов.

— У него было сотрясение мозга... и перелом запястья. Мало ли он еще чего тогда не сказал.

— Но разве на следующее утро сознание у него прояснилось? Может быть выдвинуто и такое возражение.

— Кем это выдвинуто? Вами, что ли?

— Я никаких возражений не выдвигаю. Я просто показываю вам, что без свидетелей возникают разного рода сложности.

— Ну, ладно. Но машину вы можете найти? И допросить владельца. И осмотреть машину на предмет улик. Разве нет?

— Разумеется. Как я вам уже сказал, этим займутся.— Крамер снова кивает на Мартина и Гольдберга.— Они и свидетелей попробуют отыскать. Но не думаю, что осмотр машины даст какие-нибудь улики. Если машина его и ударила, то только слегка задела. На теле у пострадавшего есть синяки, но нет серьезных телесных повреждений, какие бывают, если собьет машина.

— То есть как это — если ударила?

— В этом деле полным-полно всяких «если», Преподобный Бэкон. Если мы обнаружим автомобиль и если владелец нам скажет: «Да, я сшиб на днях молодого человека на улице и уехал, не остановившись, а после не заявил в полицию»,— вот тогда можно возбуждать дело. Во всех прочих случаях имеется масса сложностей.

— Ах так,— говорит Преподобный Бэкон.— А может, вам просто нет охоты тратить время на это расследование, ввиду что тут масса сложностей, а?

— Нет. Этому случаю будет уделено не меньше внимания, чем любому другому.

— Вот вы сказали: чтобы уж совсем откровенно. И я тоже скажу совсем откровенно. Генри Лэмба не назовешь видным жителем города или сыном видных жителей, но он — прекрасный молодой человек. Да... Почти кончил среднюю школу. Не отсеялся. Собирался... собирается поступать в колледж. Не замешан ни в каких неприятностях. Но он живет в новых муниципальных домах имени Эдгара Аллана По. Негритянский юноша из муниципальной новостройки. Теперь давайте на минуту все перевернем. Представим, что Генри Лэмб — белый юноша, и живет на Парк авеню, и собирается поступать в Йейл, и на Парк авеню его сшиб чернокожий мужчина с чернокожей женщиной, ехавшие, к примеру, не в «мерседесе», а в «понтиаке файерберде»... И этот юноша рассказал своей матери, что Генри Лэмб рассказал своей. Ну, и что? Тогда бы у вас тоже не было бы материалов для возбуждения дела? Да вы бы и

не подумали ссылаться на сложности, вы бы ухватились за эту информацию и перебрали ее всю с лица и с изнанки!

Ожил, как молчавший вулкан, Мартин:

— Мы бы делали ровно то же самое, что и сейчас. Мы двое суток разыскивали миссис Лэмб. А когда нам стало известно про номерной знак? Вы сами только что слышали. Я работал и на Парк авеню, и на Брукнеровском бульваре. Без разницы.

Голос Мартина так четок и спокоен, взгляд так тверд, так упрям и по-ирландски несентиментален, что Преподобный Бэкон, кажется, на минуту дрогнул. Испепелить взором маленького ирландца и заставить его отвести глаза ему не удалось. Тогда он, слегка улыбнувшись, сказал:

— Мне вы можете так говорить, ибо я священнослужитель и сам хочу верить, что правосудие слепо. Да... Я хочу в это верить. Но не советую вам выходить с такими заявлениями на улицы Гарлема и Бронкса. Не советую вам рассказывать там жителям про наши блага, потому что они уже знают правду. Узнали на своем горьком опыте.

— Я на улицах Бронкса бываю каждый день и всегда повторю, что сейчас сказал, если кому интересно,— ответил Мартин.

— Да...— кивнул Преподобный Бэкон.— У нас есть такая организация, называется «Всенародная солидарность». Мы проводим обследование жилых кварталов, и люди обращаются к нам со своими проблемами. Могу сказать вам, что ваши заявления до народа не доходят. А доходят совсем другие.

— Присутствовал я при одном из ваших обследований,— сказал Мартин.

— Где-где вы присутствовали?

— Да при вашем обследовании. На Ган-Хилл-роуд.

— Да? Гм. Не понимаю, о чем вы говорите.

— Оно тоже происходило на улицах Бронкса.

— Словом, так,— вмешался Крамер, обращаясь к миссис Лэмб.— Спасибо вам за сведения. Будем надеяться, что вы получите благоприятные известия о сыне. Номерной знак мы проверим. А вы, если услышите о ком-то, кто был в тот вечер с вашим сыном или, может быть, что-то видел, пожалуйста, дайте нам знать, хорошо?

— Да...— ответила она с тем же сомнением в голосе, что и в начале встречи.— Спасибо.

Мартин все еще не отводил от Преподобного Бэкона свои добермановские глазки. Поэтому Крамер обратился к Гольдбергу:

— У вас есть карточка с номером телефона, чтобы дать миссис Лэмб?

Гольдберг пошарил во внутреннем кармане и протянул ей карточку. Она взяла и спрятала, не глядя.

Преподобный Бэкон поднялся.

— Мне вы можете карточку не давать,— сказал он Гольдбергу.— Я вас знаю. Да... Я с вами свяжусь. Буду наблюдать за этим делом. Я хочу, чтобы были приняты меры. Организация «Всенародная солидарность» требует, чтобы были приняты меры. И мы добьемся, чтобы меры были приняты. Да... Так что можете не сомневаться, я еще с вами поговорю.

— Сделайте одолжение,— сказал Мартин.— В любое удобное для вас время.

И чуть-чуть оскалил зубы в слабом подобии улыбки. Крамеру вспомнились лица мальчишек на школьном дворе, когда назревала драка.

Он встал и пошел к выходу, бросив через плечо «до свиданья» и от души надеясь, что Воинственный Мартин и Еврейский Ирландец уйдут вслед за ним.

Когда ехали обратно в крепость, Мартин сказал Крамеру:

— Черт, теперь я знаю, зачем парней посылают на юридические

факультеты. Вас там учат про любую бодягу разговорчики интеллигентные разговаривать.

Но он сказал это добродушно, без зла.

— Ты же понимаешь, Марти,— ответил Крамер, сочтя, что как соратник в битве с бодягой под крышей Преподобного Бэкона имеет теперь право держаться с неустрашимым ирландцем запанибрата,— при матери этого бедняги... И потом, а вдруг там что-то есть, насчет автомобильного номера.

— Хочешь пари?

— А все-таки. Вдруг.

— Черта с два вдруг. Хрена ли, тебя сбивает на улице машина, и ты обратился в клинику, но как-то забыл им об этом сообщить? А потом дома тоже как-то забыл сообщить об этом матери? Но утром, чуток очухавшись, говоришь: «Да, кстати, меня вчера машина сбила». Иди ты знаешь куда! Бедняга, конечно, попал в переделку, но не машина тут виновата, а что — он не хотел, чтоб знали.

— Это-то да. Посмотрите, нет ли у него приводов, ладно?

— А знаете,— говорит Гольдберг,— мне жаль этих людей. Они так говорят, что мальчишка не имел дела с полицией, будто это хрен знает какое достижение. В новостройках оно так и есть. Нашли, хрен дери, чем хвастаться: не имел дела с полицией! Герой, да и только. Нет, мне ее жаль.

В голос еврейского ирландца закралась еврейская слеза.

Но тут снова заговорил Мартин.

— Такой женщине вообще нечего делать в муниципальных домах. Порядочная женщина. Безо всякого этого дерьма. Я припомнил, как ее мужа убили. Был работяга и не трус. Оказал сопротивление подонку, тот взял и выстрелил ему прямо в рот. Она работает, пособием не пользуется, мальчишка ходит в церковь, учится в школе. Она порядочная женщина. С кем у нее мальчишка связался, этого я не знаю, но она женщина порядочная. Там добрая половина народу так привыкла жаловаться на жизнь, случится что, от них невозможно внятного слова добиться, только и знают, что весь мир перед ними в долгу. А эта — без дураков. Жаль ее, конечно, что живет в новостройке, но, знаешь,— он посмотрел на Крамера,— в новостройках тоже, бывает, живут приличные люди, работают и вообще...

Гольдберг умудренно кивнул и добавил:

— Теперь и не поверишь, ведь эти сволочные муниципальные дома для того и строились. Чтобы там жили трудящиеся люди. Так было задумано: дешевые жилища для трудящихся. А в наши дни если встретишь там кого-то, кто на работу ходит и старается жить по-человечески, так прямо сердце от умиления сжимается.

И тут Крамер начинает кое-что понимать. Понимать, что полицейские в этом отношении мало чем отличаются от прокурорских помощников. Та же ассенизаторская реакция. Им тоже осточертело с утра до ночи отправлять за решетку негров и латинов. Полицейским даже хуже: им приходится глубже залезать в дерьмо. И поддерживает их только сознание, что это делается ради чьего-то блага, ради блага порядочных людей. Вот они и смотрят во все глаза, неумолимо разгребая дерьмо, и замечают каждого, кто поднялся... каждого хорошего человека с темной кожей.

Это еще не просвещенный подход, думает Крамер, но можно сказать, что это, хрен дери, первый шаг на пути к просвещению.

9

БРИТТ ПО ФАМИЛИИ ФЭЛЛОУ

На этот раз телефонный звонок взорвался с такой силой, что вызвал сердцебиение, и каждый удар гнал кровь в голову под страшным давлением... инсульт!.. сейчас у него случится инсульт... валяйся тут с

инсультом один, в этой высотной американской хибаре!.. Инсульт! Страх расшевелил спящего зверя. Зверь всплыл и выставил мерзкую харю.

Фэллоу открыл один глаз: телефон покоится в своем коричневом стрептолоновом гнезде. Голова кружится, хотя он даже не оторвался от подушки. Перед глазами плавают огромные тени соринок на непромытой роговице. Пульсирующая в висках кровь взбивает в сгустки ртутный желток, и они ползут из-под век.

Опять взорвался телефон. Фэллоу спустил с кровати ноги. В голове по-прежнему гудит и булькает, все тело болит. Пропоэз по ковру к тарахтящему телефону и лег. Ощутил щекой металлически сухой, пыльный, грязный ворс.

— Хелло?

— Эй, Пит, привет! Как жизнь?

Жизнерадостный, американский голос, нью-йоркский голос, крайне неприятный и вульгарный. Даже еще более неприятный, чем это уменьшительное «Пит». Но зато, по крайней мере, не из «Сити лайт». Из «Сити лайт» с ним бы никто не стал разговаривать таким жизнерадостным голосом.

— Кто говорит? — хрипло, как зверь в норе.

— Господи, Пит, что за голос? Пульс как, прощупывается? Да это ж я, Эл Вогель!

При этом известии Фэллоу снова закрыл глаза. Вогель — из тех американских знаменитостей, которые англичанину, когда про них читаешь в Лондоне, представляются такими яркими, неустрашимыми и высокоморальными. А в Нью-Йорке, при личном знакомстве, все оказываются на одно лицо — янки, то есть вульгарные зануды. Вогеля хорошо знали в Англии как прогрессивного американского адвоката, всегда берущегося за непопулярные политические дела. Он защищал радикалов и пацифистов — совсем как Чарльз Гэрри, Уильям Канстлер или Марк Лейн. А непопулярные, конечно, в том смысле, что простые обыватели им не сочувствовали. Зато пресса и интеллигенция в шестидесятых и семидесятых годах очень даже сочувствовали тем, кого защищал Элберт Вогель, особенно в Европе, по тамошним понятиям, любой подзащитный Вогеля сразу же обретает нимб, крылья, тогу и факел. Денег, однако, у большинства из этих нынешних святых нет, и Фэллоу часто ломал голову: где берет Вогель средства к существованию? Тем более что с начала восьмидесятых обстановка складывалась для него неблагоприятно, теперь даже интеллигентам и прессе осточертели крикливые, скверно воспитанные, озлобленные любители «чернухи», составляющие его клиентуру. В последнее время Фэллоу встречал «великого заступника» на самых неожиданных сборищах. Например, он являлся на открытие автомобильной стоянки, где Фэллоу имел возможность пожать ему руку.

— А-а, хелло-о-о,— со стоном отвечает Фэллоу.

— Я сначала позвонил к вам в редакцию, Пит, но там сказали, что вас сегодня не видели.

Плохо дело, подумал Фэллоу. Интересно, где, когда и за каким чертом он давал Вогелю свой домашний телефон, да и давал ли?

— Вы слушаете, Пит?

— Угуммм.— Фэллоу лежит с закрытыми глазами и не чувствует, где верх, где низ.— Правильно. Я сегодня работаю дома.

— Мне надо с вами кое о чем потолковать, Пит. По-моему, наклевывается отличный материальчик.

— Угуммм.

— Только я бы не хотел засвечивать его по телефону. Знаете что? Поехали, я вас обедом угощу, а? Приезжайте к часу в «Риджентс-парк». Жду.

— Ммм. Даже не знаю, Эл. «Риджентс-парк». Где это?

— Рядом с Нью-Йоркским атлетическим клубом, с южной стороны Центрального парка.

— А-а-ммм.

Фэллоу раздирают два противоречивых инстинкта. С одной стороны, на кой ляд ему отрывать голову от пола и снова взбалтывать ртутный желток, чтобы в итоге добрых два часа слушать какого-то зануду-янки из бывших знаменитостей?.. Но с другой, все-таки дармовой обед в ресторане. Птеродактиль и бронтозавр сцепились в смертельной схватке на обрыве над Затонувшим Континентом.

И дармовой обед победил, как обычно в последнее время.

— Ладно, Эл. Увидимся в час. Повторите еще раз, где это?

— С южной стороны Центрального парка, Пит. Там рядом Атлетический клуб. Приятное местечко. Можно любоваться зелеными насаждениями. И статуей Хосе Марти на коне.

Попрощались. Фэллоу с трудом встает на ноги. Тяжелый желток перекатывается в голове то туда, то сюда. Черт, ушиб ногу о железную раму кровати. Боль — страшная. Но, по крайней мере, встряска для нервной системы. Фэллоу в темноте принял душ. За клеенчатой занавеской — духота неимоверная. И чуть закроешь глаза — клонит на сторону. Приходится то и дело хвататься за воронку душа.

«Ридженгс-парк» — это такой ресторан в Нью-Йорке, куда женатые мужчины водят молодых любовниц. Большое пышное здание, много глянца, много мрамора внутри и снаружи — спесь в камне, которая особенно импонирует постояльцам близлежащих гостиниц вроде «Рит-Карлтона», «Парк-Лейн», «Сент-Морица» или «Плазы». За всю историю Нью-Йорка для зачина разговора никогда не пользовались фразой: «Я давеча обедал в «Ридженгс-парке», так там...»

Вогель сдержал слово — занял столик у широкого окна. В «Ридженгс-парке» это не проблема. За окном, действительно, были видны деревья в зеленом весеннем убранстве. Конь под великим кубинским революционером взвился на дыбы, герой в седле сильно накренился вправо. Фэллоу отвел глаза — смотреть на эту неустойчивую скульптуру было выше его сил.

Вогель, как обычно, бодр и сердечен. Фэллоу смотрит на его шевелящиеся губы, но не слышит ни звука. Кровь отхлынула у него от лица, от рук, из грудной клетки. Кожа стала ледяная. А потом вдруг кровь закипела, миллионы огненных рыбешек устремились наружу изо всех пор. На лбу выступил пот. Кажется, он умирает. Так начинается инфаркт, он читал описание. Знает ли Вогель, какие меры надо принимать при острой сердечной недостаточности? Вогель сидит напротив как ни в чем не бывало, белоснежно, шелковисто седой, маленький и пухлый, похожий на чью-то бабушку. В молодые годы он, должно быть, тоже выглядел пухлым, но был «живчик», как говорят янки. А теперь личико у него розовое, нежное, ручки маленькие, со вздутыми венами, суставы шишковатые. Добрая старушка.

— Ну-с,— говорит Вогель.— Что вы будете пить?

— Ни-че-го,— отвечает Фэллоу с нажимом. И официанту:— Будьте добры, стакан воды.

— А мне — «Маргариту» со льдом,— заказывает Вогель.— Не передумаете, Пит?

Фэллоу отрицательно потряс головой. И это было ошибкой. Внутри черепа начинают стучать мучительные молоточки.

— Может, одну, чтоб включить мотор?

— Нет-нет.

Вогель, облокотившись о стол и вытянув шею, принимается оглядывать помещение. Останавливает взгляд на столике у себя за плечом. Там сидят мужчина в сером деловом костюме и девушка лет восемнадцати, не старше, с длинными прямыми белокурыми волосами редкой красоты.

— Видите вон ту девчушку? — спрашивает Вогель.— Готов по-

клясться, что она — член комитета, как он у них там называется, в Мичиганском университете.

— Какого комитета?

— Студенческого. Устраивают лекции, приглашают докладчиков. Я у них читал лекцию вот только третьего дня.

«Ну и что?» — думает Фэллоу. Вогель опять озирается через плечо.

— Нет, ошибся. Но, бог ты мой, до чего похожа. Ох уж эти мне студенточки... Знаете, почему люди соглашаются ездить с лекциями по всей стране?

«Не знаю»,— думает Фэллоу.

— Ну, понятно, ради денег. Но кроме того? Хотите знать?

Американцы любят задавать риторические вопросы.

— Из-за этих самых студенточек.— Вогель трясет головой и устремляет вдаль изумленный взор, сам потрясенный своим открытием.— Клянусь богом, Пит, там все время приходится себя осаживать. Иначе потом совесть покоя не даст. Сегодняшние девицы... Понимаете, в мои времена считалось, раз поступил в колледж, можешь пользоваться свободой на всю катушку, то есть даже выпить, когда придет охота. Так, да? А эти девицы поступают в колледж, чтобы спать с мужчинами, когда придет охота. И с кем они хотят спать? Это прямо потрясающее дело! Думаете, со своими здоровыми румяными ровесниками? Не тут-то было! Хотите знать, что им нужно?.. Авторитет... Власть... Слава... Престиж... Им подавай преподавателей. Преподаватели там совсем голову потеряли. Вы знаете, когда студенческое движение выходило на подъем, одно из наших требований было — убрать перегородки между учащимися и преподавательским составом, так как они представляют собой инструмент власти, и ничего более. Но теперь, ей-богу, задумаешься. Наверно, они все хотят заполучить в любовники своих отцов, если верить Фрейду, хотя я-то в него не верю. Понимаете, есть одна вещь, где феминизм ничего не может сделать. У женщины сорока лет сегодня те же неразрешимые проблемы, что были всегда. А мужик моего возраста — в самом соку. Я еще не старый, хотя у меня вон седые волосы...

«Как у старой бабушки»,— думает Фэллоу.

— ...но их это нисколько не сдерживает. Чуть-чуть известности, и они просто валятся на спину. То есть в буквальном смысле. Не думайте, что я хвастаюсь, но это просто потрясающе. А какие девчонки, черт бы их всех драл, одна другой сногсшибательнее. Я бы прочел им лекцию на эту тему, да только они не поймут, о чем речь. У них нет системы отсчета, ни в чем. Третьего дня я читал лекцию о студенческом движении в специфических условиях восьмидесятых годов.

— А я уж прямо умирал от любопытства,— невнятно пробурчал Фэллоу, не раздвигая губ.

— Пардон?

Янки вместо «что-то?» говорят «пардон?».

— Да ничего.

— Я рассказывал им про студенческую борьбу в университетах пятнадцать лет назад.— Взгляд его затуманился.— Но не знаю... пятнадцать лет назад, пятьдесят лет назад, сто лет назад... У них нет системы отсчета. Для них это все — одинаково давно. Десять лет назад... даже пять... Пять лет назад еще не было плейеров с наушниками. Они не в состоянии этого вообразить.

Фэллоу перестал слушать. Вогеля не собьешь. Он не чувствителен к иронии. Веки Фэллоу опускаются. И сразу всплывает зверь, начинает конопиться, смотрит на Фэллоу своими глазками. Все, попался. Не шевельнешься.

— ...Манагуа? — спрашивает Вогель.

— Что?

— Бывали там?

Фэллоу покачал головой. От этого движения его сразу затошнило.

— Советую съездить. Каждому журналисту надо там побывать.

У них территории всего с какой-нибудь... ну, не знаю, Ист-Хамптон. А то и меньше. Хотите? Могу устроить поездку, проще простого.

Опять качать головой Фэллоу поостерегся.

— Это и есть тот материал, про который вы хотели мне сказать?

Вогель помолчал, словно взвешивая, сколько в его вопросе сарказма. А потом ответил:

— Нет. Но мысль неплохая. У нас в стране о Никарагуа печатают в пять раз меньше, чем нужно. А я имел в виду одно происшествие в Бронксе, оно случилось четыре дня назад. Жили бы вы в Никарагуа, нашлось бы и там о чем писать. Короче, вы ведь знаете, кто такой Преподобный Бэкон?

— Вроде бы да.

— Он... понимаете, он... Вы ведь читали про него или телепередачи смотрели?

— Да.

— Так вот, есть одна женщина, она немного на него работает, Энни Лэмб из Бронкса. Проживает в микрорайоне имени Эдгара Аллана По с единственным сыном Генри.

— Черная? — спросил Фэллоу.

— Черная. В микрорайоне имени Эдгара По почти все жители черные или пуэрториканцы. А по закону, между прочим, он возводился для совместного проживания.— Вогель дернул бровями.— Но Энни Лэмб — женщина необыкновенная.— И Вогель рассказывает ему об Энни Лэмб и ее семье, кончая эпизодом с «мерседесом», который сбил ее многообещающего сына и умчался, оставив его на пороге смерти.

Печально, думает Фэллоу. Но ему-то чем тут можно попользоваться?

Вогель, словно предугадав его возражение, объясняет:

— В этом деле имеется два аспекта, оба связанные с вопросом: какая судьба уготована хорошему парню, если он чернокожий и живет в Бронксе? Понимаете, речь идет о юноше, который все делал так, как требуется. Генри Лэмб относится к тем, а их всего один процент, кто выполняет все требования, предъявляемые системой. Так? И что же происходит? Сначала в клинике ему лечат... руку! Был бы это белый мальчик из средних слоев общества, уж они бы расстарались, тут тебе и рентген бы, и компьютерная томография, и ядерно-магнитный резонанс — все, что положено. Во-вторых, полиция и Окружная прокуратура не принимают дело к расследованию. И это особенно возмущает мать пострадавшего. Машина сбила человека, известна часть номера и марка, а они хоть бы палец о палец ударили.

— Почему?

— На самом деле просто потому, что им в высшей степени наплевать. Подумаешь, сбило машиной какого-то мальчишку из Южного Бронкса. Но на словах они говорят, что нет свидетелей, кроме пострадавшего, а он при смерти и без сознания, так что материалов для возбуждения дела не имеется, даже разыщи они автомобиль и водителя. А представьте себе, если бы это был ваш сын. Показания от него получены, но их отказываются использовать на том основании, что формально это — информация с чужих слов.

У Фэллоу защемило сердце. Он не в силах представить себе, чтобы у него был сын. Тем более чтобы он рос в муниципальной квартире Бронкса, который представляет собой некий район города Нью-Йорка, что в стране под названием Америка.

— Печальная история,— говорит он Вогелю.— Но я все-таки сомневаюсь, чтобы тут был материал для газеты.

— Для кого-то тут материал будет, Пит, и очень скоро,— отвечает Вогель.— Жители Бронкса охвачены возмущением. С минуты на минуту должен произойти взрыв. Преподобный Бэкон организует демонстрацию протеста.

— Против чего именно?

— Им надоело терпеть, как в Южном Бронксе ставят ни во что че-

ловеческую жизнь! И можете мне поверить, когда Бэкон за что-нибудь берется, все происходит так, как он наметит. Ну да, он не Мартин Лютер Кинг и не епископ Туту. Нобелевскую премию он не получит. У него свои приемы, иногда они пристального рассмотрения не выдерживают. Но зато он делает дело. Он — то, что Хобсбоум называл: первобытный революционер. Хобсбоум ведь был англичанин, верно?

— Был и есть.

— Я так и думал. У него имеется теория насчет первобытных революционеров. Существуют такие прирожденные вожди угнетенных классов, властные структуры расценивают их действия как преступные — может быть, они даже искренне в этом убеждены,— но на самом деле эти люди просто революционеры. И Бэкон как раз такой человек. Я им восхищаюсь. И сочувствую угнетенным. Но даже помимо этого философского аспекта я вижу здесь отличный материал для газеты.

Фэллоу закрыл глаза. Он увидел звериную харю, освещенную ресторанными огнями. И ощутил ледяной холод. Он поднял веки. Вогель смотрел на него и жизнерадостно улыбался, как добрая старая розовощекая бабушка. Дурацкая страна.

— Слушайте, Пит, ну в худшем случае у вас получится интересная статья про жизнь бедняков. А если действительно разразится скандал — в ваших руках сенсация! Я могу устроить вам интервью с Энни Лэмб. Могу — с Преподобным Бэконом. Могу провести в палату интенсивной терапии, где лежит пострадавший. Он, правда, без памяти, но вы посмотрите своими глазами.

Фэллоу попробовал себе представить, как повезет в Бронкс ртутный желток в своей голове и залитые желчью внутренности. Нет, это свыше его сил. В его представлении Бронкс — что-то вроде Арктики. Расположен на севере, и никто туда не ездит.

— Не знаю, Эл. Я как бы считаюсь специалистом по высшему свету.— Он сделал попытку усмехнуться.

— Ну и что ж, что считаетесь, Пит? Не уволят же вас, если вы принесете первоклассный материал из жизни низов.

Слово «уволят» попало в самую точку. Фэллоу опять закрыл глаза. Скотская харя не появилась. Вместо этого перед его мысленным взором возникла мордочка Грязного Мыша. Прямо вот сейчас, в эту минуту, Мыш заглядывает в редакции в его кабину и убеждается, что она пуста. Всеми клетками своего существа Фэллоу ощутил страх. Он взял салфетку и приложил ко лбу.

— Можно я задам вам один вопрос, Эл?

— Валяйте.

— А у вас какой в этом деле интерес?

— Материального — никакого. Преподобный Бэкон мне позвонил и спросил совета, и я сказал, что постараюсь, насколько смогу, ему помочь, вот и все. Я ему симпатизирую. Мне нравится то, что он делает. Задает, блин, встряску всему городу. Я — на его стороне. И я посоветовал ему позаботиться, чтобы сообщения попали в газеты до начала демонстрации протеста. Таким образом можно привлечь больше внимания и телевизионщиков, и вообще всех. Говорю вам чистую правду, как на духу. И я подумал о вас, мне кажется, для вас это будет просто находка. Польза и вам, и множеству простых, славных людей, которые ведут беспросветное существование в этом сволочном городе.

Фэллоу всего передернуло. Что, интересно, Вогелю известно о его положении? А впрочем, какая разница? Ясно, что им собираются манипулировать. С другой стороны, вот кусок, который можно будет швырнуть Грязному Мышу.

— Может быть, вы и правы.

— Не может быть, а точно, Пит. Так или эдак, а дело получится шумное. Почему бы вам его не застолбить?

— И вы меня сведете с этой публикой?

— Конечно. Не сомневайтесь. Единственное, тут нельзя тянуть. У Бэкона уже все готово.

— Ммм. Давайте я пока запишу фамилии.

Он полез в карман пиджака — вот черт! не захватил записную книжку, и даже листка бумаги нет. Только предупреждение от компании, что отключат электричество и газ. На нем не запишешь, напечатано с обеих сторон. Вогель молча понаблюдал за его поисками, потом достал блокнот, вынул серебряную шариковую ручку, протянул ему. И продиктовал имена и факты.

— Вот что, пожалуй,— сказал Фэллоу.— Я пойду прямо сейчас позвоню в редакцию, в отдел городских новостей.

Он встал и, шатнувшись, толкнул соседний столик, за которым пожилая дама в костюме «Шанель» как раз подносила ко рту ложку с щавелевым супом. Она посмотрела на него убийственным взглядом.

— Что будете есть? — спросил его Вогель.— Я пока закажу.

— Ничего. Мисочку томатного супа. Пулярку «Вожделение».

— Вина?

— Не надо. Ладно. Один стакан.

Телефон-автомат — в вестибюле напротив гардероба, где на высоком табурете сидит хорошенькая девушка и читает книжку. А глазки выглядывают из черных, старательно нарисованных овалов. Фэллоу позвонил Фрэнку де Пьетро, редактору отдела городских новостей в «Сити лайт». Де Пьетро — один из немногих американцев, занимающих в их газете ответственный пост. Для местной хроники все-таки нужен местный, нью-йоркский житель. Остальные сотрудники, англичане, вроде Фэллоу, знают только кусок Манхэттена, заключенный между модными кабаками в треугольнике к югу от Кэнел-стрит и такими же кабаками в Йорквилле не севернее Восемьдесят шестой улицы. В остальном для них что Нью-Йорк, что Дамаск — одинаково неведомая территория.

— Да? — голос Фрэнка де Пьетро. Особой радости от того, что ему звонит Питер Фэллоу в разгар рабочего дня, как-то не слышно.

— Фрэнк,— говорит Фэллоу,— тебе известно такое место: микрорайон имени Эдгара Аллана По?

— Ну. А тебе?

Трудно даже сказать, что неприятнее: эта американская манера говорить «ну» вместо «да» или его недоверчивый тон. Тем не менее Фэллоу пускается пересказывать то, что услышал от Элберта Вогеля, с прикрасами где требуется и без упоминания имени самого Вогеля. Из его рассказа вроде бы следует, что он уже связался и с Преподобным Бэконом, и с матерью пострадавшего и что теперь весь Бронкс с нетерпением ожидает его личного прибытия. Де Пьетро сказал, что ладно, пусть он съездит и проверит на месте. Впрочем, тоже довольно скептическим тоном. И тем не менее сердце Фэллоу переполняет неожиданная радость.

Когда он возвратился к столику, Вогель говорит:

— Ну как? Ваш суп остывает.

Рот у него набит, слова звучат неразборчиво.

Перед Фэллоу стоит глубокая миска с томатным супом и фужер белого вина. Вогель расправляется с жутким кусищем телятины.

— Схватились обеими руками, а?

— Угуммм.— Во всяком случае, к черту не послали, и то ладно, думает Фэллоу. Дурнота понемногу проходит. Ртутный желток в голове тает. Нервную систему пронизывает радостное возбуждение — с таким подъемом выходит атлет на арену. Фэллоу ощущает себя... почти чистым! О, восхитительное чувство, столь редко воспеваемое поэтами,— чувство человека, который, в кои-то веки, сумел собственным трудом заработать свой хлеб!

Настала очередь Крамера следующие двенадцать часов носить на поясе рацию-пищалку. В Отделе особо опасных преступлений такой порядок, что кто-то из прокурорских помощников в любое время, круглые сутки, на проводе. Цель та, чтобы можно было незамедлительно явиться на место происшествия и снять показания свидетелей, прежде чем те разойдутся или утратят потребность делиться впечатлениями. И целых двенадцать часов дежурный прокурорский помощник должен разбираться с любой бодягой, имеющей то или иное отношение к убийству. Вот и в этот полицейский участок в Бронксе Крамера привела бодяга чистой воды.

У протокольной конторки стоит чернокожий сержант-детектив Гордон и вводит его в курс дела.

— Этого типа все зовут Альфонс,— рассказывает Гордон,— но он не альфонс. В основном он игрок, ну и, должно быть, приторговывает наркотиками. Но одевается, как альфонс. Сейчас сами увидите. Он там сидит в раздевалке, одет в костюм-тройку с двубортным жилетом, не как-нибудь.— Гордон покачал головой.— Сидит на краешке стула, ест свинину на ребрышках и держит вот так,— Гордон вытягивает далеко вперед шею и отставляет руку с подвернутым мизинцем,— чтобы не капнуть соусом на костюм. У него этих говенных костюмов штук сорок, и говорит он о них так, будто это его дитя родное, которого он лишился.

А случилось то, что эти сорок костюмов были украдены. Полная бодяга, тут и говорить не о чем. Бесконечный поток инфантильной глупости и бессмысленной злобы, а Крамер еще не все слышал.

Воздух в главном помещении участка пропитан сырым и почему-то сладковатым запахом гнилой древесины — не первое десятилетие из радиаторов парового отопления сочится на пол горячая вода. Теперь уже почти все полы — бетонные. Стены выкрашены казенно-зеленой масляной краской, а понизу на высоту трех футов обшиты облупленными деревянными панелями. Стены в этом здании — толстые, потолки — высокие, но скрытые от глаз плоскими корытцами флюоресцентных ламп. За дверью Крамер видит со спины двух постовых с раздутыми от оружия и прочих причиндалов боками — тут и карманные фонарики, и пачки бланков, и радиотелефоны, и наручники. Один из постовых красноречивым жестом воздевает над головой руки, что-то втолковывая трем окрестным жителям, мужчине и двум женщинам, которые слушают и явно не верят ни единому слову.

А Гордон продолжает рассказывать:

— Он пришел в один дом, и там было еще четверо, среди них — некий Андре Поттс, который, по его мнению, должен был знать, кто взял его костюмы, да только этот Андре отпирается, мол, слыхом ни о чем таком не слыхал, и так они толкут воду в ступе, покуда Андре не надоело, он встает и идет к двери. Ну, вы вот что бы сделали, если бы какой-то нахал повернулся к вам спиной, когда вы пытаетесь выяснить, где ваши чертовы сорок костюмов? Выстрелили бы ему в спину, верно? Именно так Альфонс и поступил. Разрядил в спину Андре Поттса свой револьвер тридцать восьмого калибра.

— И свидетели есть? — спрашивает Крамер.

— Свидетели дожидаются.

В это время у Крамера на поясе запищало.

— Можно позвонить по здешнему телефону?

Гордон махнул рукой на открытую дверь Следственного отдела, примыкающего к главному помещению. В Следственном отделе стоят три металлических канцелярских стола серого цвета. И за каждым сидит по негру в возрасте между тридцатью и сорока годами, все трое одеты по уличной бронксской моде, может быть, даже чуточку перестарались. Надо же, мелькает у Крамера мысль, весь Следственный отдел — из одних чернокожих. Тот, что за ближайшим к нему столом — в черной стеганой безрукавке и черной же футболке с короткими рукавами, могучие бицепсы наружу.

Крамер, протянув руку к его телефону, вежливо бормочет:

— С вашего разрешения...

— Эй ты, какого хрена?

Крамер отдергивает руку.

— Сколько мне, блин, тут еще сидеть на цепи, как собаке?

И с оглушительным лязгом вскидывает левый кулачище. На запястье у него — наручник, от наручника вниз тянется цепь, а конец примкнут к ножке стола. По его примеру и двое других поднимают над головами руки, звенят и ругаются. Оказывается, они все трое прикованы каждый к своему столу.

— Что я, блин, сделал? Только видел, как этот хрен собачий пришлепнул лопуха, пришлепнул лопуха этот хрен собачий, а посадили, блин, на цепь меня, как собаку, а он, сволочь,— он опять громко залязгал цепью, указывая на заднюю дверь,— сидит вон там, телевизор смотрит и жрет свинину на ребрышках.

Крамер оглянулся, и, действительно, за дверью, в раздевалке сидит на краешке стула некая фигура в бегучих отсветах телеэкрана и обгладывает кусок свиной грудинки, изысканно вытянув вперед шею и оттопырив руку. А из рукава пиджака высовываются белоснежные крахмальные манжеты с искрящимися запонками.

Трое за столами орут:

— Хрен собачий!.. Цепи, блин!.. Ребрышки!.. Телевизор!

Все понятно. Свидетели. И цепи, и все остальное сразу стало на свои места.

— Хорошо, хорошо,— спеша, деловито отвечает он.— Я этим займусь. Минутку. Мне надо сначала позвонить.

— На ребрышках, блин!.. На цепи, блин!..

Крамер позвонил к себе в отдел. Секретарша Берни Фицгиббона Глория сообщила ему, что с ним хочет поговорить Милт Лубелл. Лубелл — пресс-секретарь Эйба Вейсса. Крамер с ним почти незнаком, за все годы раз пять перемолвились словом, не больше. Но Глория диктует номер телефона.

Милт Лубелл работал раньше в редакции нью-йоркской газеты «Миррор» — тогда в ней еще вел колонку Уолтер Уинчел. Лубелл не так уж близко знал великого газетчика, но перенял его задышливую, отрывистую манеру речи и донес до последних дней двадцатого столетия.

— Крамер,— повторил он.— Крамер, Крамер, постойте-ка... Ах, Крамер! Да-да, о'кей, вспомнил. Дело Генри Лэмба. Находящегося при смерти. Что можете сказать об этом деле?

— Что это типичная бодяга.

— У меня тут запрос из «Сити лайт» от одного англичанина по фамилии Фэллоу. Такой акцент у человека! Словно слушаешь образовательную программу. Словом, он мне зачитал заявление Преподобного Бэкона в связи с делом Генри Лэмба. Мне только этого не хватало. Слова Преподобного Бэкона, акцент — английский. Вы Бэкона знаете?

— Ну,— отвечает Крамер.— Я у него в офисе снимал показания матери Генри Лэмба.

— Этот англичанин ее тоже цитирует. Но в основном — Преподобного Бэкона. Постойте-ка, сейчас найду... ага, вот... ля-ля-ля, ля-ля-ля... цена человеческой жизни в Бронксе... злодеяние... белый мальчик из среднего сословия... ля-ля-ля... ядерно-магнитный резонанс... Про ядерно-магнитный резонанс много. На всю страну, я думаю, имеются две такие установки... ля-ля-ля... Вот оно. Обвиняет Окружную прокуратуру в непринятии мер. Мы якобы не хотим затевать расследование, потому что пострадавший юноша — черный, из микрорайона имени Эдгара По, и будет слишком много возни.

— Липа все это. Херня.

— Понятно. Я это знаю, и вы это знаете. Но я должен отзвонить тому англичанину и что-то ему ответить.

Оглушительный лязг.

— Сколько мне тут еще сидеть на цепи, я спрашиваю? — опять взорвался свидетель с бицепсами.— Это не по закону!

— Слушайте, вы,— с непритворной яростью рявкнул Крамер,— хотите, чтобы вас выпустили, сидите тихо. Ни хрена же не слышно из-за вас.— И снова Лубеллу: — Извините, я звоню из участка.— Он загородил ладонью рот и низ телефонной трубки и продолжает вполголоса: — Тут в Следственном отделе трех свидетелей убийства приковали к ножкам столов, ну, они и беснуются.— Ему самому доставляет удовольствие эта маленькая зарисовка с театра военных действий. Знай, Лубелл, наших!

— К ножкам столов? — одобрительно переспрашивает Лубелл.— Вот это да! Такого я еще не слышал.

— Да, так о чем мы? — продолжает Крамер.— Нам только известно, что машина была «мерседес-бенц» и номер начинался с R. Но, во-первых, мы даже не знаем, нью-йоркский ли это номер. Это первое. Но допустим, что нью-йоркский. В штате Нью-Йорк «мерседесов», регистрационный номер которых начинается с R, две тысячи пятьсот штук. Теперь дальше. Вторая буква, нам говорят, вроде бы E, или F, а может быть, и P, B или R, то есть состоит из вертикали слева и отходящих от нее вправо горизонталей. Но если даже так, все равно остается почти полтыщи машин. Что же мы можем сделать? Перебрать по одной все полтыщи? Если бы хотя бы имелся свидетель, который показывает, что пострадавшего сбила именно такая машина, то еще можно было бы перебрать по одной. Но свидетелей нет, кроме самого парнишки, а он лежит без сознания и едва ли очнется. Кто сидел за рулем, никаких данных нет. Известно только, что в машине было двое, мужчина и женщина, белые. И вообще у них концы с концами не вяжутся.

— Ну, хорошо. Что я ему скажу? Что идет расследование?

— Расследование и в самом деле идет. Но если Мартин не откопает свидетелей, уголовное дело возбуждено не будет. Даже если парня, действительно, сшибла машина, по-видимому, удар был не такой силы, чтобы на корпусе могли остаться доказательные следы, ведь на теле пострадавшего нет повреждений, которые свидетельствовали бы о столкновении с машиной, словом, во всей этой сказке — одни сплошные «если». На мой взгляд, это очередная бодяга. Парень, похоже, хороший. И мать тоже производит хорошее впечатление, но, строго между нами, я думаю, он просто угодил в какую-то историю, а матери лапши на уши навешал.

— А зачем ему тогда было сочинять про какие-то первые буквы на номерном знаке? Сказал бы, что не помнит, и все.

— Почем я знаю. Зачем вообще что-то делается у нас в стране? Вы думаете, этот тип, репортер, действительно, напишет в газету?

— Не имею понятия. Я скажу, что, конечно, случай этот взят нами под тщательный контроль.

— А больше звонков не было?

— Да нет. Похоже, Бэкон нащупал ход к этому газетчику.

— А Бэкону-то что за корысть?

— Так это его хобби: разные мерки — одни для белых, другие для черных, белое правосудие и прочая лабуда. Что угодно, лишь бы прищучить мэра.

— Ну, не знаю,— говорит Крамер.— Если он и из этой бодяги что-то для себя выжмет, значит, он — чародей.

К тому времени, когда Крамер положил трубку, прикованные свидетели опять подняли лязг и галдеж. И он понял, что никуда не денешься — придется разговаривать с этими тремя обалдуями и выспрашивать у них сведения о некоем Альфонсе, который застрелил человека, который знал человека, который то ли знал, то ли нет, где находятся сорок костюмов. И весь вечер пятницы пойдет псу под хвост, да еще придется сыграть в орлянку с судьбой и возвратиться в Манхэттен на метро. Он еще раз заглянул в соседнюю комнату. Прекрасное видение, красавчик

с обложки «Ежеквартального журнала для джентльменов» по прозвищу Альфонс все еще сидел там, ел свинину на ребрышках и с упоением смотрел какую-то телепередачу, а по лицу у него от экрана телевизора бежали блики, то ярко-красные, как ожоги первой степени, то синие, точно после лечения кобальтом.

Крамер вышел из Следственного отдела и сказал Гордону:

— Там свидетели нервничают. Тот, что всех здоровее, выражал желание накинуть свою цепь мне на горло.

— Без цепи с ним никак было нельзя.

— Это понятно. Но я вот что хочу спросить. Этот самый Альфонс, он-то почему сидит и глодает свиные ребрышки, безо всяких цепей?

— Ну, за Альфонса я не беспокоюсь. Альфонс не удерет. Он пары спустил. И ему ничего не надо. Да он ничего в жизни не знает, кроме своего вшивого района. Небось, не слыхал даже, что Нью-Йорк — на берегу Атлантического океана. Домашний. Нет, Альфонс не оборвется. Он всего только виновный. А вот свидетели — другое дело, если б я не приковал свидетелей, черта с два бы вам было с кого снимать показания. Только бы вы их и видели. Свидетелю дай свободу, он тут же рванет куда-нибудь в Санто-Доминго.

И Крамер идет обратно в Следственный отдел, чтобы исполнить свой долг и допросить троих негодующих сограждан в оковах — авось удастся нащупать какую-то логику в этой типичной бодяге.

Так как по воскресеньям «Сити лайт» не выходит, в субботу после обеда в редакции сидят только дежурные.

А в эту субботу там еще находится Питер Фэллоу. Он, в отличие от остальных, охвачен трудовой лихорадкой. На столе перед ним лежит телефонная книга округа Нассау, он у них расположен на Лонг-Айленде. До сих пор Фэллоу слыхом не слыхал ни про какой Нассау. Что же до существования в Нассау поселка Хьюлетт, то он и вовсе был для Фэллоу географическим открытием, однако где-то в этом Хьюлетте уже звонит телефон, и Фэллоу страстно мечтает, чтобы там сняли трубку. Наконец, на восьмой звонок трубку снимают.

— Алло? — голос запыхавшийся.

— Мистер Рифкинд?

— Да...— все так же одышливо и подозрительно.

— Говорит Питер Фэллоу из «Сити лайт».

— Спасибо, не нужно.

— Как вы сказали? Я надеюсь, вы меня простите, что звоню вам в субботу.

— Напрасно надеетесь... Я один раз подписался на «Таймс». И получал его разве что раз в неделю.

— Нет-нет, я не...

— То кто-нибудь стащит номер с крыльца, прежде чем я успею выйти, или дождем его вымочит, или вообще забудут доставить.

— Да нет. Я — журналист, мистер Рифкинд. Я *пишу* для газеты «Сити лайт».

В конце концов ему удалось довести это обстоятельство до сознания мистера Рифкинда.

— Ну, хорошо,— говорит тот.— Я вас слушаю. Я был во дворе, пил пиво и писал объявление о продаже моей машины, хочу наклеить на боковое стекло. А у вас, случайно, нет желания приобрести «тандерберд» восемьдесят первого года?

— Боюсь, что нет,— со смешком отвечает Фэллоу, словно в жизни не слышал ничего остроумнее. — Дело в том, что я звоню, чтобы справиться об одном из ваших юных учеников, некоем Генри Лэмбе.

— Генри Лэмб, Генри Лэмб. Что-то не припомню. Что он натворил?

— Да нет, он-то ничего не натворил. Он серьезно пострадал в уличном происшествии.— И Фэллоу излагает обстоятельства дела с явным

уклоном в сторону версии Вогеля — Бэкона.— Мне сказали, что вы были у него преподавателем английского языка.

— Кто вам это сказал?

— Его мать. Я имел с ней довольно длинную беседу. Она очень приятная женщина и ужасно расстроена, что нетрудно понять.

— Генри Лэмб... А, ну да, я понял, о ком идет речь. Надо же, такое горе.

— Мне хотелось бы выяснить, мистер Рифкинд, каким учеником был Генри Лэмб?

— Каким учеником?

— Ну да. Можно ли сказать, что он был выдающимся учеником?

— Вы откуда приехали, мистер... Простите, назовите мне еще раз вашу фамилию.

— Фэллоу.

— ...мистер Фэллоу? Я так понимаю, вы не из Нью-Йорка?

— Нет.

— Тогда, конечно, откуда вам знать, что такое средняя школа имени полковника Джейкоба Руперта в Бронксе. Мы пользуемся в школе Руперта относительными характеристиками, но термина «выдающийся» среди них нет. Наши располагаются в спектре от «идет на контакты» до «может зарезать»,— мистер Рифкинд хихикнул.— Только, чур, не говорите, что это я вам сказал.

— Ну, и как бы вы определили Генри Лэмба?

— Идет на контакты. Неплохой парень. Мне он не причиняет никаких неприятностей.

— Можно ли сказать, что он хорошо учится?

— «Хорошо» — в школе Руперта тоже не очень-то применяется. Посещает занятия или не посещает — вот обычное мерило.

— И как, Генри Лэмб посещал занятия?

— Насколько я помню, да. Как правило, он присутствует в классе. На него всегда можно рассчитывать. Вообще славный малый, по нашим стандартам.

— А был ли в школьной программе какой-то предмет, в котором он достигал особых успехов — или, скажем так, который бы ему лучше давался, к которому он был больше всего склонен?

— Да нет, я бы не сказал.

— Нет?

— Мне трудно вам объяснить, мистер Фэллоу. Как гласит латинское изречение, ex nihilo nihil fit [1]. У нас нет особого разнообразия в занятиях, так что и сравнивать, собственно, не с чем. Мальчики и девочки сидят в классе, иногда принимают участие в происходящем, а иногда их мысли витают невесть где.

— А Генри Лэмб?

— Он славный малый. Вежливый. Слушает, что ему говорят. Не причиняет мне неприятностей. Старается.

— Все-таки у него должны быть какие-то способности. По словам матери, он собирался поступить в колледж.

— А вот это вполне возможно. Она, наверно, имела в виду Нью-Йоркский Городской колледж.

— Да, кажется, миссис Лэмб называла именно это учебное заведение.

— В Городском колледже свободный прием. Если вы житель Нью-Йорка, окончили среднюю школу и хотите продолжить учебу, можете поступить в Городской колледж, вас примут.

— А Генри Лэмб, как вы считаете, школу кончит? Кончил бы?

— По-моему, да. Как я сказал, посещаемость у него очень хорошая.

— Какой, по вашему мнению, из него получился бы студент?

Вздох.

---

[1] Из ничего получается ничто *(лат.)*.

— Трудно сказать. Я не имею представления о дальнейшей судьбе наших выпускников, поступивших в Городской колледж.

— Но все-таки, мистер Рифкинд, можете вы мне сказать хоть что-нибудь о Генри Лэмбе, как он занимался, как вел себя, ну хоть что-нибудь?

— Вы должны иметь в виду, что в начале учебного года у меня в каждом классе сидит по шестьдесят пять учеников, так как известно, что к концу полугодия их количество уменьшится до сорока, а к концу года — до тридцати. Тридцать — это все равно слишком много, но такова реальность. Индивидуальным наставничеством такую систему не назовешь. Генри Лэмб — неплохой юноша, в учебе старателен и хочет получить образование. Что еще я могу вам сказать?

— Позвольте задать вам такой вопрос: как у него обстоит дело с письменными работами?

Мистер Рифкинд кричит в голос:

— С письменными работами?! Да в школе Руперта уже пятнадцать лет не дают письменных работ! Или двадцать! Только тесты. Выбор ответа из трех и более вариантов. Понимание прочитанного — вот что важно, вот единственное, что интересует педсовет.

— Как у Генри Лэмба с пониманием прочитанного?

— Я должен посмотреть. Думаю, что неплохо.

— Лучше, чем у большинства? Или на среднем уровне? Или как бы вы оценили?

— Видите ли... Вам, конечно, трудно это понять, мистер Фэллоу, как англичанину. Я не ошибся? Вы ведь из Англии?

— Да, из Англии.

— Ну, и естественно,— по крайней мере, так я думаю,— что вы привыкли к такой системе, когда в классе известно, кто на каком месте, у кого какие успехи, и так далее. Но наши ученики еще не достигли того уровня, когда имеет смысл сравнивать успехи. Мы просто стараемся чуть-чуть поднять их уровень, и дальше наша забота — чтобы они не скатились обратно. У вас в голове «первые ученики», «отличники» и все такое, для вас, как я сказал, это вполне естественно. Но у нас, в школе имени полковника Джейкоба Руперта, отличник — это ученик, который посещает занятия, не имеет привычки все ломать и крушить, прилежен и обучен чтению и арифметике.

— Ну, хорошо, примем эти мерки. По этим меркам можно считать, что Генри Лэмб — отличник?

— По этим меркам — да.

— Благодарю вас, мистер Рифкинд.

— Не стоит благодарности. Мне очень жаль, что с ним случилась беда. Кажется, неплохой мальчишка. Нам не рекомендуется называть их мальчишками, но на самом деле они именно и есть бедные, грустные, задерганные мальчишки и у каждого — выше головы своих личных трудностей. Только, чур, не говорите, что это я вам сказал, а то у меня тоже будет выше головы личных трудностей. Да, послушайте, вы уверены, что вам не нужен «тандерберд» восемьдесят первого года?

[...]

11

СЛОВА НА ПОЛУ

Парижская Фондовая биржа открыта два часа в сутки, с часу до трех, то есть с семи до девяти утра по нью-йоркскому времени. Поэтому в понедельник Шерман явился в зал операций с ценными бумагами «Пирс-и-Пирса» к шести тридцати. Сейчас половина восьмого. Он сидит за своим столом, левым плечом прижимая к уху телефонную трубку, правую ногу поставив на переносную подставку чистильщика Феликса.

Феликс склонился над правым полуботинком Шермана, созданием фирмы «Нью и Лингвуд», и наводит блеск, работая бархоткой. Шерману нравится, как согнутая и приподнятая нога отдыхает на подставке, а нагрузка приходится на двуглавую мышцу бедра: ощущение атлета. И нравится, как Феликс изогнулся черепахой над его ботинком, обнял его всем телом, всей душой. В двадцати дюймах от своих глаз он видит его макушку с коричневой, правильно круглой плешью, непонятно откуда взявшейся, потому что волосы вокруг курчавятся густо-густо. Эта круглая плешь Шерману тоже нравится. Вообще Феликс — парень надежный, с юмором, уже немолодой, сообразительный и обидчивый.

На полу рядом с подставкой у Феликса лежит номер «Сити лайт», развернутый на второй странице и сложенный пополам. Он работает бархоткой и одновременно читает. На второй странице в «Сити лайт» печатаются зарубежные новости. Вверху крупный заголовок: МЛАДЕНЕЦ УПАЛ С ДВУХСОТФУТОВОЙ ВЫСОТЫ И ОСТАЛСЯ ЖИВ. И названо место происшествия — Элайохори, Греция. Но Шерман спокоен. Он больше не боится городских газет. Прошло уже пять суток, и ни в одной газете не было ни слова о несчастном случае в Бронксе на подъеме к скоростному шоссе. Правильно сказала Мария: им навязали схватку в джунглях, они сражались и победили, а джунгли молчат о своих потерях. Сегодня утром Шерман купил в киоске на углу Лексингтон авеню только «Таймс». И по дороге в такси, вместо того чтобы сразу перелистать до раздела «Городские новости», читал про Советы и про Шри-Ланку и про разногласия по вопросу о федеральных резервах.

Теперь, после недели страха, он может, наконец, сосредоточиться на ядовито-зеленых цифрах, бегущих по черному экрану. Сосредоточиться на деле... на «Жискаре»...

Бернар Леви, француз, с которым он сотрудничает в Брокерском тресте, сейчас находится во Франции, окончательно уточняет все вопросы насчет «Жискара», прежде чем Трест выложит триста миллионов долларов и сделка будет заключена и зарегистрирована... Шерман сосредоточился на том, что говорит голос Леви в Париже, отраженный спутником связи.

— ...так что вот, Шерман, в чем сложность. Опубликованные правительством цифры долга всех тут взбудоражили. Франк падает и будет падать дальше, и одновременно, как вы знаете, падает цена на золото, хотя тут причины совершенно другие. Вопрос в том, до каких пределов, и...

Пусть себе говорит. Людям свойственно суетиться, когда требуется выложить сумму в триста миллионов долларов. Последние полтора месяца Шерман разговаривает с Бернаром — они уже зовут друг друга по имени — практически каждый день.

— Франк — это не проблема,— говорит Шерман Бернару.— Можно хеджировать до будущего января, или до срока облигаций, или и до того и до другого.

Феликс постукивает по подошве его правого ботинка. Шерман снял ногу с подставки, и Феликс сразу передвинул свое орудие к стулу с левой стороны. Шерман приподнимает мускулистую левую ногу и упирает в металлическое стремя. Феликс переворачивает газету, снова складывает ее пополам, кладет на пол рядом с подставкой и принимается за левый полуботинок фирмы «Нью и Лингвуд».

— Да, но за хеджирование надо платить,— отзывается Бернар,— а мы все время говорили, что сделка совершается при самых благоприятных обстоятельствах, и поэтому...

Шерман пытается представить себе собеседника, этого Бернара, как он там сидит в конторе наверху модернового здания, какие любят строить французы, а в окно видны мириады крохотных автомобилей, которые роятся на улице, далеко внизу... внизу... И взгляд Шермана упал на газету, лежащую внизу на полу...

Волоски на его руках встали дыбом. На верхней половине третьей страницы в «Сити лайт» заголовок:

МАТЬ ОТЛИЧНИКА УЧЕБЫ:
СОВЕРШЕН НАЕЗД И БЕГСТВО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ,
А ПОЛИЦИЯ БЕЗДЕЙСТВУЕТ.

Над заголовком, на черном, белыми буквами поменьше: «Между тем жертва при смерти». И под заголовком, тоже на черном: «Только для «Сити лайт». И еще ниже подпись: Питер Фэллоу. Дальше идет колонка текста, и в нее заверстан портрет, голова и плечи улыбающегося черного паренька, пристойно одетого в темный пиджак, белую рубашку, полосатый галстук. С улыбкой на худом юном лице...

— По-моему, единственно разумный шаг — выяснить, до какой отметки он будет падать,— говорит Бернар.

— Да ну, на мой взгляд, вы преувеличиваете... э-э-э... преувеличиваете...— *То самое лицо!.. То самое худое юное лицо, но при рубашке и галстуке. Молодой джентльмен!* — ...э-э-э... трудности.

— Надеюсь,— отвечает Бернар.— Но в любом случае худа не будет немного повременить.

— Повременить? — *«Йо! Помощь не нужна?»* Испуганное, слабое лицо. Никакой не бандит! Повременить, предлагает Бернар? — Я не совсем понимаю, Бернар. Ведь все уже договорено! — Не надо бы возражать так горячо, но Шерман ничего не может поделать, перед ним на полу лежат слова:

> Едва сдерживая слезы, вдова из Бронкса рассказала вчера корреспонденту «Сити лайт», что ее отличника-сына сбил на большой скорости роскошный автомобиль-седан, и обвинила полицию и Окружную прокуратуру Бронкса в преступном непринятии мер.
> Миссис Энни Лэмб, служащая городского Бюро регистрации браков, говорит, что ее сын Генри, 18 лет, который на следующей неделе должен был получить аттестат с отличием об окончании средней школы имени полковника Джейкоба Руперта, успел сообщить ей часть регистрационного номера автомашины марки «мерседес-бенц», прежде чем впасть в беспамятство. «Но сотрудник Окружной прокуратуры сказал, что эти сведения бесполезны,— рассказывает она,— поскольку не имеется других свидетелей, кроме самого пострадавшего».
> Врачи в клинике Линкольна высказывают сомнение в том, что пациента удастся вывести из комы, и характеризуют его состояние как «крайне тяжелое».
> Лэмб и его мать живут в Башнях имени Эдгара Аллана По — микрорайоне Бронкса. «Образцовый юноша», по отзывам соседей и учителей, он внесен в списки выпускников, которым рекомендовано поступление этой осенью в колледж.
> Учитель Лэмба, ведущий продвинутый курс литературы и сочинения, Зейн Дж. Рифкинд заявил корреспонденту «Сити лайт»: «Это — трагедия. Генри принадлежит к той наилучшей части моих учеников, которые проявляют способность преодолевать многочисленные преграды, воздвигаемые средой Южного Бронкса на их жизненном пути, и сосредоточивать усилия на учении, на своих возможностях, на своем будущем. Остается только гадать, чего бы он добился, став студентом колледжа».
> Миссис Лэмб рассказывает: В минувший вторник под вечер сын вышел из дому купить продуктов. При переходе через Брукнеровский бульвар его сбил «мерседес-бенц», в котором ехали мужчина и женщина, оба белые. Автомобиль не остановился. Население в районе Брукнеровского бульвара в подавляющем большинстве черное и испаноязычное.
> Лэмб кое-как добрался до клиники, где ему наложили гипс на сломанное запястье и отправили домой. Утром он пожаловался на сильную головную боль и дурноту. В приемном покое потерял сознание. Было диагностировано сотрясение мозга.
> Милтон Лубелл, представитель прокурора Бронкса Эйба Вейса, сообщил, что следователи и помощник прокурора сняли показания у миссис Лэмб и что «идет расследование», но в штате Нью-Йорк зарегистрировано две с половиной тысячи

«мерседесов-бенц» с регистрационным знаком, начинающимся с буквы R, которую назвала миссис Лэмб. Она сказала также, что, по словам ее сына, вторая буква была E, F, B, P или R. «Даже если допустить, что второй в знаке, действительно, была одна из этих букв, все равно,— сказал Лубелл,— это дает нам примерно пятьсот машин...»

«RF»!.. «Мерседес-бенц»!.. На весь белый свет! У Шермана началась трясучка под ложечкой. На регистрационном знаке его машины — буквы RFH. Охваченный мучительной жаждой узнать приговор судьбы, он читает дальше:

«...и мы не знаем, как выглядел тот, кто сидел за рулем, и нет свидетелей происшествия, так что...»

Дальше — на той стороне сложенного газетного листа. Голова у Шермана в огне. Ему нестерпимо хочется наклониться и перевернуть газету — и нестерпимо хочется никогда не узнать, что там написано дальше. А голос Бернара Леви все бубнит и бубнит из-за океана, отражаясь от спутника связи:

— ...говорили о девяносто шести, если вы это имеете в виду. Но теперь девяносто шесть начинает выглядеть дороговато, поскольку...

Дороговато? Девяносто шесть? *Ни слова о втором парне, о въезде на шоссе, о перегороженной мостовой, о попытке ограбления!* Но ведь цена уже согласована! К чему же снова об этом? *А вдруг?.. Вдруг и не было никакой попытки ограбления?* Он же заплатил за них в среднем по девяносто четыре. Вся маржа — два пункта! Понижение немыслимо! *И этот славный парнишка — при смерти! А машина — моя!* Надо сосредоточиться... на «Жискаре». Не хватало бы только провалить сделку после всех затраченных усилий... Газета лежит на полу и шипит, как раскаленная сковородка.

— Бернар...— У Шермана пересохло во рту.— Слушайте... Бернар...

— Да?

Может быть, если снять ногу с подставки...

— Феликс. Феликс!

Феликс не слышит. Он надраивает полуботинок «Нью и Лингвуд», и в такт с руками ходит вверх-вниз его правильно-круглая коричневая плешь.

— Феликс!

— Алло! Шерман! Я не расслышал, что вы сказали?

В ушах у Шермана — голос его контрагента, который сидит на облигациях золотого займа в триста миллионов, а перед глазами — коричневая плешь чернокожего чистильщика, который скрючился над своей подставкой и не отпускает его левую ногу.

— Простите, Бернар... Одну секунду... Феликс!

— Вы сказали: Феликс?

— Да нет, Бернар!.. Я просто на одну секунду... Феликс!

Феликс перестает орудовать щетками и поднимает на него глаза.

— Извините, но я должен на секунду выпрямить ногу.

— Алло, Шерман! Я не понимаю, что вы говорите!

Шерман снимает ногу с подставки и демонстративно выпрямляет, словно она затекла.

— Шерман, вы меня слышите?

— Да! Простите, Бернар, одну секунду.

Как он и надеялся, Феликс воспользовался перерывом, чтобы перевернуть сложенную газету, теперь она лежит кверху подвальной половиной. Шерман ставит ногу обратно на подставку, Феликс снова горбится над полуботинком, а Шерман тянет шею вниз, стараясь разобрать слова на полу. Их головы почти соприкасаются, так что чернокожий чистильщик вопросительно поднял на него взгляд. Шерман отпрянул с виноватой улыбкой.

— Извините.

— Вы сказали «извините»? — недоумевающе.

— Извините, Бернар, это я не вам.

Феликс укоризненно качает головой, а потом, снова сгорбившись, возобновляет свои труды.

— Что значит «извините»?

— Не обращайте внимания, Бернар, это я не вам.

Шерман опять наклоняется как можно ниже, покуда не становятся видны слова на полу:

> ...ни от кого, в том числе и от самого пострадавшего, мы не можем получить показаний о том, что именно там произошло.

— Шерман, вы меня слышите? Шерман!

— Да-да, Бернар. Простите. Э-э-э... повторите еще раз, что вы сказали насчет цены? Потому что вы же понимаете, Бернар, у нас уже все обговорено, верно? Мы давно уже условились...

— Повторить еще раз?

— Да, если вам не трудно. Меня тут прервали.— Из Европы, через спутник, глубокий вздох.

— Я говорил, что мы передвинулись от стабильной структуры к нестабильной. И не можем исходить из тех цифр, о которых шла речь при вашем первом представлении...

Шерман делает попытку не упускать из внимания ни того, ни другого, но речь француза очень скоро превращается в мелкий, моросящий дождик, который сеется со спутника, а все мысли поглощает газетный текст, видимый из-за головы чистильщика:

> Но Преподобный Реджинальд Бэкон, председатель организации «Всенародная солидарность», говорит, что это — «все та же старая песня. Человеческая жизнь, когда это жизнь черного или испаноязычного человека, ставится властями ни во что. Если бы речь шла о белом отличнике учебы, которого сбил бы на Парк авеню черный водитель, никто не стал бы отговариваться вероятностными выкладками и юридическими тонкостями». Он назвал «возмутительным» тот факт, что в клинике у Лэмба не диагностировали сотрясение мозга, и сказал, что требует отдельного расследования.
>
> Тем временем в тесную, аккуратную квартирку миссис Лэмб набились соседи по Башням Эдгара По, чтобы выразить ей сочувствие. А она вспоминала трагическую историю своей семьи. «Шесть лет назад прямо вон там был убит отец Генри»,— рассказала она корреспонденту «Сити лайт» и указала в окно на арку ворот. Монро Лэмб был застрелен насмерть напавшим на него грабителем, когда возвращался вечером домой с работы, он работал механиком по кондиционерам.
>
> «Если я потеряю Генри, на этом кончится и моя жизнь тоже, а никому дела нет,— сказала она.— Полиция так и не выяснила, кто убил моего мужа. А теперь вот даже не хотят предпринять поиски того, кто виноват в несчастье с Генри».
>
> Но Преподобный Бэкон поклялся оказать нажим на власти и добиться, чтобы были приняты меры: «Если власти говорят нам, что им безразлична судьба наших лучших юношей, которые составляют надежду этих нищих улиц, то пора и нам обратиться к представителям власти с такими словами: «Ваши имена не выбиты на скрижалях каменных, принесенных с горы. Скоро состоятся выборы, и вас можно будет заменить».
>
> На предстоящем в сентябре выдвижении кандидатур от Демократической партии у нынешнего окружного прокурора Эйба Вейсса будет серьезный конкурент в лице члена Законодательного собрания штата Роберта Сантьяго, которого поддерживают Бэкон, конгрессмен Джозеф Ленард и другие черные лидеры, а также лидеры пуэрто-риканских жителей Южного и Центрального Бронкса.

— ...вот я и говорю, давайте повременим пару недель, пусть, так сказать, осадок уляжется. К тому времени мы уже будем знать нижнюю точку. И сможем оценить, насколько реалистичны цены, о которых мы говорили. И насколько...

До Шермана вдруг дошло, о чем толкует перепуганный лягушат-

ник. Но ведь это невозможно — *нельзя откладывать, когда над головой собирается такое,*— надо зарегистрировать сделку немедленно — сейчас!

— Бернар, теперь послушайте меня. Откладывать невозможно. Мы столько времени потратили на то, чтобы все согласовать. Вовсе не нужно теперь сидеть и ждать, пока уляжется осадок. И так все уже улеглось. Надо действовать! Вы ссылаетесь на мнимые препятствия. Мы должны взять себя в руки и перейти к делу! Все уже давно оговорено до мелочей! От того, как будет день ото дня колебаться курс франка или цена на золото, ровным счетом ничего *не зависит*!

Слова только-только слетели с языка, а он уже сам ужаснулся нажиму в собственном голосе. На Уолл-стрит брокер, который горячится,— мертвый брокер. Шерман это знает! Но нет сил удержаться.

— Не могу же я просто взять и закрыть глаза, Шерман.

— А вас никто и не просит закрыть глаза! — *Чпок! Совсем легкий удар.* Долговязый, щуплый юноша, отличник учебы! Все существо Шермана пронзает ужасная мысль: *Это были обыкновенные доброжелательные парни, парни, которые хотели помочь... Йо!..* Крутой въезд, темнота... Но тот, второй, такой здоровяк... Почему о нем-то нигде не упоминается!.. И о том, что это было на въезде... Непонятно. *А вдруг просто совпадение? — и «мерседес» другой — и знак на R, их же две с половиной тысячи...*

Два происшествия в Бронксе, в один и тот же вечер?

Его снова захлестывает ужас.

— Я прошу прощения, Шерман, но тут нельзя стрелять из лука по-дзэнски, с завязанными глазами. Цыплят придется сначала высидеть.

— О чем вы говорите?! Сколько времени вы их собираетесь высиживать? *(А они не могут проверить две с половиной тысячи автомобилей?)*

— Ну, неделю, скажем. Или две. Три недели — предел.

— Три недели?!

— У нас назначена целая серия крупных презентаций. Так что тут ничего не поделаешь.

— Но я не могу ждать три недели, Бернар! Послушайте. Вы выдвинули несколько мелких возражений... Но ведь они же совершенно несерьезны. Я их все сто раз с головой предусмотрел и учел. Вы обязаны довести это дело до конца! Три недели вам ничего не дадут!

«Обязаны» — так брокеры на Уолл-стрит тоже не говорят.

Пауза.

И мягкий, терпеливый голос из Парижа, отраженный от спутника:

— Шерман. Прошу вас. Когда речь идет о трехстах миллионах облигаций, никто ничего не обязан делать с бухты-барахты.

— Да, конечно, конечно, я знаю. Но просто я же все объяснил... Я знаю, что я... Я знаю...

Он знает, что надо срочно спуститься с этих безвоздушных вершин назойливости и снова стать обтекаемым, спокойным специалистом из «Пирс-и-Пирса» на пятидесятом этаже, воплощением самоуверенной и неколебимой компетентности, но... *машина эта, безусловно,— его, как ни крути. «Мерседес», RF... белые мужчина и женщина!*

В шестьдесят второй секции, где председательствует судья Джером Мелдник,— полный переполох. Крамер, сидя за секретарским столом, наблюдает смятенье судьи и про себя презрительно усмехается. Большой бледный лысый череп Мелдника над судейским помостом напоминает голову козьего сыра. Сыр склонен на ту сторону, где сидит юридический консультант судьи Джонатан Стедман. Если судейство Джерома Мелдника и имеет какой-то фундамент юридических познаний, то все эти познания — в мозгу у Стедмана.

У края судейского помоста возбужденно переминается Ирвинг Бай-

тельберг, адвокат обвиняемого Вилли Франсиско, ему не терпится вставить словечко. Его подзащитный Франсиско, двадцатидвухлетний толстяк в красно-белой полосатой футболке и с усиками ниточкой, тоже на ногах и орет, окликая Байтельберга: «Эй! Йо! Эй!». По бокам и сзади возле него стоят три судебных пристава — на всякий случай, если он перевозбудится. Они бы, будь их воля, с удовольствием свернули ему шею, так как он запросто взял и застрелил полицейского. Полицейский вздумал остановить его, когда он выбегал из магазина «Оптика» с темными очками «порше» в кулаке. Темные очки «порше» высоко ценятся у жителей Бронкса, поскольку стоят целых двести пятьдесят долларов, да еще на левой линзе по краю прямо на стекле белыми буквами так и написано: «порше». Вилли предъявил продавцу в «Оптике» поддельный бесплатный рецепт «Медикэйда» и потребовал, чтобы ему выдали очки «порше». Продавец отказался, так как счет за такие дорогие очки «Медикэйд» к оплате не примет. Естественно, Вилли схватил очки, выбежал на улицу, ну и застрелил полицейского.

Все это дело было типичная бодяга, типичная бодяга, ясная, как стеклышко; Джимми Коуфи, выступавшему с обвинением, не понадобилось даже напрягаться. Но дальше произошла странная вещь. Присяжные удалились на совещание вчера под вечер и, просовещавшись шесть часов, не пришли к единому мнению. Сегодня с утра Мелдник занимался календарными разборами, когда присяжные, наконец, прислали сообщить, что достигли согласия, вердикт готов. Вошли гуськом и объявили вердикт: «Виновен». Байтельберг, просто по привычке, потребовал, чтобы присяжных опросили поименно. «Виновен», «Виновен», «Виновен»,— повторяли они один за другим, покуда очередь не дошла до белого тучного старика Лестера Мак-Гуигана, который сначала тоже сказал: «Виновен», а потом взглянул в глаза Вилли Франсиско, так и не украсившиеся очками «порше», и добавил: «У меня нет стопроцентной убежденности, но я так понял, что от меня требуется проголосовать, и я проголосовал за обвинительный вердикт».

Вилли Франсиско подскочил и заорал: «Нет единогласия! Недействительно!» — раньше Байтельберга. И с той минуты начался переполох. Мелдник обхватил голову обеими руками и вызвал Стедмана. Таково положение дел в настоящую минуту. Джимми Коуфи не верит собственным ушам. Известно, что в Бронксе присяжные — народ непредсказуемый, но как раз на Мак-Гуигана, Коуфи считал, можно положиться как на каменную гору. Он мало того что белый, но вдобавок еще ирландец, всю жизнь протрубивший в Бронксе, уж он-то должен понимать, что Джимми Коуфи — сам ирландец и достоин всяческого уважения. Но оказалось, что этому старику Мак-Гуигану некуда время девать и он слишком много думает, дофилософствовался до того, что засомневался даже в таких людях, как Вилли Франсиско.

Крамера смешит растерянность судьи Мелдника. Но к Джимми Коуфи он исполнен сочувствия. Крамер и сам находится в шестьдесят второй секции по аналогичному поводу, в связи с такой же типичной бодягой, и ему тоже вполне может угрожать такая же дурацкая осечка. Он должен присутствовать при том, как адвокат Джерард Скалио будет выступать с ходатайством о привлечении свидетелей по делу братьев Хорхе и Хуана Терцио, «пары круглых болванов». Они предприняли попытку ограбить корейскую бакалейную лавку на Фордемроуд, но не сообразили, какие кнопки нажать на кассовом аппарате, чтобы извлечь выручку, и вынужденно довольствовались двумя золотыми кольцами, снятыми с руки одной покупательницы. Это так возмутило некоего Чарли Эспозито, тоже покупателя, что он бросился за ними вдогонку, схватился с Хорхе и, повергнув его наземь, сказал: «Знаешь, кто вы такие? Пара круглых болванов». Хорхе оскорбился, вытащил из-за пазухи револьвер и выстрелил тому прямо в лицо. Насмерть.

Типичнейшая бодяга.

Буря в стакане дерьма бушует все яростнее, Джимми Коуфи в пол-

ном отчаянии закатывает глаза. А Крамер предается сладостным предвкушениям. Сегодня вечером они наконец встретятся, он и Девушка, Которая Красит Губы Коричневой Помадой...

Как затрепетал ее голосок! Можно подумать, что она ждала его звонка. Сидит там, у себя в редакции «Пришкер и Болка», в самом сердце Настоящей Жизни, в стеклянно-кирпичных стенах, за белыми трубчатыми перилами, как в музыкальных телеклипах «Эм-Ти-Ви», но сердце по-прежнему колотится в такт с диким биением жизни в дебрях Бронкса, и душу переполняет восторг перед теми, кто силен и храбр и не даст поблажки хищнику... Крамер словно видит ее перед собой... Он крепко зажмурился... Вот! Густые каштановые волосы, алебастровое лицо, коричневые губы...

— Эй, Крамер! — Он открывает глаза. Это секретарь.— Тебя к телефону.

Он берет трубку, телефон прямо тут же, у секретаря на столе. На помосте Мелдник, охваченный зеленым ужасом, все еще совещается, голова к голове, со Стедманом. Вилли Франсиско по-прежнему надрывается, орет: «Йо! Эй! Йо!»

— Крамер,— говорит Крамер.

— Ларри, это Берни. Ты видел сегодняшний номер «Сити лайт»?

— Нет.

— Там на третьей странице большая статья про дело Генри Лэмба. Что будто бы полиция тянет резину. И мы будто бы тоже. Ты будто бы сказал этой миссис Лэмб, что сведения, которые она тебе сообщила, бесполезны. Статейка дай боже.

— Что-о?

— По имени тебя не называют, а только — «представитель Окружной прокуратуры».

— Но это — совершенная, стопроцентная херня, Берни! Я сказал прямо наоборот. Что она дала нам очень важную зацепку! Но просто этого еще недостаточно, чтобы завести дело.

— Ну так вот, Вейсс совершенно ополоумел. Прыгает на стенки и обратно отскакивает. Милт Лубелл возникает каждые три минуты. Ты что там сейчас делаешь?

— Жду допроса свидетелей в деле братьев Терцио, ну, этих, «круглых болванов». Дело Лэмба! Ну и ну! Надо же. Милт позавчера говорил, что звонил какой-то тип из «Сити лайт», англичанин один, чтоб ему, но это же черт те что! В деле сплошные прорехи, Берни, я надеюсь, ты сам понимаешь.

— Ну, конечно, слушай, попроси отложить «круглых болванов» и дуй сюда.

— Не могу. К Мелднику не подступишься, он сидит на помосте и держится за голову. Тут один присяжный взял назад свое обвинительное решение по делу Вилли Франсиско. У Джимми от злости дым валит из ушей. Все застопорилось, покуда Мелдник не отыщет кого-нибудь, кто надоумит его, как поступить.

— Франсиско? Только-то и всего? Кто там сегодня секретарь, Айзенберг?

— Да.

— Дай-ка мне его на минуту.

— Эй, Фил,— зовет Крамер.— Тебя просит к телефону Берни Фицгиббон.

Пока Берни Фицгиббон разговаривает с Айзенбергом, Крамер, обойдя вокруг секретарского стола, собирает свои записи по делу братьев Терцио. Подумать только! Чтобы несчастная вдова миссис Лэмб, которой посочувствовали даже Мартин с Гольдбергом, и вдруг оказалась такой змеей подколодной! Где бы взять газету? Крамеру не терпится прочесть своими глазами. Он приблизился к столу судебного стенографа, или судебного репортера, как по традиции именуется эта должность, долговязого ирландца Салливана. Салливан, поднявшись от сво-

ей стенографической машинки перед судейским помостом, стоит и потягивается. Ему тридцать с небольшим, у него густые прямые волосы, как соломенная кровля, и вообще он красив и прославлен — или ославлен — на весь Гибралтар как большой франт. Вот и сейчас на нем пиджак из великолепного твида, мягкого, высококачественного, с искрой цвета натурального шотландского вереска, Крамер и через миллион лет не сможет себе позволить такую роскошь. К Салливану подходит ветеран судебной палаты Джо Хаймен, который руководит работой судебных репортеров.

— В этой секции дальше идет убийство. С ежедневными отчетами. Ты как насчет убийства?

Салливан отвечает:

— Опять? Побойся бога, Джо. У меня же только что прошло одно убийство. И сразу второе? Это же до вечернего отбоя работка. А я билеты в театр купил. По тридцать пять долларов штука.

— Ну, ладно, ладно. Возьмешь тогда изнасилование. На изнасилование еще никто не назначен.

— Блин. Слушай, Джо,— говорит Салливан.— Изнасилование — это тоже до самого отбоя. Почему обязательно я? Вон Шейла Польски сколько месяцев рядом с присяжными не сидела. Возьми да поручи ей.

— У нее спина больная. Она не может сидеть так долго.

— Это у нее-то спина больная? Ей-богу, человеку двадцать восемь лет!.. Просто в любимчиках ходит, вот и вся болезнь.

— Все равно...

— Надо устроить собрание. Мне лично надоело всегда за всех отдуваться. Обсудим кому что поручают. И кто филонит.

— Ладно,— говорит Хаймен,— давай так. Ты возьми это изнасилование, а на будущую неделю я запишу тебя на календарные разборы, половинный рабочий день. О'кей?

— Прямо не знаю,— отвечает Салливан и сводит брови к переносице, словно решая самый ответственный и мучительный вопрос в своей жизни.— Ты думаешь, изнасилование пойдет ежедневными отчетами?

— Не знаю. Должно быть.

Ежедневные отчеты. Крамер понимает, почему ему так неприятен Салливан и его шикарные одежки. Проработав судебным репортером четырнадцать лет, Салливан получает теперь 51 тысячу долларов в год, потолок на гражданской службе,— на четырнадцать с половиной тысяч больше Крамера, но это только фундамент его благосостояния. Сверх жалованья судебные репортеры продают постранично свои стенограммы минимум по четыре с половиной доллара за страницу. «Ежедневные отчеты» означают, что каждый защитник и каждый прокурор, да плюс еще судья, заказывают у него по экземпляру стенографического протокола за день, а это — срочная работа, за которую берут и по шесть долларов, и больше. В случаях, когда обвиняемых несколько — а в делах об изнасиловании это не редкость,— получается за страницу долларов четырнадцать-пятнадцать. Рассказывают, что в прошлом году на процессе об убийстве, по которому проходила шайка албанцев, торговцев наркотиками, Салливан на двоих с еще одним репортером за две с половиной недели работы выручили 30 000. Для них заработать 75 000 в год — плевое дело, а это — на 10 000 больше, чем получает судья, и в два раза превосходит жалованье Крамера. И это судебный репортер! Автомат за стенографической машинкой! Человек, не имеющий права в суде рта раскрыть, разве только обратиться к судье с просьбой, чтобы то или иное лицо повторило сказанное слово или предложение.

А с другой стороны — он, Ларри Крамер, выпускник Колумбийского университета, помощник окружного прокурора, и он должен ломать голову: хватит ли у него денег пригласить девушку в ресторан в Ист-Сайде?

— Эй, Крамер.— Секретарь Айзенберг опять протягивает ему телефонную трубку.

— Да, Берни.

— Я уладил с Айзенбергом, Ларри. Он поставит братьев Терцио последними в расписании. А ты подойди сейчас сюда. Надо, блин, что-то сделать с этим делом Лэмба, чтоб ему.

— Янки строят свои муниципальные дома так, что лифт останавливается через этаж,— рассказывает Фэллоу.— И в них пахнет мочой. В лифтах, я имею в виду. Как только войдешь, тебя сразу окуривает дымным духом человеческой мочи.

— Почему через этаж? — недоумевает сэр Джеральд Стейнер, жадно внимающий рассказу о жизни «на дне». Рядом стоит его главный редактор Брайан Хайридж, он тоже — весь внимание. В углу кабины на пластиковой вешалке по-прежнему висит старый плащ Фэллоу все с той же флягой водки в прорезном кармане. Но сегодня перебарывать утреннее похмелье ему помогает горячий и благосклонный интерес высоких слушателей.

— Наверно, для экономии средств на строительство,— отвечает Фэллоу.— Или чтобы бедняки не забывали, что живут из милости. Чьи квартиры на этаже с лифтом, им, конечно, ничего, но остальным приходится нажимать кнопку на этаж выше и потом спускаться по лестнице пешком. А это в башнях Бронкса небезопасное занятие. Мать этого парня, миссис Лэмб, рассказала мне, что при вселении она не досчиталась половины своей мебели.— На губах у Фэллоу при этом играет кривая усмешка, которая означает, что история, конечно, грустная, но нельзя не признать, что и забавная в то же время.— У них там правило такое. Когда на этаж без лифта вселяются новые жильцы, старые норовят стащить у них с площадки что успеют!

Грязный Мыш и Хайридж изо всех сил стараются не рассмеяться, ведь в конце концов речь идет о несчастных бедняках.

Грязный Мыш присел на край его стола, это означает, что он сменил пока что гнев на милость. Душа Фэллоу взыграла. Он видит перед собой уже не Грязного Мыша, но сэра Джеральда Стейнера, просвещенного барона британского издательского бизнеса, по чьему личному приглашению он, Питер Фэллоу, прибыл в Новый Свет.

— Если спускаться там по лестнице, можно вообще жизнью поплатиться,— продолжает он рассказ.— Миссис Лэмб и мне сказала, чтобы я не вздумал ни в коем случае идти вниз пешком.

— Почему? — с придыханием спрашивает Стейнер.

— Для муниципальных квартир лестницы — это своего рода темные переулки. Квартиры — одна над одной, такие большие башни, а башни расставлены как попало на участках, которые считаются вроде бы парками. Конечно, на земле не осталось ни травинки, но все равно там нет ни улиц, ни переулков, ни дворов, ни злачных заведений, а просто голая пустошь от дома до дома. Нет укромных мест, чтобы предаваться греху. Вот местные жители и приспособили для этих целей лестничные площадки. Что только там не делается, на лестничных площадках! Должен признаться, что я все-таки не стерпел. Решил проделать в обратном направлении путь, которым прошла миссис Лэмб с сыном, когда вселялась в микрорайон имени Эдгара Аллана По.

На самом-то деле, услышав предостережение, Фэллоу тогда не отважился и нос высунуть на лестницу. Но теперь в его возбужденном мозгу, клубясь, всплывают вполне наглядные лживые картины: бестрепетно шагая вниз по ступеням, он столкнулся со всеми видами порока — тут и прелюбодеяние, и крэк, и героин, и игра в кости, и в очко, и снова прелюбодеяние.

Стейнер и Хайридж слушают, разинув рты и выпучив глаза.

— Вы не шутите? — спрашивает Хайридж.— И как они себя вели при виде вас?

— Да никак. Продолжали заниматься своим делом. В эдаком кайфе что им прохожий газетчик?

— Настоящий Хогарт,— говорит Стейнер.— «Спиртной переулок». Только вертикальный.

Фэллоу и Хайдридж дружно и восхищенно смеются этому остроумному сравнению.

— Вертикальный «Спиртной переулок»,— повторяет Хайридж.— А знаете, Джерри, неплохой заголовок для двухчастного репортажа. О жизни в муниципальных трущобах.

— «Хогарт — «Что Вверх, Что Вниз»,— с удовольствием импровизирует Стейнер в непривычной роли чеканщика броских фраз.— Впрочем, знакомо ли американцам имя Хогарта и его «Спиртной переулок»?

— Ну, это, я думаю, не проблема,— отвечает Хайридж.— Помните наш материал о «Синей Бороде» Говарда Бича? Я уверен, что они понятия не имели, кто такой Синяя Борода, но это можно объяснить в одном абзаце, и они бывают очень довольны, когда узнают что-то новое. Вот Питер у нас и будет новым Хогартом.

В сердце Фэллоу закрадывается тревога.

— Я все же не уверен, что стоит в это углубляться,— задумчиво произносит Стейнер.

И Фэллоу облегченно переводит дух.

— Ну, почему же, Джерри? — не отступается Хайридж.— По-моему, вы нащупали удачный подход.

— Да, я думаю, тема это важная. Но знаете, как они здесь болезненно реагируют на такие вещи. Если бы речь шла о муниципальных домах для белых, тогда, конечно, другое дело, но в Нью-Йорке как будто бы нет муниципальных домов для белых? А эта сфера очень деликатная, у меня и так уже из-за нее неприятности. Нам выражают неодобрение всякие, знаете, организации, обвиняют нас, что якобы «Сити лайт» — «против меньшинств», как здесь говорят. По существу белая газета — это вовсе не предосудительно, можно ли быть белее, чем «Таймс», например? Но пользоваться репутацией белой газеты плохо. Это вызывает отрицательную реакцию у разных влиятельных лиц, включая, надо сказать, рекламодателей...— Вот что вы нам скажите, Питер,— обращается Стейнер к Фэллоу.— Его мать, эта миссис Лэмб, она подходящая женщина?

— Вполне,— отвечает Фэллоу.— Производит приятное впечатление, грамотно говорит, естественно держится. Работает. Опрятна. Эти муниципальные квартиры вообще-то жуткие свинарники, а у нее — порядок, чисто, картинки на стенах... диван с тумбами... даже маленький столик в прихожей... словом, в таком духе.

— А парнишка? Он нас не подведет? Он, кажется, отличник там какой-то?

— По меркам своей школы — да. Как бы уж он выказал себя в Общеобразовательной в Холланд-парке, это другой вопрос.— Фэллоу улыбается. Общеобразовательная в Холланд-парке — это лондонская школа.— Никогда не имел неприятностей с полицией. Это в муниципальных домах бог весть какая редкость, произносится так, будто вы услышите и прямо закачаетесь.

— Как отзываются о нем соседи?

— Ну, как... Симпатичный парень... Смирный.

На самом-то деле Фэллоу прямо прошел в квартиру Энни Лэмб в сопровождении Элберта Вогеля и одного из людей Бэкона, здоровенного верзилы с золотой серьгой в ухе, поговорил с Энни Лэмб и уехал. Но сейчас в глазах уважаемого работодателя его репутация бесстрашного исследователя бронксского дна настолько высока, что ронять ее как-то не хочется.

— Прекрасно,— говорит Стейнер.— Какое же у нас пойдет продолжение?

— Преподобный Бэкон — его все так прямо и называют: Преподобный Бэкон — так вот, Преподобный Бэкон организует завтра большую демонстрацию протеста...

Тут на столе у Фэллоу зазвонил телефон.

— Алло?

— Эй, Пит! — неподражаемый голос Элберта Вогеля.— Отличные новости! Бэкону только что позвонил один парнишка, работает в Отделе регистрации автотранспорта.— Фэллоу хватает ручку и начинает записывать.— Этот парнишка прочел вашу статью и по собственной инициативе раздобыл там компьютерные данные по легковым автомашинам. Он утверждает, что свел все количество к ста двадцати четырем!

— К ста двадцати четырем? А столько машин полиция в состоянии проверить?

— За милую душу — если пожелает. Отрядят людей, и за два-три дня управятся.

— И кто же этот... человек? — Дурацкая американская манера называть «парнишками» взрослых мужиков.

— Просто один парнишка, который там работает и считает, что с Лэмбами, как обычно, поступили по-свински. Я же говорил вам, мне что нравится в Бэконе? Он побуждает к действию тех, кто выступает против системы.

— Как мне связаться с этим... человеком?

Вогель продиктовал ему все сведения и под конец сказал:

— Теперь вот еще что, Пит. Бэкон прочел вашу статью, и она ему очень понравилась. Ему звонят из всех газет и телеканалов, но он эту новость насчет Отдела регистрации держит исключительно для вас. Ясно? Но надо развивать атаку. Получил мяч — и вперед. Вы меня поняли?

— Понял,— отвечает Фэллоу.

Положив трубку, он улыбнулся Стейнеру и Хайриджу, которые вопросительно таращили глаза, многозначительно кивнул и сказал:

— Так-с-с-с. Похоже, дела понемногу приходят в движение. Это звонил мой источник из Отдела регистрации автотранспорта, где имеются списки всех автомобильных номеров.

Шерман сидит на самом краешке венского стула, зажав ладони между колен и понурив голову. На одноногом дубовом столе валяется проклятый номер «Сити лайт», изобличает, словно бы наполняя воздух радиоактивной отравой. На втором стуле сидит Мария, она спокойнее, но тоже далека от своей обычной непринужденности.

— Я так и знал,— говорит Шерман, не глядя на нее.— Я знал с самого начала! Надо было сразу же заявить. Просто не верится, что я... что мы попали в такое положение.

— Поздно теперь, Шерман. Дело прошлое.

Он вскинул голову, выпрямился.

— А, может быть, не поздно? Разве не может человек сказать, что ничего не знал о несчастье, пока не прочитал в газете?

— Да? И как же, интересно, объяснить это несчастье, о котором ты ничего не знал?

— Ну... просто рассказать, как было на самом деле.

— Конечно. Как это правдоподобно: нас остановили два пацана, пытались ограбить, но ты бросил в одного шину, а я села за руль и рванула, как... рокер какой-нибудь, вот только не заметила, что сбила человека.

— Но ведь так оно и было, Мария.

— Было, да кто поверит? Ты же читал, что они пишут. Этот парень у них — отличник учебы, прямо святой какой-то. Что был еще и второй,

они вообще помалкивают. И что произошло все на въезде, тоже. Расписывают маленького святого, который отправился за продуктами для семьи.

Снова полыхнула огнем ужасная мысль: а вдруг правда они хотели только помочь?

Мария сидит у стола в свитере с круглым отвернутым воротом, великолепные груди обтянуты и все на виду, даже сейчас. На ней короткая клетчатая юбка, одна блестящая шелковая нога перекинута через другую, на мыске болтается туфля.

А за спиной у нее — диван-кровать, и на стене теперь висит еще одна небольшая картина маслом: обнаженная женщина с каким-то животным на руках. Написано так плохо, что не поймешь, что за животное, то ли собака, то ли вообще крыса. Шерман подавленно уставился на картину.

— Ага, заметил,— говорит Мария и делает попытку улыбнуться.— Так-то лучше. Это мне Филиппо подарил.

— Потрясающе.— Чего ради какой-то испаноязычный живописец проявляет по отношению к ней подобную щедрость, его уже нисколько не интересует. Мир сузился.— Ну, и как, ты считаешь, нам теперь надо поступить?

— Я считаю, надо сделать десять глубоких вдохов и расслабиться. Я считаю так.

— И что потом?

— Потом, скорее всего, ничего.— «Ничё», в ее непрожеванном южном выговоре.— Шерман, если мы скажем им правду, они нас изничтожат. Ты это понимаешь? Сделают из нас фарш. Сейчас они не знают, чья была машина, кто сидел за рулем, у них нет свидетелей, а сам этот парень лежит без сознания, и не похоже, что... что придет в себя.

За рулем сидела *ты,* думает Шерман. Смотри не забудь. У него немного отлегло от души, когда она это сказала. И тут же — толчок страха: что, если она возьмет свои слова обратно и водителем выставит его? Но второй-то парень видел, где он ни прячется.

Вслух он, однако, говорит только:

— Ну, а второй? Вдруг он объявится?

— Если б он собирался объявиться, то уже давно бы объявился. Не объявится. Потому что он преступник.

Шерман снова опускает голову, сутулит плечи. Перед глазами — глянцевые носки полуботинок «Нью и Лингвуд». Английская обувь ручной работы, сколько в этом неприличной претензии. Что довлеет человеку... Как там дальше, он не помнит. Бедная коричневая луна на макушке у Феликса... Ноксвилл... Почему было давно не перебраться в Ноксвилл?.. Простой колониальный дом с верандой, забранной металлической сеткой...

— Не знаю, Мария,— произносит он, не поднимая головы.— Я думаю, нам их не перехитрить. Я думаю, надо найти адвоката...— двух адвокатов, подсказывает тихий внутренний голос, ведь я не знаю эту женщину, и мы можем когда-нибудь оказаться по разные стороны...— и сообщить все, что нам известно.

— То есть сунуть голову тигру в пасть, так, что ли? — «Чё ли?» Эта южная каша у нее во рту начинает действовать ему на нервы.— За рулем же сидела я, значит, мне и решать.

За рулем же сидела я! Она опять это повторила. Мрак немного развеялся.

— Я тебя не уговариваю. Просто думаю вслух,— объясняет он.

Взгляд Марии смягчился. И улыбка стала почти материнской.

— Шерман, послушай, что я тебе скажу. Бывают разные джунгли. Уолл-стрит — слышал, конечно? — это одни джунгли. В тех джунглях ты прекрасно умеешь ориентироваться.— Что ему до ее южных словес? Но ведь это правда, разве нет? Настроение у него еще немного поправилось.— А есть другие джунгли. В которых мы тогда заблудились, в

Бронксе. И ты там дрался, Шерман! Ты был настоящий молодец! — Он с трудом удержался от самодовольной ухмылки.— Но в тех джунглях, Шерман, ты никогда не жил. А знаешь, что там происходит? Там люди только и знают, что переступают через черту, туда-сюда, туда-сюда, то на сторону закона, то против. Ты не знаешь, как это бывает. Ты получил хорошее воспитание. Законы никогда не были тебе враждебны. Они — твои, Шерман, законы таких людей, как ты и твоя семья. Ну, а я росла иначе. Мы постоянно переступали через черту, качались туда-сюда, как пьяные, поэтому я знаю. И не боюсь. И вот что еще я тебе скажу: там, у черты, все люди — звери. И полицейские, и судьи, и преступники, все.

Она замолчала, но продолжала глядеть на него со снисходительной улыбкой, как мать, открывшая дитяти великую тайну. Интересно, подумалось Шерману, действительно ли она знает то, о чем говорит, или это романтические фантазии, снобизм навыворот?

— Так что же ты хочешь сказать?

— Что лучше будет тебе довериться моему инстинкту.

И тут раздается стук в дверь.

— Кто это? — тревожно спрашивает Шерман.

— Не пугайся. Должно быть, Жермена. Я ей говорила, что ты будешь.

Мария встает со стула и идет к двери.

— Но ты не рассказывала, что произошло?

— Нет, конечно.

И открывает дверь. Но это не Жермена. А громадный мужчина в каком-то немыслимом черном костюме. Он по-хозяйски вошел в комнату, быстро обвел глазами Шермана, стены, пол, потолок и в последнюю очередь — Марию.

— Вы Жермена Болл? — спросил он, тяжело дыша, видимо, от подъема по лестнице.— Или Боул?

Мария недоуменно молчит. Шерман тоже. Великан — молодой, белый, с курчавой черной бородой, багровое лицо блестит от пота. Он в черной фетровой шляпе с абсолютно плоскими полями, маленькой, точно игрушка, на огромной голове, в мятой белой рубашке, застегнутой под горло, но без галстука, и в лоснящемся черном двубортном пиджаке, застегнутом, как у женщины, справа налево. Хасид. Шерман много раз видел евреев-хасидов в Бриллиантовом квартале на Сорок шестой и Сорок седьмой улицах между Четвертой и Пятой авеню, но такого громадного — никогда. Под два метра ростом, весу — килограммов сто двадцать, страшно жирный, но могучего вида, нездоровую кожу распирает настоящая сарделька. Снял шляпу. Волосы под шляпой мокрые от пота, прилипли к черепу. Ударил себя ладонью по скуле. И снова водрузил шляпу высоко-высоко на самую макушку, того гляди, слетит. По лбу великана бегут струйки пота.

— Жермена Болл? Боул? Булл?

— Нет,— отвечает Мария. Она уже опомнилась и говорит язвительным, агрессивным тоном.— Ее нет. Что вам нужно?

— Вы здесь проживаете? — Для такого крупного мужчины у него на редкость тонкий голос.

— Мисс Болл сейчас здесь нет,— повторяет Мария, пропуская последний вопрос мимо ушей.

— Здесь вы проживаете или она?

— Послушайте, мы заняты,— со страдальческим долготерпением.— Зайдите попозже, а? И вообще, как вы попали в дом? — уже грозно.

Великан лезет в правый карман пиджака и достает огромную связку ключей. Штук тридцать, наверно. Перебрав их бородки толстым указательным пальцем, он выбирает один и аккуратно поднимает в воздух.

— Отпер вот этим. «Уинтер, владельцы недвижимости»,— с несильным еврейским акцентом.

— Прекрасно. Только вам придется прийти еще раз и поговорить с мисс Болл.

Великан не трогается с места. Он еще раз обводит глазами комнату.

— А вы здесь не проживаете?

— Послушайте, я...

— Ладно, это не важно. Мы тут будем красить.

Великан раскидывает руки, как два крыла, будто собрался совершить прыжок с вышки в воду, подходит лицом к стене, прижимает к стене левую ладонь, потом переступает влево, левую отнимает и прижимает на это место правую и, продвигаясь дальше влево, снова принимает позу ныряльщика.

Мария смотрит на Шермана. Он понимает, что должен что-то сделать, но что — не представляет себе. Он подходит к великану и властным ледяным тоном, как говорил бы на его месте Лев «Даннинг-Спонджета», произносит:

— Одну минуту. Чем вы занимаетесь?

— Промериваю,— отвечает великан, с растопыренными руками продвигаясь вдоль стены.— Красить здесь будем.

— Мне очень жаль, но у нас нет времени. Вам придется заняться своими делами как-нибудь в другой раз.

Молодой великан медленно оборачивается, подбоченясь, набирает в грудь побольше воздуху, отчего еще больше раздувается и становится в два раза огромнее. Лицо его выражает брезгливость, словно при виде жалкого насекомого. Должно быть, такие сцены ему не впервой и не доставляют ничего, кроме удовольствия. У Шермана екает сердце. Но деваться некуда, поединок самцов уже начался.

— Вы здесь, что ли, проживаете? — еще раз спрашивает великан.

— Вам же сказано, у нас нет времени,— отвечает Шерман, стараясь сохранять ледяной тон своего отца.— Будьте добры, уйдите, придете как-нибудь в другой раз.

— Вы здесь проживаете?

— Нет, я здесь не проживаю, если на то пошло, но я здесь в гостях и не намерен...

— Вы не проживаете, она не проживает. Что же вы тут делаете?

— Это вас не касается! — срывается Шерман, с каждой секундой чувствуя себя все жальче и беспомощнее. И указуя на дверь: — А теперь, будьте добры, убирайтесь!

— Вы тут лицо постороннее. Так? Дело серьезное. В этом доме живут люди, которым не положено. Дом с пониженной квартплатой, а жильцы хитрят и пересдают квартиры уже дороже, за тысячу, а то и две в месяц. За эту квартиру компания берет всего триста тридцать один доллар в месяц. Ясно? Жермена Болл, ее здесь никто не видел. Сколько вы ей платите?

Ну и наглость! Бой самцов! Как быть? В обычных ситуациях Шерман ощущает себя крупным мужчиной. Но рядом с этим чудовищем... силой с ним не сладишь. И страх его не берет. И ледяной властный тон не действует. А главное — у него у самого положение крайне двусмысленное. Не выдерживает моральной критики. Он, действительно, лицо постороннее и не может допустить, чтобы о его пребывании здесь стало кому-то известно. Что, если этот фантастический человек — вовсе не представитель компании «Уинтер, владельцы недвижимости»? Что, если... К счастью, тут вмешалась Мария:

— Мисс Болл, между прочим, должна скоро приехать. Ну, а пока...

— Да? Замечательно! Тогда я подожду.

Великан раскачивающейся походкой друида идет на середину комнаты, останавливается у одноногого стола и преспокойно опускает свое грузное тело на венский стул.

— Ну, знаешь,— свирепеет Мария.— Это уж чересчур!

В ответ великан, скрестив руки на груди и смежив веки, откидывается на спинку стула и демонстративно погружается в ожидание. В этот

миг Шерману становится совершенно ясно, что он обязан как-то вмешаться, не важно — как, иначе он безвозвратно уронит свое мужское достоинство. Бой самцов! Он приготовился сделать первый шаг.

И вдруг — трррахххх! Великан очутился навзничь на полу, а фетровая шляпа с твердыми полями колесом покатилась по комнате. Одна ножка стула подломилась у самого сиденья, забелела некрашеная древесина. Стул не выдержал.

— Видал, что ты наделал! — кричит Мария.— Дуболом несчастный! Свиноматка! Бочка сала!

Великан, пыхтя и отдуваясь, принимает сидячее положение и начинает вставать. От его наглости не осталось и следа. Лицо опять побагровело, ручьем течет пот. Наклонившись подобрать с пола шляпу, он опять едва не падает.

Мария развивает наступление. Указывая пальцем на обломки стула, она грозно говорит:

— Ты за это заплатишь! Ясно?

— Но-но, потише,— бурчит великан.— Это ж не ваше.

Но отступает, сломленный ее напором и собственным конфузом.

— С тебя взыщут пятьсот долларов... через суд! — шумит Мария.— Ты вломился в чужой дом!

Великан возмущенно оборачивается с порога, однако не выдерживает характера. И, махнув рукой, в полном беспорядке вперевалку ретируется.

А Мария, как только его шаги забухали вниз по лестнице, защелкнула дверной замок, повернулась к Шерману и громко, заливисто расхохоталась.

— Видел... как... он... на полу... валялся? — давясь от хохота, с трудом выговаривает она.

Шерман недоуменно хлопает глазами. Правду она сказала. Они — животные разной породы. Марии вполне по душе такая жизнь. Ей нравится драться. Драка на черте, о которой она говорила. А ей хоть бы хны. Хотелось бы ему сейчас тоже посмеяться с упоением над этой нелепой историей. А не получается. Даже улыбка и та не вышла. Чувство такое, будто рассыпались стены, ограждающие его место в мире. И всякие... немыслимые личности... получили доступ в его жизнь.

— Трраххх! — повторяет Мария, плача от смеха.— Черт! На видеопленку бы заснять! — Тут она замечает скорбное лицо Шермана.— В чем дело?

— Как ты думаешь, что это было?

— В каком смысле — что?

— По-твоему, зачем он сюда явился?

— Хозяева его послали! Помнишь, письмо я тебе показывала?

— А разве не странно, что...

— Жермена платит всего триста тридцать один доллар в месяц, а с меня берет семьсот пятьдесят. Этот дом — с пониженной квартплатой, разницу возмещает муниципалитет. Они бы рады ее схватить за руку и отсюда выставить.

— Но тебе не кажется странным, что они выбрали время... именно сейчас?

— Именно сейчас?

— Может быть, конечно, я не в себе, но ведь сегодня, когда появилось это... в газете?..

— В газете? — Тут до нее, наконец, доходит, о чем он толкует, и она жизнерадостно смеется: — Шерман, ты и правда не в себе. У тебя навязчивый бред. Ты это понимаешь?

— Возможно. Но мне тут видится очень странное совпадение.

— И кто же, по-твоему, его прислал, если не хозяева дома? Полиция, что ли?

— Н-ну, не знаю...— Действительно, бред какой-то, сознает Шерман и робко усмехается.

— Полиция пошлет такого чудовищного, колоссального, жирного, безмозглого хасида шпионить за тобой?

Шерман свешивает йейльский подбородок до самых ключиц.

— Ты права.

Но Мария подходит к нему, пальчиком за подбородок поднимает ему голову и, заглянув прямо в глаза, улыбается так нежно, как еще никогда ему не улыбалась.

— Шерман. («Шууман».) Ты думаешь, всему миру только и есть дела, что за тобой гоняться? Ничуть. А вот я гоняюсь.

Она берет в ладони его лицо и целует в губы. В конце концов они оказываются на диване, но на этот раз ему пришлось попотеть. Когда человек испуган до полусмерти, у него все не слава богу.

12

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ВЕЛИКИХ КУРИЛЬЩИКОВ

Ночь Шерман проспал урывками и к восьми часам был уже в «Пирс-и-Пирсе». Совершенно измочаленный, хотя рабочий день еще не начинался. «Операционный зал» — как кошмарное виденье.

Больше всего Шерману хочется сейчас смыться в «Йейл-клуб», попариться в жаркой бане, а потом растянуться на кожаном столе, чтобы массажист хорошенько размял ему кости. И уснуть.

На столе у Шермана записка помечена «срочно»: просьба позвонить в Париж Бернару Леви.

Почти не сознавая, что делает, Шерман берет телефонную трубку и набирает парижский номер. И вполуха слушает Бернара Леви:

— Шерман, вчера после нашего разговора я обсудил это дело с Нью-Йорком, и все считают, что вы правы. Тянуть не имеет смысла.

Слава тебе, Господи!

— Но,— продолжает Бернар,— на девяносто шесть мы согласиться не можем.

— Не можете на девяносто шесть?

Он слышит зловещие слова... но не может сосредоточиться. ...Утренние газеты, которые он читал в такси по дороге, «Таймс», «Пост», «Ньюс»,— все излагали статью из «Сити лайт» и вдобавок еще новые заявления этого черного священника, Преподобного Бэкона. Он страшно ругал клинику, где потерпевший все еще лежит без сознания. У Шермана, было, отлегло от сердца. Значит, вину возлагают на медиков! Но потом он понял, что это самообман. Вину возложат на того, кто... Но ведь за рулем сидела она. Если на их след в конце концов выйдут и если не будет другого спасенья, то ведь все-таки за рулем сидела она. Она и отвечает. Последняя соломинка.

— Нет, девяносто шесть снимается,— говорит Бернар.— А вот на девяносто три мы готовы.

— Девяносто три!

Шерман выпрямился в кресле. Не может быть. Сейчас Бернар, конечно, скажет, что оговорился. Ну, в крайнем случае назовет девяносто пять. Шерман сам заплатил девяносто четыре. Шестьсот миллионов облигаций по девяносто четыре! При девяносто трех «Пирс-и-Пирс» понесет убыток в шесть миллионов долларов.

— Вы сказали девяносто три? Не может быть!

— Да, Шерман, девяносто три. Мы считаем, это нормальная цена. Во всяком случае, вот наше предложение.

— Господи Иисусе!.. Я должен секунду подумать. Слушайте, я перезвоню. Вы будете на месте?

— Разумеется.

— Хорошо. Я сейчас перезвоню.

Шерман кладет трубку и трет глаза. Чертовщина. Надо найти какой-то выход. Все оттого, что он вчера говорил с Бернаром расстроенным голосом. Это смерти подобно! Бернар услышал испуг в его голосе и сра-

зу дал задний ход. Надо немедленно взять себя в руки! Перегруппироваться! Все тщательно продумать! После того что случилось, нельзя допустить провала! Звони ему и говори своим прежним тоном, ты же — лучший добытчик «Пирс-и-Пирса», Властитель Вселен... Бесполезно. Бесполезно. Чем сильнее он себя подстегивает, тем больше нервничает. Он смотрит на часы. Где Феликс? Шерман помахал ему. Достал из брючного кармана бумажник, спрятал между колен, чтоб никому не было видно, вынул пятидолларовую бумажку, сунул в конторский конверт и встал навстречу Феликсу.

— Феликс, здесь пять долларов. Спуститесь вниз и купите мне номер «Сити лайт», ладно? Сдачу возьмете себе.

Феликс смотрит на него, странно ухмыляется и говорит:

— Ладно-то ладно, да вот давеча пришлось подождать у киоска, и лифт был занят, я много времени потерял. Туда пятьдесят этажей. Дороговато мне встало.

Тоже на страже своих интересов.

Какая наглость! Утверждать, что пять долларов за покупку тридцатипятицентовой газеты — это ущерб для его дохода! Шантажист!.. ну да, в этом-то все и дело. Какое-то уличное шестое чувство подсказало чистильщику, что раз газету прячут в конверт, значит, тут — контрабанда, крайняя мера. А люди в крайности должны раскошеливаться.

Едва сдерживая ярость, Шерман достает из кармана еще одну пятерку и сует Феликсу, тот принимает ее со старательно равнодушным видом и выходит, держа в руке конверт.

Шерман снова набирает Париж.

— Бернар?

— Да?

— Шерман. Я еще тут тружусь над этим делом. Дайте мне дополнительных минут пятнадцать-двадцать.

Заминка. Потом:

— Хорошо.

Шерман кладет трубку и устремляет взгляд в широкое заднее окно. На фоне дневного сияния дергаются, извиваются в бешеной пляске человеческие силуэты. Если бы он согласился на девяносто пять... Черный чистильщик обернулся в одну минуту. И протянул ему конверт, не позволив себе больше ни слова, ни многозначительного взгляда.

Толстый конверт с газетой. Как будто там внутри что-то живое. Шерман украдкой опускает конверт под стол. И *оно* там копошится, скрежещет зубами.

Если приложить часть своего личного дохода... Он набрасывает цифры на листке бумаги. Но цифры ничего ему не говорят, они утратили смысл! За ними ничего не стоит! Шерману слышно собственное дыхание. Он подбирает с полу конверт и идет в уборную.

В кабинке, усевшись на сиденье прямо в брюках от английского костюма за две тысячи долларов и подобрав ноги в полуботинках «Нью и Лингвуд» к самому основанию фаянсового унитаза, Шерман вынимает и разворачивает газету. Каждый шорох изобличает. Первая страница — СКАНДАЛ В ЧАЙНАТАУНЕ С ПОДДЕЛКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СПИСКОВ... это совершенно неинтересно... Развернем... страница вторая... страница третья... фото владельца китайского ресторана... Вот внизу страницы:

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ РАСПЕЧАТКА
В СВЯЗИ С НАЕЗДОМ В БРОНКСЕ

Над заголовком белыми буквами, помельче, на черном: *«Новая сенсация в деле Лэмба.*

Под заголовком, тоже на черном:

Эксклюзив для «Сити лайт»

Подписано все тем же Питером Фэллоу:

Вчера, заявив, что ему «надоела полицейская волынка», наш источник в Отделе регистрации автотранспорта передал для «Сити лайт» компьютерную распечатку, сокращающую до 124

число машин, которые могли быть замешаны в уличном происшествии в Бронксе, когда был сбит на мостовой и брошен на произвол судьбы отличник учебы Генри Лэмб.
Наш источник, неоднократно сотрудничавший с полицией в аналогичных делах, сказал: «Сто двадцать четыре машины они могут проверить за несколько дней. Было бы только желание выделить для этого работников. Если пострадавший — житель муниципальных новостроек, такое желание возникает не всегда.
...Брукнеровский бульвар, где был сбит молодой человек, нельзя назвать городской достопримечательностью, привлекающей туристов. Поэтому естественно считать, что «мерседес» был городской или уэстчестерский. И если исходить из такого предположения — а я знаю другие случаи, когда именно так и делалось,— число интересующих нас машин уменьшается до ста двадцати четырех».
Эта информация побудила лидера черных Преподобного Реджинальда Бэкона вновь выступить с требованиями полного расследования данного происшествия.
«Если полиция и окружной прокурор не предпримут шагов, мы займемся этим сами,— заявил он.— Власти могут смотреть, как погибает блестящий юноша, и хлопать ушами. Но мы такого не допустим. Теперь у нас есть распечатка, и, если понадобится, мы сами разыщем все перечисленные в ней машины».

У Шермана екает сердце.

> Жители Южного Бронкса, соседи Лэмба, как сообщается, «охвачены гневом и возмущением» в связи с невнимательным отношением медиков и очевидным нежеланием властей принимать меры.
> Полиция и офис окружного прокурора Эйба Вейсса сообщают, что их расследование «продолжается». Сокращение числа подозреваемых машин до 124 они комментировать отказались, а представитель Отдела регистрации автотранспорта Рут Берковиц по поводу публикации в «Сити лайт» заявила: «Выдача без ведома и согласия администрации справок о машинах и машиновладельцах, тем более в таком деликатном деле, является серьезным и безответственным нарушением правил».

Да, вот оно. Шерман сидит на унитазе и тупо смотрит на газетные столбцы. Петля затягивается. Правда, полиция не обращает внимания... Но что если этот... этот Бэкон... и эти черные жители Бронкса, охваченные гневом и возмущением... что если они начнут сами проверять машины... Слышно, как открылась дверь на пневматических петлях, кто-то вошел. Поблизости щелкнула дверца кабинки. Шерман как можно бесшумнее складывает газету, засовывает ее обратно в конверт. Тихо-тихо поднимается, медленно-медленно открывает дверь кабинки и, осторожно ступая, выходит из уборной. Сердце у него лихорадочно колотится.

В зале операций он снова берется за телефонную трубку. Надо звонить Бернару. *Надо позвонить Марии.* Он пытается придать своему лицу деловое выражение. Частные разговоры из рабочего зала «Пирс-и-Пирса» не поощряются. Набирает номер ее квартиры на Пятой авеню. Женский голос с испанским акцентом отвечает, что миссис Раскин нет дома. Звонит, раздельно набирая цифры, в «конспиративную квартиру». Не отвечают. Откидывается на спинку стула. Перед глазами дали за окном... яркий свет дня, пляшущие силуэты... гул...

Значит, так. Надо ехать к Бредди Баттону.

Но что сказать Мюриэл, ассистентке? Скажет, что уехал в «Полсек и Фрэгнер» повидаться с Мелом Траутменом насчет акций «Медицинских перевозок»... Именно так он ей и скажет... А у самого на сердце кошки скребут. Одна из максим Льва «Даннинг-Спонджета» гласила: «Солгав, ты, быть может, и обманешь другого, но себе признаешься: ты слаб».

По пути из отдела Шерман говорит Мюриэл заготовленную ложь и чувствует себя жалким, запачканным и слабым.

Как и другие, хорошо обеспеченные старые протестантские семейства Манхэттена, Мак-Кои всегда старались вверять заботу о своих духовных и телесных нуждах тоже только протестантам. Однако теперь это не так-то просто. Бухгалтеров и стоматологов среди протестантов днем с огнем не сыщешь, а врачей и подавно. А вот протестантов-адвокатов все еще сколько угодно, по крайней мере, на Уолл-стрит, и Шерман попал в клиенты к Фредди Баттону тем же путем, что и в детский полк «Никербокер Грейз», когда был мальчиком. Так распорядился его отец. Однажды, еще в бытность Шермана йейльским студентом, Лев «Даннинг-Спонджета» решил, что сыну, по правилам разумной добропорядочности, уже пора составить завещание. И передал его на руки Фредди Баттону, тогда совсем молодому новому компаньону фирмы «Даннинг-Спонджет». Хороший Фредди юрист или нет, Шерману задумываться не приходилось. Он просто обращался к нему, чтобы все было в полном порядке: завещание, дважды пересоставленное, при женитьбе на Джуди и при рождении Кэмпбелл, и контракты, когда покупалась квартира на Парк авеню или дом в Саутгемптоне. Правда, при покупке квартиры у Шермана были опасения. Фредди оказался посвящен в то обстоятельство, что для совершения сделки он вынужден был занять миллион восемьсот тысяч долларов, а он совершенно не хотел, чтобы это стало известно отцу (строго говоря, компаньону Фредди). Тогда Фредди тайну сохранил. Однако в теперешнем скандальном деле, под улюлюканье газет,— а вдруг есть какое-то правило, какая-то принятая процедура, согласно которой эти сведения должны быть сообщены остальным компаньонам фирмы, может быть, даже и престарелому Льву?

«Даннинг-Спонджет и Лич» занимает четыре этажа в небоскребе на Уолл-стрит, в трех кварталах от «Пирс-и-Пирса». В двадцатых годах, когда небоскреб только возвели, он представлял собой последнее слово стиля «модерн», но с тех пор помрачнел и насупился под налетом уолл-стритовской копоти. Помещение «Даннинг-Спонджета» мало чем отличается от «Пирс-и-Пирса». И там и тут конструктивистский интерьер оброс английскими панелями во вкусе XVIII века и заставлен английской мебелью в том же вкусе. Впрочем, Шерман ничего этого не замечает. Для него «Даннинг-Спонджет», какой ни на есть, освящен почтенной старостью, как и его отец.

Фредди, высокий, томный и обаятельный, с вечной сигаретой в зубах, встретил его на пороге.

— Шерман! — Фонтан табачного дыма, великолепная улыбка, горячее рукопожатие — человек безумно рад видеть Шермана Мак-Коя.— Ах, боже мой, боже мой, как поживаете? Присаживайтесь. Может быть, кофе?

— Нет, спасибо. Мне не надо.

— Как Джуди?

— В порядке.

— А Кэмпбелл? — Он никогда не забывает, как ее зовут, и Шермана это трогает, даже теперь.

— О, она процветает!

— Она ведь учится в «Тальяферро»?

— Да. А вы откуда знаете? Со слов деда?

— Нет, от своей Салли. Она кончила «Тальяферро» в позапрошлом году. Обожала свою школу. До сих пор в курсе всех дел. Сейчас в «Брауне».

— И как ей там?

Господи! Почему он это спрашивает? Какое ему дело? Но он знает почему. Потому что мощный поток вязкого, ничего не значащего обаяния Фредди Баттона поневоле захватывает и начинаешь тоже говорить приятные банальности.

Но это было ошибкой. Фредди сразу же принимается рассказывать анекдот про девичьи спальни в «Брауне». Лениво развалясь в кресле через стол от Шермана, он рассказывает и не переставая курит — за-

тянется глубоко, дым вместе со словами вырывается изо рта, а он двумя густыми струями втягивает его обратно через ноздри. Это когда-то называлось «затяжка по-французски» — способ, которым в совершенстве владеет Фредди Баттон, последний из Великих Курильщиков. Он пускает дымные кольца. Затягивается «по-французски», а потом выдувает большие кольца и простреливает их быстрой очередью маленьких. Иногда он держит сигарету не между указательным и средним пальцами, а большим и указательным, как свечку. Почему это гомосексуалисты так много курят? Вероятно, из подсознательной склонности к самоуничтожению. Но «подсознательной склонностью к самоуничтожению» исчерпывается знакомство Шермана с терминологией психоанализа, и взгляд его начинает блуждать. Офис Фредди «отделан» вполне в том же смысле, как употребляет это слово Джуди. Здесь все — как на картинке из ее кошмарных модных журналов... Пурпурный бархат, кожа цвета бычьей крови, карельская береза, бронзовые и серебряные безделушки... Шерману вдруг становится невмоготу от Фредди Баттона со всем его обаянием и с такими вкусами. Фредди, наверно, это почувствовал, потому что внезапно оборвал анекдот и сказал:

— Ну, ладно. Так что, вы говорите, там у вас произошло с машиной?

— Об этом, к сожалению, можно прочитать. Вот.— Шерман достает из своего «дипломата» фирменный конверт «Пирс-и-Пирса», вынимает номер «Сити лайт», разворачивает на третьей странице и протягивает через стол.— Внизу.

Прочитав статью, Фредди аккуратно кладет сигарету на край пепельницы, снимает очки и, взяв сигарету из пепельницы, делает глубокую затяжку.

Шерман, сквозь сжатые зубы:

— Здесь написано про мою машину.

Испуганный его тоном, Фредди осторожно, словно на цыпочках, пробует уточнить:

— У вас есть «мерседес», регистрационный знак которого начинается с R и чего-то там еще?

— Вот именно,— сдавленным голосом.

Фредди с недоумением:

— Так... А нельзя ли немного яснее? Расскажите, что случилось.

И только тут Шерман неожиданно сознает, что этого ему как раз больше всего и хочется! Хочется исповедаться — все равно перед кем! Пусть хоть бы и перед этим сигаретным фокусником, этим лощеным педерастом, компаньоном его отца. Никогда он так ясно не понимал, что представляет собой Фредди Баттон. Он играет в серьезной адвокатской фирме «Даннинг-Спонджет» роль эдакого профессионального душки, и к нему сплавляют всех вдов и наследников, вроде вот Шермана, у которых, по общему мнению компаньонов, больше денег, чем проблем. Однако другого исповедника к его услугам сейчас нет.

— У меня есть знакомая Мария Раскин,— начал он.— Жена некоего Артура Раскина, который огреб кучу денег неизвестно на чем.

— Слышал о таком,— кивает Фредди.

— Я в последнее время...— Шерман подыскивает правильные слова,— довольно много виделся с миссис Раскин.— И поджав губы, смотрит на Фредди. Его взгляд договаривает: «Да, вот именно. Обычная нечистоплотная интрижка».

Фредди понял и кивает.

И Шерман после еще одной краткой заминки пускается в подробный рассказ о давешней поездке по вечернему Бронксу. При этом он следит за лицом Фредди, готовый прочесть на нем осуждение или — хуже того! — злорадство. Но видит только дружеское участие, размеченное кольцами дыма. Он больше уже не презирает Фредди. От души у него отлегло. Яд изливается наружу. О, мой исповедник!

Продолжая рассказ, он начинает испытывать совсем другое чув-

ство: безотчетную радость. Приятно быть героем такого захватывающего приключения. И он уже опять гордится,— так глупо гордится! — что дрался в джунглях, что победил. Он красуется, он на подмостках, он главный герой. На лице у Фредди дружеское, участливое выражение сменяется... восхищенным...

— Так что вот,— заканчивает Шерман.— Как мне теперь себя вести, ума не приложу. Надо было, конечно, сразу же заявить.

Фредди откинулся на спинку кресла, устремил глаза вдаль, глубоко затянулся сигаретой. А потом снова поглядел на Шермана и успокоительно улыбнулся.

— Ну, из того, что вы рассказываете, ясно: в том, что пострадал молодой человек, вашей личной ответственности нет.— Вместе со словами изо рта у него одно за другим вырываются облачка дыма. Ну, кто еще так умеет? — Речь может идти о вашей доле ответственности как владельца машины за незаявление, и может встать вопрос об исчезновении с места происшествия. Это я должен буду уточнить по кодексу. Не исключено также, что та сторона выдвинет обвинение в нападении, поскольку вами была брошена шина, но едва ли ему дадут ход, ведь у вас были очевидные причины считать, что покушаются на вашу жизнь. Замечу, что происшествие такого рода вовсе не исключительное, как вы, по-видимому, думаете. Как я уже сказал, мне тут надо кое-что уточнить. Но полагаю, это ничем серьезным вам не грозит, при условии если нам удастся установить, что события развивались именно так, как вы мне сейчас изложили.

— Что значит — удастся установить?

— Понимаете ли, в этой газетной публикации меня беспокоит одно: она слишком далеко отступает от описанных вами фактов.

— То-то и оно! Ни слова о другом... о другом парне, который подошел ко мне сначала. И о перегороженной мостовой, и о том, что дело было на въезде. Они называют местом происшествия Брукнеровский бульвар. Но это было вовсе не на Брукнеровском бульваре и вообще ни на каком бульваре. У них получается, будто этот юноша... отличник учебы... черный святой... переходил себе через улицу, ни о чем худом не помышляя, и вдруг едет какой-то белый расист в роскошном автомобиле, на ходу сбивает его с ног и уносится дальше. Чушь все это! «Роскошный автомобиль», «роскошный автомобиль», а это всего только обыкновенный «мерседес». Да теперь «мерседес» — все равно что раньше «бьюик».

Фредди вздернул бровь, выразив таким образом сомнение по этому поводу, но Шерман еще не все сказал.

— Я вот что хочу у вас спросить, Фредди. Тот факт, что за рулем...— он хотел было сказать: «сидела Мария Раскин», но воздержался, чтобы не получилось так, будто он перекладывает вину на нее,— что машину вел не я, когда был сбит этот юноша, не снимает с меня ответственности в глазах закона?

— В том, что касается телесных повреждений, по-моему, снимает. Хотя, как я сказал, надо заглянуть в кодекс. Но позвольте и мне спросить у вас. А какая версия имеется у этой вашей приятельницы, миссис Раскин?

— В каком смысле — версия?

— Ну, как она объясняет это происшествие? Она тоже говорит, что машину вела она?

— Говорит? Не говорит, а в самом деле она вела.

— Да, но если ей, допустим, будет в этом случае угрожать судебное преследование?

Шерман на минуту онемел.

— Н-ну, я не могу себе представить, чтобы она...— «солгала», хотел, было, он сказать, но не сказал, потому что вообще-то это не так уж немыслимо. Ему становится страшно.— По крайней мере, каждый раз, как я с ней обсуждал этот случай, она повторяла одну и ту же

фразу: «В конце концов, за рулем-то сидела я». Когда я в первый раз, тогда же, завел разговор о том, чтобы обратиться в полицию, она сказала: «За рулем сидела я, мне и решать». Не знаю, конечно, все может быть, но... О, Господи.

— Я не хочу сеять у вас в душе сомнение, Шерман. Просто имейте в виду, что она — единственный человек, который может подтвердить ваши слова, и притом с риском для себя самой.

Шерман отвалился от стола. Пышнотелая воительница, которая сражалась в джунглях бок о бок с ним, а потом, распаренная, отдавалась ему на полу...

— Значит, если я теперь обращусь в полицию и расскажу, как все было, а она не подтвердит, то мое положение будет еще хуже, чем сейчас?

— Не исключено. Поймите, я не говорю, что она непременно откажется подтвердить ваши слова. Я просто хочу, чтобы вы ясно представляли себе свое положение.

— И что же, по-вашему, я должен делать, Фредди?

— С кем вы об этом говорили?

— Ни с кем. Только с вами.

— А с Джуди?

— Нет. С Джуди, как вы понимаете, тем более.

— Ну, так и не говорите покамест ни с кем, даже с Джуди, без крайней необходимости. Но и тогда обязательно внушите ей, чтобы она помалкивала. Вы не представляете себе, как сказанное вами слово можно при желании вывернуть наизнанку и использовать против вас же. Я это наблюдал неоднократно.

Шерман усомнился, но кивнул.

— А я меж тем, с вашего позволения, проконсультируюсь с одним знакомым юристом, который как раз специализируется в этой области.

— Здесь, в «Даннинг-Спонджете»?

— Да нет.

— Потому что мне бы не хотелось, чтобы это дело гоняли, как мяч, по здешним коридорам.

— Не беспокойтесь. Я имею в виду другую фирму.

— Что за фирма?

— «Дершкин, Беллавита, Фишбейн и Шлоссель».

От длинного набора слогов замутило, как от дурного запаха.

— Чем они занимаются?

— Всем понемногу. Но известностью пользуются как специалисты по уголовным делам.

— По *уголовным* делам?

Фредди улыбнулся.

— Не пугайтесь. Специалисты по уголовным делам помогают не одним уголовникам. К человеку, о котором я говорю, я имею в виду, мы уже имели случай обращаться. Его зовут Томас Киллиан. Очень толковый. Ваших лет. Учился, кстати, в Йейле, в Йейльской юридической школе. Единственный ирландец — выпускник Йейльской юридической школы. И единственный выпускник Йейльской юридической школы, который ведет уголовные дела. Шучу, конечно.

А Шерман снова отваливается от стола, пораженный словами «уголовные дела». Фредди, опять ощутив себя хозяином положения, достает портсигар из слоновой кости с серебром, вытаскивает из-под зажима сигарету «Синиор сервис», разминает и, прикурив, с глубоким удовлетворением затягивается.

— Я хочу знать его мнение,— объясняет он Шерману,— тем более что, судя по газетной публикации, дело приобрело политическую окраску. Томми Киллиан разберется тут гораздо лучше, чем я.

— «Дершкин, Кто-то и Шлофель»?

— «Дершкин, Беллавита, Фишбейн и Шлоссель»,— поправляет Фредди.— Три еврея и один итальянец, да еще Томми Киллиан, ирлан-

дец. Видите ли, Шерман, адвокатская профессия в Нью-Йорке подверглась большой специализации. Как бы распалась на отдельные кланы... и кланчики... Вот, к примеру. Если бы мне нужно было защищаться от обвинения в небрежности за рулем автомобиля, я бы не хотел, чтобы мои интересы представлял кто-то из «Даннинг-Спонджета». Я бы обратился в одну из адвокатских фирм на Бродвее, которые исключительно такими делами и занимаются. Это — самая нижняя ступень адвокатуры. Всякие Беллавиты и Шлоссели — публика грубая, неотесанная, скользкая, сомнительная, вы даже представить себе не можете, какие они. И тем не менее я бы обратился только к ним. Они знают всех судей, всех секретарей, других адвокатов. Они умеют договариваться. Если в суде появится какой-нибудь Брэдшоу или Фарнсуорт из «Даннинг-Спонджета», ничего не выйдет, с ним просто разговаривать не станут. То же самое и уголовное дело. Юристы-«уголовники» — не высшей пробы народец, но в делах определенного рода приходится прибегать к их услугам. И в данной ситуации Томми Киллиан — как раз подходящая фигура.

— Господи,— только и смог выговорить Шерман. Изо всего, что наговорил ему Фредди, в голове у него застряло одно: *уголовное дело.*

— Выше голову, Шерман!

Уголовное дело.

В зале операций с ценными бумагами «Пирс-и-Пирса» Шермана встречает укоризненный взгляд Мюриэл, ассистентки.

— Где ты был, Шерман? Я пыталась с тобой связаться.

— Да я...— Он хотел было повторить давешнюю ложь, и еще в приукрашенном виде, но ее лицо предупреждает, что так он только хуже запутается.— Ну ладно, в чем дело?

— Сразу, как ты ушел, поступил новый выпуск «Файделити мьючуалс» на двести миллионов. Я позвонила в «Полсек и Фрэгнер», но тебя там не было, и они тебя даже не ждали. Арнольд недоволен, Шерман. Хочет тебя видеть.

— Иду,— говорит Шерман и поворачивает к своему столу.

— Постой,— зовет его Мюриэл.— Еще тебя искал этот клиент из Парижа. Четыре раза звонил. Мсье Леви. Сказал, что ты должен был ему отзвонить. И велел передать тебе: девяносто три, окончательно. Сказал, что ты поймешь.

13

ОРАНЖЕВЫЙ УГОРЬ

В четыре пятнадцать Крамер и двое следователей, Мартин и Гольдберг, в партикулярном «додже» подъехали к Башням Эдгара По. Демонстрация назначена на пять. Здешний жилой квартал был спроектирован в «зеленую» эпоху искоренения трущоб. Замысел проектировщиков состоял в том, чтобы возвести башни прямо на зеленом травянистом участке, где будут резвиться детишки, а вдоль извилистых тропинок на скамеечках под тенистыми деревьями рассядутся старики. Обернулось же дело тем, что резвящиеся детишки в первый же месяц ободрали и повыломали саженцы тенистых деревьев, и старикам, которые сдуру вздумали бы посидеть вдоль извилистых тропинок, грозила не менее жестокая расправа. Теперь квартал представляет собой нагромождение закопченных кирпичных строений, вздымающихся кверху из россыпей шлака и утоптанной голой земли. Бетонные столбики, на которых некогда покоились зеленые досточки скамеек, торчат оголенные, точно древние руины.

Мартин припарковал «додж» на свободное место. Они сидят втроем в машине и ждут.

— Начальство дурью мается,— говорит Мартин.

— А что, Мартин,— обращается к нему Крамер, гордясь близостью с таким парнем,— удалось вам выяснить, кто передал распечатку в «Сити лайт»?

Мартин, не поворачивая головы, отвечает: «Один товарищ», на ирландский манер имитируя негритянский акцент. И, оглядываясь, кривит рот,— мол, это уж как водится.

— Будете проверять все сто двадцать четыре машины, или сколько их?

— Ну да. Вейсс с утра у шефа в печенках сидит.

— И сколько времени это займет?

— Дня три-четыре. Он выделил шесть следователей. Говорю же, дурью маются.

Гольдберг тоже обернулся.

— Что такое с Вейссом, непонятно,— говорит он Крамеру.— Не верит же он в эту бодягу, что газеты печатают?

— Как не верит? Верит. Это его религия,— отвечает Крамер.— И чуть где расистская окраска, сразу на стенку лезет. Ему же скоро переизбираться.

— Да, но с чего он взял, что мы найдем здесь свидетелей на демонстрации? Демонстрация же липовая.

— Понятия не имею. Так он сказал Берни.

Гольдберг качает головой:

— Нам даже, хрен дери, неизвестно место происшествия. Это у вас в прокуратуре понимают? Мы с Марти излазили весь Брукнеровский бульвар и не смогли, блин, определить, где именно вся эта хреновина могла произойти. Об этом мальчишка не догадался матери сообщить, когда якобы вдруг вылез с тем липовым номером автомобиля.

— А кстати,— говорит Крамер,— откуда пацану, проживающему в квартале Эдгара По, знать, как выглядит «мерседес»?

— Ну, это-то они знают,— не поворачивая головы, возражает Мартин.— Здесь «коты» и аферисты ездят на «мерседесах».

— Точно,— кивает Гольдберг.— На «кадиллаки» они теперь и не смотрят. Здешние мальчишки носят на шее никелированные штуковины с «мерседесов», такие, знаете, на капоте торчат.

— Взять любого пацана, если он вздумает навешать вам лапши на уши насчет какого-нибудь случая с машиной, первая марка, которая ему в голову придет, это — «мерседес»,— объясняет Мартин.— Берни знает.

— Берни Фицгиббона Вейсс тоже допек,— говорит Крамер. Он озирается по сторонам. Вокруг многоэтажных башен — тишина и безлюдье, даже оторопь берет.— А вы уверены, Марти, что не ошиблись адресом? Никого вроде нет.

— Ништяк. Соберутся. Мало ли кто дурью мается.

Вскоре, действительно, подъехал рыжий пикап и припарковался впереди них. Из него вышло человек десять мужчин, все черные. Одеты в синие рабочие блузы и комбинезоны. Молодежь, не старше тридцати. Среди них выделяется один, выше всех ростом, у него скошенный подбородок, огромный кадык и золотая серьга в одном ухе. По его слову они начинают выгружать из пикапа какие-то палки. Это оказываются шесты с плакатами. Их складывают штабелем на тротуаре. Приехавшие толпятся у пикапа, стоят, прислонясь, переговариваются, курят.

— Где-то я уже видел эту длинную задницу,— говорит Мартин.

— И я его вроде уже видел,— кивает Гольдберг.— Ну да, блин, это же одна из задниц Бэкона, они его зовут Красавчик. Он был и тогда, на Ган-Хилл-роуд.

Мартин вскидывает голову.

— Точно, Дейви! Та самая задница.— Он всматривается в долговязого негра на противоположном тротуаре.— Эх, если бы он...— мечтательным тоном.— Ну, давай же, задница, давай, сделай хоть одну ошибку, прошу тебя... Я выхожу.

Мартин вылез из «доджа» и стоит на тротуаре, расправляя плечи, сгибая и разгибая локти, как разминающийся боксер. Гольдберг вылезает следом. Крамеру тоже приходится выйти из машины. Демонстранты на той стороне начинают обращать на них внимание.

Вот от них отделяется один здоровяк в синей блузе и джинсах, переходит через мостовую «сутенерской развалочкой» и останавливается перед Мартином.

— Йо! — произносит он.— Вы с телевидения?

Мартин смотрит исподлобья и с самым вызывающим видом, очень медленно отрицательно качает головой.

— Откуда же ты, Джек?

— Из Проваливай-сити, Агнес.

Тот пробует посмотреть зверем, потом пробует улыбнуться. Бесполезно: лицо Мартина не выражает ничего, кроме бесконечного ирландского презрения. Парень поворачивается и возвращается к своим, что-то там говорит, и на Мартина через дорогу обращает взор сам долговязый Красавчик. Но навстречу ему устремлены два ирландских лазера. Он отворачивается, собирает вокруг себя человек пять своих. Они совещаются, поглядывая на Мартина.

Это вооруженное противостояние длится уже несколько минут, когда подъезжает второй пикап. Из него вылезают белые, семь парней и три женщины. Похожи на студентов — за исключением одной из женщин, чьи распущенные светлые волосы сильно тронуты сединой.

— Йо, Красавчик! — кричит она. И идет к верзиле с серьгой, протянув обе руки и улыбаясь во весь рот. Тот, явно без особого восторга, берет ее за руки и произносит:

— Эй, как жизнь, Рива?

Но она пригибает его к себе и целует сначала в одну щеку, потом в другую.

— О-о, я не могу! — простонал Гольдберг.— Эта стерва.

— Знакомая? — спросил Крамер.

— Известная дрянь. Коммунистка.

А белая женщина Рива тем временем отдала распоряжение своим спутникам, и двое, мужчина и женщина, тоже вытаскивают из второго пикапа плакаты на шестах.

Затем подъезжает третий пикап, из него выбирается еще человек девять или десять, в основном молодых, и мужчин, и женщин. Эти достают скатанный кусок ткани, разворачивают. Ткань оказывается транспарантом.

«Голубые силы против расизма» — читает Крамер.

— Это еще что такое? — спрашивает он.

— Лесбиянки и педики,— пояснил Гольдберг.

— А им-то что здесь надо?

— Ну, как же. Они во всех таких мероприятиях первые участники. Любят подышать свежим воздухом. Главные заводилы.

— И какой им от этого прок?

— Почем я знаю. Единение угнетенных — так это у них называется. Какой-нибудь из таких групп понадобится поддержка — они тут как тут.

Подъезжает легковой автомобиль. Из него вылезают двое. У одного на шее висят две камеры и сумка с наклейкой «СИТИ ЛАЙТ». Второй — долговязый блондин за тридцать с унылым носом и длинными волосами, выдающимися на лоб узким мыском. Белокожее лицо в красных пятнах. Человек этот одет в синий блейзер необыкновенного, на взгляд Крамера, иностранного покроя. Внезапно он, качнувшись, делает шаг влево. Похоже, что человеку дурно. С закрытыми глазами, зажав под мышкой блокнот на спирали, он неловко поднимает ладони к вискам, сдавливает, долго трет, а потом открывает глаза, мигает, таращится и смотрит вокруг.

Мартин рассмеялся:

— Нет, вы только посмотрите на него! Не рожа, а бродильный чан с ржаным суслом. Уж так его ломает с похмелья, прямо до крови.

Питера Фэллоу опять качнуло влево. Все время его поводит. Что-то с вестибулярным аппаратом. И головная боль — просто убийственная, такое ощущение, будто мозг охватывает сетка пленчатых нитей, как на апельсине под кожурой, каждый удар сердца их натягивает, и яд разливается по телу. Бывали у него и раньше головные боли, но эта — кошмарная, злокачественная, просто нет слов...

А где же народ? Не туда, что ли, заехали? Тут — только горстка негров и десятка два белых студентов, с ноги на ногу переминаются. На большом плакате написано: «Голубые силы». Что это еще за «голубые силы»? Он-то опасался шума и многолюдья, но теперь его смущает тишина.

Впереди на тротуаре — знакомый долговязый негр с серьгой, тот, что привозил их с Вогелем сюда позавчера. Вогель. Фэллоу опять закрывает глаза. Вогель вчера возил его в «Лестер», чтобы отпраздновать (или оплатить?) статью. Фэллоу выпил водочный коктейль «Саутсайд», потом второй...

Он открывает глаза и таращится, чтобы они больше не закрывались. Это Бронкс. Он находится в Бронксе. Фэллоу идет к человеку с серьгой, которого называют Красавчик. Но его по-прежнему поводит влево. И голова кружится. Не перенес ли он на самом деле кровоизлияние в мозг?

— Хелло,— хрипло говорит он Красавчику. Хотел поздороваться приветливо, но перехватило горло. Красавчик смотрит на него и не узнает. Поэтому он называет себя: — Питер Фэллоу из «Сити лайт».

— А-а-, да-да, как поживаешь,— тоном вполне добродушным, но безо всякого восхищения. Автор блестящих публикаций в «Сити лайт», казалось бы, мог рассчитывать на большее. Черный верзила снова повернулся к своей собеседнице.

— Когда начнется демонстрация? — спросил Фэллоу.

Красавчик рассеянно оглядывается.

— Как только появится Первый телеканал,— и не успел договорить, а уже снова отвернулся к женщине.

— Но где же народ?

Красавчик замолкает, мерит его взглядом.

— Народ будет... как только появится Первый телеканал,— говорит он таким тоном, каким объясняются с человеком безобидным, но тупым.

— Понимаю,— отвечает Фэллоу, совершенно ничего не поняв.— А когда появится... как вы говорите... Первый телеканал... что будет тогда?

— Дай ему заявление для прессы, Рива,— говорит Красавчик. Простоволосая белая женщина с безумно горящим взором сует руку в большую пластиковую кошелку у своих ног и достает два сколотых вместе листка. Тексты, размноженные на ксероксе,— на бланках «Союза американского народа», заголовок крупными буквами: «НАРОД ТРЕБУЕТ РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР В ДЕЛЕ ЛЭМБА».

Фэллоу принимается читать, но строчки сбегаются перед глазами, перемешиваются в кашу. И тут вдруг возникает молодой белый здоровяк в крайне безвкусном пиджаке из твида.

— Нейл Фланнаган из «Дейли ньюс»,— представляется он.— Что тут происходит?

Женщина по имени Рива достает еще один экземпляр заявления. Мистер Нейл Фланнаган, как и сам Фэллоу, явился в сопровождении фотографа. Здоровяку с Фэллоу говорить не о чем, но два фотографа сразу находят общий язык. Слышно, как они в сторонке жалуются друг другу и охаивают полученное задание. Тот, что при Фэллоу, малоприятный человечек в кепке, несколько раз повторяет слова «клад с дерь-

мом». Вообще это — единственная тема, которую американские фотографы способны обсуждать с воодушевлением: как им неохота покидать стены редакции и тащиться куда-то производить съемки на месте. А немногочисленные демонстранты у машин выказывают полное равнодушие к присутствию корреспондентов двух популярных городских газет. Они по-прежнему праздно переминаются с ноги на ногу и успешно сдерживают возможно кипящий у них в душе гнев на несправедливость, допущенную по отношению к Генри Лэмбу.

Фэллоу делает еще одну попытку прочесть заявление для прессы, но ничего не получается, и он начинает смотреть по сторонам. Под Башнями Эдгара По царит покой, даже слегка неестественный, если учесть, сколько здесь обитает народу. На противоположном тротуаре стоят трое белых мужчин. Один маленький в бежевой ветровке, один — здоровенный боров, в теплой куртке и с вислыми усами, и еще третий, с начинающейся лысиной, лицо круглое, невыразительное, одет в плохонький серый костюм и галстук в полоску по американской моде. Интересно, кто такие, думает Фэллоу. Но больше всего ему хочется спать. Может, попробовать уснуть стоя, как лошадь?

Но тут женщина Рива сказала Красавчику:

— По-моему, это они.

Она и Красавчик стали смотреть в даль улицы. Демонстранты зашевелились.

По улице приближается большой белый автобус. Сбоку на нем огромными буквами написано: ПЕРВЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ ПРЯМОЙ ЭФИР. Красавчик, Рива и остальные демонстранты трогаются с места и начинают двигаться автобусу навстречу. За ними потянулись мистер Фланнаган, оба фотографа и самым последним — Фэллоу. Первый телеканал появился.

Автобус стал, из кабины с пассажирской стороны выпрыгивает молодой человек с огромной шапкой черных курчавых волос, в синем пиджаке и бежевых брюках.

— Роберт Корсо,— почтительно произносит Рива.

Боковая стенка автобуса раздвигается, оттуда вылезают двое парней в свитерах, джинсах и кроссовках. На месте, за рулем, остается один водитель. Красавчик выходит вперед.

— Йо-о-о! Роберт Корсо! Как жизнь?

На мрачной физиономии Красавчика вдруг засияла на всю округу приветливая улыбка.

— О'кей,— отозвался Роберт Корсо с натужной сердечностью. Он явно понятия не имеет, кто таков этот негр с золотой серьгой в ухе.

— Вы нам скажите, что надо делать! — просит Красавчик. Но его перебивает здоровяк из газеты:

— Эй, Корсо. Нейл Фланнаган. «Дейли ньюс».

— А, здоро́во.

— Что нам надо де...

— Вы чего так долго?

— Что нам делать?..

Роберт Корсо посмотрел на часы:

— Сейчас только пять десять. У меня прямой эфир в шесть. Времени навалом.

— Да, но я должен подать материал не позже семи.

— Скажите, что нам делать? — добивается Красавчик.

— Но... послушайте! Откуда я знаю? А если бы меня здесь не было, что бы вы сейчас делали?

Красавчик и Рива в ответ ухмыляются, будто услышали удачную шутку.

— А где Преподобный Бэкон и миссис Лэмб? — спрашивает Роберт Корсо.

— У миссис Лэмб в квартире,— отвечает Рива. Фэллоу уязвлен. Почему-то его никто не потрудился об этом уведомить.

— Вы только дайте знак когда,— просит Красавчик.

— Что я, за вас, что ли, должен тут распоряжаться,— ворчит Корсо, качая пышной шевелюрой. И принимается командовать: — Сначала мы установим аппаратуру. Я думаю, тротуар подходит лучше всего. Получится на фоне жилого массива.

Красавчик и Рива немедленно берутся за работу. Они размахивают руками, демонстранты послушно возвращаются к пикапам, разбирают сваленные в груду шесты с плакатами. Останавливаются несколько прохожих.

Фэллоу, махнув рукой на Красавчика с Ривой, подходит к Роберту Корсо.

— Извините,— говорит он.— Я Питер Фэллоу из «Сити лайт». Я не ослышался, вы сказали, что Преподобный Бэкон и миссис Лэмб находятся здесь?

— Фэллоу? — переспрашивает Роберт Корсо.— Тот самый?

Он протягивает руку и награждает Фэллоу сердечным рукопожатием.

— Боюсь, что тот самый.

— Значит, это из-за вас мы тут, в этой чертовой дыре? — Корсо уважительно улыбается.

— Каюсь.

У Фэллоу теплеет на сердце. Наконец-то оценили его заслуги, хотя менее всего он ожидал, что это сделает телевизионщик.

А Роберт Корсо уже перестал улыбаться.

— Вы как считаете, Бэкон на этот раз не мухлюет? Хотя, конечно, вы считаете, что нет.

— А вы?

— Да ведь с этим чертовым Бэконом никогда не знаешь наверняка. Это такой жулик. Но, честно сказать, когда я брал интервью у миссис Лэмб, она произвела благоприятное впечатление. Хорошая женщина, по-моему, толковая, работает, квартирка у нее чистенькая. Мне она понравилась. Не знаю, конечно... но ей веришь. А вам как кажется?

— Вы уже взяли у нее интервью? Я думал, вы здесь собираетесь с ней разговаривать.

— Да, но только чтобы обернуть прямым эфиром. У нас в шесть часов обертка прямым эфиром.

— Обертка прямым эфиром... Боюсь, что я плохо понимаю такие вещи.

Но американец не уловил иронии.

— Мы делаем это так. Я приехал сюда с ребятами в обед, сразу после появления вашей статьи. Большое вам спасибо! Обожаю работать в Бронксе! Короче, мы побеседовали с миссис Лэмб, задали вопросы кое-кому из соседей, поснимали Брукнеровский бульвар, место, где был убит отец, ну и всякое такое. Фотографии мальчика. В общем, у нас уже почти весь материал на пленке. Там минуты на две. Теперь, когда пойдет демонстрация, мы выйдем в прямой эфир, потом прокрутим пленку, а потом снова вернемся в прямой эфир и этим живым куском завершим передачу. Это и называется — обертка прямым эфиром.

— Но что вы собираетесь в прямом эфире показывать? Здесь же никого нет, кроме вот этой горстки людей. И почти все белые.— Фэллоу указал на соратников Красавчика и Ривы.

— Не беспокойтесь. Народ набежит, как только мы высунем телескоп.

— Телескоп?

— Дистанционный передатчик.

Роберт Корсо оглянулся на свой автобус. Фэллоу тоже. За открытой дверью возились двое механиков в свитерах.

— Ах, дистанционный передатчик. А, кстати сказать, где ваши конкуренты?

— Наши конкуренты?
— Другие телестанции.
— Нам обещан эксклюзив.
— Вот как? Кем же?
— Бэконом, я думаю. Это-то мне и не нравится. Бэкон так ловко всех обводит, сволочь. У него есть ход к моему режиссеру Ирву Стоуну, знаете его?
— Боюсь, что нет.
— Но слышали о нем.
— Ммм. Честно сказать, и не слышал.
— Он лауреат всяких там премий.
— Ммм.
— Ирв, он... он вообще молоток, но он из тех стариков-шестидесятников, которые участвовали в студенческом движении, устраивали антивоенные демонстрации и всякое такое. И он считает Бэкона эдаким романтическим народным вождем. А это просто ловкий манипулятор, такое мое мнение. Обещал Ирву эксклюзив, на том условии что мы выйдем в шесть часов в прямой эфир.
— Очень мило. Но зачем ему это? Почему он не хочет, чтобы его показывали все станции?
— Потому что тогда ему мало проку. В Нью-Йорке ежедневно происходит штук двадцать-тридцать разных демонстраций, и все борются за выход на телеэкран. А так он уверен, что мы преподнесем его материал с помпой. Уж если мы послали дистанционный автобус и если передача в прямом эфире, да еще эксклюзив, значит, она пойдет в «Новостях» номером первым. И будет подана как важное событие к завтрашнему утру, и Пятый, и Седьмой, и Второй каналы примутся тоже наперебой передавать об этом.
— Понятно,— кивает Фэллоу.— Гм... Только чем он гарантирует вам этот, как вы говорите, эксклюзив? Что может помешать появиться здесь другим... э-э-э... каналам?
— Ничего. Он просто не сообщит им ни место, ни время.
— Обо мне он такой заботы не проявил. «Дейли ньюс», как я понимаю, тоже сообщили и место, и время.
— Да. Но вы уже двое суток пользовались исключительным правом. Теперь ему пора подпустить и другие газеты.— Роберт Корсо замолкает. Его молодое американское лицо под пышной шапкой волос вдруг приобретает скорбное выражение.— Но вы ведь вправду думаете, что здесь все о'кей, да?
— Совершенно уверен,— отвечает Фэллоу.
— Этот Генри Лэмб... считался... считается... отличником учебы, никогда не имел дела с полицией, тихий, симпатичный, соседи вроде к нему хорошо относятся... ведь это все так, разве нет?
— Вне сомнения,— отвечает создатель отличника учебы.
Подходит Рива.
— У нас все готово. Скажете, когда начинать.
Роберт Корсо и Фэллоу видят, что три десятка демонстрантов уже стоят на тротуаре стройными рядами. У многих через плечо, как деревянные ружья,— лозунги на палках.
Роберт Корсо спрашивает:
— Бэкон готов? И миссис Лэмб?
— Вы командуйте через меня или через Красавчика,— отвечает Рива.— Преподобный Бэкон не хочет спускаться сюда с миссис Лэмб раньше времени и стоять зря. Но он готов.
— О'кей,— говорит Роберт Корсо и кричит помощникам в автобусе: — Эй, Фрэнк! У вас все готово?
Изнутри доносится ответ: — Почти что!
Включается басовитое жужжание. Над крышей автобуса показывается серебристая мачта, вернее трубка. К концу ее прикреплен ярко-оранжевый вымпел, или это лента, или... да нет, это толстый кабель в

изоляции, похожий на электрического угря. Ярко-оранжевый угорь обвился вокруг мачты, и так они вместе и выползают, серебристая мачта в оранжевой спирали. Мачта, действительно, составная, как телескоп, она вырастает все выше, выше, выше, и из автобуса раздается громкое, упорное жужжание.

Из молчаливых башен начинают выходить люди, ибо молчание вокруг башен уже нарушено. Над бывшей поляной вскипает шум множества слитных людских голосов. Бегут, бегут мужчины, женщины, стайки подростков, малыши не в силах отвести глаз от встающего серебряного копья, увенчанного оранжевым вымпелом радиационной тревоги.

Мачта, обвитая оранжевым угрем, поднялась уже на два с половиной этажа. Мостовая и тротуар больше не пусты. Вокруг интересного зрелища сгрудилась большая веселая толпа. Какая-то женщина узнала и кричит: «Роберт Корсо!» Еще бы! Первый телеканал, знакомый комментатор с пышной шапкой волос.

Роберт Корсо оглядывает демонстрантов. Они построились непринужденным овалом и начинают двигаться к нему. Красавчик и Рива держатся рядом с ним. У Красавчика в руке оказался громкоговоритель. Он не сводит глаз с Роберта Корсо. Тот оглядывается на свою команду. Оператор стоит в шести шагах. Камера у него на плече кажется крошечной рядом с автобусом и с трехэтажной антенной, но толпа словно зачарована ее глубоким, таинственным, подслеповатым глазом. Камера еще вообще не включена, но всякий раз как оператор поворачивается, чтобы что-то сказать звукооператору, и черный глаз описывает у него на плече дугу, по толпе пробегает волна, как будто этот аппарат обладает своей, отдельной, невидимой силой.

Красавчик, изготовившись, вопросительно вскидывает ладонь: пора? Роберт Корсо пожимает плечами, но потом все-таки делает знак, подняв указательный палец. Красавчик подносит ко рту громкоговоритель и орет:

— Чего мы хотим?

— Справедливости! — кричат в ответ три десятка демонстрантов. На фоне толпы, и башен, и ослепительно серебряной мачты Первого телеканала звучит довольно жидко.

— А ЧТО ПОЛУЧАЕМ?

— Расизм!

— ЧЕГО МЫ ХОТИМ?

— Справедливости! — на этот раз получилось чуть громче, но все-таки недостаточно.

— ЧТО ПОЛУЧАЕМ?

— Расизм!

Набежала, толкаясь и работая локтями, стайка мальчишек лет двенадцати, они стараются попасть в поле зрения камеры. Фэллоу стоит чуть в стороне от телезвезды Роберта Корсо, тот держит микрофон, но ничего не говорит. Красавчик с громкоговорителем, последним словом техники, надвигается на полукруг демонстрантов. Демонстранты сразу вдохновляются, начинают бойко шагать. Мимо проплывают плакаты, лозунги — «ПРАВОСУДИЕ ВЕЙССА — ПРАВОСУДИЕ БЕЛЫХ»... «АГНЕЦ ЛЭМБ — ЖЕРТВА РАВНОДУШИЯ»... «СВОБОДУ В ЙОХАННЕСБРОНКСЕ»... «ГОЛУБЫЕ СИЛЫ ПРОТИВ РАСИЗМА»... «НАРОД ТРЕБУЕТ МЕСТИ ЗА ГЕНРИ!»... «ДОВОЛЬНО ВОЛЫНИТЬ, ЭЙБ!»... «ЛЕСБИЯНКИ И ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ СПРАВЕДЛИВОСТИ ДЛЯ НАШЕГО БРАТА ГЕНРИ ЛЭМБА»... «КАПИТАЛИЗМ + РАСИЗМ = ЛЕГАЛИЗОВАННОЕ УБИЙСТВО»... «СБИЛИ И УЕХАЛИ, ДА ЕЩЕ ЛГУТ НАРОДУ!»... «ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННЫХ МЕР!»...

— ЧЕГО МЫ ХОТИМ?

— Справедливости!

— ЧТО ПОЛУЧАЕМ?

— Расизм.

Красавчик развернул громкоговоритель на публику, чтобы присоединить и ее голос.

— ЧЕГО МЫ ХОТИМ?

Но отзыва не последовало. Публика благодушно глазеет на представление.

Красавчик отвечает сам:

— СПРАВЕДЛИВОСТИ.

— ЧТО ПОЛУЧАЕМ?

Опять ничего.

— РАСИЗМ!

— О'КЕЙ. ЧЕГО МЫ ХОТИМ?

Ничего.

— БРАТЬЯ И СЕСТРЫ,— говорит Красавчик в красный громкоговоритель,— наш брат, наш сосед Генри Лэмб... его сбила машина и уехала... а в больнице... ему не помогли... полиция и прокуратура... им дела нет... Генри при смерти... а им горя мало... Генри — отличник учебы... а они говорят: «Ну и что?»... все потому, что он бедный, живет в муниципальной новостройке... потому, что он черный... Так для чего же мы здесь собрались, братья и сестры?.. Чтобы Чак не мог увильнуть и сделал что положено!

В публике сочувственно засмеялись.

— Мы здесь, чтобы добиться справедливости для нашего брата Генри Лэмба! — заключил Красавчик.— Ну вот. ТАК ЧЕГО ЖЕ МЫ ХОТИМ?

— Справедливости! — отвечают из публики.

— А ЧТО ПОЛУЧАЕМ?

Смеются и хлопают глазами.

Смеются мальчишки лет по двенадцати, они толкаются и работают локтями, стараясь занять позицию за спиной у Красавчика, в поле зрения телекамеры, на которой уже зажегся магический красный глазок.

— Видели там надписи: «Правосудие Вейсса — белое правосудие!» и «Довольно волынить, Эйб!»?

— Ну, да.

— Если их покажут по телевидению, у Вейсса случится родимчик.

— Считай, что уже случился,— говорит Гольдберг.— Вы только поглядите на эту херню.

На противоположном тротуаре идет своеобразный спектакль. Главный герой его — средства массовой информации. Под сенью возвышающейся телевизионной антенны ходят полукругом три десятка человек, два десятка из них — белые, и несут плакаты на палках. Другие одиннадцать, двое из них — черные, их обслуживают, чтобы донести эти жидкие голоса и написанные фломастерами лозунги до семимиллионного города: мужчина с красным громкоговорителем, женщина с кошелкой, пышноволосый диктор, телеоператор и звукооператор, связанные с телевизионным автобусом пуповиной электрических проводов, два механика в автобусе, видные в проеме раздвижных дверей, водитель, два газетных фотографа и два репортера с блокнотами в руках, одного из них по временам все еще слегка поводит влево. И зеваки, человек двести или триста, толпящиеся вокруг и получающие уйму удовольствия.

— О'кей,— говорит Мартин.— Пора приступать к опросу свидетелей.

И первым идет через улицу к толпе.

— Ой! Папа!

— Кэмпбелл, ты стала такая большая! Скоро уж я не смогу тебя таскать, как мешок. Внимание. Всем пригнуться! Проходим в дверь.

И он несет ее, хохочущую и дрыгающую ногами, через мраморный холл в библиотеку. Джуди настороженно подняла голову.

— Кэмпбелл, зачем ты заставляешь папу, чтобы он тебя носил? Ты уже большая девочка.

— Я вовсе не заставляю,— с оттенком вызова.

— Мы просто играем,— говорит Шерман.

Он снимает Кэмпбелл с плеча, держит ее на руках, как грудную, и так, вместе с нею, садится в кресло. Кэмпбелл начинает возиться у него на коленях, устраивается поудобнее, прижавшись к его груди. В обнимку они смотрят на экран телевизора.

Передают новости. Голос диктора. Мелькают черные лица. Плакат: «ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННЫХ МЕР!»

— Что это они делают, папа?

— Похоже на демонстрацию, моя хорошая

Еще один плакат: «ПРАВОСУДИЕ ВЕЙССА — ПРАВОСУДИЕ БЕЛЫХ».

Правосудие Вейсса?

— А что такое демонстрация?

Спрашивая, она отстранилась, повернулась к нему лицом, загородив экран. Он вытягивает шею, чтобы смотреть из-за ее плеча.

— Что такое демонстрация?

Он отвечает рассеянно, одним глазом глядя на экран:

— Н-ну... это... иногда, если люди на что-то рассердятся, они пишут плакаты и ходят с ними.

— «СБИЛИ И УЕХАЛИ, ДА ЕЩЕ ЛГУТ НАРОДУ!»

Сбили и уехали!

— А на что они сердятся?

— Постой минутку, миленькая.

— Нет, ты скажи, на что они сердятся, папа!

— Да на что угодно.— Шерман наклонился влево, а то ему не видно. Чтобы Кэмпбелл не упала, он крепко держит ее за пояс.

— Нет, правда, на что?

— Вот погоди, давай посмотрим.

Кэмпбелл оглядывается на телевизор, но сразу же отворачивается снова. Там только разговаривает какой-то мужчина, черный, высокого роста, в черном пиджаке, в белой рубашке с полосатым галстуком. Рядом с ним — худая негритянка в темном платье. Их окружают со всех сторон черные лица. Выглядывают ухмыляющиеся мальчишки и пялятся прямо в объектив.

— Когда такой юноша, как Генри Лэмб,— говорит мужчина,— отличник учебы, выдающийся юноша, когда этот юноша обращается в клинику с острым сотрясением мозга, а ему накладывают гипс на руку... да... когда его мать сообщает полиции и Окружной прокуратуре, что это была за машина... да... а они ничего не предпринимают, тянут...

— Папа!

— Секунду.

— ...говорят нашему народу: «Нам наплевать. Ваша молодежь, ваши отличники, ваше будущее для нас не имеют никакого значения»... да... Вот что они говорят нашему народу. Но нам не наплевать, и мы не намерены это терпеть, мы молчать не будем. Если власти не хотят действовать...

Кэмпбелл слезла с колен Шермана, ухватила его обеими руками за правое запястье и тянет.

— Ну, папа же!

Экран заполнило лицо худой черной женщины. По ее щекам текут слезы. Теперь на экране пышноволосый белый молодой человек с микрофоном у рта. Позади него целый океан черных лиц, и опять какие-то мальчишки лезут в объектив.

— ...пока еще не найденный «мерседес-бенц» с регистрационным знаком, начинающимся с букв RE, RF, RB или RP. И, как говорил тут Преподобный Бэкон, бездействие властей несет для местных жителей смысловую нагрузку, но точно так же и эта демонстрация испол-

нена смысла, она красноречиво говорит властям: «Если вы не предпримете тщательного расследования, это сделаем мы сами». Роберт Корсо, прямой эфир из Бронкса, Первый телеканал.

14

Я НЕ УМЕЮ ЛГАТЬ

Шерман просыпается с отчаянным сердцебиением. Ему снился какой-то страшный сон. Глубокая ночь, час пьяниц перед рассветом, когда те, кто пьет и кто страдает бессонницей, вдруг открывают глаза и понимают, что сна, этого временного убежища, больше нет. Он подавляет желание взглянуть на светящиеся часы в приемнике у кровати. Зачем знать, сколько еще часов предстоит провести лежа без сна в попытках совладать с незнакомым противником — собственным сердцем, которое рвется из груди — туда, туда, туда, невесть куда, в Канаду?

...Глубокая ночь. Рядом, на соседней кровати, за Берлинской стеной, спит жена... дышит ровно... забыв обо всем... Повернулась спиной, подогнула колени. Если бы можно было перекатиться к ней, прижаться грудью к ее спине, коленями под ее колени. Когда-то они так делали... Когда-то они были настолько близки...

Не может этого быть! Они не пробьют эти стены, не ворвутся в его жизнь! Долговязый, щуплый паренек, газеты, полиция... в час пьяниц, перед рассветом.

Дальше по коридору спит его дорогая дочурка. Любимая Кэмпбелл. Счастливое дитя, спит и ни о чем не ведает! Широко раскрытые глаза Шермана затуманились.

Надо смотреть в потолок, и незаметно снова заснешь. Подумать о... других вещах... О девушке, с которой раз познакомился в обеденном зале кливлендского отеля... как она деловито раздевалась прямо у него на глазах... Полная противоположность Марии... которая делала то и это, вся докрасна разгоревшись от... похоти!.. Похоть, вот что довело его до беды... Чрево Бронкса, долговязый щуплый парнишка... Толчок, и его нет —

никаких других вещей не существует. Все другое подвязано к этому, и у Шермана перед глазами проплывают жуткие картины... Жуткие лица на телевизионном экране, подавленное лицо Арнольда Парча в жуткой гримасе осуждения... уклончивый голос Бернара Леви... взгляд Мюриэл, словно бы вдруг понявшей, что он запятнан и больше не принадлежит к Олимпу «Пирс-и-Пирса»... Доллары... кровь из жил... Но ведь это все только сон! Широко открытыми глазами он глядит в лиловую пустоту, сочащуюся в щели между шторами и подоконником... глубокой ночью, страшась наступления рассвета.

Он поднялся рано, отвел Кэмпбелл к остановке автобуса, купил на Лексингтон авеню газеты и поехал в такси в «Пирс-и-Пирс». В «Таймс» — ничего... В «Пост» — ничего... В «Дейли ньюс» — только фотография и подпись. «Сити лайт» появляется в киосках на два часа позже.

В «Пирс-и-Пирсе» сегодня был мирный день, во всяком случае — для Шермана. Он обзвонил всегдашних клиентов — «Прудэншл», «Гарантии Моргана», «Аллен и К⁰...» «Сити лайт»... Феликс работал на том конце зала. Сейчас прибегать к его услугам значило совсем себя унизить... «Сити лайт»... Проще всего позвонить Фредди и попросить, чтобы прочитал по телефону, что там напечатано. Позвонил. Но Фредди уехал по делам. Попробовал позвонить Марии — ее нигде нет... «Сити лайт»... Больше терпеть не было сил. Он спустится сам, купит газету, прочтет в вестибюле и вернется. Вчера он проморгал новый выпуск облигаций, пока был в самовольной отлучке. И потерял миллионы — *миллионы!* — на золотом займе. Еще одним прегрешением больше — какая разница? И, приняв как можно более независимый вид, он пошел через

«операционный» зал к лифтам. Никто как будто бы не обратил внимания. Махнули рукой?

Внизу у газетного киоска он сначала огляделся, а потом купил номер «Сити лайт». Зашел за толстую колонну из розового мрамора. Сердце отчаянно колотилось. Как это жутко! Как странно! — день за днем жить в страхе перед нью-йоркскими газетами. На первой странице — ничего... и на второй... и на третьей... Только на пятой помещена фотография и заметка этого Питера Фэллоу. На фотографии — плачущая худая чернокожая женщина, ее утешает высокий черный господин в костюме. Бэкон. На заднем плане — плакаты. Заметка была короткой, Шерман торопливо проглядел текст... «гнев жителей»... «роскошный автомобиль»... «белый за рулем»... Никаких конкретных сведений о действиях полиции. В конце заметки — врезка: «Редакционную статью читайте на стр. 36». У Шермана снова зачастило сердце. Дрожащими пальцами он перелистал газету, открыл 36-ю страницу... Вот, вверху «Колонки редактора», под заголовком «Правосудие наобум»:

> В понедельник «Сити лайт» опубликовала материал Питера Фэллоу о трагической судьбе Генри Лэмба, отличника учебы из Бронкса, тяжело раненного в уличном происшествии,— его сбил автомобиль и, не сбавляя скорости, уехал, оставив его лежать на мостовой, словно мусор в этом замусоренном городе.
>
> Правда, с точки зрения буквы закона в деле Генри Лэмба не все гладко. Но и жизнь у него была не гладкая. Он преодолел все бедствия, подстерегающие подростка в муниципальных новостройках,— включая гибель отца, убитого уличным грабителем,— и достиг выдающихся успехов в средней школе им. полковника Руперта. Он пал на пороге блистательного будущего.
>
> Генри Лэмбу и многим другим, кто принимают вызов неблагоприятных стартовых условий в бедных городских кварталах, мало нашей жалости. Они должны знать, что их надежды и мечты имеют большое значение для будущего всего Нью-Йорка. И мы требуем самого беспощадного расследования всех обстоятельств дела Лэмба.

Шерман был потрясен. Это уже политическая кампания. Что делать с газетой? Сохранить? Нет, лучше, чтобы ее у него не видели. Поискал глазами урну или скамью. Не нашел. Сложил газету, перегнул пополам, выпустил из рук за колонной. И торопливо зашагал к лифтам.

Ленч — сандвич и апельсиновый сок — он принес к себе за рабочий стол, дабы продемонстрировать усердие. Пальцы дрожат. И какая-то страшная усталость. Сандвич остался недоеденным. Еще только полдень, а глаза слипаются, тяжесть в голове... Лоб перетянула обручем начинающаяся головная боль. Кажется, он заболевает гриппом. Надо бы позвонить Фредди Баттону. Но нет сил. И в эту минуту зазвонил телефон. Фредди Баттон.

— Забавно. А я как раз собирался позвонить вам, Фредди. Сегодня они напечатали такую статью от редакции...

— Знаю. Я прочел.

— Вы читаете «Сити лайт»?

— Я читаю все четыре газеты. Вот что, Шерман. Я взял на себя смелость связаться с Томми Киллианом. Сходили бы вы к нему. Он принимает на Рид-стрит. Это возле Ратуши, неподалеку от вашей работы. Позвоните, сговоритесь.

С паузами на затяжки он продиктовал Шерману номер.

— Кажется, дела мои не так хороши? — спросил Шерман.

— Не о том речь. Во всех этих публикациях нет ничего существенного. Просто история приобретает все более политическую окраску, и тут Томми — первый специалист.

— О'кей. Спасибо, Фредди. Я позвоню ему.

Позвоню на Рид-стрит ирландцу по имени Томми Киллиан.

Но не позвонил. Голова болела, и он сидел с закрытыми глазами,

растирая себе виски кончиками пальцев. Ровно в пять, когда официально кончается рабочий день, он встал и ушел.

Его появление дома в половине шестого вызвало изумленные взгляды Бониты и Люсиль. Он чувствовал себя так худо, что даже не улыбнулся. Джуди и Кэмпбелл не было, Джуди увезла девочку в Вест-Сайд к кому-то на день рождения.

Шерман с трудом поднялся по изогнутой лестнице, вошел в спальню, снял пиджак и галстук. Прямо в ботинках растянулся на кровати. Закрыл глаза и ощутил, как сваливается, сваливается с него бремя сознания. Тяжелая эта штука, сознание.

Мистер Мак-Кой. Мистер Мак-Кой.

Над ним стоит Бонита. Почему — непонятно.

— Я не хотеть беспокоить,— говорит она.— Швейцар, он сказать, внизу два человек из полиция.

— Что?

— Швейцар, он сказать...

— Внизу?

— Да. Он сказать, из полиция.

Шерман приподнимается на локте. И видит собственные ноги, вытянутые на покрывале. Непонятно почему. Должно быть, утро, но на ногах у него ботинки... Над ним стоит Бонита. Он проводит ладонью по лицу.

— М-м... Скажите, меня нет.

— Швейцар уже сказать, что вы дома.

— А что им надо?

— Я не знаю, мистер Мак-Кой.

Мягкий полумрак. Светает, что ли? Он еще толком не очнулся. Нервная система словно разъята, все бессистемно, все не вяжется: Бонита, полиция. Но еще прежде чем он нащупал болевую точку, накатила паника.

— Который час?

— Шесть.

Он смотрит на свои ноги в ботинках. Шесть часов вечера, так надо понимать. Домой пришел в 5.30. Уснул. И вот лежит навзничь... перед Бонитой. Уже хотя бы из соображений благопристойности надо спустить ноги с кровати.

— Что ему ответить, мистер Мак-Кой?

Кому — ему? Швейцару? Путаница какая-то. Они ждут внизу. Двое полицейских. Шерман сидит на краю кровати и старается стряхнуть оцепенение. Внизу у швейцара сидят двое полицейских. Что он должен на это ответить?

— Н-ну, скажите ему, Бонита... что им придется минутку подождать.

Он встает и направляется в ванную. В глазах туман, руки-ноги затекли; голова болит; в ушах какой-то свист. Лицо в зеркале над раковиной — с величественным подбородком, но помятое, заплывшее, страдальческое. Рубашка жеваная, выбилась из брюк. Он ополаскивает лицо. Капля на носу. Вытерся полотенцем для рук. Необходимо все обдумать. Но думать он не может. Мысли разъяты, перекрыты — один туман. Если он откажется с ними встретиться, а они будут знать, что он дома, они ведь знают, то это вызовет у них подозрение, так? С другой стороны, если он согласится с ними поговорить, а они спросят... про что? Ну, например... Нет, не приходит в голову. Он никак не может сосредоточиться. Мало ли про что... Нет! Нельзя рисковать! Не может он с ними говорить! Но что он велел Боните ответить?.. Что им придется минутку подождать, то есть я с ними поговорю, но им надо будет подождать.

— Бонита! — Он вернулся в спальню, но ее там уже нет. Вышел в коридор.— Бонита!

— Я здесь, внизу, мистер Мак-Кой.

С верхней площадки он видит ее у подножья лестницы.

— Вы еще не позвонили швейцару?

— Нет, я звонить. Я сказать, чтобы они подождать.

Вот черт. Значит, им уже вроде как обещано. Идти на попятный поздно. Фредди! Срочно позвонить Фредди! Он возвращается в спальню и хватает трубку телефона у кровати. Набирает офис Фредди. Не отвечают. Звонит по общему телефону в «Даннинг-Спонджет», спрашивает мистера Баттона. После невыносимо долгой паузы ему отвечают, что мистер Баттон уже уехал. Надо звонить ему домой. Какой номер? Номер записан в телефонной книге, а она лежит внизу в библиотеке.

Бегом вниз по лестнице. Но там Бонита, ей нельзя показывать своего смятения. А у швейцара ждут двое полицейских. Шерман нарочито спокойной походкой идет через мраморный холл.

Телефонная книга лежит на полке позади письменного стола. Он дрожащими пальцами перелистывает страницы. Открывает букву «Б». Теперь телефон... телефона на столе нет. Кто-то оставил его на тумбочке у кресла. Возмутительно. Он торопливо обходит стол. А время бежит. Набирает номер Фредди. Трубку берет горничная и отвечает, что Баттоны ужинают в гостях. Черт. Что делать? Время бежит, уносится. Как бы на его месте поступил Лев «Даннинг-Спонджет»?. В таких семьях, как у них, сотрудничество с властями подразумевается само собой. Отказ от него может означать только одно: тебе надо что-то скрыть. И, конечно, они сразу догадаются, раз ты уклоняешься от сотрудничества. Вот если бы...

Шерман выходит из библиотеки в холл. Бонита еще там. Она пристально смотрит на него — и это решает дело. Не показывать же страха и растерянности перед прислугой.

— Ну, хорошо, Бонита,— произносит он скучливым тоном человека, который заранее знает, что предстоит опять пустая трата времени.— Какой швейцар сегодня? Эдди?

— Эдди.

— Скажите ему, пусть поднимутся. И велите им подождать здесь. Я спущусь через две минуты.

Он не торопясь, лениво поднимается по лестнице. А наверху со всех ног бросается в спальню. Подходит к зеркалу — какой заспанный, помятый вид. Вздергивает подбородок. Так-то лучше. Надо быть сильным. Не терять голову. Не забывать, что ты... можно все же сказать... Властитель Вселенной.

Как ему нужно выглядеть? Надеть снова пиджак и галстук? На нем белая рубашка, серые шерстяные костюмные брюки и ботинки с черными лакированными носами. Если еще пиджак и галстук, получится чересчур консервативно, чересчур по-уолл-стритовски. Им может не понравиться. Шерман перешел в соседнюю спальню, которая служит ему гардеробной, открыл стенной шкаф, вынул и надел клетчатый пиджак из твида. А время бежит, несется... Так лучше, естественнее; человек дома, расслабился. Но пиджак из мягкого твида не очень-то подходит к строгим гладким брюкам со стрелкой. И потом... спортивный пиджак... спортивный автомобиль... и ухарь-водитель за рулем... Он скидывает клетчатый пиджак, оставляет на диване, возвращается в спальню. Серый пиджак и галстук брошены на кресле. Шерман надевает галстук, затягивает узел под самое горло. Время все бежит, все несется. Надевает пиджак, застегивается на все пуговицы. И глядит в зеркало, выпятив подбородок и расправив плечи. Уолл-стрит. Забежав в ванную, он зачесывает волосы. Высоко вздергивает подбородок. Сильный мужчина. Властитель Вселенной.

Он торопливо проходит по верхнему коридору, но ближе к лестнице уже замедляет шаги. Спускается медленной, размеренной поступью, стараясь держать голову как можно выше. Они стоят на мраморном полу посередине холла, двое мужчин и Бонита. Странная груп-

па. Мужчины стоят, слегка расставив ноги, а Бонита — немного в стороне, она словно пасет их. Сердце у Шермана рысит вовсю. Из двух мужчин один — крупный, эдакая говяжья туша в костюме. Пиджак топорщится на борецком брюхе, точно картонный. Лицо смуглое, мясистое, Шерман бы сказал: средиземноморское. И усы, резко отличающиеся по цвету от волос, свисают по углам рта и, на взгляд служащего «Пирс-и-Пирса», недвусмысленно свидетельствуют о принадлежности к низшему сословию. Этот смотрит во все глаза на спускающегося по лестнице Шермана. А вот второй, маленький, даже не оглянулся. На нем спортивная ветровка и бежевые брюки в тон. Явно, женин выбор. Он, как экскурсант, осматривает помещение... мраморный пол, тисовый подзеркальный столик, стены, обитые желтым штофом, кресла работы Томаса Хоупа — стильные штрихи, на которые Джуди извела десятки тысяч его, Шермана, кровных долларов... У этого полицейского крупный нос, а скулы и подбородок — слабые. Стоит, голова набок, словно пришибленный какой-то могучей силой. Но вот он скосил глаза на Шермана. Сердце Шермана громко стучит, звучно раздаются шаги по мрамору. Он идет, старательно держа кверху подбородок и натужно приветственно улыбаясь.

— Джентльмены, чем могу быть полезен?

Он обращается к крупному, но отзывается мелкий, тот, что скосил глаза:

— Мистер Мак-Кой? Я — следователь Мартин, а это — следователь Гольдберг.

Как насчет рукопожатия? Пожалуй, не повредит. Шерман протягивает руку, ее сначала пожимает маленький, потом большой. Пожимают словно бы смущенно и довольно слабо.

— Мы расследуем уличное происшествие, повлекшее за собой увечье человека. Вы, возможно, читали об этом в газетах или видели по телевизору.

Маленький следователь достает из нагрудного кармана сложенный вдоль лист бумаги и протягивает Шерману. На листе наклеена заметка «Сити лайт». Фотография того долговязого щуплого паренька. Некоторые строки отчеркнуты желтым фломастером. Брукнеровский бульвар. «Мерседес-бенц». R. Важно, чтобы пальцы не задрожали. Если держать, пока прочтешь весь текст, то задрожат обязательно. Он подымает глаза и заглядывает в лица обоим следователям.

— Да, мы с женой вчера видели что-то об этом по телевидению.— Сказать, что он удивлен? Или: надо же, какое совпадение! В голову приходит четкая мысль: «Я не умею лгать».— И мы как раз подумали, Господи, ведь и у нас — «мерседес», и номер начинается с R.— Он снова взглядывает на газетную вырезку и возвращает листок маленькому, Мартину.

— И у вас, и еще у очень многих,— говорит Мартин с успокаивающей улыбкой.— Мы их все проверяем.

— А много таких?

— Полно. Этим делом занимается уйма народу. У нас с напарником у одних в списке около двадцати.

Рядом все еще стоит Бонита, смотрит и слушает.

— Пожалуйста, заходите сюда,— обращается Шерман к тому, которого зовут Мартин, приглашающе кивая на дверь в библиотеку.— Бонита, будьте добры, если вернутся миссис Мак-Кой и Кэмпбелл, скажите им, что я занят с этими джентльменами в библиотеке.

Бонита, кивнув, удаляется на кухню.

В библиотеке Шерман обошел вокруг письменного стола, а гостям указал на шератоновское кресло и на кресло «с закрылками». Но маленький, Мартин, сначала огляделся вокруг, и, пока он стоял и озирался, Шерман особенно ясно осознал, сколько в одну эту небольшую комнату понапихано всяческого... *добра*... кричаще, баснословно дорогого... разных дурацких побрякушек... Глаза маленького сыщика добрались

до резного фриза под потолком, задержались... Потом он обернулся к Шерману с детским изумлением на лице, как бы говоря: «Вот это да!» И только после этого сел. Следом за ним уселся и большой, Гольдберг. И Шерман тоже.

— Да, так вот,— начал Мартин.— Вы не могли бы нам сказать, выезжала ли ваша машина в город в тот вечер?

— То есть когда именно? — Ну, вот, солгал, теперь обратного хода нет.

— В прошлый вторник.

— М-м, не знаю. Надо сообразить.

— Кто пользуется вашей машиной?

— В основном я. Иногда жена.

— А дети у вас есть?

— У меня есть дочь, но ей всего шесть лет.

— Кто-нибудь еще имеет доступ к вашей машине?

— Вроде бы нет, разве только служащие гаража...

— Да? — заинтересовался Мартин.— Вы держите машину в гараже?

— Да.— Дернуло же за язык помянуть про гараж.

— Вы приезжаете туда, оставляете машину и ключи, а служащие ее ставят на место?

— Да.

— И где он находится, этот гараж?

— Он... тут поблизости.

В голове у Шермана волчком раскручиваются мысли. Они подозревают служителей гаража! С ума сойти. Дэн! Рыжий курносый тролль. Уж Дэн-то поспешит доложить им, что в тот вечер он брал машину! А может быть, он забыл. Или не знает, какой это был день недели. Да нет, как бы не так. Все он помнит. Как я его тогда осадил...

— Можно нам сходить и осмотреть?

У Шермана пересохло во рту. И стянуло губы.

— Осмотреть... машину?

— Да.

— Когда?

— Да вот как тут закончим.

— То есть прямо сейчас? Н-ну, я не знаю...

Чувство такое, будто губы стягиваются на шнурке.

— Есть ряд примет, которые бывают связаны с происшествиями такого рода. Если в машине не обнаруживается таких примет, мы ее вычеркиваем и переходим к следующей по списку. Пока что ведутся поиски автомобиля, данных о водителе у нас нет. Ну, так как, вы не против?

— Я... я не знаю...

Да нет же, пусть смотрят! Ничего они не найдут, нет там ничего! А вдруг есть? Что-то, о чем я даже не подозреваю. Признак, о котором никогда не слышал. Но если я скажу «нет», это будет подозрительно. Надо сказать «да»! Но что, если как раз на дежурстве окажется тот рыжий тролль?

— Так полагается. Обычное дело. Мы осматриваем все машины.

— Да, я знаю, но... Конечно, раз так полагается, наверно, надо... надо и мне... делать как полагается в подобных случаях владельцу машины.

Рот у Шермана совсем свело. Он видит, как сыщики обменялись взглядом. У маленького, который Мартин, на лице — глубокое разочарование.

— Вы что, не хотите нам содействовать?

— Хочу, разумеется.

— Ну, так за чем дело стало? Мы делаем что полагается, проводим осмотр машин.

— Я понимаю, но если у вас так полагается, значит, и я тоже должен действовать так, как полагается мне.

По-моему, это было бы логично.

Шерман чувствует, что несет полнейшую чушь, прицепился к этому «полагается», и ни в какую. Хоть бы мышцы вокруг рта перестало сводить.

— Извините, но я не понял,— говорит Мартин.— Что вам полагается?

— Ну, вот вы говорите, что действуете так, как вам полагается при проведении такого расследования. Я, конечно, не знаю, но должны быть какие-то правила, как полагается действовать в таких случаях и владельцу автомашины... Ну, то есть я являюсь в данном случае владельцем машины определенной марки и номера... то есть машины с определенным номером... и должен быть какой-то порядок, как мне полагается действовать. Об этом и речь. Я должен выяснить, как мне полагается действовать.

Мартин встает и снова обращает глаза к фризу под потолком. Он обводит взглядом одну стену, вторую. А потом искоса взглядывает на Шермана. Да еще с улыбочкой. Наглой! Леденящей!

— Ну, хорошо. Тут порядок проще простого. Если вы не против и хотите содействовать, значит, вы содействуете, мы осматриваем машину и едем дальше. И вся недолга. Это понятно? С другой стороны, если вы не хотите содействовать, не склонны по каким-то мотивам содействовать, то и не содействуйте, тогда мы используем другие каналы и все равно выполним что полагается, так что вот, решайте.

— Да нет, я просто...— как завершить фразу, Шерман не знает.

— Когда вы последний раз ездили на своей машине, мистер Мак-Кой? — этот вопрос задал второй сыщик, Гольдберг, который по-прежнему сидит в кресле. Шерман сначала обрадовался перемене темы.

— Надо сообразить... Помнится, на той неделе, если только... Надо вспомнить, ездил ли я после этого...

— Сколько раз за последние две недели вы выезжали на этой машине?

— Точно не скажу... Надо прикинуть.

Он смотрел на эту мясную глыбу в кресле и лихорадочно соображал, как лучше наврать, а краем глаза видел, что маленький идет к нему в обход стола.

— Как часто вы обычно на ней ездите? — продолжал спрашивать Гольдберг.

— По-разному.

— Сколько раз в неделю?

— Я же говорю, бывает по-разному.

— По-разному. На работу вы в ней ездите?

Шерман уперся взглядом в здоровенную глыбу мяса с усами. Это какой-то допрос. Пора положить ему конец. Самоутвердиться. Но какой тон принять? Эта парочка связана невидимыми нитями с некоей грозной непонятной... Силой... Так как же?..

Маленький Мартин обошел стол и приблизился к нему сбоку. Шерман, сидя в кресле, смотрит на него снизу вверх, а Мартин, голова набок, смотрит на него сверху вниз. Сначала сокрушенно. Потом с улыбкой.

— Послушайте, мистер Мак-Кой,— говорит Мартин и улыбается в общем-то сочувственно.— Я не сомневаюсь, что вы хотите содействовать, и не стоит вам беспокоиться, как и что полагается. Мы должны тут все проверить очень тщательно, потому что пострадавший, мистер Лэмб, находится в тяжелом состоянии. Насколько нам известно, он не выживет. Поэтому мы у всех просим содействия, но не хотите — не надо, ваше право. Вы можете вообще ничего нам не отвечать, вы не обязаны. Вы меня поняли?

При последнем слове он еще круче наклоняет голову на сторону и улыбается, всем своим видом как бы говоря, что не может же Шерман

в самом деле быть таким чудовищем неблагодарности и гражданской несознательности, чтобы отказаться от содействия следствию.

А затем кладет обе ладони на стол, упирается и, подавшись вперед, нависает над Шерманом.

— Вы вообще имеете право даже пригласить адвоката,— говорит он таким тоном, будто приводит пример полного идиотизма, до которого мог бы дойти человек, более неискренний и малодушный, чем Шерман Мак-Кой.— Это вам понятно?

Шерман, сам того не желая, кивает. Его начинает бить холодная дрожь.

— Более того, если вы не располагаете средствами,— продолжает Мартин, улыбаясь весело и панибратски, словно они с Шерманом старые приятели и привыкли обмениваться шутками,— а нуждаетесь в услугах адвоката, государство предоставит вам адвоката бесплатно. Если он вам, понятно, нужен.

Шерман снова кивает. Он не в силах отвести взгляд от скошенного лица Мартина. Не в силах ни пошевелиться, ни возразить. Взглядом маленький сыщик словно договаривает: «Конечно, вам я это все говорю просто так, для проформы. Вы же сознательный, уважаемый член общества, и все эти пустяки к вам отношения не имеют, так ведь? Ну, а если не так... то такого гада мы изничтожим».

— Проще говоря, мы нуждаемся в вашем сотрудничестве.

С этими словами Мартин поворачивается и садится на край стола. Теперь он смотрит на Шермана с высоты своего насеста. *Он сидит на моем столе!* И с самой нежной улыбкой вкрадчиво спрашивает:

— Ну, так как же, мистер Мак-Кой? Мой товарищ задал вам вопрос, ездите ли вы на работу в своем автомобиле?

Какая вызывающая наглость! *Он угрожает! Да еще сидя на моем столе.* Какое хамство!

— Так ка́к? — по-прежнему криво ухмыляется Мартин.— Ездите на работу?

Страх и негодование одновременно поднимаются у Шермана в душе. Но страх опережает.

— Нет... На работу не езжу.

— А когда вы на ней ездите?

— В выходные дни... И когда бывает с руки... днем... а иногда и вечером... Ну, то есть днем редко, разве вот только если жена, я хочу сказать, трудно сказать.

— А не могла ваша жена взять машину во вторник вечером на прошлой неделе?

— Нет! То есть я хочу сказать, едва ли.

— Иначе говоря, вы пользуетесь этой машиной в самое разное время, но точно не помните?

— Да нет же. Просто я... я на ней езжу, но не запоминаю специально, не придаю значения, для меня это не важно, вот и все.

— А как часто вы ездите на ней по вечерам?

Шерман отчаянно старается прикинуть, как лучше ответить. Сказать: «часто»,— значит, он мог ехать на ней и в тот вечер. А сказать: «редко»,— тогда менее правдоподобно, чтобы он не помнил, как обстояло дело в определенный вечер.

— Не знаю,— говорит он.— Не так, чтобы особенно, но, пожалуй, все-таки сравнительно нередко.

— Не особенно, но сравнительно нередко? — ровным голосом переспросил маленький сыщик. И, договорив, переглянулся с товарищем. А потом снова посмотрел вниз на Шермана со своего насеста на краешке стола.

— Да, так вернемся к машине. Почему бы нам не взглянуть на нее? Что вы скажете?

— Прямо сейчас?

— Ну да.

— Это неудобно.

— Вы что, заняты сейчас?

— Я... я жду жену.

— Вы собираетесь куда-то ехать?

— Я-а-а-ххх! — начал он местоимением первого лица единственного числа, а кончил хриплым вздохом.

— Собираетесь ехать в своей машине? — подхватил Гольдберг.— Мы бы как раз и взглянули. Минутное дело.

У Шермана мелькнула мысль привести машину из гаража к подъезду, и пусть они смотрят. Но вдруг они не захотят ждать и увяжутся за ним, а там — Дэн?

— Вы говорили, ваша жена должна скоро вернуться? — говорит маленький.— Может, нам обождать и спросить у нее? Может, она помнит, пользовался ли кто вашей машиной вечером во вторник на той неделе?

— Понимаете, она... Нет, сейчас неудобно, джентльмены.

— А когда будет удобно?

— Не знаю. Дайте мне немного времени на обдумывание.

— Обдумывание чего? Когда будет удобно? Или намерены ли вы сотрудничать?

— Вопрос не в том. Я... Словом, меня смущает процедура.

— Процедура?

— Как это все должно происходить. Правила.

— Правила, процедура — это и значит: как полагается? — уточняет маленький сыщик с издевательской улыбочкой.

— Я не разбираюсь в данной терминологии. Наверно, смысл один.

— Я тоже не разбираюсь в данной терминологии, мистер Мак-Кой, потому что такой терминологии не существует, не существует такого порядка и такой процедуры. Вы либо сотрудничаете со следствием, либо же нет. Я думаю, вы намерены сотрудничать?

— Да, конечно. Но вы лишаете меня выбора.

— Выбора между чем и чем?

— Вот что. Я думаю, самое правильное будет мне посоветоваться... проконсультироваться с адвокатом.

Как только эти слова слетели с его губ, он понял, что сделал страшное признание.

— Как я вам уже говорил,— сказал маленький сыщик,— это ваше право. Но вот для чего она вам понадобилась, эта консультация с адвокатом? Зачем вам идти на такие хлопоты и траты?

— Просто хочу быть уверен, что поступаю, как...— опять это слово! — как полагается.

В разговор ввязался жирный, который сидит в кресле:

— Позвольте у вас спросить, мистер Мак-Кой. Есть что-то, в чем вы хотели бы признаться и облегчить душу?

Шерман похолодел.

— Облегчить душу?

— Потому что если есть...— отечески улыбаясь. *Какое нахальство!* — То сейчас для этого самое время, пока дело еще не зашло далеко. Потом будет труднее...

— Что именно я, по-вашему, должен сказать, чтобы облегчить душу? — Шерман хотел произнести твердо, а получилось растерянно.

— Это я у вас спрашиваю.

Шерман поднялся и сказал, качая головой:

— По-моему, дальнейший разговор сейчас бесполезен. Я должен посоветоваться...

— ...с адвокатом? — договорил за него маленький сыщик, по-прежнему сидя на краешке его стола.

— Да.

Маленький сыщик покачал головой, словно бы говоря, что, мол, вот толкуют тебе, а ты уперся и ни в какую.

— Ваше право. Но если у вас есть что-то существенное, о чем советоваться с адвокатом, вам же будет лучше прямо сейчас это нам рассказать. И вам сразу станет гораздо легче. Небось не так все страшно, как вам кажется. Кто не делает ошибок...

— Я вовсе не говорю, что есть что-то существенное. Ничего существенного.— Он попал в ловушку. Ему диктуют правила игры, а надо было их игру отвергнуть!

— Вы уверены? — спрашивает жирный, изображая на лице отеческое участие, а в действительности просто ужасно... непристойно... ухмыляясь. *Какая наглость!*

Шерман протиснулся мимо сидящего на столе Мартина, который провожает его убийственным взглядом маленьких глаз. Подошел к дверям, обернулся, посмотрел на того и на другого.

— Весьма сожалею,— говорит он,— но я не вижу смысла в продолжении нашего разговора, по-моему, мне не следует дальше обсуждать эту тему.

Маленький сыщик — наконец-то! — встал, *слез, слава тебе, Господи, с моего стола,* пожал плечами и посмотрел на жирного. Тот тоже поднялся.

— О'кей, мистер Мак-Кой,— говорит маленький,— до встречи... при адвокате.

Тон такой, словно он говорит: «до встречи в суде».

Шерман открыл дверь библиотеки и жестом приглашает их выйти в холл. Для него сейчас очень важно пропустить их вперед и выйти из комнаты последним — в знак того, что это как-никак все-таки его дом и хозяин здесь — он.

У дверей в прихожую с лифтами маленький сыщик вдруг сказал жирному:

— Дейви, у тебя есть карточка? Дай мистеру Мак-Кою.

Жирный достал из бокового кармана пиджака и протянул Шерману гнутый кусочек картона.

— Передумаете — позвоните,— говорит маленький.

— Вот именно, подумайте хорошенько,— добавляет жирный со своей жуткой ухмылкой.— Что бы там ни было у вас на совести, чем скорее вы нам скажете, тем лучше для вас. Такой порядок. Сейчас вы еще можете оказать нам содействие. А будете тянуть... придет в действие судебная машина, и...— он вскинул кверху обе жирные ладони, как бы говоря: «...и тогда уж ты неприятностей не оберешься».

Шерман распахнул дверь. Маленький сыщик повторил:

— Подумайте хорошенько.

А жирный, выходя за порог, подмигнул.

Шерман закрыл за ними дверь. Ушли. Но он испытал вовсе не облегчение, а глубокую, мучительную тревогу. Он ощущал всеми нервами, что потерпел сокрушительный разгром, хотя в чем именно он заключался,— сам не понимал. Шерман не умел анализировать свои страдания. Над ним совершено подлое насилие — но как это произошло? Каким образом эти два... низкооплачиваемых... *скота...* ворвались в его жизнь?

Он обернулся — Бонита вышла из кухни и стояла в дверях на краю мраморного пола. Надо ей что-то сказать. Она же знает, что приходили из полиции.

— Эти люди расследуют автомобильную аварию, Бонита.

Слишком взволнованный тон.

— Аварию? — она таращит глаза, как бы прося: «Расскажите!»

— Да... Я не знаю. У одной из машин был номер, похожий на один из наших. Что-то в этом духе,— он вздохнул и беспомощно развел руками.— Я сам толком не понял.

— Вы не волноваться, мистер Мак-Кой. Они знай, что это не вы.

По тому, как она это произнесла, можно было понять, что вид у него встревоженный, дальше некуда.

Он вернулся в библиотеку, закрыл за собой дверь, выждал минуты

три-четыре. Глупость, конечно, но у него было такое чувство, что не выжди он, пока сыщики покинут здание, и они вернутся, вдруг нежданно-негаданно опять возникнут в комнате, ухмыляясь и подмигивая на свой жуткий манер. Переждав, он позвонил Фредди Баттону домой и попросил передать, чтобы тот позвонил, как только вернется.

Мария. Необходимо с ней поговорить. Рискнуть и позвонить прямо из дому? Неизвестно еще, где она... в «конспиративной квартире»... или дома на Пятой... *А вдруг телефон прослушивается...* Как быстро это можно подключить?.. Могли они, пока здесь были, установить подслушивающее устройство?.. Спокойно. Нельзя так сходить с ума. Но Джуди могла уже вернуться, а я не слышал!

Шерман встал из-за стола и снова вышел в свой великолепный холл... Никого... Слышно негромкое металлическое бряканье, клинк, клинк... Это бляхи на ошейнике Маршалла... Такса со скорбным видом, переваливаясь, выходит из гостиной... Когти цокают по мрамору... Колбаса на ножках... Половина его неприятностей — из-за этой собаки... А тебе дела нет ни до какой полиции, верно?.. Поесть и погулять, погулять и поесть... Из-за двери высунула голову Бонита... Как бы чего не пропустить. Полицейские, это ведь так интересно... Шерман смотрит на нее с осуждением.

— О, я думать, что миссис Мак-Кой вернуться домой,— оправдывается она.

— Не беспокойтесь,— отвечает Шерман.— Когда миссис Мак-Кой и Кэмпбелл вернутся, вы это услышите. (А до той поры не суйте, пожалуйста, нос в мои дела.)

Бонита правильно поняла его интонацию и скрылась на кухне. Шерман вернулся в библиотеку. Надо рискнуть и позвонить. И как раз в эту минуту открылась дверь из прихожей в квартиру. Джуди и Кэмпбелл.

[...]

16

ИРЛАНДСКИЙ РАЗГОВОРЕЦ

В глазах Крамера Мартин был такой мужественный, невозмутимый ирландец, какого вообще невозможно представить себе веселым, разве что в пьяном виде. Да и то он пьяный, наверно, злобствует и нарывается. Но сегодня утром Мартину явно весело. Беспощадные добермановские глазки округлились, сияют. Радуется, как малое дитя.

— Стоим мы там в вестибюле, толкуем с двумя швейцарами,— рассказывает он,— и вдруг — дззз! кнопка такая загорается, и один из швейцаров с места бегом прямо в дверь, будто у него ракета в заднице, свистит в свисток, рукой машет, такси останавливает.

Рассказывая, Мартин смотрит Берни Фицгиббону прямо в лицо. Они вчетвером — Мартин, Фицгиббон, Гольдберг и Крамер — находятся у Фицгиббона в кабинете. Фицгиббон, как и положено начальнику Отдела особо опасных преступлений в Окружной прокуратуре,— крепкий, атлетичный ирландец смуглого подвида, с квадратным подбородком, густыми темными волосами и черными, угольными глазами. Он много и с готовностью улыбается, но его улыбка — не средство расположить к себе собеседника, а уверенная усмешка атлета. И сейчас рассказу Мартина с этими его дурацкими, наивными подробностями Фицгиббон, конечно, улыбается просто потому, что Мартин принадлежит к особой разновидности неустрашимых маленьких ирландцев, которую он больше всего понимает и ценит.

Их в комнате два ирландца, Мартин и Фицгиббон, и два еврея, Гольдберг и он, но на самом деле они здесь, можно считать, все четверо ирландцы. Я-то пока еще еврей, думает Крамер, но только не в этих стенах. Полицейские все превращаются в ирландцев, и евреи, вроде

Гольдберга, и итальянцы, и латиноамериканцы, и негры. Да, даже негры; никто не понимает душу участковых, которые, как правило — темнокожие, потому что у них под темной кожей прячется ирландская суть. То же самое относится к помощникам окружных прокуроров в Отделах особо опасных преступлений. Если ты работаешь там, ты — ирландец. В целом среди населения Нью-Йорка процент ирландцев становится все меньше. Еще двадцать лет назад они доминировали в политической жизни Бронкса, Куинса, Бруклина и значительной части Манхэттена — теперь под их влиянием остался только небольшой район Вест-Сайда, где в водах Гудзона гниют заброшенные пристани и затоны. Все известные Крамеру ирландцы, работающие в полиции Бронкса, и Мартин в том числе, живут на Лонг-Айленде или где-нибудь в Доббс-Ферри и оттуда ездят на работу в город. Берни Фицгиббон и Джимми Коуфи — последние динозавры. Теперь в правоохранительной службе Бронкса пошли в ход итальянцы и евреи. Но все равно на Полицейском управлении и на Особо опасном отделе лежит и, наверное, будет лежать до скончания века ирландская печать. Там все слегка сдвинулись на ирландской невозмутимой отваге. Зовут себя сами «ослы» — и им хоть бы что, не обидно. У ирландцев это обычное прозвище — «ослы». Они им даже гордятся, в то же время как бы признавая свои слабости. Потому что понятно: ирландская отвага — это отвага не льва, а осла. В полиции или в Особо опасном отделе пусть ты и залез в бутылку, все равно ни шагу назад! Стоишь намертво. Этим-то и страшны даже самые мелкотравчатые, самые ничтожные из их породы. Заняв позицию, они готовы за нее драться. И кто хочет с ними поспорить, вынужден тоже ввязаться в драку. А на бедной нашей планете маловато людей, которые не спасуют перед дракой. Другая сторона этого же качества — верность. Если у одного вышла осечка, другие продолжат. Ну, может, оно и не совсем так, но нужен уж полный облом, чтобы ирландцы бросились спасаться кто как может. Среди полицейских это железно, но и среди прокурорских помощников Отдела особо опасных преступлений — тоже. Верность — вещь хорошая. А ирландская верность — скала, монолит. Кодекс ослиной чести. Евреи, итальянцы, негры и пуэрториканцы могут только усвоить, воспринять его и тоже превратиться в стопроцентных «ослов». И еще ирландцы обожают потчевать друг друга россказнями о своих боевых подвигах, так что сейчас, когда «осел» Мартин рассказывает, а «осел» Фицгиббон и «осел» Гольдберг развесили уши, им не хватает только выпивки для полноты картины. Чтобы напиться до сентиментальности. Или до злобного бешенства. Нет, возражает сам себе Крамер. Им и выпивки не нужно. Они и без того пьяны от самодовольства — вот, мол, мы какие, к полной матери, лихие молодцы.

— Я поспрашивал одного из этих парней, швейцаров,— продолжает Мартин,— пока мы там торчали. Потому что эта гнида Мак-Кой заставил нас прождать внизу пятнадцать минут. Так вот, у них там на каждом этаже по две кнопки, одна — вызов лифта, другая — такси. Ты нажимаешь, и чертов ихний швейцар выскакивает на улицу, машет и свистит. Ну, в конце концов, мы все-таки дождались, вошли в лифт, и тут я спохватился, что не знаю, на каком этаже он живет, Мак-Кой этот. Выглянул из лифта, говорю швейцару: «На какой этаж нам подняться?» А он отвечает: «Мы вас поднимем». Представляете? Мы вас поднимем. В кабине можешь перебрать все кнопки, и толку — чуть. Чтобы лифт поехал, швейцар должен нажать кнопку у себя на пульте. Пусть ты даже там живешь и хочешь заглянуть в гости к соседу, ты не можешь просто так войти в лифт и подняться на его этаж. Не то чтобы там, конечно, такая публика жила, которая друг к другу в гости наведывается за-ради потрепаться. Словом, Мак-Кой этот живет на десятом этаже. Поднимаемся, дверцы раскрываются, и мы в такой небольшой комнатке. Не на площадке, не на лестнице, а в комнатке. И из нее

только одна дверь. У них на этаж лифт поднимает, блин, прямо в ихнюю квартиру.

— Тебя, Марти, смолоду ограждали от грубых реалий жизни,— говорит Берни Фицгиббон.

— Мало ограждали, блин, я так считаю,— отвечает Мартин.— Позвонили мы. Открывает горничная в форме, пуэрториканка или южноамериканка, вроде того. А у них, как входишь в холл, тут тебе и мрамор, и деревянные панели на стенах, и такая лестница идет на верхний этаж, ну прямо, блин, как в кино. Потоптались мы на мраморном полу, покуда господин не решил, что, пожалуй, с нас довольно, и сходит он по лестнице вниз, эдак неторопливо, подбородок свой стопроцентный задрал прямо к потолку, вот ей-богу. Ты заметил, Дейви?

— Точно,— подтвердил Гольдберг и хмыкнул.

— Каков он из себя? — спрашивает Фицгиббон.

— Рослый, в сером костюме, и подбородок кверху — типичный Уолл-стрит. Вообще довольно красивый мужчина. Лет сорока.

— Как он реагировал на ваше появление?

— Сначала отнесся очень сдержанно. Пригласил пройти к себе в эту... в библиотеку, по-моему, это библиотека у них, небольшое такое помещение, но вы бы видели, какая там хреновина под потолком идет по всем стенам! — Он широко взмахивает рукой.— Люди, блин, вырезаны по дереву, как бы прохожие на улице, а на заднем плане — магазины и всякая лабуда. Чудеса, да и только! Сели мы чин чином, и я ему объясняю, что, мол, это — положенная в таких случаях проверка машин данной марки с определенными номерами, и так далее, а он говорит — да, он что-то такое слышал по телевизору, и да, у него есть «мерседес» и номер начинается с R, надо же, какое совпадение! Представляете, блин, я уже сижу думаю: вычеркиваем еще одну фамилию из вшивого списка, что нам выдали. И все дела. То есть вот уж на кого в жизни не подумаешь, что он мог ехать на машине ночью по Брукнеровскому бульвару в Бронксе. Я, можно сказать, уже почти извиняюсь, блин, перед ним, что, мол, отняли у него драгоценное время, чтоб ему. Ну, и прошу позволения взглянуть на машину. А он: «Когда?» — «Да прямо сейчас»,— говорю. И все. И больше ничего. Если бы он ответил: «Она в ремонтной мастерской» или: «Жена на ней уехала», или еще там что-нибудь в таком духе, я бы небось в другой раз и не приехал ее осматривать, настолько это, блин, выглядело невероятно. Но у него вдруг делается такое лицо, губы дрожат, и он начинает что-то плести, что, мол, он не знает... как в таких случаях полагается... Но главное — выражение лица. Я смотрю на Дейви, Дейви смотрит на меня, и мы с ним оба видим одну картину. Верно, Дейви?

— Точно. Он вдруг раскисает прямо на глазах.

— Картина знакомая, с некоторыми так бывает,— продолжает Мартин.— Ему вся эта история против шерсти. Он мужик вообще-то неплохой. Немного задается. Но так — ничего мужик, я думаю. Жена у него. Ребенок. Квартира эта несусветная. Ему такие передряги не под силу. Слаб в коленках, чтобы вступать в конфликт с законом. Всякий человек, кто бы ты ни был, а когда-нибудь да вступишь в конфликт с законом, и есть люди, которым это ничего, а есть такие, что не выдерживают.

— Он не выдержал, что ты сел на его стол,— смеясь, подхватывает Гольдберг.

— На его стол? — удивился Фицгиббон.

— А, да,— вспоминает Мартин с ухмылкой.— Я вижу, человек начал скисать, ну, и говорю себе: «А я ведь еще не зачитал ему права, хрен дери, надо исправить упущение». Ну, и так это вроде бы походя говорю, что мы, дескать, очень ценим его сотрудничество, но что он, если не хочет, имеет право вообще не отвечать и может прибегнуть к услугам адвоката, и так далее, и тому подобное. А сам думаю, как бы понатуральнее произнести: «Если у вас нет средств на адвоката, государство предоставит вам адвоката бесплатно». Это притом, блин, что

у него один этот резной бордюр под потолком стóит больше, чем адвокат из пула «Юридической помощи» получает за год. Решил, что самое верное старое средство — пойти на сближение, он сидит за столом, а я подошел, встал прямо над ним и смотрю сверху вниз — мол, неужели ты откажешься отвечать из-за такой малости, как предуведомление о правах?

— Марти не просто над ним стоял,— смеется Гольдберг.— Он уселся перед его носом прямо на стол.

— А он что? — спрашивает Фицгиббон.

— Сначала — ничего,— отвечает Мартин.— Но чует, что что-то не так. Не станут же тебе просто для смеха, от не хрена делать, зачитывать права. Заметно, что растерялся, глаза на лоб. Плетет невесть что со страшной силой. Наконец, встал и говорит, мол, я должен посоветоваться с адвокатом. Весь смех в том, что человек скис, когда захотели осмотреть машину, а потом мы ее облазили — чистехонька.

— А как вы ее нашли?

— Ну, это пара пустяков. Он упомянул, что держит ее в гараже. Я и прикинул, если у человека столько монеты, как у него, у заразы, он будет держать свою машину где удобнее — поблизости от дома. Вот я и спросил у швейцара, где у них там ближайший гараж. И все дела. Даже не назвал фамилии этого Мак-Коя.

— И что же в гараже, просто так, взяли и показали его машину?

— Ну да. Я предъявил служителю свою бляху, а Дейви стоял с другой стороны и смотрел зверем. Грозный еврей, вы же знаете, это пострашнее, чем грозный ирландец.

Гольдберг осклабился. Он расценил это как большой комплимент.

— Служитель говорит: «Которая машина вас интересует?» Оказывается, у них там стоят две, «мерседес» и «меркурий-универсал», а берут они четыреста десять долларов в месяц за одну машину, там на стене написано. Восемьсот двадцать зеленых ежемесячно за обе. На двести дороже, хрен дери, чем я плачу за весь свой дом в Дикс-хилс.

— И служитель показал вам ту машину?

— Служитель объяснил, где она стоит,— и, пожалуйста, идите осматривайте,— говорит Гольдберг.— По-моему, он этого Мак-Коя не слишком обожает.

— Во всяком случае, особо об нем душой не болеет,— кивает Мартин.— Я спросил, брали ли из гаража эту машину в прошлый вторник вечером, и он сразу: да, конечно, он хорошо помнит, Мак-Кой взял ее в шесть и вернул около десяти, и вид у него был встрепанный.

— Хорошо иметь таких заботников,— добавляет Гольдберг.

— Один он был? — спрашивает Фицгиббон.

— По его словам, да,— отвечает Мартин.

— Короче, вы считаете, что это — он?

— Он.

— Ладно,— говорит Фицгиббон.— Что дальше? Как будем заводить дело?

— Зацепка уже есть. Мы знаем, что в тот вечер он брал машину и куда-то на ней ездил.

— Дайте нам этого Мак-Коя еще минут на двадцать,— говорит Гольдберг,— и будет вам все дело на тарелочке. Он же начал раскалываться при первом разговоре.

— Особо на это не полагайтесь,— говорит Фицгиббон.— Но попробовать можно. Вообще-то у нас ни хрена нет. Нет свидетелей. На пострадавшего рассчитывать не приходится. Неизвестно даже место происшествия. Мало того, сначала, когда парень явился ночью в клинику, о том, что его сбила машина, вообще речи не было.

Тут Крамера осенило, и он сказал:

— А может, он уже тогда был в отключке? — То, что недавно еще выглядело типичной беспросветной бодягой, вдруг залучилось голубыми надеждами.— Мы же знаем, что он очень крепко получил по голове.

— Может-то может,— ответил Фицгиббон,— но мне от этого не легче. Материала, чтобы завести дело, нет. А Эйб, говорю вам, хочет, чтобы мы предприняли решительные действия. Его эта демонстрация вчерашняя расстроила. *«Правосудие Вейсса — правосудие белых»*. Во всех газетах было напечатано, и по телевидению показывали.

— Херня, а не демонстрация,— говорит Гольдберг.— Мы там были. Две дюжины пикетчиков, почти все — старые знакомые, эта Рива, как ее? со своими гомосеками, а остальные — прохожие ротозеи.

— Подите втолкуйте это Эйбу. Он тоже, как и все, смотрел телевизор.

— А знаете,— задумчиво произносит Крамер,— мне кажется, этого парня, Мак-Коя, можно бы попробовать выкурить.

— Выкурить?

— Ну да. Я сейчас просто думаю вслух, но... если, может быть, выйти с этим в прессу...

— В прессу? — кривится Фицгиббон.— Ты что, шутишь? С чем? Мужик начинает нервничать, когда к нему на квартиру заявляются двое полицейских, и он пользовался своей машиной в тот вечер, когда был сбит пострадавший. Знаешь, что из этого следует? Ровным счетом ничего.

— Я же сказал, я просто думаю вслух.

— То-то и оно. Сделай мне одолжение, не думай вслух при Эйбе, а то он может решить, что ты всерьез.

Рид-стрит — это одна из старых улочек в центре, неподалеку от Ратуши и суда. Она довольно узкая, и здания, сжимающие ее с обеих сторон, конторы и мануфактурные склады с чугунными колоннами и козырьками, повергают ее в траурный полумрак, даже в такой день, как сегодня, когда весело светит весеннее солнце. Правда, старые дома в этом районе, в треугольнике к югу от Кэнел-стрит, постепенно, исподволь, перестраиваются под современные офисы и под квартиры, но сажа слишком глубоко въелась в стены...

Шерман Мак-Кой шел по кафельному коридору четвертого этажа одного из этих старых чугунных строений. Он увидел пластиковую табличку на двери: «Дершкин, Беллавита, Фишбейн и Шлоссель»,— толкнул и очутился в крошечной, ярко освещенной приемной, где за стеклянной перегородкой распоряжалась смуглая латиноамериканка. Шерман назвался и объяснил, что ему нужен мистер Киллиан. Женщина надавила звонок. Открылась стеклянная дверь, за ней оказалось другое помещение, просторное, с белыми стенами и залитое еще более ярким, совсем уж невыносимым светом. Он бил с потолка, и Шерман поневоле понурил голову. Под ногами лежал оранжевый, без ворса, фабричный ковер. Щурясь от тысячеваттного сияния, Шерман увидел диван с белыми пластиковыми боковинами и кремовым клеенчатым сиденьем. Сел и сразу же съехал на самый край — сиденье оказалось покатым. Хочешь не хочешь — пришлось откинуться лопатками на спинку. Шерман неуверенно осмотрелся. У стены напротив стоит еще один такой же диван, на нем сидят двое мужчин и женщина. Один мужчина в сине-белом тренировочном костюме с ярко-синей кожаной грудью. Другой — в чем-то вроде шинели из бурой, зернистой кожи, должно быть,— слоновьей, с исполинскими широченными плечами. А на женщине черный пиджак, тоже кожаный и широкий, черные кожаные брюки и черные пиратские сапоги с отворотами под коленом. Все трое сидят и щурятся. И так же, как Шерман, то и дело съезжают на край покатого дивана, а потом, шурша и скрипя кожей, отодвигаются обратно. Кожаная мода. Похожи втроем на одного слона, которого донимают мухи.

Из внутреннего коридора появился худой длинный мужчина с растрепанными бровями, в рубахе, при галстуке, но без пиджака и с револьвером в кобуре слева у пояса. Он мельком улыбнулся Шерману,

как врач, который торопится пройти мимо ожидающих пациентов. И снова скрылся за дверью.

Потом из внутреннего коридора донеслись голоса, мужской и женский. Вышли мужчина и женщина, он шел и подталкивал ее перед собой. А она семенила ногами и озиралась на него. Мужчина высокий, крепкий, лет под сорок. На нем двубортный синий костюм в крупную голубую клетку и полосатая рубашка с белым крахмальным воротничком. Ну и хлыщ, подумал Шерман. А лицо узкое, даже, можно бы сказать, тонкое, если бы не явно перебитый нос. Женщина же довольно молодая, не старше двадцати пяти, грудастая, губы ярко намазаны, волосы космами во все стороны, густо наштукатуренная физиономия, шея торчит из широкого круглого ворота. Одета в черный свитер, всунута в узкие черные джинсы и ковыляет в черных туфельках на высоких каблуках-шпильках.

Сначала они спорят полушепотом. Но ее голос начинает звучать все громче, а его соответственно все тише. Классический вариант: мужчина хочет оставаться в рамках негромкого приватного разговора, а женщина решает пустить в ход один из своих козырей, а именно — принародную сцену. У нее их два. Принародная Сцена и Слезы. Сейчас она закатывает сцену. Ее голос звучит все пронзительнее и пронзительнее, и, наконец, мужчина тоже перестает сдерживаться.

— Но вы же должны что-то сделать! — настаивает женщина.

— Ничего я не должен, Айрин.

— Так что же мне — погибать?

— Вам надо счета оплачивать, как всем людям,— отвечает мужчина.— Вы уже обставили меня на полгонорара. И продолжаете требовать такого, за что меня из коллегии адвокатов погонят.

— Просто вы равнодушный человек.

— Не в том дело, что я равнодушный, Айрин. А в том, что я ничего больше знать не хочу. Чего вы на меня уставились? Вы женщина самостоятельная.

— Но как же так? А что, если меня опять арестуют?

— Надо было раньше думать, Айрин. Что я вам сказал, когда вы первый раз пришли в контору? Две вещи я вам сказал. Во-первых: «Айрин, я не собираюсь быть вашим другом, я буду вашим адвокатом. Но сделаю для вас куда больше, чем ваши друзья». И еще я сказал: «А знаете, ради чего, Айрин? Ради денег». И велел вам: «Смотрите, помните и о том, и об этом». Верно? Говорил я вам так?

— Меня же опять упекут!

Женщина опустила густо начерненные ресницы, понурилась. У нее дрожит нижняя губа, вздрагивают разметанные космы волос, трясутся плечи. В дело идет второй козырь. Слезы.

— Да перестаньте вы, ради бога, Айрин!

Снова слезы.

— Ну ладно, вы... вот что... Я узнаю, собираются ли вам предъявлять ту же статью, и если да, то буду представлять вас на первом разборе. Но и только, имейте в виду.

Слезы! Слезы бьют все, даже после стольких тысячелетий. Женщина кивает, как нашаливший ребенок. И идет через ослепительно освещенную приемную, виляя лоснящимся черным задом. Один из кожаных мужчин на диване напротив встречается с Шерманом глазами и произносит, улыбаясь, как мужчина мужчине: «Ой, карамба!»

Здесь, на чужой территории, Шерман чувствует себя обязанным ответить на улыбку улыбкой.

А франт снова появился на пороге.

— Мистер Мак-Кой? Я — Том Киллиан.

Шерман встает. Рукопожатие. Киллиан жмет не очень крепко. Шерман вспоминает двух сыщиков. И идет следом за Киллианом по внутреннему коридору. С потолка изливается слепящий свет.

Офис Киллиана небольшой, современно обставленный и сумрачный. Без окон. Но зато нет этого яркого освещения. Шерман взглянул на потолок. Из девяти скрытых ламп семь либо вывинчены, либо перегорели и не заменены.

Шерман сказал:

— Там такой свет...— и покачал головою, не договорив.

— Точно,— соглашается Киллиан.— Вот что выходит, если твоя баба — дизайнер. Мужик, у которого мы арендуем помещение, привел сюда раз свою хахальницу, а она нашла, что здесь мрачно. Ну, и добавила света, не поскупилась. Сдвинутая на киловаттах. Ей тут нужен стиль «Бискайский пляж», такой вот творческий замысел.

Но Шерман после слов: «твоя баба — дизайнер» больше уже ничего не слышит. Он всегда с мужской самоуверенностью думал, что он, Властитель Вселенной, хозяин жизни во всех ее проявлениях. И вот теперь, как и многие добропорядочные американцы до него, вдруг почувствовал, что «все проявления жизни» забавны только со стороны, из зрительного зала. Разве может он жизненно важные вопросы доверять подобному субъекту в подобном антураже? А он-то позвонил в «Пирс-и-Пирс» и сказался больным — жалкая, убогая, мелкая ложь! — ради того только, чтобы очутиться в этой грязной трущобе на дне юридического мира!

Киллиан молча указал ему на стул — модерный, из гнутых хромированных трубок, с ярко-красной обивкой,— и Шерман сел. Спинка слишком низкая, удобно не устроишься. Второй стул, на котором сидит за столом Киллиан, кажется, не лучше.

Киллиан вздохнул и закатил глаза.

— Вы слышали, я разговаривал со своей клиенткой, мисс...?

Он обозначил ладонями в воздухе выпуклые формы.

— Да.

— Вот вам типичное уголовное дело во всей красе.

Выговор у Киллиана такой нечеткий, некультурный, что Шерман сначала подумал, было, что тот передразнивает свою клиентку. Но нет, это он сам так говорит. Накрахмаленный франт за адвокатским столом выговаривает слова, как нью-йоркский босяк, глотает согласные, искажает гласные. Впрочем, его слова все-таки немного приободрили Шермана: значит, он понимает, что Шерман незнаком с уголовными нравами, что он принадлежит к иным сферам.

— За что ее? — поинтересовался Шерман.

— За наркотики. Кому еще по карману нанимать адвоката на восемь недель кряду? — И без подготовки переменил тему: — Фредди изложил мне ваш случай. И в городских газетах я читал. Фредди — отличный малый, но слишком высокого полета птица, чтобы читать желтую прессу. А я читаю. Так что давайте-ка рассказывайте поподробнее, что там у вас произошло.

Шерман начал, запинаясь, но оказалось, как ни странно, что исповедоваться перед этим человеком, в этом помещении, совсем не трудно. Франтоватый уголовный адвокат с перебитым носом, как и священник,— человек из другого мира.

Он рассказывал, а пластмассовый селектор на столе время от времени издавал легкий писк, и латиноамериканский голос из приемной произносил: «Мистер Киллиан... Вас мистер Сканнези по 3-0» или: «Мистер Ротблатт по 3-1». А Киллиан отвечал: «Скажите, я позвоню»,— и слушал дальше. Но вот аппарат опять пискнул, и женщина объявила: «Мистер Леонг по 3-0».

— Скажите, что я... Нет, ладно, я отвечу,— Киллиан презрительно машет рукой, мол, это все пустяки по сравнению с нашим разговором, я только две секунды.

— О-ооо, привет, Ли! Как делишки?.. Ну? Ей-богу?.. А я, знаете, недавно читал про вас книгу... Ну, не лично про вас, вообще про Леонгов... Стану я вам врать. Мне что, ножа в спину захотелось?

Шермана раздражает задержка. В то же время он прислушивается с уважением: у Киллиана — клиент-китаец, очевидно, проходящий по процессу о манипуляциях с голосами.

Но вот, наконец, Киллиан кончил разговор, положил трубку и обернулся к Шерману:

— Итак, вы отвели машину в гараж, перемолвились парой слов со служителем и пешком вернулись домой.

Этим он показывает, что вклинившийся разговор не сбил его с темы.

И Шерман продолжает свою повесть, вплоть до появления в квартире детективов Мартина и Гольдберга.

Киллиан перегнулся к нему через стол и сказал:

— Ну, хорошо. Запомните только одно: в дальнейшем ваша задача — держать язык за зубами. Поняли меня? Оттого что вы станете с кем-то об этом разговаривать, хоть с кем, вам никакой пользы, кроме вреда, не будет. Единственно только, опять начнут дергать, как те два агента.

— А что я мог сделать? Они уже вошли в дом. Им сказали, что я наверху. Если бы я отказался от встречи, это был бы верный знак, что я что-то скрываю.

— Надо было сказать им: «Джентльмены, рад был познакомиться, вы проводите расследование, у меня в таких делах нет никакого опыта, поэтому обратитесь к моему адвокату, и всего наилучшего, смотрите, когда будете выходить, чтобы вас не ударило дверью».

— Но даже и это...

— По крайней мере, было бы лучше, чем получилось. Согласны? На самом деле они бы подумали: «Ишь важная птица, живет на Парк авеню и не имеет ни времени, ни охоты разговаривать с нашим братом. У него для таких дел наняты люди». От этого бы к вам хуже, думаю, относиться не стали. Ладно, вперед знайте,— Киллиан хмыкнул и потряс головой.— Надо же, предуведомление о правах зачитал! Интересно бы на него посмотреть... Небось проживает, дурья башка, в халупе на две семьи в Массапикве, а расселся в квартире на Парк авеню и сообщает хозяину, что если у него нет средств на адвоката, власти предоставят ему защиту бесплатно! И дальше по тексту. Ха-ха!

С чего это он так веселится?

Шерман обиженно спросил:

— Ну, и что это должно означать?

— А то, что они стараются набрать материал на уголовное обвинение.

— Какого рода?

— Какого рода материал или какого рода обвинение?

— Какого рода обвинение.

— Есть разные возможности. Если Лэмб не помрет — тогда опасная халатность за рулем.

— А это не одно и то же, что опасная неосторожность за рулем?

— Не одно и то же. Это дело уголовно наказуемое. И серьезно наказуемое. Или же, если им очень нужно проявить непримиримость, они могут трактовать это как нападение с опасным оружием, понимая под оружием автомашину. В случае же смерти Лэмба возникают опять же две возможности: непредумышленное убийство — раз и убийство по преступной халатности — два, хотя за все время, что я работал в Окружной прокуратуре, обвинение в убийстве по преступной халатности выдвигалось, только если водитель был пьян. Вдобавок ко всему этому у них еще есть отъезд с места происшествия и недонесение о происшествии. И то и другое — уголовные деяния.

— Но раз в тот момент, когда был сбит пострадавший, за рулем машины сидел не я, разве можно именно против меня выдвинуть все эти обвинения?

— Минуточку, сейчас мы дойдем до этого, но сначала дайте я вам

кое-что объясню. Очень возможно, что перечисленные обвинения вообще ни против кого нельзя будет выдвинуть.

— Да? — Шерман сразу ожил при этом проблеске надежды.

— Вы ведь тщательно осмотрели свою машину, верно? Ни вмятин, ни крови, ни ткани, ни разбитого стекла? Так?

— Так.

— Совершенно очевидно, что удар, полученный тем парнем, был несильный. В травмопункте ему наложили гипс на руку и отпустили. Верно?

— Верно.

— В сущности, вы вообще даже не знаете, сшибла ли ваша машина кого-нибудь.

— Ну, я все-таки услышал какой-то звук.

— Мало ли что это могло быть. Вы что-то слышали. Но не видели. Определенно вы ничего не знаете.

— Д-да... пожалуй.

— Теперь понимаете, почему я хочу, чтобы вы ни с кем на эту тему не разговаривали?

— Да.

— То есть абсолютно ни с кем. Хорошо? Так. Теперь вот еще что. Может быть, это не ваш автомобиль его сбил. Вам не приходило в голову? Вообще был ли там автомобиль? Вам это неизвестно. И им, полицейским, тоже неизвестно. В газетах пишут что-то странное. Такое, казалось бы, шумное дело, а никто толком не знает, где именно этот сомнительный наезд произошел. Брукнеровский бульвар. Брукнеровский бульвар — пять миль в длину! Свидетелей у них нет. Что парнишка сказал своей матери, так это — показания понаслышке. Вещь несерьезная. Как выглядел сидевший за рулем, они не знают. Даже если будет установлено, что удар нанесла именно ваша машина, все равно автомобиль же не арестуешь. Кто-нибудь из служителей гаража мог дать ее на вечерок племяннику своей свояченицы, чтобы слетал на Фордем-роуд поцеловать любимую девушку на сон грядущий. Кто это может сказать? Вам тоже ничего неизвестно. Мало ли какие бывают удивительные случаи.

— А вдруг объявится второй? Клянусь вам, там был еще второй парень, такой здоровенный детина.

— Верно. Это была засада. Они хотели вас ограбить. Конечно, может, он и объявится, но, похоже, у него есть причины сидеть и не рыпаться. Судя по словам матери, пацан ей тоже не говорил, что был с товарищем.

— Возможно,— неуверенно произнес Шерман.— Но мог и сказать. Честное слово, я начинаю думать, что мне надо опередить события, взять инициативу в свои руки, явиться вместе с Марией — с миссис Раскин — в полицию и объяснить, как в действительности было дело. Конечно, я плохо разбираюсь в законах, но с человеческой точки зрения я чувствую, что в той ситуации вел себя правильно, и она тоже.

— Ай-яй-яй! Ну, вы, уолл-стритовские господа, и отчаянный народ! С ума сойти! — расхохотался Киллиан. Шерман смотрит на него с недоумением. И Киллиан, как видно, почувствовав его реакцию, сразу делается совершенно серьезным.— А вы представляете себе, что произойдет в Окружной прокуратуре, если вы придете и скажете: «Да, это была моя машина, и в ней сидели я и моя милашка с Пятой авеню»? Да они вас сожрут. С по-тро-ха-ми.

— Почему?

— Потому что это дело уже стало мячом в политической игре, а у них до сих пор никаких материалов нет. Преподобный Бэкон речи произносит, по телевидению передают, «Сити лайт» улюлюкает. И все это оказывает давление на Эйба Вейсса, а ему скоро переизбираться. Я Вейсса знаю хорошо. Для него реальный мир не существует — существует только то, что показывают по телевизору и пишут в газетах. Но

я вам больше скажу. Они бы все равно в вас вцепились мертвой хваткой, даже если бы над ними не было такого надзора.

— Но почему же?

— А вы представляете себе, чем занимаются с утра до ночи сотрудники Окружной прокуратуры? Они ведут судебное преследование разных личностей, носящих такие имена, как Тиффани Латур, или Ле Барон Куртенэ, или Мустафалла Шаббаз, или Камильо Родригес. Под конец доходишь уже до того, что рад душу заложить, лишь бы уцепить кого-нибудь мало-мальски приметного. И если подвернулась такая парочка, как вы и ваша приятельница миссис Раскин,— это праздник! Уууух! Объедение!

Он говорил с чувством, должно быть, вспоминая собственные людоедские триумфы.

— И что будет?

— Во-первых, вас арестуют, это всенепременно, и, насколько я знаю Вейсса, с большой помпой. Даже если долго продержать не смогут, все равно удовольствие вы получите много ниже среднего. Можете мне поверить.

Шерман попытался вообразить, как это будет, но не смог. Настроение у него резко упало. Он тяжело вздохнул.

— Теперь вам понятно, почему надо держать язык за зубами? Картина ясна?

— Ясна.

— Но я вовсе не хочу нагонять на вас страху. Сейчас моя задача — не защищать вас, а устроить так, чтобы защита вам не понадобилась. Если, понятно, вы захотите, чтобы я был вашим адвокатом. О гонораре сейчас говорить не будем, пока не очевидно, к чему дело сведется. Может, еще выяснится, на ваше счастье, что это все бодяга.

— А как это можно выяснить?

— Мы с Берни Фицгиббоном, начальником Отдела особо опасных преступлений в Окружной прокуратуре Бронкса, когда-то вместе начинали работать.

— И он вам скажет?

— Думаю, что да. Мы друзья. Он тоже «осел», как и я.

— Осел?

— Ирландец.

— А правильно ли будет показывать, что я забеспокоился и нанял адвоката? Они еще подумают что-нибудь.

— Да они уже давно думают, можете не сомневаться. И что вы забеспокоились, знают. Господи, если вы после посещения тех двух молодчиков из полиции не начали беспокоиться, значит, у вас просто нервная система не в порядке. Но это я беру на себя. А вам сейчас надо в первую голову заняться вашей приятельницей миссис Раскин.

— И Фредди так говорил.

— Фредди прав. Если я возьмусь за ваше дело, я перво-наперво должен потолковать с ней, чем скорее, тем лучше. Вы как считаете, она согласится сделать заявление?

— Заявление?

— Заявление под присягой, заверенное свидетелями.

— Раньше я бы определенно ответил «да». Но после разговора с Фредди я уже ни в чем не уверен. Бог ее знает, как она себя поведет, если я попрошу у нее заявление под присягой, да еще в судебной обстановке.

— Ну, все равно, а поговорить мне с ней надо. Вам удобно будет с ней связаться? А то могу и сам позвонить, как хотите.

— Нет, лучше мне.

— Тут вот что важно. Надо внушить ей, чтобы она тоже об этом деле пока помалкивала.

— Фредди сказал, вы учились в Йейльской юридической школе. В какие годы?

— В конце семидесятых.

— И как она вам?

— Да ничего, нормально. Моего разговора там ни одна живая душа не понимала. Им что из Куинса человек, что из Афганистана. Но мне нравилось. Хороший институт. Учиться сравнительно нетрудно. Не топят в подробностях. Дают общее представление, научный взгляд на вещи. На устройство Вселенной. С устройством Вселенной там все в ажуре. Вообще в Йейле получаешь прекрасную подготовку для любой сферы деятельности — кроме тех, где делают погоду кроссовки, оружие, наркотики, похоть и лень.

17

БАНК ВЗАИМНЫХ УСЛУГ

Из селектора прозвучал голос секретарши:

— У меня на проводе Ирв Стоун из Первого телеканала.

Эйб Вейсс замолчал на середине фразы, не извинившись перед Берни Фицгиббоном, Милтом Лубеллом и Крамером, схватил телефонную трубку и без слова приветствия сразу забубнил скорбным тоном огорченного папаши:

— Ну, что мне с вами делать, ребята? Вы же орган массовой информации самого главного города страны. Так? А что сейчас главная проблема в жизни главного города страны? Наркотики. А из наркотиков который хуже всего? Крэк. Правильно я говорю? И вот мы предаем суду трех самых крупных торговцев крэком в Бронксе, а вы что? А вы ничего... Нет, дайте мне договорить. В десять часов утра мы привозим всех троих в Центральный распределитель, производим регистрацию, отпечатки пальцев и прочее, и где же в это время вы? А нигде... Да погоди ты минутку, дай сказать! — Это уже не огорченный папаша, а разъяренный сосед с нижнего этажа.— Вам нет оправдания, Ирв! Лентяи вы. Боитесь обед пропустить. В один прекрасный день проснетесь и... Что? Не морочь мне голову, Ирв! Наши торговцы наркотиками только тем и плохи, что черные и проживают в Бронксе. А вам кого нужно? Вандербильта, Астора и... и... Ристона? — В Ристоне он не слишком уверен.— В один прекрасный день проснетесь и увидите, что всё проспали. Бронкс — это Америка, Ирв, сегодняшняя Америка! Может, вам неизвестно, что в сегодняшней Америке живут черные, а? Манхэттен — это просто маленький исторический заповедник. А здесь — Америка, лаборатория межэтнических отношений! Эксперимент городского сосуществования!.. То есть что значит — как насчет дела Лэмба? Причем тут оно? Подумаешь, осветили одно происшествие в Бронксе. У вас что, квота?

И повесил трубку. Ни здрасьте, ни до свидания.

Фицгиббон сидит у торца массивного прокурорского стола, Крамер и Лубелл — у него по бокам. Вейсс воздел руки над головой, словно держа тяжелый мяч.

— Орут про наркотики каждый божий вечер, а посадили трех крупнейших торговцев крэком, и он говорит, что это не событие, а заурядный эпизод.

Крамер и сам не заметил, как принялся сочувственно качать головой: надо же, какие они упрямые эти телевизионщики. Милт Лубелл, пресс-секретарь Вейсса, тщедушный человечек с сединой в клочковатой бороде, тоже недоуменно таращится, он просто ушам своим не верит! И только Берни Фицгиббон в ответ на эту филиппику даже бровью не повел.

— Видали? — не успокаивается Вейсс, большим пальцем указывая через плечо на телефон.— Я ему толкую про арест торговцев наркотиками, а он тычет мне в морду дело Лэмба.

Вид у окружного прокурора крайне рассерженный. Но, по правде

сказать, Крамер и не припомнит его другим. Вейссу лет сорок восемь. У него густые светло-коричневые волосы, узкое лицо, крепкий подбородок и шрам под скулой. С внешностью у него все в порядке. Он принадлежит к тому типу окружных прокуроров Нью-Йорка, которые спокон веку делали карьеру на том, что выступали по телевизору с сенсационными сообщениями об очередном сокрушительном ударе по преступности в нашем многомиллионном, вечно бурлящем городе. Лично над Вейссом, добрым Капитаном Ахавом, можно, конечно, и посмеиваться. Но Вейсс не просто сам по себе, он подсоединен к системе Власти, он — одно из звеньев в ее цепи, и его офис, с деревянными панелями по стенам, с громоздкой старой мебелью и американским флагом,— это командный пункт Власти. Самолюбие Крамера приятно возбуждено тем, что он сподобился приглашения на военный совет в столь высоких сферах.

— Надо как-то перехватить инициативу в деле Лэмба,— говорит Вейсс.— А то сейчас я могу только делать ответные ходы. Вы же видели, Берни, к чему идет, что же не предупредили? По-моему, Крамер разговаривал с Бэконом еще неделю назад.

— В том-то и дело, Эйб,— отвечает Фицгиббон.— Это все...

Но Вейсс нажал кнопку у себя на столе, и Фицгиббон на полуслове умолкает, так как окружной прокурор уже занялся другим и не слушает. Он смотрит на телеэкран у противоположной стены. Там, точно большой электронный зоб, выступают из дубовой панели четыре телеэкрана, а по сторонам — стальные ящички со стальными ручками, черные шкалы, зеленовато светящиеся огоньки, провода. Рядом, на полках, где некогда стояли книги, высятся стопки видеокассет. Если где-то по телевидению показали Эйба Вейсса, или что-нибудь, имеющее касательство к Эйбу Вейссу, или что-нибудь, имеющее касательство к преступлению и наказанию в Бронксе, Эйб Вейсс требует, чтобы это было записано на видеопленку. Один из экранов осветился. Изображение, но без звука. Какое-то знамя во весь экран... «ЙОХАННЕСБРОНКС: ПРАВОСУДИЕ ВЕЙССА — ПРАВОСУДИЕ АПАРТЕИДА»... Несколько негодующих лиц, черных и белых, сняты снизу, так что создается впечатление огромной толпы.

— Вот те на! Это еще что такое? — спрашивает Вейсс.

— Седьмой телеканал,— отвечает Милт Лубелл.

Крамер нагнулся к Лубеллу:

— Но их там вообще не было, Седьмого канала. Был только Первый,— говорит он тихо, осмелившись обратиться не выше, чем к пресс-секретарю окружного прокурора. В общий разговор он не позволяет себе встревать.

— Это вчерашний репортаж,— объясняет Лубелл.— Когда Первый канал показал свою передачу, остальным тоже захотелось. Вот они взяли и организовали вчера вечером еще одну демонстрацию.

— Ну да?

— Ее уже давали по пяти или шести каналам. Ловкий ход.

Вейсс нажал другую кнопку, зажегся еще один экран. На первом продолжают наплывать и уходить головы, головы, головы... А на втором три тощих музыканта с выступающими кадыками и при них одна девица... на туманном фоне темного переулка... «Эм-Ти-Ви»... Треск... Музыканты распались на дрожащие полосы. Включилась видеокассета. Круглолицый молодой человек с микрофоном под подбородком... Башни микрорайона имени Эдгара По... На заднем плане, как всегда, кривляются несколько подростков.

— Морт Селден, Пятый канал,— узнал Вейсс.

— Точно,— кивает Милт Лубелл.

Следующая кнопка. Зажигается третий экран. Опять музыканты в туманном переулке... У певицы темные губы... как у Шелли Томас... Сердце Крамера сладко сжимается... Музыканты опять расползлись на дергающиеся полосы. Возник мужчина латинской внешности.

— Роберто Олвидадо,— поясняет Лубелл.

Мужчина держит микрофон под носом у негодующей негритянской дамы. И вот уже на всех трех экранах наплывают и уходят головы, головы, головы, отбрасывая на стены и мебель ядовито-голубое мерцание.

— Вам известно, что вчера в вечерних новостях только и речи было что о деле Лэмба? — говорит Вейсс Фицгиббону.— И сегодня с утра Милта одолели по телефону репортеры и разные там заинтересованные лица, звонят, будь они неладны, желают знать, что мы предпринимаем.

— Но это же смешно, Эйб,— возражает Фицгиббон.— Что, они считают, мы должны предпринимать? Наше дело — обвинение, а еще и арест не произведен.

— Бэкон — хитрец,— замечает Лубелл.— Еще какой хитрец. Хитрая бестия. Заявил, что полицейские встречались с матерью пострадавшего, и из прокуратуры тоже с ней встречались, и якобы по какому-то злодейскому умыслу мы сговорились ничего не предпринимать. Не болит у нас душа о черных жителях новостроек.

Тут Вейсс устремил грозный взор на Крамера, и Крамер весь подобрался.

— Крамер, отвечайте: говорили вы матери пострадавшего или нет, что ее информация бесполезна?

— Нет, сэр, ничего подобного! — Крамер сам чувствует, что слишком горячится.— Я только объяснил ей, что сведения, которые она передает со слов сына, это, с точки зрения обвинения, сведения понаслышке, а вот что нам на самом деле нужно, так это свидетели, и пусть она сразу же даст знать, если услышит о ком-нибудь, кто видел происшествие своими глазами. А больше я ничего не сказал. Я вовсе не говорил, будто ее информация бесполезна. Наоборот, поблагодарил ее. Просто не понимаю, как можно до такой степени все исказить.

Он говорит это, а сам с тоскою думает: ну, для чего мне было так холодно разговаривать с той женщиной? Боялся уронить себя в глазах Мартина и Гольдберга? Хотел выказать себя перед ними настоящим ирландцем? Мог же выступить в роли сердечного, сострадательного еврея. А теперь вот расхлебывай... Еще, глядишь, отстранит Вейсс от этого дела.

Но Вейсс только сокрушенно кивнул и сказал:

— Да... Уж я-то знаю... Но запомните хорошенько, логика не всегда годится, если имеешь дело с...— и решил не договаривать. Повернувшись к Фицгиббону, он проворчал: — Бэкон может плести любую чушь, какая ему в голову придет, а я должен сидеть тут и объяснять, что у меня руки связаны.

— Но вы, надеюсь, понимаете, Эйб, что эти демонстрации — чистая бодяга. Десяток молодчиков Бэкона да плюс пара десятков всегдашних крикунов из какой-нибудь там Монолитной Рабочей партии. Ведь так, Ларри?

— При мне было так, это точно,— ответил Крамер. Однако что-то подсказало ему, что лучше не слишком преуменьшать значение демонстраций. И он, кивнув на телевизор, оговорился: — Но вчерашняя, похоже, была уже гораздо многолюднее.

— Известное дело,— кивнул Лубелл.— Самоосуществляющееся пророчество. Когда начинают показывать по телевидению и писать в газетах, люди считают, ага, это что-то важное. И нельзя оставаться в стороне. Самоосуществляющееся пророчество.

— Ну, хорошо,— сказал Вейсс,— а как все-таки на сегодня обстоит дело? Что там с этим Мак-Коем? Какой у нас есть на него материал? Те два сыщика — как их фамилии?

— Мартин и Гольдберг,— ответил Фицгиббон.

— Они говорят, что это он?

— Да.

— Ребята надежные?

— У Мартина большой опыт. Но ошибиться может всякий. Мало ли, человек переполошился, это еще ничего не доказывает.

— Парк авеню. Папаша — бывший управляющий фирмой «Даннинг-Спонджет и Лич»,— задумчиво перебирает Вейсс.— Упоминается в светской хронике, Милт нашел пару мест. Жена — художник по интерьерам.— Вейсс откинулся на спинку кресла с мечтательной улыбкой на устах. Так улыбаются несбыточной грезе.— Да, уж это бы сразу положило конец бодяге насчет белого правосудия.

— Эйб,— говорит Фицгиббон, ирландский холодный душ,— у нас на него пока что совершенно ничего нет.

— А нельзя как-нибудь доставить его сюда для дачи показаний? На том основании, что, как нам известно, он ездил на своей машине в ту ночь, когда произошел несчастный случай.

— У него теперь есть адвокат, Эйб. Кстати сказать, Томми Килиан.

— Томми? Как он, интересно, на него вышел? И откуда это известно?

— Томми мне позвонил. Сказал, что представляет его. И спросил, на каком основании полицейские задавали его клиенту вопросы.

— Что вы ему ответили?

— Что у него автомобиль совпадает по описанию с разыскиваемым. Полиция составила список и проверяет.

— А он что?

— Сказал, что у них не описание, а мура из третьих рук и недействительно.

— А вы что?

— Сказал, что у нас, кроме описания автомобиля, есть еще пацан в клинике при смерти, и полицейские исходят из той информации, какой располагают.

— А как состояние парня? Перемен нет?

— Нет... Лежит без сознания в реанимации. Весь на трубках.

— Есть вероятность, что придет в себя?

— Они говорят, сознание еще может к нему вернуться, но это ничего не значит. Бывает, оно иногда возвращается, потом снова уходит. Да он все равно не сумеет говорить. У него трубка в горле.

— А пальцем показать?

— Пальцем показать?

— Ну да. У меня есть идея.— Вейсс устремляет глаза вдаль. Невидящий вдохновенный взор.— Мы берем фотографию Мак-Коя и отвозим в больницу. Милт тут нашел в одном журнале.

Вейсс протягивает Берни Фицгиббону листок, вырезанный из великосветского еженедельника, который называется «W». Сплошь портреты улыбающихся людей. Мужчины в смокингах. Женщины тощие — одни зубы и видны. Крамер вытянул шею, чтобы разглядеть получше. Вот снимок обведен красным карандашом. Мужчина и женщина. Оба улыбаются. Оба в вечернем платье. Нет, вы только поглядите на них. Белые англосаксы протестантского вероисповедания. У мужчины нос узкий, прямой. Голова запрокинута, выпячен длинный породистый подбородок. И такая уверенная... самоуверенная... улыбка... Женщина тоже БАСП, но в другом роде. У нее корректное, непроницаемое выражение лица, от такого сразу пугаешься: не ляпнул ли чего, и все ли у тебя в порядке с костюмом? Подпись под фотографией: *Шерман и Джуди Мак-Кой.* Участвуют в благотворительной акции. Здесь, на шестом этаже Гибралтарской крепости, при имени «Шерман Мак-Кой» естественно ожидаешь увидеть негра. Но эта пара — не подражание, а оригинал, первоначальный образец. Крамер видел-то таких почти исключительно в газетах и журналах — портреты равнодушных, надменных чужаков с прямыми носами, которых Господь по неисповедимой прихоти своей наделил так щедро. Правда, теперь это уже у Крамера не

рациональная, выраженная в словах мысль, а так, подсознательный рефлекс.

А Вейсс рассуждает:

— Мы берем этот снимок Мак-Коя и еще три-четыре снимка, еще трех-четырех белых мужчин, везем туда и расставляем у его койки. Он приходит в себя и сразу показывает пальцем на Мак-Коя.

Берни Фицгиббон смотрит на Вейсса, он словно хочет прочесть по его лицу, что это — всего лишь неудачная шутка.

— Может, стоит попробовать? — говорит Вейсс.

— А кто засвидетельствует?

— Медсестра, врач, кого найдем. И у нас в руках настоящее, честь по чести, показание на смертном одре.

— Честь по чести,— говорит Фицгиббон.— Ничего себе! Вы что, всерьез? Бедолага лежит с трубкой в горле и указывает пальцем на фотографию? Да это никогда в суде не примут.

— Знаю, Берни. Мне бы только как-нибудь его подцепить и сюда доставить. А уж потом бы мы расслабились и дальше действовали по протоколу.

— Да Господи!.. Эйб! Даже забудем пока на хрен протокол. Поставить портрет какого-то уолл-стритовского банкира и еще разных там белых господ на тумбочке у кровати умирающего пацана?! Да он, если и очнется, как посмотрит на такую портретную галерею — все белые, почтенные, в пиджаках, при галстуках — и тут же, горемыка, перекинется. Только охнет со страху, и на хрен душа вон. Нельзя же так, Эйб. Побойтесь бога, хрен дерн.

Вейсс протяжно вздохнул и прямо на глазах у Крамера съежился, словно из него выпустили воздух.

— Да, точно. Вы правы. Это не пойдет.

Фицгиббон мельком глянул на Крамера. Но Крамер и бровью не повел. Зачем ему подвергать сомнению мудрость прокурора? Капитан Ахав зациклился на деле Лэмба, а дело это пока еще находится в его, Крамера, руках. У него пока еще есть надежда попытать счастья против этого вожделенного, неуловимого, почти мифического для Бронкса существа — Великого Белого Преступника.

По пятницам школа «Тальяферро» распускает учеников в половине первого. Причина — в том, что у многих девочек родители имеют загородные виллы, где проводят уик-энд, и они спешат выбраться из города к двум часам, пока еще на улицах не начались пробки. Так что Джуди, как обычно, собирается на Лонг-Айленд с Кэмпбелл, Бонитой и няней мисс Лайонс в «универсале», а Шерман, как обычно, явится на «мерседесе» попозже вечером или назавтра утром, смотря сколько придется задержаться в «Пирс-и-Пирсе»,— распорядок, который в последние месяцы оказался как нельзя более удобным: по пятницам он всегда заезжал по пути к Марии.

Сегодня он, сидя в «Пирс-и-Пирсе» у себя за столом, все утро тщетно пытался к ней дозвониться. И на Пятую авеню, и в «конспиративную квартиру». Там не брали трубку. А дома горничная отвечала, что не знает, где сейчас миссис Раскин — ни в каком она штате, ни даже в какой стране. С отчаяния он в конце концов оставил свое имя и номер телефона. Но она так и не позвонила.

Избегает его. Прервала связь. Но почему, интересно? От страха? Она не из боязливых... А для него все спасение в том, что тогда за рулем сидела она... Но что будет, если она исчезнет? Глупости. Куда она может деться? Да в Италию! Скроется в Италию, и все. О-о-о! С ума сойти! У него от ужаса открылся рот. И стало слышно биение собственного сердца — тк! тк! тк! под грудиной. Шерман скосил глаза вправо от компьютерного терминала. Нет сил сидеть тут просто так, надо что-то делать. Но что? В том-то и беда, что посоветовать может только один человек, и тот — совсем почти незнакомый: **Киллиан.**

В полдень Шерман все-таки позвонил Киллиану. Секретарша ответила, что он уехал в суд. Через двадцать минут из шумного автомата позвонил Киллиан и назначил встречу в час в главном вестибюле здания Уголовного суда, Сентр-стрит, 100.

Уходя, Шерман сказал Мюриэл всего лишь полуложь. Он едет на встречу с адвокатом Томасом Киллианом, и вот его номер телефона. Лживая половина состояла в тоне, каким он все это сообщил, как бы подразумевая, что Томас Киллиан, эсквайр, связан делами с «Пирс-и-Пирсом».

В этот июньский погожий день пройтись от Уолл-стрит к северу до Сентр-стрит, 100, было минутное дело. За все годы, что Шерман жил в Нью-Йорке и работал в центре, он ни разу не остановил взгляд на здании Уголовного суда, хотя оно — самое большое и величественное из тех, что окружают Ратушу. Архитектор Харви У. Корбетт построил его в стиле «модерн», или, как теперь говорят,— «ар деко». Потом Корбетта, в свое время такого знаменитого, все забыли, кроме горстки историков архитектуры; забыли и то общественное возбуждение, каким сопровождалось в 1933 году открытие здания Уголовного суда. Впрочем, фасад из камня, бронзы и стекла и теперь производит величественное впечатление. Но внутри, очутившись в просторном нижнем вестибюле, Шерман сразу ощутил какую-то тревогу. Почему — он бы затруднился ответить. На самом деле на него подействовали мелькающие вокруг черные лица, белые кроссовки, дутые куртки, особая манера ходить — «сутенерская развалочка». Словно очутился на городском автовокзале Порт-Оторити. На чужой территории. Под высокими, вокзальными сводами старого вестибюля повсюду толпятся кучками негры, их возбужденные голоса сливаются в тревожный рокот, а вокруг, описывая круги, рыщут белые в дешевых пиджаках или спортивных куртках, точно волки, стерегущие овечье стадо. Еще какие-то черные молодые люди, двигаясь странно, враскачку, по двое, по трое пересекают вестибюль. В стороне, у дальней стены, в полумраке, несколько белых и черных разговаривают по телефонам-автоматам, с другой стороны — лифты, они заглатывают и выплевывают темнокожих людей, группки распадаются, образуются новые, слитный тревожный рокот то усиливается, то стихает, то усиливается, то стихает, и по мраморным полам шлепают подошвы кроссовок.

Углядеть Киллиана оказалось нетрудно, он стоял возле дверей лифта. Сегодня он вырядился в светло-серый, в широкую белую полосу, костюм и лиловую мелкоклетчатую рубашку с белым воротником. Рядом с ним — пожилой невысокий белый мужчина в куртке. Подходя, Шерман услышал, как Киллиан говорит: «Скидку за оплату наличными?! Да вы что, Деннис? Бросьте, ради бога.— Маленький что-то ответил.— Сумма-то небольшая. Я всегда беру одними наличными. Половина моих клиентов вообще не знает, что такое чеки и с чем их едят. И потом ведь налоги! Так, по крайней мере, можно голову не ломать.— Тут он заметил Шермана, кивнул и заключил: — Так что вот. К понедельнику гоните монету. А то я не смогу приступить к делу».

Маленький проследил за его взглядом, увидел Шермана, что-то тихо произнес и отошел, покачивая головой.

Киллиан сказал:

— Как поживаете?

— Хорошо.

— Бывали здесь раньше?

— Нет.

— Самое большое судебное здание Нью-Йорка. Видите вон тех двух мужиков? — Он указал на двух белых мужчин в пиджаках и галстуках, прогуливающихся между группами черных.— Адвокаты. Клиентов ловят.

— Не понял?

— Да очень просто. Высмотрят, подойдут и предлагают: «Эй, адвокат не нужен?»

— Авось, на его счастье, подвернется человек в беде?

— Вот именно. А вон стоит мужик, видите? — Он указал на человека в пестрой клетчатой куртке возле лифтов.— Его зовут Мигель Эскальеро, по прозвищу Микки Лифтёр. Тоже адвокат. Стоит у лифтов с утра и до обеда, и как проходит кто-нибудь по виду испаноговорящий, и понесчастнее, он сразу спрашивает: «J Necesita usted un abogado?»[1] Если тот ответит, что у него на адвоката денег нет, интересуется: «Сколько у тебя в кармане?» Полсотни долларов наберешь — и, пожалуйста, тебе адвокат.

— Что же он делает за полсотни? — поинтересовался Шерман.

— Доводит только до прений сторон. Если надо выступать на процессе, то уже не берется. И слышать не хочет. Узкий специалист. Ну, так как ваши дела?

Шерман рассказал о своих неудачных попытках связаться с Марией.

— Чует мое сердце, что она обзавелась адвокатом,— говорит Киллиан. А сам, прикрыв глаза, крутит шеей, как боксер перед началом поединка. Шерман находит это невежливым, но проглатывает.

— И адвокат не велит ей разговаривать со мной?

— Я бы первым делом ей это посоветовал, будь она моя клиентка. Не обращайте внимания. Это я вчера делал мостик с нагрузкой. Похоже, повредил малость шею.

Шерман смотрит на него с удивлением.

— Раньше я занимался легкой атлетикой,— говорит Киллиан.— Да вот допрыгался до компрессии. Так что теперь езжу в Нью-Йоркский атлетический клуб поднимать тяжести. Ну, и вижу, там все делают мостик с нагрузкой, и я за ними. Наверно, в моем возрасте уже нельзя. Я, пожалуй, сам попробую ее поймать,— заключил он и перестал вращать головой.

— Каким образом?

— Придумаю что-нибудь. Половина моей практики состоит в том, чтобы разговаривать с людьми, которым этого не хочется.

— По правде сказать,— признается Шерман,— меня это очень удивляет. Мария... Мария не из тех, кто осторожничает. Она, скорее, авантюристка. Любит риск. Девчонка из южного захолустья, которая докарабкалась до дома номер девятьсот шестьдесят два по Пятой авеню... Прямо не знаю... Вероятно, это наивно с моей стороны, но я думаю, что она искренне... Я думаю, что она меня любит.

— Ну, дом-то номер девятьсот шестьдесят два по Пятой авеню она тоже любит, ручаюсь,— сказал Киллиан.— И вполне может статься, что она решила больше не рисковать.

— Может быть,— согласился Шерман.— Но вот так взять и исчезнуть?.. Правда, ее нет всего два дня.

— Если на то пошло, от нашей конторы работает частный сыщик, бывший полицейский следователь по особо крупным делам. Но не будем пока что влезать без нужды в лишние расходы. Думаю, что и не понадобится. У них на вас никаких материалов нет. Я разговаривал с Берни Фицгиббоном, помните, я вам говорил, у меня знакомый в Отделе особо опасных преступлений Окружной прокуратуры Бронкса?

— Вы с ним уже связались?

— Ну да. Пресса оказывает давление, вот они и взялись проверять автомобили. Только и всего. А так у них никаких материалов нет.

— Почему вы в этом уверены?

— То есть как это?

— Откуда вы знаете, что он сказал вам правду?

— Ну, может, и не всю правду, но врать мне он не будет. Вводить в заблуждение.

[1] Адвокат нужен? *(исп.)*

— Почему?

Киллиан устремил взгляд в дальний конец вестибюля дома № 100 по Сентр-стрит. Потом посмотрел на Шермана. И спросил:

— Вы ничего не слышали про Банк Взаимных Услуг?

— Банк Взаимных Услуг? Нет.

— Ну, так вот. Вся работа в этом здании и вообще в системе уголовного судопроизводства города Нью-Йорка основана на принципе взаимных услуг. Все оказывают друг другу услуги. Раз, когда я только начинал в должности прокурорского помощника, мне досталось вести одно дело, и против меня был адвокат постарше, поопытнее. Он меня просто в бараний рог скрутил. Еврей один. Я ума не приложу, как к нему подступиться. Потолковал с прокурором, а прокурор был ирландец, как и я. Смотрю, он уже тащит меня в приемную к судье. Судья тоже был ирландец, старец, убеленный сединой. Помирать буду, не забуду. Входим, а он стоит у стола и играет в комнатный гольф, знаете, гоняешь мяч по ковру, а взамен лунок — чашки такие с отогнутыми краями. Вошли, а он даже головы не поднял, примеряется, как лучше ударить. Мой начальник ушел, я остался, стою. Судья говорит: «Томми...» Но смотрит только на мяч. Называет меня Томми, хоть я его вижу в первый раз, живого, а так — только в суде. «Томми,— говорит,— ты, похоже, хороший парень. Я слышал, один подлый еврей устраивает тебе тяжелую жизнь». Я прямо рот разинул. Это же против правил, чтоб... Ну, словом, вы понимаете. Стою, не знаю, как ответить. А он говорит: «Можешь об этом больше не беспокоиться, Томми». На меня так и не взглянул. Ну, я ему: «Спасибо, судья»,— и ушел. Но после этого уже не адвокат меня, а судья адвоката в бараний рог гнет. Я не успею выговорить: «Протестую!» — а судья уже: «Протест принят». Полный триумф. Так вот, это был в чистом виде взнос в Банк Взаимных Услуг. Я тогда еще ничем не мог отслужить судье. Взнос в Банк Взаимных Услуг — это не то что сразу «ты мне, я тебе». Это — накопления про черный день. В уголовном кодексе есть много скользких областей, где иногда приходится действовать, но стоит чуть оступиться, и не оберешься самых серьезных неприятностей, тут сразу нужна подмога, экстренная помощь. Вот поглядите на этих жучков,— он указал на рыщущих между неграми адвокатов и на Микки Лифтёра.— Их по закону могут арестовать. И если бы не Банк Взаимных Услуг, тут бы им и конец. Но если ты исправно делал взносы в Банк Взаимных Услуг, тогда можно заключить контракт. Это когда нужна крупная услуга. А заключил контракт, так уж не выполнить нельзя.

— Почему?

— Потому что у судейских есть такая пословица: «Что покатится, то и прикатится». То есть не позаботишься обо мне сегодня ты, тогда завтра и на меня не рассчитывай. Кто не слишком полагается на собственные силы, для того это довольно страшная угроза.

— И вы предложили вашему другу Фицгиббону заключить контракт? Правильно я выражаюсь?

— Да нет, просто он оказал мне заурядную любезность. О контракте пока речи нет. И, по моей наметке, вообще до этого не дойдет. В настоящее время, на мой взгляд, непредсказуемый фактор — это ваша приятельница миссис Раскин.

— Я думаю, она не сегодня-завтра объявится.

— Если позвонит, сделайте следующее: назначьте встречу и свяжитесь со мной. Я никогда не отлучаюсь от телефона дольше, чем на полчаса, даже в выходные. Мое мнение: вас надо будет зарядить.

— Зарядить? — в ужасе переспросил Шерман, догадываясь.

— Ну да. Зарядить записывающим устройством.

— Записывающим устройством?! — Из-за плеча у Киллиана Шерман снова увидел полуосвещенное пространство вестибюля, разглядел темные фигуры людей — одни стоят, просунув плечи в короба телефонов-автоматов, другие бредут из конца в конец своеобразной перекаты-

вающейся походкой, шлепая громадными подошвами кроссовок, или уныло стоят голова к голове, сбившись жалкими кучками. Микки Лифтёр хищно рыщет по краю этого разношерстного огромного стада.

— Пустячное дело,— говорит Киллиан, он думает, что сомнения Шермана носят технологический характер.— Магнитофон прикрепляется пластырем к пояснице. А микрофон под рубашкой. Маленький, с кончик мизинца.

— Послушайте, мистер Киллиан...

— Да просто Томми. Меня так все зовут.

Шерман посмотрел в его узкое ирландское лицо над белым, с загнутыми уголками воротничком лиловой рубашки. И ощутил себя словно на чужой планете. Он не будет звать его ни Томми, ни мистер Киллиан.

— Я встревожен происходящим,— сказал Шерман.— Но встревожен не настолько, чтобы тайно записывать на пленку свой разговор с близким мне человеком. Забудем об этом.

— Вполне правомерное действие по законам штата Нью-Йорк. Так делают сплошь и рядом. Человек имеет право записывать собственные разговоры. И по телефону, и лично.

— Не в том дело,— говорит Шерман. И машинально выпячивает йейльский подбородок.

Киллиан пожимает плечами.

— Я просто говорю, это нормальное кошерное средство, и бывает, иначе не заставишь человека придерживаться истины.

— Я...— Шерман уже готов был сформулировать некий благородный принцип, но испугался, что Киллиан может обидеться.— Я не могу.

— О'кей. Посмотрим, как пойдет дело. Во всяком случае, постарайтесь ее отыскать, и если удастся, тогда сразу сообщите мне. Я сам попробую договориться.

Выйдя из здания Уголовного суда, Шерман заметил, что и снаружи, на ступенях, угрюмыми кучками толпятся люди. Столько сутулых мужских фигур! Столько молодых черных лиц! Где-то среди них ему на миг привиделся долговязый щуплый паренек и рядом здоровенный громила. Пожалуй, это небезопасно — появляться вблизи учреждения, где каждый день, каждый час скапливается столько уголовников.

Как Элберт Вогель выискивает заведения вроде этого «Хуань Ли», Фэллоу просто не представляет себе. Опять та же чопорная скучища смертная, что и в «Риджентс-парке». Время самое обеденное и место подходящее, Пятидесятые улицы Ист-Сайда, рядом — Мэдисон авеню, а в ресторанном зале — тишь да гладь.

Две трети столиков, похоже, вообще не заняты, хотя точно не определишь, потому что темно и ширмы. Весь ресторан разгорожен черными деревянными ширмами с просвечивающими крючковатыми прорезями. А освещение такое хилое, что даже Вогель, сидящий тут же за столом, похож на картину Рембрандта: лицо, белоснежные волосы старой бабушки и крахмальная манишка, рассеченная галстуком, выхвачены лучом света, а остальное растворено в окружающей мгле. Время от времени из темноты бесшумно возникают китайцы-официанты с подносами и тележками, в белых куртках и черных галстуках-бабочках. Но как бы то ни было, обед с Вогелем у «Хуань Ли» обладает одним бесспорным достоинством: платит американец.

Вогель спросил:

— А может, все-таки передумаете, Пит? Здесь отличное китайское вино. Вы когда-нибудь пробовали китайское вино?

— Китайское вино отдает дохлыми, грязными мышами,— отвечает бескомпромиссный Фэллоу.

Ну, что его дернуло за язык? Он вообще перестал пользоваться этим прозвищем. Даже мысленно. Теперь он с Джеральдом Стейнером

шагает по газетному миру плечом к плечу и обязан этим — отчасти — Элберту Вогелю, но главным образом — собственному таланту. Вклад Эла Вогеля в его удачу с делом Лэмба он уже, пожалуй, склонен и забыть. Его теперь раздражает эта панибратская манера: Пит то да Пит сё,— и тянет ответить язвительно. Но, с другой стороны, через Вогеля осуществляется его связь с Бэконом и его людьми. Общаться с этой публикой напрямую, самому, ему бы не хотелось.

— К китайской еде, Эл, я иногда предпочитаю пиво,— говорит он.

— Да... Я вас понимаю,— отвечает Вогель.— Эй, официант. Официант! Господи, куда они все подевались? Я совершенно ничего не вижу в этой темноте.

Пивка и вправду бы сейчас неплохо. В сущности, пиво — это оздоровительный напиток. Вроде ромашкового чая. Похмелье у Фэллоу сегодня совсем пустячное. Так, туман в голове, и все. А боли никакой, только туман. Вчера благодаря своему новому укрепившемуся положению в редакции «Сити лайт» он выбрал момент и пригласил ужинать самую сексапильную редакционную барышню — большеглазую блондиночку Дарси Ластрега. Отправились в «Лестер», и он помирился там с Бритт-Уитерсом и даже с Каролиной Хефтшенк. В конце концов, все очутились за «английским столом» — и Ник Стоппинг, и Тони, и Сент-Джон, и Билли Кортес, и еще некоторые. Скоро попался на крючок и американец, готовый за все платить, парень из Техаса по имени Нед Перч, он все время объяснял, что заработал на чем-то там потрясающую уйму денег и накупил в Англии старинного серебра. Фэллоу развлекал компанию рассказами про жилые башни Бронкса — хотел похвастать как бы между делом своими успехами. Единственно, на кого это не произвело впечатления, была его дама, мисс Дарси Ластрега. Но в компании Ника Стоппинга и Сент-Джона ее быстро раскусили: заурядная американская дурочка без всякого чувства юмора — никто не трудился поддерживать с ней разговор, и она сидела безучастная, все глубже вжимаясь в спинку стула. Правда, Фэллоу зато каждые двадцать-тридцать минут оборачивался, обнимал ее за плечи и, вплотную приблизив к ней лицо, произносил как бы даже наполовину всерьез: «Просто не знаю, что со мной. Не иначе как влюбился. Ты ведь не замужем, а?» На первый раз она ответила ему улыбкой. На второй и третий уже не улыбалась. А на четвертый — стул рядом с ним оказался пустой, она улизнула из ресторана, а Фэллоу даже не заметил, когда. Билли Кортес и Сент-Джон принялись над ним потешаться, он очень обиделся. Какая-то инфантильная американская курица, а все-таки унизительно. И, выпив еще стакана три, ну, от силы, четыре, он тоже встал и ушел, ни с кем не попрощавшись. Вернулся к себе и вскоре уже спал.

Вогель все-таки разыскал официанта и заказал пива. И еще велел принести палочки для еды. Заведение «Хуань Ли» настолько коммерческое, что там вовсе не стремятся к этнографическому своеобразию и накрывают стол обычным ресторанным столовым серебром. Типично для американца — вообразить, что эти неулыбчивые китайцы будут польщены, если оказать предпочтение их национальным орудиям принятия пищи... Типично для американца — мучиться совестью, пока тебе не дадут возможности есть рисовую лапшу с мясом парой вязальных спиц.

Вогель, гоняясь по тарелке за скользкой клецкой, спросил у Фэллоу:

— Ну что, Пит? Признайтесь по честности, говорил я вам, что материал — пальчики оближешь, а?

Но Фэллоу его слова не по сердцу. Ему не нравится намек на то, что в самом материале, в деле Лэмба, как оно есть, коренится причина его успеха. Он коротко кивает.

Вогель, по-видимому, это уловил, так как спешит продолжить:

— Да, вы подняли действительно животрепещущую тему, Пит.

Весь город только об этом и говорит. А как написано — динамит! Просто динамит!

Теперь польщенный Фэллоу в спазме благодарности замечает:

— Должен признаться, сначала, при первом нашем разговоре, я сомневался. Но вы оказались правы.

И поднимает стакан с пивом в знак того, что пьет за здоровье Вогеля.

Вогель наклоняется чуть ли не лицом в тарелку, чтобы загнать прижатую концами спиц клецку в рот, прежде чем она снова выскользнет на волю.

— И что особенно важно, Пит,— это ведь не просто какая-то однодневная сенсация. У вас затронута глубинная структура всего города, классовая структура, структура расовых отношений, самой системы. Вот почему Преподобный Бэкон так ценит вашу работу. Он очень вам признателен.

Напоминание о Бэконе и его хозяйском участии в его успехе тоже не по вкусу Фэллоу. Как большинство газетчиков, которым кто-то подкинул выигрышный материал, он хотел бы верить, что это он сам совершил открытие и вдохнул жизнь в кусок глины.

— Он говорил мне,— продолжает Вогель,— он говорил, как он поражен, вот человек из Англии, только-только приехал и сразу нащупал основную проблему: какова здесь цена человеческой жизни? Одинаково ли стоит жизнь черного и жизнь белого? Самое главное именно в этом.

Фэллоу немного поплавал в сладком сиропе, но потом встревожился: куда это Вогель гнет?

— Но есть один аспект, где, мне кажется, надо бы ударить посильнее, я как раз говорил об этом с Преподобным Бэконом.

— Да? — отзывается Фэллоу.— Какой же?

— Клиника, Пит. На сегодня клиника отделалась легким испугом. По их словам, там «выясняют», как могло случиться, что к ним обратился подросток с сотрясением мозга, а ему наложили гипс на руку. Только вы ведь сами понимаете, Пит, к чему это их «выяснение» сведется. Наболтают с три короба и улизнут от ответственности.

— Возможно,— говорит Фэллоу.— Но Лэмб, согласно регистрации, ни словом не обмолвился о том, что был сбит машиной.

— Да он уже, наверно, был не в себе, Пит! Они сами обязаны были обратить внимание на общее состояние пострадавшего! Вот почему и ставится вопрос: одинакова ли цена жизни черного и жизни белого? Нет, говорю вам, надо дать им в клинике как следует по мозгам. И время сейчас как раз подходящее. А то интерес к вашей теме немного заглох, поскольку полиция не отыскала ни машину, ни того, кто сидел за рулем.

Фэллоу помолчал. Ему не нравится, что им так откровенно командуют. Затем проговорил:

— Я подумаю. У меня впечатление, что они дали вполне исчерпывающий ответ. Но я еще подумаю.

Вогель не отступается:

— Тут вот какое дело, Пит, я буду с вами совершенно откровенен, Бэкон уже связался по данному вопросу с Первым телеканалом, но вы были... как говорится, наш человек номер один, и мы бы хотели, чтобы за вами сохранилось преимущественное право на этот материал.

Ваш человек номер один! Какая возмутительная наглость! Но Фэллоу не стал показывать Вогелю, как его покоробило. Он просто задал вопрос:

— Что это за дружеские связи у Бэкона с Первым телеканалом?

— Вы о чем?

— Ну как же. Он дал им исключительное право на передачу с места первой демонстрации.

— Д-да... Это правда, Пит. Я буду с вами разговаривать совершенно в открытую. А вы откуда узнали?

— Да этот — как у вас называется? — телеведущий их мне сказал. Корсо.

— А-а. Видите ли, у нас это делается так. Вся служба теленовостей относится к Отделу общественных связей. Каждое утро в редакциях известий ждут, чтобы из Отдела им спустили списки тем, которые можно показывать, и из них выбирают, что приглянется. Весь фокус в том, как привлечь их внимание к своей теме. Сами они народ малопредприимчивый. Другое дело — если что-то уже напечатано в газете.

— Например, в «Сити лайт»,— говорит Фэллоу.

— Д-да, скажем так. Я от вас ничего не скрываю, Пит. Вы — настоящий газетчик. Когда на телевидении видят, что настоящий газетчик нащупал какую-то тему, они тут же на нее и набрасываются.

Фэллоу лениво откинулся на спинку стула и отпил большой глоток пива. Окруженный зловещей ресторанной полутьмой, он предвкушал, как сделает еще один сенсационный разоблачительный материал — о работе телевизионной службы новостей. Но это потом. А сейчас ему все-таки очень лестно и приятно, что телевидение с такой жадностью набросилось с его подачи на дело Лэмба.

Не прошло и нескольких минут, как он уже убедил себя, что статья о преступном равнодушии медиков будет всего лишь логическим развитием его предыдущей публикации. Он бы и сам додумался, и совершенно он не нуждается в подсказке этого дурачка-янки с круглыми румяными щечками.

Сегодня Рэю Андриутти, Джимми Коуфи и Ларри Крамеру достались дармовые сандвичи от штата Нью-Йорк исключительно благодаря затянувшемуся делу Вилли Франсиско. После того как на старого толстяка-присяжного Мак-Гуигана внезапно напали сомнения, судье Мелднику понадобилось ни много ни мало — четыре дня, чтобы поспрашивать кого надо и заиметь собственное мнение в вопросе об отмене вынесенного вердикта. Сегодня утром он, наконец, объявил, что, ввиду отсутствия единогласия, вердикт отменяется. Но поскольку рабочий день начался, когда дело Вилли Франсиско еще считалось незавершенным, Глория, секретарша Берни Фицгиббона, имела право заказать для всего отдела сандвичи.

И вот Рэй, изогнувшись над столом, опять кусает разрезанный вдоль небольшой батон с сочной колбасной прослойкой, запивая желтым кофе из ведерной кружки. Крамер ест отдающий синтетикой ростбиф. А Джимми до своего почти не дотрагивается, он оплакивает крушение такого, казалось бы, верного дела. У Джимми Коуфи отличные показатели. В Отделе, как в бейсбольной команде, ведется личный счет очков: сколько каждый прокурорский помощник выработал обвинительных вердиктов и повинных признаний. И Джимми за два года не проиграл ни одного дела. Теперь, с досады, он проникся лютой ненавистью к этому негодяю Вилли Франсиско и его подлому преступлению, хотя Андриутти и Крамеру оно кажется заурядной бодягой. Странно наблюдать Джимми Коуфи в бешенстве. Обычно он держится с таким же черно-ирландским хладнокровием, как и сам Берни Фицгиббон.

— Знаю я, как это бывает,— злится он.— Сажаешь эту мразь на скамью подсудимых, а он начинает пыжиться, что твоя звезда эстрады. Видали, как этот чертов Вилли прыгал и орал: «Нет единогласия! Недействительно!»?

Крамер кивнул.

— Тоже мне законник, зараза, нашелся. Эксперт. А ведь другого такого болвана-подсудимого даже в Бронксском суде, охренеешь, не найдешь. Я позавчера сказал Байтельбергу, что если Мелдник отменит вердикт — а куда ему деваться? — мы готовы заключить сделку. Заме-

ним в обвинительном заключении «умышленное убийство» на «непредумышленное», только бы не устраивали пересуд. Так нет, куда там. Вилли на мякине не проведешь, он у нас больно умный. Вообразил, что мы лапки кверху. Что присяжные теперь у него вот где. А он между прочим на повторном суде загремит дай боже. Получит от двенадцати с половиной до двадцати пяти годков, хрен ему в рыло, а сговорились бы — так от трех до шести или от четырех до восьми.

Рэй Андриутти на минуту оторвался от своего суперсандвича, чтобы сказать:

— А может, он правильно рассчитал, Джимми. Если он признает себя виновным, то угодит за решетку на все сто. А присяжные в Бронксе такие, что еще бабушка надвое сказала. Слыхали, что вчера было?

— Что?

— Ну, с доктором из Монтока?

— Нет.

— Доктор один в Монтоке, небось Бронкса вообще в глаза не видывал. У него пациент страдал какой-то небывалой тропической хворью. Совсем ему плохо, а местная больница не берется его заболевание лечить, зато в Уэстчестерской есть особое отделение, оборудованное специально для таких больных. Ну, доктор заказывает перевозку, залезает вместе со своим пациентом и сопровождает его в Уэстчестер, но там в приемном покое больной умирает. Родные подают на врача в суд за преступную халатность. Но в какой район они направляют иск? Думаете, в Монток? В Уэстчестер? Как бы не так. В Бронкс.

— Каким это образом? — спрашивает Крамер.

— А таким, что перевозка следовала из Монтока в Уэстчестер по шоссе Майора Дигана, и их адвокат представил дело так, что якобы преступная халатность была допущена как раз на территории Бронкса, здесь его и судили. Присудили восемь миллионов долларов компенсации. Вчера только присяжные вынесли вердикт. Вот что значит адвокат, который разбирается в географии.

— Да ну,— махнул рукой Джимми Коуфи.— По-моему, про Бронкс знают все адвокаты Америки. В гражданских делах присяжные Бронкса служат орудием перераспределения богатства.

Присяжные Бронкса... Крамеру при этих словах видится вовсе не ряд темных лиц, как Рэю и Джимми... Он вспоминает безупречные белые зубы, приоткрытые в улыбке, и прелестный пухлый рот, лоснящийся коричневой помадой, и эти сияющие карие глаза... в самом центре Настоящей Жизни, в Манхэттене... Бог ты мой. Он остался с пустыми карманами, после того как заплатил по счету... Но когда они вышли, и он остановил для нее такси, и взял ее за руку — попрощаться и поблагодарить за вечер,— она задержала свою руку в его, и он тогда сжал чуть сильнее, и она тоже ответила пожатием, и они стояли так, глядя в глаза друг другу, то было чудесное мгновение, куда более упоительное, полное волнения и... вот именно, черт возьми!.. любви, подлинной любви, которая бьет поддых и переполняет сердце... чем когда-то, когда он блудил, как кот, и нахрапом выбивал очки на первых же свиданиях... Нет, он многое готов простить присяжным Бронкса. Благодаря суду присяжных Бронкса в его жизнь вошла Женщина Его Судьбы... Ах, Любовь, Судьба, «Переполнено сердце мое»... Пусть других коробит от выспренных слов... Пусть Рэй уплетает свой суперсандвич, а Джимми ворчит и злится на Вилли Франсиско и Лестера Мак-Гуигана — он, Ларри Крамер, витает в эмпиреях...

На столе у Рэя зазвонил телефон. Рэй поднял трубку и произнес:

— Особо опасный... Угу... Берни сейчас нет... По делу Лэмба? Крамер... Ларри.— Рэй оглянулся на Крамера и состроил постную гримасу.— Здесь. Хотите поговорить с ним?.. Минуточку.— И, прикрыв ладонью трубку, объяснил: — Из пула «Юридической помощи», некто Сесил Хейден.

Крамер встает, подходит к столу Андриутти и берет у него трубку.

— Крамер.

— Ларри, говорит Сесил Хейден из «Юридической помощи».— Такой жизнерадостный-жизнерадостный голос.— Это ведь вы ведете дело Лэмба?

— Ну, я.

— Ларри, нам с вами, по-моему, подошло время заключить сделку,— и до того доволен, дальше некуда.

— О чем?

— Я поверенный некоего Роланда Обэрна, который позавчера по решению большого жюри привлечен к суду за незаконное хранение и продажу наркотиков. Вейсс в заявлении для прессы назвал его «Королем крэка с Эвергрин авеню». Мой клиент был очень польщен. Почему, вы легко поймете, если когда-нибудь видели Эвергрин авеню. «Король» не сумел наскрести десять тысяч долларов для залога и пребывает в настоящее время в кутузке на Райкерс-Айленде.

— Да, но какое отношение все это имеет к делу Лэмба?

— Он говорит, что был с Генри Лэмбом, когда того сбила машина. Он отвез его в клинику. Он может описать того, кто сидел за рулем. И хочет заключить сделку.

(Окончание следует)

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ 1923

У. Б. ЙЕЙТС

Распятие отверженца

РАССКАЗ

Перевод с английского
Е. СУРИЦ

От переводчика

Великий ирландский поэт У. Б. Йейтс у нас досадно мало известен; проза же его покуда не переводилась вовсе. Влюбленный, как это с поэтами часто, в фольклор своей страны, Йейтс прилежно собирал его, обрабатывал и записывал. Печатаемое ниже — во многом результат этих его занятий. Строго говоря, предлагаемый текст едва ли можно назвать прозой. Правда, тут и не «проза поэта» в принятом смысле слова: фраза не ломится от метафор, скорее скромна и чуть ли не бедна; сама мысль принадлежит поэзии. Потому и пытаться не стоит ее переводить в приличные жанру «врезки» деловитые категории. Читатель волен согласиться или нет с нашими соображениями и сам поразмыслит о судьбе несчастного барда-отверженца-поэта.

Человек с темными легкими волосами и бледным лицом шел, почти бежал по дороге, вившейся с юга к городу Слайго. Для иных он был Кумал, сын Кормака, для иных — Быстрый, Дикий Конь; и был он бродячий певец в расшитом коротком камзоле, в остроносых сапожках, и он нес на плече тугую суму. В жилах его текла ирландская кровь, он родился в Златой Долине, но столовался и ночевал по всем пятинам Ирландии, и не было ему прибежища до самого края света. С одной из башен того, что стало потом Монастырем Белых Братьев, глаза его соскользнули на ряды крестов, черневших на холме чуть к востоку от города, и, сжав кулак, он погрозил тем крестам. Он понял: кресты не пустые: птицы вились над ними; он подумал: вот такого же, верно, скитальца подняли на один из крестов, и тихонько сказал: «Худо быть повешенным, удавленным, обезглавленным, побитым камнями. Но чтобы птицы выклевывали глаза, а волки глодали ноги! Нет, лучше бы уж красный ветер друидов иссушил в колыбели того воина Датхи, что принес нам смертоносное древо из варварских стран, или молния, поразившая Датхи у подошвы горы, заодно бы и его поразила, или зеленокудрые, зеленозубые водяные его погребли бы в пучинах вод».

Говоря так, он весь трясся с головы до пят и покрылся холодным по́том, и сам этому дивился: ведь на своем веку он повидал немало крестов. Он перешел два холма, прошел под воротами в зубчатой стене, свернул влево и остановился перед монастырской дверью. Дверь была

утыкана большими гвоздями. Он постучался, разбудил белеца[1]-привратника и попросился переночевать на гостином дворе. И белец положил на совок тлеющего торфа и провел его к большой голой постройке, крытой грязным камышом, зажег укрепленную между камнями в стене лучину, бросил тлеющий торф в очаг, дал ему две незажженные дернины и пук соломы, показал свисавшее с гвоздя одеяло, ломоть хлеба, кружку с водой на полке и в дальнем углу лохань. И белец ушел на свое место при двери. А Кумал, сын Кормака, стал раздувать тлеющий торф, чтоб поджечь пук соломы и дернины; но ему не удалось их поджечь, потому что они отсырели. Тогда он сбросил остроносые сапожки и выдвинул из угла лохань в надежде смыть со своих ног дорожную пыль; вода, однако, была так грязна, что дна не видно в лохани. Он сильно проголодался, не евши с утра, а потому не стал уж очень досадовать на воду в лохани, взял черный ломоть и надкусил, но тотчас сплюнул откушенное, потому что хлеб был черствый и плесневелый. Он и тут не стал давать воли гневу, ибо в горле у него пересохло; рассчитывая на вино или вересковый мед к концу дня, он пренебрегал встречавшимися по пути ручьями, чтобы слаще насладиться ужином. И он поднес к губам кружку, но тотчас ее отшвырнул, потому что вода оказалась вонючей и горькой. Он пнул кружку ногой, она разбилась о супротивную стену, и он снял с гвоздя одеяло, чтобы укутаться на ночь. Но едва он коснулся одеяла, оно все ожило из-за блох. И тут уж, сам не свой от ярости, он метнулся к двери, однако ко всему привычный белец запер ее на засов снаружи. Тогда он выплеснул воду и колотил в дверь лоханью до тех пор, покуда белец-привратник не подошел к двери, справляясь, что тревожит его и зачем он не дает ему спать.

— Что тревожит меня? — вскричал Кумал.— Да разве дернины эти не столь же мокры, как пески долины Россес? А блохи в этом одеяле не столь же быстры? А хлеб не столь же черств, как сердце монаха, забывшего Бога? А вода в кружке не столь же горька и зловонна, как его душа? И не того ли цвета вода в лохани, какого станет он сам, обуглившись на Вечном Огне?

Белец уверился в надежности засова и воротился на свой пост при дверях, ибо его так клонило в сон, что он не мог получать удовольствия от беседы. Но Кумал все бился, и вот, наконец, он снова услышал шаги и закричал:

— О монахи, род трусливый и лукавый, гонители и теснители бардов, певцов, ненавистники жизни и счастья! Чурающиеся правды и не владеющие мечом! О род, приводящий в робость кости народа[2] трусостью своей и коварством!

— Певец,— сказал привратник ему в ответ.— Я и сам умею слагать стихи. Немало я их сложил, сидя при дверях, и мне горько слышать, как барды поносят монахов. Брат мой, мне хочется спать, а потому я довожу до твоего сведения, что об удобствах странников печется у нас сам глава монастыря, наш преосвященный игумен.

— Что же, спи,— сказал Кумал.— А я спою проклятие барда игумену.

И он перевернул лохань, поставил ее под окном, сам на нее встал и начал петь во всю глотку. Пение разбудило игумена, он сел в постели и свистел в серебряный свисток до тех пор, пока не дозвался привратника.

— Я глаз не мог сомкнуть,— сказал он.— Что такое? Что за шум?

— Это бродячий певец,— отвечал ему привратник.— Он недоволен хлебом, питьевой водой, водой для омовенья ног, одеялом. И он проклинает вас, отец настоятель, и ваших батюшку с матушкой, и дедушку вашего с бабушкой, и всех ваших сродников.

— И проклинает в стихах?

---

[1] Человек, готовящийся к пострижению в монахи. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Ср. Книга Иисуса Навина, 14, 8: «...привели в робость сердце народа...»

— Проклинает в стихах, и с двумя ассонансами в каждом стихе проклятья.

Игумен сдернул ночной колпак и сжал в кулаке, и плешь в кружке седых волос на голой его голове была как могильный курган Нокнарии [1], ибо в Коннахте [2] не отказались еще от древней тонзуры.

— Что-то надо предпринять,— сказал он.— Не то он обучит своим проклятьям уличных мальчишек и девушек, болтающих у дверей, и разбойников на склонах Бен Булбена [3].

— Так, может быть, мне пойти,— сказал привратник,— и дать ему сухих дернин и свежего хлеба, и чистую воду в кружке, и чистую воду для омовения ног, и новое одеяло, и пусть он поклянется Святым Бенигнусом и уж солнцем и луной на всякий случай, что он не станет учить своим стихам уличных мальчишек и девушек, болтающих у дверей, и разбойников на склонах Бен Булбена?

— Ни наш Благословенный Патрон, ни солнце и луна тут не помогут,— отвечал ему игумен.— Ибо не завтра так послезавтра на него опять найдет охота проклинать, либо поэтическое честолюбие в нем взыграет, и он научит своим стихам мальчишек, и девушек, и разбойников. Или, чего доброго, расскажет собрату по ремеслу, как его принимали на нашем гостином дворе, и тот тоже начнет проклинать, и погибло тогда мое доброе имя. Ибо знай — переменчив ум на дорогах, и решение твердо лишь в четырех стенах под кровлей. А потому я велю тебе — иди разбуди брата Кевина, брата Голубя, брата Волчонка, брата Лысого Патрика, брата Лысого Брендона, брата Иакова и брата Петра. И пусть они свяжут его веревками и окунут в реку, чтоб он перестал петь. А утром, чтоб неповадно было нас порочить, мы его распнем.

— Все кресты заняты,— сказал белец-привратник.

— Значит, придется тесать новый. Не мы — так другие его прикончат, ибо кто же может есть и спать спокойно, покуда подобные люди ходят по свету? Да и как мы посмотрим в глаза Благословенному Святому Бенигнусу и какое у самого у него будет лицо в День Страшного Суда, если мы предстанем пред ним, упустив из рук его недруга? Брат мой, ни единого нет среди этих поэтов, кто не плодил бы ублюдков по всем нашим пятинам, и, вспоров кошелек или глотку, а уж одно из двух непременно случается, им и в голову не придет исповедаться и принести покаяние. Назови мне хоть одного, кто бы не был в душе язычником, томящимся вечно по Сыну Ллира, и Ангусу, и Бригите, и Дагде-Богу, и Дане-Матери, и всем ложным богам старины; не слагал бы оды во славу бесноватых царей и цариц Финвараха, чей дом в твердыне Круахана, Логайре Сокрушителя и Скела сына Барнене, и не бросал бы вызов Богу и Христу и Святым нашей Церкви!

Говоря так, он осенял себя крестным знамением, а когда кончил, натянул колпак на уши, чтоб заглушить звуки, закрыл глаза и приготовился опять отойти ко сну.

Брат Кевин, брат Голубь, брат Волчонок, брат Лысый Патрик, брат Лысый Брендон, брат Иаков и брат Петр сидели на своих постелях, и белец-привратник поднял их на ноги. И они связали Кумала, и поволокли к реке, и окунули в том месте, которое назвали позже Ивовым Бродом.

— Певец,— сказал ему привратник, когда его вели обратно на гостиный двор,— зачем использовать разум, дарованный Богом, для грязных, кощунных стихов и речей? Ибо таков обычай твоих собратий. Много помню я стихов и речей ваших едва ли не наизусть, и я знаю, о чем говорю! И зачем славословить бесноватых Финвараха, Логайре Сокру-

---

[1] Холм к юго-западу от Слайго, по преданию — место погребения легендарной королевы Маив, вошедшей в английский и кельтский фольклор и в английскую литературу как королева Маб.

[2] Одно из графств («пятин») Ирландии.

[3] Гора в Коннахте.

шителя и Скела сына Барнене? Я и сам обладаю великим разумом и ученостью, но только и делаю, что славлю нашего преосвященного игумена, и нашего Патрона Бенигнуса, и ближних правителей наших. Душа моя чиста и прилична, твоя же — как ветер в темных садах. Я сказал тебе все что мог, ибо я обо всем пекусь, но такому, как ты, кто поможет?

— Друг,—отвечал ему певец,— в самом деле, душа моя — как ветер, и она вечно бросает меня взад-вперед, вверх-вниз и не дает уму моему покоя, оттого и зовут меня Быстрым, зовут и Диким Конем.

И больше он в ту ночь ничего не сказал, потому что зубы у него стучали от холода.

Утром к нему явились игумен с монахами, велели ему готовиться к распятию и повели со двора. И пока он стоял на приступке, стая журавлей пролетала над ним с гулким криком. Он простер к ним руки и сказал:

— Ох, журавли-журавушки, погодите немного, и моя душа, может статься, полетит вместе с вами к бескрайнему берегу, к буйному морю!

У ворот окружили их нищие, вечно подстерегавшие странников и паломников, ночующих на гостином дворе. Игумен с монахами повел певца в глубь леса, где росли стройные молодые деревья, и ему велели срубить деревцо и обстругать до нужной длины, а нищие стояли вокруг кольцом, переговаривались и размахивали руками. Потом ему велели срубить деревцо покороче и прибить гвоздями к первому. И крест был готов, и его взвалили на плечо Кумалу, потому что распять его надлежало на вершине холма, где стояли уже другие кресты. Так прошли они с полмили, и он их попросил постоять, посмотреть фокусы, потому что он искусен во всех чудесах Ангуса Благородного. Монахам постарше не хотелось зря терять время, но молодым было любопытно, и чего только он им не показывал, даже лягушек вытаскивал у них из ушей. Но скоро они ополчились на него, говоря, что фокусы эти скучны, даже нечестивы отчасти, и снова взвалили крест ему на плечо. Еще полмили прошли, и он их попросил постоять и послушать шутки, потому что ему ведомы, он сказал, все шутки Конана Лысого, по спине поросшего овечьей шерстью. И молодые монахи, наслушавшись этих веселых речей, снова взвалили на него крест, ибо не пристало им слушать подобные бредни. Еще полмили прошли, и он их попросил постоять и послушать песни про прекрасную лилейноперсую Дейрдре, о том, как претерпела она много скорбей и как сыны Уснеха из-за нее погибали. И молодые монахи жадно ловили каждое слово, а потом разозлились и били его за то, что он разбередил в их сердцах давно позабытую жажду. И взвалили на него крест и погнали его к холму.

Вот он взошел на вершину, и у него взяли крест и стали рыть для креста яму, а нищие стояли вокруг и переговаривались между собою.

— Я прошу перед смертью последней милости,— сказал Кумал.

— Кажется, довольно было отсрочек,— сказал игумен.

— Я и не прошу отсрочки. Я обнажал меч, и говорил правду, и сны мои были явью — так чего же мне еще!

— Ты хочешь, может быть, исповедаться?

— Ну нет, клянусь солнцем и луною! Я хочу только, чтобы мне позволили съесть то, что лежит у меня в суме. Я всегда беру в дорогу еду, но не прикасаюсь к ней до тех пор, пока совсем не изнемогаю от голода. И я уж два дня ничего не ел.

— Ешь на здоровье,— сказал игумен и отвернулся, чтоб помочь монахам рыть яму.

Певец вынул из сумы хлеб и несколько ломтей копченого окорока и разложил на земле.

И сказал:

— Я хочу дать десятину бедным.

И отделил десятую часть от хлеба и окорока.

— Кто всех бедней между вами?

И тут поднялся страшный крик, каждый нищий завел рассказ о своих скорбях и невзгодах, и желтые их лица качались, как Гара-озеро, когда в него хлынули болотные воды.

Он послушал немного, потом сказал:

— Я сам всех бедней, потому что брел по голой дороге вдоль скал. И плечи мне тяготил мой ветхий расшитый камзол, и сбитые острономые сапожки не веселили мне ног, потому что в сердце жил белобашенный город, полный богатых уборов. И унылее некуда был мой одинокий путь по голой дороге вдоль скал, потому что в сердце звучал шорох розового подола благороднейшей самого Ангуса Благородного, прелесть шутки постигшей тоньше, чем сам Конан Лысый, а мудрость слез глубже, чем сама лилейноперсая Дейрдре, той, кто лучше, чем брезг рассвета для плутающих в черной ночи. А потому я по праву определяю эту десятину себе; но поскольку я со всеми и вся в расчете, я жертвую ее вам.

И он бросил хлеб и ломти окорока нищим, и они орали и дрались, пока не доели последний кусок. А монахи тем временем пригвоздили певца к кресту, укрепили крест в яме, засыпали яму землей и как следует ее затоптали. И потом ушли, а нищие остались сидеть вокруг креста. Но когда солнце стало клониться к закату, они тоже собрались уходить, потому что похолодало. И едва они тронулись в путь, волки, еще раньше показавшиеся на опушке ближней рощи, окружили крест, а птицы вились все ниже и ниже.

— Погодите вы, отверженцы, погодите хоть немного,— слабым голосом взывал к нищим распятый,— охраните меня от зверей и птиц.

Но нищие разозлились, что он назвал их отверженцами, и они кидали в него камнями и грязью, а одна нищенка подняла к нему дитя, сидевшее у нее на руках, и кричала, что он его отец, и ругала его, и они ушли. И волки окружили подножье креста, и все ниже и ниже вились птицы. А потом, все разом, птицы обсели ему голову, плечи и руки и стали клевать, и волки стали грызть ему ноги.

— Отверженцы,— стонал он.— Что же все вы ополчились против отверженца?

НОБЕЛЕВСКАЯ
ПРЕМИЯ
1901

СЮЛЛИ-ПРЮДОМ

Правда

ГЛАВЫ ИЗ ПОЭМЫ

Перевод с французского
ИВ. ТХОРЖЕВСКОГО

[Предисловие переводчика. Париж, 1925 г.]

Несчастная для родины война и, следом за ней, коммуна. Сюлли-Прюдом пережил это, как и мы.

Тогда кровавая буря пронеслась быстро. Но попасть в прежнюю душевную колею и тогда оказалось немыслимо.

До войны Сюлли-Прюдом писал только изысканные лирические стихотворения: ровные матовые жемчужины! Он не перестал создавать их и позже. Но один из последних его сборников озаглавлен «Тщетная нежность». И в этой иронии над собою прозвучала острая боль возросшего сознания.

Солдат-доброволец в дни осады Парижа, мечтатель, увидевший воочию свой народ в самом унизительном обнажении, Сюлли-Прюдом все настойчивее искал душой счастья для всех, справедливости. Он стал писать философские поэмы, все более широкие по своему захвату. Лучшая из них — «Правда». (...)

Первая ночь

Искатель

Не нужно Правде сдержанного друга.
В бой, всею страстью, за нее!
В углу мой панцирь... Ржавчиной досуга
И пылью тронуто копье.

Я отточу стальное острие!
А панцирь — беспощадно туго
Сдави мне грудь! но тень испуга
Залей в сияние твое.

Жизнь! зверь, неверный, страшный,
И ласковый. В бой рукопашный,
В обхват! я выпытаю хрип
У злого сфинкса! как Эдип,
Я выжму тайный стон разгадки...

К ответу, жизнь! Оставим прятки.

Голос

Не в Правде — тайна красоты!
Отнять у мира смех и краски,
Лишить стихи певучей ласки,
Зачем? добиться нищеты?

Перед тобой, полна соблазна,
Природа блещет сквозь туман,
А ты стремишься неотвязно
Куда-то в угол, за экран?

Ты хочешь голого скелета,
Немых, обглоданных костей?
Что в Правде — без приманок света
И обольщения страстей!

Неблагодарен, непослушен,
Увидишь: жалкий результат!

Искатель

Чей это голос? Я подслушан!
Но кто — мой тайный супостат?

Давно я бросил тихий мир долин,
Бред юных песен, пылкого надлома,
И, закаленный холодом вершин,
Ловил в горах раскаты грома.

В мерцаньи льдов и в грохоте лавин
Терялся я. И крутизна подъема
Мне рисовала блеск былых картин,
Цветы, растоптанные дома.

И тайный голос, гибко молодой,
Звенел — о цельности былой!
Я гнал его. Но вся моя природа
С ним заодно решила бунтовать:

И раздвоенью не было исхода:
Безумно — верить! И не стоит — знать.

Когда-то разум плавал в высоте
Бесстрашный, гордый, ослепленный!
Так, как лунатик, вверившись мечте,
По крышам бродит, усыпленный.

Но крикнуть: стой! и грезы уж не те.
В очах — крушенья мрак бездонный.
И жалок разум пробужденный,
Как не был жалок в слепоте!

Наукой взорван замок привидений!
Но вместо ярких, светлых заблуждений
Рой бледных выходцев земли,

Туманных истин, топчется в потемках...
Вся красота погребена в обломках.
А где же Правда, свет вдали?

На поиски! Но точки нет исходной:

Начала нет! Чем глубже, мрак темней.
И мир, еще до наших дней,
Кипит в броженьи, несвободный.

В его котел, на дно вещей,
Какой лег замысел холодный?
Откуда он? До солнечных лучей
Где было взяться мысли благородной?

Все тайна! И туманна цель:
Куда летит вся эта карусель,
Круговорот усилий, стонов?..

Концы во тьме; истоков не дано.
И все отрывочно, темно:
И ход вещей, и смысл законов.

Голос сновидения

Он засыпает. У порога
Я в колебании стою:
Послать ли грез ему немного?
Иль дать забвения струю?

Его утешить? из развалин
Вернуть Любви былую тень?
Но слишком бледен и печален
Тогда наутро будет день!

Предстать ли Славой, в юном блеске
И с гордо поднятым челом?
Но звук трубы разбудит, резкий,
Его над письменным столом.

Иль скинуть с Правды, им желанной,
Непроницаемый покров?
Но мягче свет ее — туманный.
Пусть лучше спит, не зная снов!

Четвертая ночь

Искатель

Вожди? тростник! Приказы? шорох слов!
Но слепо верят им солдаты.
Так в цирках дрессируют львов:
«В круг, рысью марш, как автоматы!»

И взмах бича... Прием не нов;
И звери трепетом объяты.
Но если, вдруг, настанет миг расплаты?
Вдруг поумнеют и подымут рев?

Один их бунт,— но до конца, серьезный! —
Разоблачит всю немощь воли грозной,
Разжалует капрала и царя.

Что дисциплина? Страх, почти без смысла.
Внушение! Толпу морочат зря...
А сила, власть — там, где большие числа.

Голос

Молчи, не предавай, изменник!
Такая проповедь — змея.
Солдат не раб, и он не пленник;
Бесчестна выдумка твоя.

Он повинуется не старшим,
А родине. Она зовет!
И тени предков, стройным маршем,
Волшебно строятся — в поход.

За офицером — и к победе!
Отвагой старших боевой,
Призывами гремящей меди
В солдате пробужден герой.

На пушку, к явному закланью!
Погибни сам, но одолев!

Искатель

Убьют загонщика,— и ланью
Бежит опомнившийся лев.

Народы ссорятся: дуэль!
Блестят, в безумии военном,
Знамена, подвиги... А цель?
Побольше падали гиенам.

Судьба — игрок. Какой-то хмель
Зажмет, и держит грубым пленом,
Тасуя карты всех земель...
Но в этом счастьи переменном

Нет правды! Все рубить сплеча?
Безнравствен приговор меча!
Как можно суд — вверять могилам?

Как можно Бога, сгоряча,
В людские храмы залуча,
Тянуть в сообщники — кадилом...

Голос

Но Бог решает! Неподкупный
Во все века, для всех церквей,
Разноименный, всем доступный,
Он крепок правдою Своей.

Давно, в обломках прежней доли,
Эллада в тень погружена:
Пустырь на Марафонском поле,
Спит Саламинская волна.

Но книга подвигам сиявшим
Цела! И радужным венцом
Горит восторг — над добежавшим
И умирающим гонцом!

Решений, Богом присужденных,
Вовеки истина светла...

Искатель

А разве Бог, для побежденных,
Не перебежчик в лагерь зла?

«Дуб, вросший в землю темными корнями,—
Так рисовали часто род людской,—
С раскидистыми, дружными ветвями...»
Но ласков дуб под грубою корой!

Душист, и целен, и звенит листами...
А у народов, где герой,
Победными разгоряченный снами,
Другой, в цепях, себе же яму рой!

Да, род людской — дремучий, темный лес!
Готовы задушить друг друга,
Теснясь, деревья. Воду, луч небес,

Все отберут! А если вьюга?
Крушит и хлещет братьев великан...
Он сам — зеленый ураган!

Различны люди! Блеск — и мрак.
Скала— и брызги водопада.
Всех подводить под общий знак,
Пустые бредни верхогляда!

«Но люди братья...» Так бы надо,
А сердцем чувствуешь не так:
Толпа — назойливое стадо,
И тошен пьяненький земляк.

Дух братства, равенства прекрасен,
Но там, где сходство есть! А зря,
И готтентотского царя
Считать за брата? Не согласен!

Горилла, сердцем волосат...
Мне славный пес скорее брат!

Пятая ночь

Искатель

Все — дикари! Босяк громит тиранов,
А сам жену колотит, груб.
Он зол на знатных грубиянов:
Мне — «гражданин» — чуть цедят с губ!

А выше, в блеске ресторанов?
Бездушной мести волчий зуб:
«Чернь? перерезать как баранов!»
А на уме интрижка или клуб.

Все, как быки на красное, с проклятьем,
От слов и крови опьянев,
В бой так и лезут. Горе братьям!

Взаимный страх, взаимный гнев.
И память громоздит преграды:
Обломки трона... щепки баррикады...

Голос

Ты мрачен. В памяти твоей
Виденья ужасов и казней...
Я понимаю: чем страшней
Такие сны, тем неотвязней!

Но если шатко и темно
Истории седое зданье,
Оно гармонии полно:
Лишь отойди на расстоянье.

И в корне черном и глухом
Умей провидеть — тополь стройный:
Засеребрится он, спокойный,
В лазурном небе... но потом!

Гармония родится, плача,
Борьбы и судорог дитя...

Искатель

Смотри, бывает неудача!
Опасны роды не шутя.

Голос

Желанье — золотая чаша,
Напиток в ней неуловим.
Пылающий, как жажда наша,
Он только нами и любим.

Но каждый век свое похмелье
Вливает в чашу бытия.
И бродит огненное зелье,
Все слаще мутная струя!

Но вдруг пахнет и кровь, и деготь,
Отрава древняя слышна...
Так что же — выплеснуть? Не трогать
Хмельного, горького вина?

Дай время! в чаше у судьбы
Светлеет все, что было грустно...

Искатель

Я знаю, что кутилам вкусно;
Но виночерпии — рабы.

Мы процветем! А прежним поколеньям?
Что им за их упрямый пыл?
Наградой подвигам, стремленьям
Пустые шорохи могил?!

Их мир забудет иль забыл.
Не воскресишь их — сожаленьем!
И на пиру грядущих сил
Не будет места привиденьям.

Какой обман! Родись поздней,—
И сразу сыпь зерно в амбары!
А где же доля прежних дней?
А что же сеятелям старым?

Не им, под небом голубым,
Колосья, солнце — все не им!

Голос

Да, правнуки найдут, что скудно
Когда-то праотцам жилось.
Но позавидовать им трудно
Вперед, не зная, на авось.

Все эти блага без названий
Не искушают в нас мечты.
Не то что яд очарований
Знакомой сердцу красоты!

Обидно что? уйти в потемки,
Оставить поле, старый луг...
Но все равно, какой потомки
Изобретут позднее плуг!

А скудость жизненных скитаний
Душа сама позолотит...

Искатель

Ну, легким золотом мечтаний,
И охмелев, не будешь сыт.

Голос

Усни! безмолвная прохлада
Насытит сердце глубоко.
А завтра — новая отрада:
Вздохнув, потянешься легко,

Земле и солнцу вольной данью
Улыбку ясную пошлешь
Навстречу новому желанью!
Ты любишь жизнь, хоть и клянешь.

И если б, грозная, предстала
Сегодня смерть,— ты был бы рад
Свои проклятья, бред усталый,
Болезни, крики взять назад.

А то спокойно жмуришь очи:
«На солнце завтра погляжу!»

Искатель

Да, я боюсь угрозы Ночи.
Но солнцем я не дорожу.

Шестая ночь

Искатель

Дитя в обиде: бабочка капризней
Всего на свете,— прочь летит она!
Цветок ревнует к солнцу: ярче брызни!
И ветер вид имеет шалуна.

Но как обманчив вольный облик жизни!
Необходимость царствует одна.
Ей в мире звезд, как и в земной отчизне,
Подчинены и ветер и волна.

Живой цветок, иль мотылек нарядный,
Иль поплавок тревожный на воде,
И та рука, что тянется к ним жадно,
Все как часы рассчитано везде.

Жизнь движется вперед, неодолимо,
Одно с другим связав неумолимо.

Решает то, к чему влечет сильней.
И мы всегда предчувствуем решенье!
Что пересилит прочие стремленья,
То станет волею моей.

Но, в цепи сил перебирая звенья,
Мы чувствуем: «вот это всех прочней,
Оно скует!» И в цепи наших дней
Нет выбора — без побужденья.

«Да, я хочу...» того, что мне велит
Все существо мое! Мне только льстит
Наружный выбор, голову туманя.

И вот свободу — как игрушку няня —
Сует Природа: «выбери ярмо!
На нем твое стоит уже клеймо...»

Голос

Отравлен ум. В его горниле
Все погибает, все мертво.
Но непокорно злобной силе
Биенье сердца моего.

«Нет правды» — вот твоя наука.
Просеян мир сквозь решето!
Безумно сердце; но зато
Его сверлит чужая мука.

Оно отзывчивей меня;
У моего безумья — крылья,
И если ум простит насилье,
Я не прощу его, кляня!

Священна мне моя тревога:
В ней — голос вечного Судьи.

Искатель

Но справедливость и без Бога
Твердит веления свои...

Весы... Вначале — колебанья,
Взаимный стрелок перекор.
Потом все реже трепетанья...
И вот застыли: приговор!

Недвижны чашки — изваянья,
И груз на них немой укор.
Все ясно, бесполезен спор,
Незыблемы предначертанья.

Вот совесть! На ее весах
Всё, на земле, на небесах,
Мы можем мерить. Неподкупен

Их голос в сумраке земном...
И если целый мир преступен,
Нет Бога! или кровь — на Нем!

Религии убийство освящали,
«Гельца,— ребенка в жертву приготовь!»...
И кровь лилась! И люди величали
Священной жертвенную кровь.

Нам и теперь, в церковном ритуале,
Кровавую подносят чашу вновь:
Грешите с миром! вы вкушали
За вас распятую любовь.

Терзают Бога, жертву искупленья!
Кто ж в алой ране пьет спасенье?
Грех, окровавленный вампир!

Пути разбойника, святого
Неразделимы... Страшен мир,
И пурпур счастья — кровь другого.

Голос

Ты, заострив, кидаешь стрелы
Больной иронии твоей
В того, кто молится несмело
За всех страдающих людей!

Кто в церковь ходит в жажде света,
Кто первый бы тебе помог...
Такие люди — знак, что где-то
Есть в мире Правда, есть и Бог!

Не в дань ли вере их смиренной
И вниз опущенным глазам,
На язвы жгучие вселенной
Он проливал уже бальзам?

Дрожат ресницы... шепот вздоха...
Слеза — в ответ на мой вопрос?

Искатель

Я не стыжусь ее. Но плохо
Мы видим мир сквозь дымку слез.

Одиннадцатая ночь

«Град новый»

. . . . . .

Хор

Цепей тяжелых громыханье,
Шум, топот, грубая возня,
И сразу, в миг один,— молчанье!
И волны пенятся, звеня.

Так мы когда-нибудь отчалим
В туман, за золотым руном,
В суровый путь к лучистым далям...
И пусть на палубе содом:

Там — тишина, в открытом море!
Для многих гаванью тоски
Бывает жизнь; но выпьют с горя,
И побратались моряки.

Вперед, к спасенью и надежде!
Не дремлет Мудрость у руля:
Что день — уверенней, чем прежде,
Ведет громаду корабля.

Поэт

Душа! не в ней ли — край иной?
Бег корабля, и волн прохлада,
Все в нас самих! в душе одной
Запрет, и вызов, и преграда.

В ней подземелья, ночь разлада,
Провалы, с жуткой глубиной.
И Данте здесь, в душе земной,
Бродил извилинами ада.

Но Совесть — ранняя звезда,
Предтеча Правды, луч денницы...

О, приоткрой свои ресницы
И ясным взором, навсегда,

Раскрой душе ее богатства.
Сияй, веди — туда, где братство.

Хор

Из-за видений братства бледных
Дымилась кровь со всех сторон!
Но кровью, на скрижалях медных,
Смягчен безжалостный закон.

И день придет: потоком вешним
Добро заполонит сердца,
И стыдно будет распрям здешним
За беснованье без конца!

Неукротимей океана
Насилья алчная игра;
Но и на гребне волн обмана
Блеснет живой урок добра!

Все побеждается любовью!
И осенит семью людей,
Взлелеян жертвами и кровью,
Шатер оливковых ветвей.

Первый лауреат

Сюлли-Прюдом (Рене Франсуа Арман Прюдом, 1839—1907) стал в 1901 году первым лауреатом Нобелевской премии по литературе. Сравнивая его по масштабу таланта с такими корифеями французской поэзии «конца века», как Рембо, Верлен или Малларме, этому выбору как будто можно подивиться. На самом деле он вполне объясним. Во-первых, всех этих поэтов в 1901 году уже не было в живых, а посмертно Нобелевскую премию не присуждают. Во-вторых, знаменитых «декадентов», даже проживи они дольше, трудно вообразить себе увенчанными такой премией. В начале XX столетия, чтобы стать ее лауреатом, чтобы получить признание официальных общественных институтов, было недостаточно одного лишь таланта — требовалось еще такое качество, как *положительность*. Сюлли-Прюдом был талантливым и популярным положительным поэтом; таким его и нужно принимать — или, если угодно, не принимать.

Знак положительности отметил его едва ли не мистически — в самой фамилии «Прюдом», означающей буквально «честный, достойный человек», а в XIX веке получившей насмешливый смысл с появлением Жозефа Прюдома, нелепо-важного резонера, знаменитого героя карикатур и комедий Анри Монье. Положительный склад мышления был привит будущему поэту и буржуазным воспитанием, и точными науками, которые он изучал в юности; увлекшись ими, он едва не стал инженером и даже одно время служил на знаменитых сталелитейных заводах в Ле-Крезо. Свое пристрастие к позитивному знанию, к наукам о природе Сюлли-Прюдом перенес и в литературное творчество: в 1869 году он выпустил стихотворный перевод натурфилософской поэмы Лукреция «О природе вещей», научно-дидактический характер носят и его собственные философские поэмы, такие как «Правда» (1878), «Счастье» (1888). Своеобразным положительным духом проникнута и его лирика 60—70-х годов (сборники «Стансы и поэмы», 1865, «Испытания», 1866, «Уединения», 1869, «Тщетная нежность», 1875).

Для эпохи «конца века» положительность в эстетике означала прежде всего уважение прав поэтической *личности*. Здесь Сюлли-Прюдом продолжал традиции романтизма, воспевавшего самодостаточную, нередко могучую духом личность лирического героя. В 60-е годы, когда он вступил в литературу, наследием романтизма завладели поэты, объединившиеся в группу «парнасцев». Одним из парнасцев стал и Сюлли-Прюдом, хотя и далеко не последовательно разделял их программный принцип «объективной» описательности. В романтических традициях ему был ближе не культ сильной страсти, которую по-новому, отстраненно живописали парнасцы, а сентиментальная элегичность; в чувстве романтической меланхолии он находил залог цельности лирического героя, ту мелодию, что преодолевает раздирающие его душу диссонансы.

В этом пункте Сюлли-Прюдом разошелся с символистами, хотя и принадлежал к одному поколению со старшими из них (Малларме родился всего на три года, Верлен — на пять лет позднее). Символисты настойчиво стремились «потерять» авторское «я» поэта, растворить его в намеренно зыбком художественном мире — посредством ли «систематического расстройства чувств», доходящего до поэтического бреда (Рембо), или тонкими взаимопереходами «внешнего» и «внутреннего» (знаменитое верленовское «Il pleure dans mon coeur...»), или же запутанностью, уклончивостью поэтической речи (Малларме). Для Сюлли-Прюдома лирическое «я» незыблемо, оно устойчиво возвышается над окружающим миром, над собственными страданиями и сомнениями. В одном из лучших и известнейших стихотворений — «Разбитая ваза» (особенно охотно переводившемся русскими поэтами) — он, говоря о крушении любви, пользуется нарочито комнатным образом (заимствованным, по-видимому, у Теофиля Готье), который даже душевную катастрофу превращает в отстраненный объект:

Ту вазу, где цветок ты сберегала нежный,
Ударом веера толкнула ты небрежно,
И трещина едва заметная на ней
Осталась... Но с тех пор прошло не мало дней,
Небрежность детская твоя давно забыта,
А вазе уж грозит нежданная беда!
Увял ее цветок, ушла ее вода...
Не тронь ее: она разбита.

(Перевод А. Апухтина)

Поэт-философ возвышается над собственной слабостью и в поэме «Правда» (как перевел заглавие И. Тхоржевский, точнее — «Справедливость»). Его сознание разделено здесь на две ипостаси: лирический герой — Искатель — и мистический Голос, который в финале преображается в мощный хор небес. Разочарованный Искатель полон сомнений, «больной иронии», возводит хулы на мироздание — небесный же Голос проповедует ему твердое упование на мудрость и справедливость мира, на совершенствование рода человеческого. Подобно бессменному вождю французского романтизма Виктору Гюго, Сюлли-Прюдом верит в прогресс, и в поисках метафизического начала, на котором зиждется это поступательное развитие, он в своей поэме последовательно озирает все области мирового бытия. Он видит, что справедливости нет ни в природном мире, живущем по жестоким законам дарвиновской эволюции, ни в общественных и политических отношениях, где государства и граждане руководствуются эгоистическими страстями, ни в общем устройстве Вселенной, где господствует слепая сила тяготения, а вовсе не разумная божественная воля. Только в собственной душе обретает наконец Искатель незыблемую Правду, и это нравственное чувство, развиваясь в моральное самосознание, позволяет ему в конечном счете постичь все человечество как «Новый Град», возвышающийся над непросветленностью природного бытия и восходящий ко все большему духовному совершенству.

Герой поэмы Сюлли-Прюдома «Счастье», взыскующий высшей истины, носит имя Фаустус; в «Правде» диалоги Искателя с Голосом также прямо отсылают к философским беседам гётевского Фауста с Мефистофелем. Однако по сравнению с Гёте ситуация здесь обратная: сверхъестественный собеседник не разубеждает героя, не высмеивает его иллюзии, а, напротив, поднимает его дух, внушает ободряющие истины. Трагическая острота конфликта сглаживается: перед лицом мировой Справедливости метания и отчаяния Искателя — не более чем капризы неразумного дитяти, обидевшегося на промысел Творца. Так положительность в эстетике, основанная на принципе цельности художественного «я», переходит у Сюлли-Прюдома в положительность идеологическую — защиту либерально-рационалистического оптимизма, который в последние десятилетия XIX века переживал упадок и подвергался все более жесткой критике.

Такая апология рационализма, помноженная на богатые возможности дидактической риторики (сама форма поэтического спора двух аллегорических персонажей отсылает к риторической традиции), неизбежно ведет к многословию. В оригинале поэма «Правда» содержит более трех с половиной тысяч строк; из сокращенного перевода И. Тхоржевского, включающего примерно четверть этого массива, для данной публикации отобраны лишь отдельные главы. Они способны дать представление о поэзии Сюлли-Прюдома — этого запоздалого романтика, отстаивающего классические традиции разума, нравственной стойкости и веры в человека. В конце XIX века подобная позиция не могла не казаться консервативной (что и способствовало увенчанию поэта высокой премией) и даже несколько анахроничной; впрочем, такое периодически случается со всеми вечными ценностями культуры.

С. ЗЕНКИН

Переводя на русский язык...

Печальный романтик Сюлли-Прюдом оказался ему чрезвычайно созвучен. Не потому, что этот французский поэт стал первым лауреатом Нобелевской премии по литературе,— Иван Тхоржевский переводил его стихи в течение двух десятков лет. Еще на родине, в Петербурге, и потом в Париже. Вот, например, что он выбирал у Сюлли-Прюдома и как его переводил уже в годы эмиграции:

Есть ли в небе горе безутешней,
Радость ярче? Настежь буре вешней
Распахнулась молодость... Зачем?
Здесь и нега райская мечталась,
Здесь и ад изведан. Что ж осталось?
Умереть. Исчезнуть. Стать ничем.

Для Ивана Ивановича Тхоржевского позади была не только молодость, позади остались лучшие годы жизни — в России.

Литературные склонности воспитывались и поощрялись в семье, в которой он вырастал. Отец, Иван Феликсович, провинциальный адвокат, всю жизнь тянулся к поэзии. Сумел издать в Тифлисе «Собрание песен» Беранже и «Собрание стихотворений» Гюго — в этих собраниях преобладали переводы, подписанные псевдонимом «Иван-да-Марья» (общий псевдоним Ивана Феликсовича Тхоржевского и его жены Александры Александровны). Наконец, сборник переводов И. Ф. Тхоржевского «Грузинские поэты в образцах» вышел двумя изданиями, в Петербурге и в Тифлисе, еще в конце XIX века — это был вообще первый сборник переводов грузинской поэзии на русский язык.

Иван Иванович пробовать свои силы в поэтическом переводе начал еще в студенческие годы — вместе с отцом и матерью принял участие в переводе стихов Гюго для отдельного издания. Решил пойти по стопам отца, стать юристом; окончив Петербургский университет, был принят на службу в канцелярию Комитета министров, к тридцати годам он был помощником начальника Переселенческого управления, в этой должности сопровождал в поездке по Сибири П. А. Столыпина. В 1912 году получил придворное звание камергера, годом позже был назначен управляющим канцелярией Министерства земледелия. Стихотворство оставалось для него как бы отдохновением от деятельности служебной.

До революции на родине он успел издать две книжки собственных стихов: «Облака» (1908) и «Дань солнцу» (1916), а также сборники своих стихотворных переводов: «Стихи философа» М. Гюйо, «Песни и отрывки» Леопарди, «Tristia. Из новейшей французской поэзии». Иван Тхоржевский первым в России издал сборник Сюлли-Прюдома — не только в собственных переводах, но и в переводах многих русских поэтов.

Революция застала его в Петрограде. В 1919 году он вынужден был бежать через близкую финляндскую границу, вместе с семьей. Летом 1920 года бывший министр земледелия Кривошеин был призван генералом Врангелем возглавить правительство Юга России, должность управляющего делами Совета министров он предложил своему испытанному сотруднику. Тхоржевский прибыл в Крым уже в сентябре, когда поражение армии Врангеля стало неминуемым. В октябре последовало бегство из Крыма в Константинополь.

Долгие годы эмиграции И. И. Тхоржевский провел в Париже, где и умер в 1951 году. В парижских русских газетах, главным образом в газете «Возрождение», печатал свои мемуарные очерки, статьи, переводные, а также оригинальные стихотворения. Во время второй мировой войны, с трудом находя средства к жизни, бедствуя, он писал книгу критических очерков «Русская литература»; она вышла в Париже двумя изданиями — в 1946 и 1951 годах.

В годы эмиграции он много трудился как поэт-переводчик и выпустил книги: «Правда» (поэма) Сюлли-Прюдома, «Омар Хайям в переводах Ив. Тхоржевского», «Новые поэты Франции», «Диван» Гёте. Его наибольшей поэтической удачей признаются вольные переводы четверостиший Омара Хайяма, но его постоянной поэтической привязанностью оказался Сюлли-Прюдом.

Ныне эмигрантские издания тех лет, особенно газеты, стали библиографической редкостью, но лучшее, что создано поэтом-переводчиком, не должно пропасть.

Еще в 1919 году, в Петрограде, он написал:

Упала в грязь... хрипит проклятья злые...
Так вот она, вот бывшая Россия!
Спаси ей честь, о Боже, вразуми:
Заблудшую, забрызганную кровью,
Покрой ее сияющей любовью!
И если жизнь нужна моя — возьми.

Теперь, многие десятилетия спустя, можно было бы произнести, обращаясь к России: «Возьми что осталось!»

С. С. ТХОРЖЕВСКИЙ

НАТАЛЬЯ БОГОМОЛОВА

АБЕЛЬ ПОССЕ: НОВЫЕ ВРЕМЕНА, НОВЫЕ ЛИДЕРЫ

Несколько лет назад одна латиноамериканская газета провела дискуссию на тему: «А что после Гарсиа Маркеса?» Естественно, вопрос воспринимался не буквально. Предметом полемики стал анализ соотношения двух этапов развития литературы континента: того, что получил условное название «бума», и новейшего периода.

Так что же после «бума»? Удалось ли появившимся позднее авторам стать достойными преемниками блестящих достижений нового латиноамериканского романа? Что пришло на смену «магическому реализму»? [1] Сегодня мы хотим познакомить читателей журнала с автором, чья творческая судьба и чьи книги — часть ответа на эти вопросы.

Итак, аргентинский прозаик Абель Поссе. Родился в 1934 году, по образованию юрист, более четверти века состоит на дипломатической службе: работал в СССР, Перу, Италии, Франции, Израиле, в настоящее время — посол Аргентины в Чехо-Словакии. И один из самых популярных сегодня романистов Латинской Америки, чьи произведения удостоены престижных премий и переведены на многие языки. Заметим, что такое сочетание профессий — писатель и дипломат — стало едва ли не традиционным на латиноамериканском континенте (Рубен Дарио, Мигель Анхель Астуриас, Хулио Кортасар или, например, последний лауреат Нобелевской премии Октавио Пас). Причины? Абель Поссе объясняет их следующим образом: «Если я стал дипломатом, то скорее всего для того, чтобы, занимаясь литературой, не думать о деньгах: ведь книги вряд ли могли бы обеспечить меня. Кроме того, эта профессия помогает мне реализовать свои возможности. Она мне нравится, я ценю ее положительные стороны. А что касается отрицательных... зато у меня появился более широкий взгляд на мир и на жизнь, а это может с чем-то и примирить...»

Но главным в его жизни всегда оставалась литература:

«Я был писателем с детства. Уже лет в восемь-девять я добывал в хлебной лавке большие листы оберточной бумаги и писал на них романы. А потом продавал их деду. Да и в школе: впервые я прогулял уроки, когда отправился в библиотеку газеты «Пренса», чтобы отыскать материалы для исторического романа о Римской империи, который собирался писать. Мне исполнилось тогда тринадцать лет».

«В университетские годы мне было жалко тратить время на учебу, отрывая его от наслаждения читать. Гораздо важнее — бродить из кафе в кафе с друзьями, погружаясь в атмосферу ночного Буэнос-Айреса. Город давал нам свои уроки. И плохие, и очень важные: молодые писатели попадали в чрезвычайно требовательную среду, которая породила таких универсальных авторов, как Кортасар, Борхес, Бьой Касарес, писателей широчайшего кругозора, уникальных. В те годы в Буэнос-Айресе было очень много писателей, и они должны были знать буквально все: кто такой Лао-цзы, что такое буддизм, иметь достаточно ясное представление о Фрейде, потому что Фрейд был постоянной темой дискуссий в кафе (какая-то поистине аргентинская страсть к Фрейду). Говорили также о Ницше, немецкой философии, мировой литературе. Нам были досконально известны русская и французская литературы. Вот такой великолепный уличный университет. Буэнос-Айрес стал для нас ночным литературным университетом, и на годы моей юности пришелся его расцвет. Сейчас все это, кажется, утрачено...» [1]

Абель Поссе вошел в литературу в конце «разорвавшихся как граната», бурных 60-х годов. Первый роман «Морской рак» опубликовал в 1969-м. Эти хронологические вехи видятся сегодняшним исследователям как очень значимые. Потому что именно тогда

[1] Некоторым проблемам новейшей прозы континента была посвящена публикация Н. Богомоловой «Исабель Альенде: открытие 80-х». «ИЛ», 1989, № 8. *(Здесь и далее — прим. ред.)*

[1] Здесь и далее используются интервью с писателем, опубликованные в журналах «Ревиста иберoамерикана», 1989, № 146—147; «Куба», 1990, № 1.

в масштабах целого континента формировалось литературное поколение, которое, пользуясь нашей терминологией, можно было бы назвать поколением шестидесятников. Поколение, мощно заявившее о себе в начале 80-х и во многом определяющее расстановку сил в современной латиноамериканской прозе. Именно они, утверждают критики, выражают сегодня «стиль эпохи», дают общий знаменатель художественным исканиям новейшего романа.

И сегодня они продолжают реализовывать то, что заложили в них 60-е годы: дух протеста — социального, политического, культурного, стремление к крутой ломке, к разрушению мифов и ниспровержению авторитетов, к переосмыслению истории.

В том, как проходило их творческое становление, тоже много схожего. Годы ученичества большинство из них провело в Европе. Об этом не раз говорил в своих интервью Абель Поссе:

> Вопрос. Ты отправился в Париж. Это был обязательный для латиноамериканского писателя этап?
> Ответ. Да, тогда почти обязательный. У писателя, выросшего в Буэнос-Айресе, все ценностные координаты были сдвинуты в сторону Европы: будь то кино, живопись, литература... Мы обращали свои взоры только к Европе, и Буэнос-Айрес был огромными воротами туда.
> Мне было 24 года, Париж был для нас великой культурной столицей мира... Мне никогда не пришло бы в голову отправиться, например, в США. Грустно признаться, и это еще хуже, но не поехал бы я тогда и в Бразилию... Сейчас все изменилось. Молодежь, отчасти по экономическим соображениям, сначала путешествует по Америке и лишь потом попадает в другие части света. А в мое время садились на самый дешевый аргентинский пароход и направлялись прямехонько в Париж. И Париж давал нам чрезвычайно много...
> Я познакомился там с Кортасаром, Сартром, Нерудой. Сартр только что возвратился с Кубы, был переполнен впечатлениями, выработал свою, французскую, концепцию латиноамериканской реальности. Много говорил об этом...
> Я познакомился там с революционерами... Погрузился в очень напряженный, совершенно отличный от сегодняшнего мир: тогда верили, будто жизнь следует пересоздавать собственными руками...
> Вопрос. Ты разделял эти идеи?
> Ответ. Нет, я был независимым анархистом, как всякий писатель. Во всех своих поступках я был прежде всего писателем, хотя и сочувствовал тем идеям. отлично разбирался в том, что происходило вокруг. Не будучи непосредственным участником, находился вблизи от всего. И мир этот воспринимал как великое культурное движение, а не только в политическом масштабе.

Именно под таким углом зрения осмысливает в первом романе Абель Поссе жизнь латиноамериканских революционеров в Париже накануне 68-го года, когда все вокруг кипело, клокотало. Второй роман «Пасть тигра» — резкая смена декораций. Героями его также являются латиноамериканцы, оказавшиеся на чужой земле. И этой землей стала Россия, Москва. «Мир наоборот», экзотичный, непонятный, но невероятно богатый, будоражащий мысль, заставляющий переосмысливать собственную жизнь. Герои Поссе многое не могут здесь принять, и прежде всего — мощную, отлично организованную Систему:

> «В этой системе общественная жизнь превращается в гигантский спектакль, где лучшие актеры оставляют за собой главные роли... Лучшие — значит те, что остаются комедиантами даже в частной жизни. Их, непревзойденных лицедеев, предназначают для Руководства и Триумфа. Они как в бреду повторяют свои роли, пока не превращаются в подобие соломенных чучел, совершенно пустых внутри: они не смеют желать недозволенного, не грешат, не сомневаются, постепенно теряют человеческие свойства. Они делают Карьеру. Стремятся к Вершинам».

Но герои видят и другую Россию, ее культуру, природу, размышляют об ее истории, пытаются постигнуть тайну ее величия. Роман, по признанию автора, был важным этапом его художественного и духовного становления, но в нем Абель Поссе все еще оставался робким учеником, писателем, следующим по дорогам, проложенным другими. Хотя «Пасть тигра» и был удостоен Национальной премии Аргентины по литературе, он не принес удовлетворения автору.

Слишком сильным было влияние той литературной среды, в которой он формировался, слишком сильно давил авторитет завоевавших мировую славу писателей-соотечественников. Романисты этого поколения оказались в весьма сложной ситуации. Рядом с ними творили те, кто вывел латиноамериканскую литературу на мировую арену, открыл ее зарубежному читателю. С одной стороны, самим своим присутствием в литературе «мэтры» помогли следующим за ними поколениям уверовать в свои силы, встать на ноги. Но с другой — с самого начала более молодые авторы оказывались в тени прославленных современников. С одной стороны, последние помогали латиноамериканскому роману преодолеть комплекс провинциальности, давали ему импульс к ускоренному развитию. С другой — обрекали тех, кто хронологически шел за ними, на вечное пребывание на втором плане, на то, что их книги будут восприниматься в отраженном свете чужой славы. Не случайно, критики были щедры на эпитеты — «новый Гарсиа Маркес», «второй Кортасар», «молодой Борхес». А молодые хотели быть самими собой.

В результате возникло явственно выраженное и эстетически закрепленное стремление отмежеваться, оттолкнуться от опыта «великих» и найти свой оригинальный путь, чтобы спутать каждого из них с другими, было невозможно. На первых порах новые авторы в стремлении к непохожести создавали специфически молодежную литературу, которую — вполне в духе 60-х — отличали идейное и формальное бунтарство,

крайняя непочтительность к устоявшимся принципам и ценностям, острая критика любого конформизма, ханжества, социального лицемерия. Но постепенно, сохраняя острокритический по отношению к окружающему миру запал, пафос ниспровержения, они расширили круг тем, углубили эстетические поиски. Более сложным стало их самоощущение, более вдумчивыми попытки определить свое место в литературном процессе.

Одним словом, сформировалась осознанная установка на разрыв с предыдущей повествовательной линией. Но нельзя не подчеркнуть, ощущение того, что завершился, исчерпал свои возможности определенный этап развития романного жанра в Латинской Америке, овладело писателями разных поколений. Изжило себя, подхваченное и растиражированное эпигонами, многое из явленного «бумом». Преодолевать инерцию достигнутого начали и Гарсиа Маркес, и Варгас Льоса, и Фуэнтес... Наиболее проницательные критики назвали конец 70-х «этапом распада явления, которое выполнило свою роль в литературном процессе». Зародилось движение, получившее красноречивое название «постбум».

Термины «бум» и «постбум» более чем условны, когда речь заходит о двух этапах романного развития в Латинской Америке. Суть явления — в диалектическом взаимоотношении двух самостоятельных художественных систем, в «притяжении-отталкивании» двух эволюционных периодов. «Постбум» не просто результат борьбы разных поколений прозаиков, условно говоря — «старых» и «молодых». Это чисто внешнее выражение глубинного конфликта, определяющего существо нынешней литературной ситуации. В действительности в движении слились самые разные силы. Не только представители поколения шестидесятников, но и авторы, которые по возрасту не принадлежат к последнему и одновременно никогда не были героями «бума»: например, мексиканец Фернандо дель Пасо, аргентинец Мануэль Пуиг, чилиец Хосе Доносо. Кроме того, и это очень важно подчеркнуть, лидирующую роль в исканиях новейшей прозы нередко играют все те же Гарсиа Маркес, Варгас Льоса, Фуэнтес. Случается, что именно они делают рискованные рывки вперед, по сути опять и опять опережая революционно-настроенных новых авторов. Видимо приняв термин «постбум», следует обозначать им совокупность тех явлений, что нацелены на коренную ломку старой системы, с очевидностью не отвечающей потребностям сегодняшнего дня. Не случайно все чаще и чаще новейший латиноамериканский роман в целом называют «романом перелома», «романом разрыва», «романом смены вех».

Но надо, наконец, сказать и о «потребностях сегодняшнего дня», повлиявших на литературную ситуацию на континенте. Вероятно, стержневым, самым сильным для Латинской Америки последнего десятилетия стало ощущение состояния переходности. Демократические перемены, происходящие на континенте, и одновременный кризис левых движений, острое разочарование в результатах кубинской и никарагуанской революций — все это вызвало резкие сдвиги в общественном сознании. Самой насущной стала необходимость поиска новых путей движения вперед. И на первый план выдвинулась проблема, которую уругвайский писатель Эдуардо Галеано сформулировал так: «Латинская Америка еще не знает себя самое. Не знает собственного прошлого, и поэтому ей трудно понять свое настоящее и увидеть возможности иного будущего». Вполне естественно, что именно писатели взялись ответить на возникшие в обществе вопросы: «Кто мы такие?», «Каковы наши связи с миром?», «Что такое Латинская Америка?», «Как отыскать ключ к самобытности, сущности наших народов?».

Пожалуй, не так часто перед творческой интеллигенцией встает столь отточенная в своей актуальности формула общественного, социального заказа. И одним из путей его выполнения стала попытка восстановления связей с прошлым, открытия подлинной истории континента. Уверенным лидером художественных процессов выступил исторический роман. «Новая проза Латинской Америки пустилась в авантюру перечитывания истории»,— говорилось на XXVI Конгрессе Международного института ибероамериканской литературы, 120 участников которого обсуждали проблемы современного исторического романа (1989).

Для Абеля Поссе обращение к исторической теме явилось ключевым моментом в творческой судьбе. Роман «Даймон» (первая книга будущей трилогии), рассказывающий историю одного из конкистадоров — Лопе де Агирре, увидел свет в 1978 году, после семи лет напряженных поисков особого, способного донести авторскую идею стиля. Поссе считает эту книгу своей первой настоящей победой. «Даймон» был очень тепло встречен критикой, почти сразу переведен на пять языков. Но главное, по мнению автора, что здесь ему удалось выразить себя, свою личность.

Еще пять лет продолжалась работа над вторым романом трилогии, посвященной открытию Нового света. Героями «Райских псов» (1983) стали Христофор Колумб, испанские короли Фердинанд и Изабелла, индейцы, населявшие латиноамериканские земли. В 1987 году роман был удостоен Международной премии им. Ромуло Гальегоса, самой престижной в Латинской Америке. Она была учреждена в Венесуэле в 1967 году и с тех пор присуждалась раз в пять лет за выдающиеся заслуги в развитии романного жанра. Достаточно напомнить: ее лауреатом стал роман Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Результатам литературных конкурсов в Латинской Америке придается чрезвычайно большое значение. Победители немедленно оказываются в центре внимания прессы, в глазах критиков и журналистов как бы поднимаются на иную, более высокую ступень. Для них открываются двери издательств, газеты и журналы (от политических до спортивных) пестрят портретами очередных лауреатов, репортеры ловят каждое их слово. Подобные кампании, несомненно, оказывают влияние на формирование читательских вкусов, под их воздействием складывается общественное мнение. Что дала высокая премия конкретно Абелю Поссе?

«Премия помогла мне утвердиться, но самое главное — мое творчество как бы

стало литературным фактом. Я, подобно многим писателям, всегда был сам по себе, двадцать лет кочевал со своей пишущей машинкой из страны в страну, и никому, абсолютно никому не было до меня дела. Но все эти долгие годы, а они выпадают на долю любого писателя и нужны для внутреннего очищения, для самосовершенствования, для того, чтобы в голове все встало на места, так вот — эти долгие годы я верил: надо думать только о литературе. И тогда в конце концов, переступая через суету, через груды перенесенной на бумагу лжи, глупости и амбиций, ты придешь к большой победе... Последнее слово всегда будет за литературой. Надо только без оглядки отдаться под покровительство Ангела творчества, со всей страстью окунуться в стихию служения слову, и тогда в какой-то момент ты будешь вознагражден сполна...»

Поссе считает, что его проза обрела новое, глубокое дыхание, когда он начал «открывать свою Америку», когда «почувствовал в себе биение могучей энергии ее земли». И как ни парадоксально, процесс этот особенно интенсивно протекал в то время, как писатель находился далеко за пределами континента.

Вопрос. Ты хочешь сказать, что Латинская Америка стала для тебя реальностью, обрела конкретные очертания в твоем сознании, когда ты уехал в Европу?
Ответ. Да, именно так. Рикардо Гуиральдес говорил: «Как бы ни ругались критики, дистанция помогает понять нашу реальность». Он произнес это, работая над «Доном Сегунда Сомбра» в Париже.

Именно такой взгляд, такой опыт — издалека — во многом формируют наше латиноамериканское самосознание. Пока мы остаемся погруженными в нашу действительность, мы плохо различаем, что происходит вокруг. Это испытали многие латиноамериканцы, но только те, кто имеет счастливую привилегию заниматься литературой, могут выразить новое ви́дение, рассказать о нем другим...

Отметим чрезвычайно характерное для современной литературной ситуации в Латинской Америке явление: существование огромного, художественно весьма значимого пласта произведений, написанных в зарубежье. Писатели, по самым разным причинам на долгие годы оторванные от родной земли, остаются лидерами национальных литератур. При этом, безусловно, изменение среды обитания меняет и мировосприятие, сдвигает ценностную шкалу. Географические перемещения латиноамериканских авторов, принявшие массовый характер, существенно повлияли и на тематику, и на поэтику новейшей романной системы. Дистанция дает иной масштаб восприятия, в какой-то мере укрупняет художественные задачи. Только из Европы Абель Поссе, по его словам, смог постигнуть ту «удивительную общность, что представляет собой Латинская Америка». И только в Европе приблизился к пониманию сущности взаимоотношений, связывавших на протяжении пяти столетий два континента. Это стало сквозной темой его исторической трилогии:

«Я хотел воссоздать удивление человека из Европы, конкистадора, впервые увидевшего этот новый, еще до конца не сформировавшийся мир: водопады, вулканы, волшебные леса, невиданные птицы... Я хотел запечатлеть встречу двух цивилизаций, которая началась обменом подарками, а закончилась геноцидом, религиозным насилием. Я попытался рассказать, как бородатые боги (именно за богов приняли индейцы конкистадоров), прибывшие на каравеллах, безудержно грабят тот самый рай, что так восхищал их сперва. Это трагедия, в которой проигравшие — все...»

Ракурс исторического ви́дения как у Абеля Поссе, так и у других новейших романистов, несомненно, формируется под влиянием еще одного внешнего фактора — своеобразных хронологических рамок: с одной стороны, новейший роман соседствует с «пылающими» 60-ми и 70-ми (бурных событий этих двух десятилетий хватило бы на столетие), а впереди у него два таких неординарных момента, как 500-летие открытия Америки, которое будет отмечаться с огромным размахом во всем мире в 1992 году, и вступление человечества во второе тысячелетие. Обе даты настраивают на масштабные оценки, на обобщающий уровень осмысления действительности, заставляют не только смотреть в прошлое, но и проецировать его на будущее.

Не случайно особым вниманием у современных авторов пользуются периоды глобальных перемен, история на изломе эпох. Именно такой период делает объектом романного исследования в своей трилогии Абель Поссе: открытие Америки, «самое важное после рождения Христа событие в истории Европы».

Тема открытия Америки сегодня чрезвычайно модна. Об этом писала, к примеру, испанский критик Консуэло Варела: «Не знаю, сколькими еще романами о Колумбе нас отравят, развлекут, просветят, дезориентируют в оставшееся до юбилея 1992 года время». Но одновременно эта тема и хрестоматийна, существуют тысячи трудов — исторических, литературных, в деталях описывающих событие. Нужна особая уверенность в своих силах, чтобы еще раз коснуться ее. И вероятно, нужна действительно новая художественная концепция того исторического периода, чтобы заслужить внимание и высокие оценки читателей и критиков.

Главная особенность исторической трилогии Абеля Поссе — тесная связь с современностью, проекция на наше время.

«Я ни в коем случае не ставил перед собой задачи написать исторический роман. Я иду за пределы истории, к метаистории, если угодно,— чтобы понять нашу эпоху, чтобы понять наши корни, наши беды, наше затянувшееся отрочество... Поэтому я постоянно играю со временем: прошлое и настоящее смешиваются в круговом движении.

Романы потребовали от меня большой историографической работы. Я искал такой подход к документам, который выразил бы мою концепцию сущности происходящего в Латинской Америке. В первую очередь, я отказался от тривиальной политической трактовки истории, оперирующей европейскими категориями. И еще: я стремился воплотить свою концепцию в законченную эстетическую форму, чтобы она нашла свое художественное, а не головное выражение...»

Абель Поссе дал прежде всего, свой вариант решения проблемы соответствия исторической правды и художественной достоверности. Опираясь на известные исторические эпизоды, делая героями известных персонажей истории, автор отнюдь не ставит целью правдоподобное воспроизведение черт эпохи. Это лишь фундамент для построений — часто фантастических, нередко хрупких, целиком сориентированных на сегодняшний день. Проекция на современность у Поссе не только идейный стержень, но и художественный, основа поэтики, не случайно критики назвали роман «Райские псы» «потрясающе актуальным». «В треугольнике — Изабелла Католическая, Фердинанд Арагонский и Христофор Колумб — я увидел зарождение той грандиозной имперской мечты, что легла в фундамент наших сегодняшних несчастий...» — пишет автор. Роман, рассказывающий о далеком прошлом, насыщен элементами современной культуры, нашей жизни. Современный контекст, современная шкала ценностей, на которую накладываются события прошлого, определяют степень авторского внимания к тем или иным событиям XVI века.

Эмпирическая реальность вступает в книге в весьма причудливые отношения с реальностью художественной. Роман изобилует описаниями, мельчайшими деталями, призванными, казалось бы, дать близкий к оригиналу, «правдивый» портрет эпохи. Но у читателя сразу же возникает уверенность: перед ним сложная система зеркал, искривляющих (строго закономерно) изображение. Нет примитивного правдоподобия не только внешнего, бытового, но и психологического. Поссе не просто дополняет вымыслом документ, он не пытается самоцельно восстановить реальные черты эпохи, скрытые пластом веков. Он видит тот мир как бы из космоса, описывает его, сверяясь с логикой эпохальной эволюции.

В космический масштаб переводит автор и деяния своих героев. Они живут на скрещении исторических эпох, и они — материализация духа перемен, новых веяний: мир прощается с мрачным средневековьем, перед человеком открываются неожиданные возможности, неведомые ранее пути (схожим образом оценивают в Латинской Америке и сегодняшний этап их истории). Писатель видит особый смысл отдельных жестов, поступков, эпизодов из жизни героев. Так, любовь Изабеллы и Фердинанда, будущих Католических королей,— символ борьбы с отжившей аскетической моралью, утверждение неистовой свободы чувства, всеподавляющей власти плоти. Рассказ о путешествии Колумба — гимн поэтической неуспокоенности, дерзости человеческой мысли, нежеланию примириться с обстоятельствами. Но как это ни парадоксально, такое отношение к романным персонажам переплетается у Поссе с совершенно иным: писатель демифологизирует героев, не только очеловечивает, но и безжалостно снижает образы известнейших исторических лиц (кстати, это общая тенденция новейшего латиноамериканского романа, в таком ключе построен и рассказывающий о жизни Боливара «Генерал в своем лабиринте» (1989) Габриэля Гарсиа Маркеса). Напомним, что Изабелла и Фердинанд, а также Колумб — католические святые, а в романе они нередко возникают в заостренно карикатурном виде. Но, подчеркнем, такая трактовка известных образов не шокирует читателей. Почему? Отчасти потому, что едкая ироничность отдельных сцен уравновешивается общей поэтичностью стиля. Отчасти потому, что многое в романе задано и воспринимается как литературная игра.

«Я веду сюрреалистические игры, опираясь чаще всего на реальные факты, внутреннюю правду которых использую как трамплин. Это достаточно сложный прием. Думаю, история завоевания и колонизации Америки в том виде, как ее рассказали победители, содержит лишь малую долю истины, и я, романист, не могу писать книгу, доверяясь тем немногим документам и прямым свидетельствам имперских завоевателей, что дошли до нас, потому что они не дают нам точной версии случившегося, той трансдокументальной правды, которую я обязан восстановить.

Я иду на экзальтированную интерпретацию фактов. Документы — лишь источник информации о стиле доколумбовых цивилизаций. Археология и археоантропология помогают восстановить образ прошлого. И в результате он не только дополняет то, что можно было бы назвать испанской колониальной версией, версией завоевателей, версией победителей. Но скорее, спорит с ней. И даже если моя реконструкция не является точной, она — правдива... Я беру исторические персонажи, реальные факты и начинаю фантазировать, что-то намеренно искажая. То есть веду целую серию последовательных, причудливых, эллиптических игр. Получается построение в стиле барокко. История Америки напоминает американскую сельву. Если вы хотите дойти по ней из одного пункта в другой, то главное — двигаться не по прямой. Барочность всегда будет присутствовать в описаниях — географических ли, исторических — Латинской Америки».

Возможно, дальше всего по этому пути идет Абель Поссе в третьем романе трилогии — «Черных герольдах», увидевшем свет в 1989 году. Это рассказ о том, как иезуиты вознамерились проникнуть в самую глубь нового континента и возвести в сельве Град Божий, где люди позабудут о грехе, откажутся от порочных законов общества, в котором жили раньше. Мечта! Ей, конечно же, не суждено было сбыться. И в этом романе опять — столкновение двух миров: европейского и американского, индейского. Опять —

столкновение двух взглядов на реальность: иронического и поэтического. И опять — сложная литературная игра, сквозной диалог, полемика с другими авторами, художественными и историческими текстами. Поссе постоянно апеллирует к устойчивому знанию читателя о том, чем закончилась «вся эта история». Таким образом возникает еще одно звено, связывающее прошлое с настоящим, и оно постепенно выводится за текст. Используется такой уровень фантазии, когда теряет смысл сопоставление изображаемого с реальностью, когда «антиправдоподобие» становится эстетической категорией, одним из условий игры. При этом художественные приемы обнажаются, становятся объектом романного осмысления. Ставка делается на пробуждение эстетической активности читателя, на вовлечение его в сотворчество, соучастие в художественном процессе. И это также весьма характерно для новейшего латиноамериканского романа, для его художественной структуры.

Последние годы были весьма плодотворными для Абеля Поссе. После «Черных герольдов» он опубликовал два романа — «Тайные демоны» и «Путешествие в Агарту», посвященных исследованию природы фашизма. Последний из них сразу же по выходе, в 1989 году, был удостоен двух крупных премий — в Мексике и Испании. В том же году увидел свет сугубо «аргентинский» роман Поссе «Королева Платы». Каждая из этих книг по-своему необычна, свежа, талантлива. И заслуживает отдельного разговора.

Однако самый известный роман Абеля Поссе — «Райские псы» [1], в оценках его критики разных стран проявили редкое единодушие:

«Это один из самых мудрых и будоражащих мысль романов, какие только появлялись в испаноязычной литературе. Такую оценку я давал только три или четыре раза в жизни».

Хосе Кабальеро Бональд, «Паис» (Мадрид).

«Грандиозный замысел. Разрыв со всеми условностями и законами романного жанра. Эротика правит бал и превращает повествование и настоящую Вальпургиеву ночь».

Доминик Бона, «Фигаро» (Париж).

«Барочная фантазия Абеля Поссе неиссякаема. Любовь, сарказм, ирония переплетаются между собой, чтобы создать зачаровывающее повествование, выражающее великую и подлинную душу Латинской Америки».

Клод Куффон, «Монд» (Париж).

«Речь идет о чем-то совершенно необычайном, единственном в своем роде: у этого жанра нет предшественников в нашей литературе. Это превосходная симфония о новом мире, созданная Абелем Поссе».

Фернандо Санчес Драго, «Диарио 16» (Мадрид).

---

[1] Роман предполагается опубликовать в «ИЛ» в 1992 году.

Вера и мораль

Митрополит АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРИЗВАНИИ

Авторизованный перевод с английского ИРИНЫ КИРИЛЛОВОЙ

От переводчика

Православная антропология, в частности и православная богословская мысль, малоизвестна западному читателю. Если православие за рубежом начинает приобретать известность не просто как часть уже далекой, дореволюционной русской культуры, но и как откровение о Боге и о человеке, то в значительной степени причиной тому стали слово, проповеди и пастырское служение митрополита Антония Сурожского.

Митрополит Антоний (в миру Андрей Борисович Блум) родился в Лозанне в 1914 году и провел раннее детство в Персии, где его отец (из рода голландских выходцев) до революции служил русским консулом. Мать Ксения Николаевна, урожденная Скрябина, была сводной сестрой композитора. После революции семья эмигрировала во Францию, где временами жила в лишениях и бедности. Андрей Борисович накануне войны окончил медицинский факультет в Париже, специализируясь в области онкологии. Во время войны служил во французской армии врачом-хирургом, а после поражения Франции стал участником Сопротивления. После победы он посвятил себя медицинской работе среди русской эмиграции в Париже, особенно самой бедной и обездоленной ее части. Он принял тайный монашеский постриг в 1943 году. В июне 1948 года был рукоположен в священники и впервые приехал в Англию в 1949 году как православный капеллан Англиканско-Православного Содружества Св. Албания и Св. Сергия, основанного с целью сближения англикан и православных Николаем Михайловичем Зерновым, профессором православной культуры при Оксфордском университете. В 1950 году иеромонах Антоний стал настоятелем русского православного прихода в Лондоне. В 1958-м архимандрит Антоний был поставлен епископом, в 1962-м — архиепископом и в 1966 году — митрополитом. При радикально критическом отношении к Советскому Союзу в вопросах политики и идеологии владыка Антоний всю жизнь считал, что русские люди, живущие в эмиграции, не должны нарушать молитвенной связи с матерью-Церковью, и при полной юридической, финансовой, бытовой независимости Сурожской епархии в Великобритании оставался верен Патриарху Московскому как главе Русской Православной Церкви.

Признавая, что приход, в котором многие уже не считали себя русскими или эмигрантами, не может быть чисто национальной церковной общиной, владыка Антоний начал вводить литургическое употребление английского языка наряду с церковнославянским и воспитывать у своих прихожан православное, а не национально-религиозное сознание. Одновременно стала расти известность митрополита как высокодуховного пастыря, православного апологета, проповедника и лектора, выступавшего не только в Великобритании, но и по всей Западной Европе, и в Америке. В 60-е и 70-е годы межцерковная экуменическая деятельность была в расцвете, и можно с полной уверенностью сказать, что если в эти годы западная общественность впервые начала конкретно узнавать, что означает православие, чем отличается православная богословская мысль от западной — католической, англиканской, лютеранской, евангелической,— что может православная духовность принести западному человеку, то произошло это исключительно благодаря деятельности и проповедям митрополита Антония.

Многие проповеди и лекции владыки Антония собраны в книгах «Живая молитва» («Living Prayer»), «Школа молитвы» («School for Prayer»), «Бог и человек» («God and Man»), «Размышления на тему»

© Митрополит Антоний Сурожский, 1978
© Ирина Кириллова. Статья. Русский перевод проповедей

Цитаты и ссылки на писания Св. Отцов даны по труду архимандрита Киприана (Керна) «Антропология Св. Григория Паламы». Париж, 1950.

(«Meditations on a Theme»), также изданы два тома его «Слов и проповедей».

Слово и проповедь владыки Антония возникли не из академических наук, а из драматической жизненной ситуации. Еще юношей, не по годам закаленным жестокой борьбой за выживание, он считал себя полным атеистом. Детская вера давно пропала, а вера той страны, где ютились обездоленные русские эмигранты, не привлекала. Как рассказывает о себе сам владыка: «Я встретил Христа тогда, когда в нем нуждался, когда не искал Его. Не я Его нашел, Он нашел меня. В годы, когда жизнь была трудна, приходилось бороться, но это казалось естественным; когда же жизнь сделалась легче и счастливее, передо мной неожиданно встала проблема: я не мог принять бесцельное счастье. Молодости свойственно желать всего или ничего, и я решил: дам себе год, чтобы проверить, имеет ли жизнь смысл; если окажется, что нет, то далее этого года жить не буду». Однажды, прослушав доклад о Христе и христианстве одного старого профессора, настроившего юношу еще резче против «сусального» Христа и «чуждого», отжившего век христианства, он все же решил проверить эти впечатления в Евангелии и выбрал для этого самое короткое из четырех — от Марка. И там совершенно неожиданно для себя он повстречал Христа: «Я осознал присутствие. Я ничего не видел. Я ничего не слышал. Это не была галлюцинация. Просто уверенность, что Господь стоит передо мной, что я нахожусь в присутствии Того, о чьей жизни начал читать с таким отвращением и неохотой».

Владыка Антоний не считает себя мистиком и очень редко употребляет это слово. Просто Христос взял и неожиданно вошел в его жизнь. Для него это была абсолютная реальность и откровение — откровение чуда вечно божественного Бога, незримое, но постоянное, преображающее пребывание Христа Богочеловека в нашей жизни, если только мы готовы Его увидеть и Ему открыться; откровение того, чем может быть человек.

Владыка Антоний не называет себя богословом, хотя его богословские знания исчерпывающи. У людей, среди которых владыке Антонию было суждено вести свою пастырскую деятельность, вера часто подорвана не воинствующим насаждением атеизма, а сомнениями, посеянными рационализмом XIX века, изжитым, но все же оставившим смутную тоску и затемнение духовного взора при всепоглощающем увлечении материальным достатком. Вера и даже церковь секуляризируются — чувство греха заменяется неопределенным, но мучительным чувством вины, нравственность теряет четкие основы, релятивизируется и заменяется утопическими политико-идеологическими понятиями, где не учитываются те бездны жестокости и зла, на которые способен человек. Слово владыки Антония все эти годы звучит как откровение о Боге, о Его непостижимом величии и о Его полном отождествлении с самым жалким из людей, но его слово также и призыв каждому человеку вспомнить о своем призвании через преображающую обращенность ко Христу, полностью стать человеком — человеком, призванным к обожению.

В этом номере напечатан перевод проповедей, произнесенных на Ламбетской конференции в 1978 году, где состоялся съезд епископов Англиканской церкви, раз в 10 лет собирающихся со всех концов мира на подобные встречи.

Даже епископы нуждаются в напоминании о Богочеловечности Христа, так как основные течения современного западного богословия — и католического, и протестантского — склонны подчеркивать нравственно-социальное значение Евангелия и принижать чудо Воплощения и Воскресения. Наряду с этим владыка Антоний подчеркивает значение материи в православном учении о мире. Слишком часто забывается, что материя любовно сотворяется Богом и предельно освящается Его Воплощением. Тема ответственности человека, на которой так настаивает владыка, раскрывается в рамках православной антропологии с ее характерным упором на призвание человека. Ведя проповедническую деятельность на Западе, владыка Антоний говорит скорее о христианстве, чем о православии, употребляя последнее в историческом, конфессиональном и узкобогословском смысле. Но, говоря о христианстве, владыка Антоний говорит о православии как о наиболее полном, наиболее жизненном, наиболее творческом и современном откровении христианства.

Великое слово

Христианин призван к великой обязанности и к провозглашению великого слова. Это слово — от самого Господа, а слово Божие есть истина и жизнь. Служение это, обязанность эта лежит на нем с тех пор, как Господь и Бог наш воскрес из мертвых и, явившись ученикам Своим, послал их в мир со словами «как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас».

В чем состоит это слово, которое мы должны сейчас принести людям? Само собою разумеется, что это есть всеобъемлющее слово евангельское, во всей его цельности, во всей его славе, со всем его беспощадным вызовом. Но каждое поколение должно считать, что это слово прямо относится к нему. Это, конечно, не означает, что его надлежит приспосабливать к желаниям или настроениям данного поколения — приспосабливаться может только человеческое к божескому, и никак не наоборот. Но как говорит пророк Исаия: «Утеши, утеши мой народ». Он говорит о настоящих, реальных людях, и мы обяза-

ны утешить их в том, что приносит им горе, укрепить их перед тем, что их устрашает. Недостаточно лишь оглашать то, что мы так легко называем словом вечным, то есть слово вне времени, не относящееся ни к какой определенной эпохе, тогда как Бог, живой Бог, современен каждой эпохе, каждому человеку, Бог никогда не остается в прошлом, Он неизменен во всей таинственной полноте Его жизни, отвечающей каждому человеку, каждой эпохе.

Я хочу привести образ из творчества К. С. Льюиса, современного английского религиозного мыслителя и писателя. Христианин должен провозглашать: «Смотрите, статуи оживают!», то есть человек, не встретивший, не познавший еще Бога, и христианин, исполненный жизни вечной, жизни самого Бога, перерождающей и преображающей нас, так же глубоко отличаются друг от друга, как безжизненная статуя от живого человека.

Да, поистине, «статуи оживают»! Всякий из нас, каким бы малым, каким бы незначительным он себя не считал, может стать ожившей статуей. Надо ожить, надо стать настоящим, живым человеком, а не уподобляться жене Лотовой. Она действительно стала столпом соляным — в ней уже была не жизнь, а смерть и тление. И мы часто не более чем столпы соляные.

Итак, слово, которое каждому из нас надлежит сказать, не может быть сказано иначе, чем людьми, которые являются живым доказательством, проявлением того, что они провозглашают. Иначе их слово будет лишь тем, что люди уже давно научились презирать или отбрасывать как ненужное. Слово, которое нам надлежит возвестить, должно поражать людей в самое сердце. Один из древнехристианских писателей, Св. Иоанн Лествичник, говорит, что слово Божие как острая, прямая стрела, способная попасть в любую цель и пробить любой щит, и, однако, эта стрела останется без применения, без лука и тетивы, без глаза и руки ее направляющих. И наша ответственность — быть глазами, усматривающими цель, быть рукой, натягивающей тетиву, быть луком крепким, способным запустить стрелу. Слово Божие есть жизнь, слово Божие есть дух, слово Божие способно настичь любую цель и сломить любое сопротивление, но только через нас оно может узреть свое назначение и достичь своей цели.

То слово, которое нам надлежит сказать, это слово и о Боге, и о людях, это слово, которое чудесным образом связывает Бога и человека воедино. Слово евангельское предельно отличается от древнефилософского и религиозного слова, оно даже отличается от слова ветхозаветного. Оно уникально, ибо возвещает нам, что Бог, непостижимый Бог, стал одним из нас.

Трансцендентальность, святость, неимоверное величие были понятиями, известными и языческому миру, и древнеиудейскому. Но чтобы трансцендентное могло стать имманентным, чтобы вечность могла наполнить время, не разрывая его, напитав его жизнью, до сих пор не известной, чтобы Бог, не умаляясь, мог стать одним из нас, беспомощным, предельно ранимым, мог как будто быть поражен, презрен теми, кто верит лишь в видимую победу и успех,— все это только сам Бог мог открыть о Себе, ибо никто не посмел бы такое сказать без хулы и издевательства. Бог живой младенцем рождается в Вифлееме и мужчиной погибает, умерщвленный на кресте, от рук язычников в Иерусалиме. Это есть Бог, открываемый нам Евангелием.

Я принадлежу к поколению, познавшему глубокое унижение, отвергнутость, презрение. Я родился накануне первой мировой войны, детство и юность мои переплелись с революцией и годами эмиграции, когда пять миллионов русских оказались изгнанными из своей родины, угнетенными, презираемыми, лишними, никому не нужными, чужими и отверженными.

Глубоко раненные и потому ранимые, беспомощные и беззащитные, мы тогда нашли Бога, которого мы раньше не знали, Бога, который из любви к нам добровольно решил стать тем, чем мы стали через ужас и мучения. Это Бог, которого мы можем не стыдиться, это Бог, который не стыдится нас, это Бог, снизошедший до нас так низко, что дальше идти уже было невозможно, это Бог, который таким образом мог нас встретить в сострадании, в любви, в спасении. Это Бог, которого я встретил, нашел в своей молодости и который изменил жизнь целого поколения моих современников. Если бы мы встретили Бога во славе, утвержденного в великолепии многочисленных храмов, окруженного красотой и гармонией, не нуждающегося в защите,— ибо Он был господином земли, Богом, перед которым преклонялись и которого страшились,— мы, быть может, со временем просто прошли бы мимо; недостаточно просто знать, что Бог есть, недостаточно признавать Его как господина и властелина над всем, недостаточно страшиться и преклоняться перед Ним, если наряду с этим мы Его не уважаем. Мы *уважаем* Бога, потому что Он *с нами,* в *нас,* потому что

Он в самом ужасе, в самой трагедии жизни, потому что Он не может быть в благополучии небесном, пока сыны и дочери Его пребывают в страдании и испытаниях земных.

Это есть то слово, которое мы можем принести людям. Это есть наш Бог, безмерно великий и одновременно, в любви Своей к нам, готовый принять самое полное, беспредельное унижение. Как говорит средневековый немецкий мистик Ангелус Силезиус: «Я столь же велик, как Бог, Он столь же мал, как я». Бог избрал стать «малым как я», но Он не мог бы этого сделать, если бы в человеке не было величия, способного на большее, чем приятие этого Слова, величия, способного вырасти до размеров величия Воплощенного Сына Божьего, Христа.

Во Христе — откровение, чреватое вестью для человека: человек достаточно велик, чтобы полнота Божественного пребывала бы в телесном. Человек достаточно велик, чтобы быть не только вместилищем Бога, но чтобы стать Воплощенным Богом. Человек достаточно велик, чтобы быть членом от тела Воплощения.

Нам дается откровение, имеющее огромное значение для мира науки, мира техники, в котором мы живем: христианство есть единственная религия и христиане — единственные люди, ответственно относящиеся к материи. Если мы действительно верим в Воплощение, если мы действительно верим, что Бог пребывал в этом мире телесно, физически, то что можно сказать о материи? Материя мира сего была полностью представлена воплощенным Его телом. Вся физическая и химическая субстанция материи была воссоединена с Божественным в теле воплощенного Сына Божьего. Так что мир, в котором мы живем, та материя, которую мы осязаем, все это способно на воссоединение с Богом. Материя призвана быть Богоносной.

Мы живем в мире чудесном — если только мы не даем себя ослепить его формами и красками. Нам следует чаще вспоминать предостережение в Псалмах о бесе полуденном. Почему полуденном? Это время, когда солнце стоит высоко, своими лучами все освещая, и каждый предмет приобретает выпуклость, краски, объемность иные, чем при восходе или закате солнца. Полдень есть то время, когда видимое может нас ослепить и лишить возможности узреть невидимое. Мы должны уметь прозревать истинную, таинственную природу мира и его истинное призвание. Не зря Апостол Павел говорит, что мы должны чтить Бога, славить Бога телом как и духом, не только поступками нашими и словами, но превращая этот мир полностью, всецелю в то, что от Бога.

Покойный отец Александр Шмеман, православный богослов в Америке, говорил, что для христианина *все* есть божественная любовь, даже пища, которую мы едим. И это относится ко всем проявлениям нашей жизни, ко всем ситуациям. Мы не осознаем значения материи, ибо всякая материя стала для нас лишь материалом — потребительным, строительным, съедобным; это вещество, которым мы живем, как паразиты; но материя перестала быть для нас чем-то драгоценным, что мы уважаем и восполняем. Однако всякий раз, совершая Евхаристию, когда мы берем хлеб и вино и произносим над ними слова освящения, и знаем через веру и по опыту, что это уже не просто хлеб и вино, а таинственным, непостижимым образом претворившиеся тело и кровь Христовы, в это мгновение мы знаем, что материя исполняется святости и становится сосудом Божественного.

У Св. Симеона Нового Богослова есть такие слова: «Если ты хочешь молиться с мирным и чистым сердцем, помирись с Богом, с собственной совестью и с ближним своим, а также и с каждым предметом, который ты берешь в руки свои». С материей можно обращаться бережно или богохульно, признавая только ее пользу. Но неужели христианин может себе позволить так обращаться с миром, призванным к существованию самим Богом? Мы не можем безразлично относиться к бесконечной тайне творения «из ничего», из «отсутствия», через призыв самого Бога «Прииди!», и первое, что открывается каждому сотворенному из материи, каждому человеку, каждому предмету, исходящему из ничего, это Бог, это Божественная любовь и красота, красота всякой твари, призванной к жизни Богом. Это ярко описано в 9-й главе Евангелия от Иоанна, в повествовании об исцелении слепого Христом. Первое, что видит прозревший — это лицо Воплощенного Бога, и первый взгляд, который он встречает,— это взгляд Божественного сострадания. В падшем мире это вполне адекватный образ чуда перехода из ничего в гармонию, в красоту, в любовь.

Слово, которое нам надлежит возвестить людям, не так уж сложно, но это слово провозглашает: бог, далекий от нас, бог, которому мы чужды, не есть Бог. Бог с нами, и Он один из нас. Если я существую, это потому что Он *возлюбил* меня в жизнь,

а не потому что Он *приказал* мне быть. Он сказал человеку: «Я возлюбил тебя. Ты будешь как спутник, идущий со Мной в вечность». И *каждый* человек к этому призван. Мир, нас окружающий, живет и поддерживается этим деянием любви. Бог призвал нас к жизни, зная, как мы ведем себя в ней, и все же Он не теряет веру в нас. Один простой русский священник на все доводы высокоученого интеллигента, что у него нет основания верить в Бога, ответил: «Какое имеет значение, что Вы не верите в Бога. Самое важное, что Он верит в Вас!»

Об ответственности, любви и свободе

Один французский богослов говорил, что христианин — это тот, которому Бог поручил заботу о других. Каждый христианин и христианская община сообща являются тем народом, который отвечает за конечную судьбу всего мира. Когда мы говорим об ответственности, мы думаем об ответе перед Судом Божиим за то, что мы содеяли, или за то, что мы должны были сделать и не сделали. Но ответственность, которую мы несем, начинается задолго до этого. Ответственность начинается в то мгновение, когда я откликаюсь умом, сердцем, душой на те сложные условия, в которых существует мир или в которых оказывается отдельный человек, а каждый человек для Бога так же дорог, как все человечество.

Но перед кем мы отвечаем? Мы считаем, что должны откликаться на нужды людей и принимать на себя ответственность за них, но наша первая и основная обязанность, наш долг — открывать наши сердца Богу и прислушиваться к Нему, нашему невидимому ближнему. Мы несем такую ответственность, при которой человеческое решение жизненной ситуации должно соотноситься с Божественным, а не наоборот. День Господень — не только Его Второе Пришествие, всякий день — Его день. Мы *непрестанно* отвечаем перед Богом, а не только перед человеком. И однако, мы так часто искажаем суть ответственности, которую несем. Один из персонажей Бертольта Брехта говорит о своей любви к человечеству. Ему задают вопрос: «А что вы делаете, если любите кого-нибудь?» Он отвечает: «Сначала я его изучаю, а потом вырабатываю схему и проверяю, чтобы человек соответствовал схеме».

Не повинны ли и мы слишком часто в том же самом? Не подгоняем ли мы под свои представления, под схему своего ближнего и даже собственную совесть? И тем самым теряем всякое представление о возможностях, которые предоставляет нам Бог, о Его Провидении, уготованном для нас, о том, для чего Он послал Своего Единородного Сына. Наша ответственность перед ближним нашим, перед миром должна неизменно исполняться Божиим виденьем, Его воля должна быть тем светом, к которому мы идем.

Как говорил венский архиепископ Кёниг, вся история — это Седьмой День Творения, и этот Седьмой День — День Человека. Человек оказался не на высоте этого призвания. И только Христос, воплотивший до конца то, к чему призван человек, ныне и присно исполняет это призвание. Бог, сотворивший мир, «почил в день седьмый от всех дел Своих», и человек был призван завершить Дело Господне. Седьмой День есть символ, знак всей человеческой истории.

Мы призваны следовать по стопам Христовым. Он действует силою и властью (см. Евангелие от Луки 4 : 36), действует как пророк, как царь и архиерей творения. Он действует через сложные взаимоотношения любви и свободы. И мы, Его народ, Его посланники, Его Церковь, Его воплощенное присутствие в истории, призваны действовать таким же образом.

Во-первых, нужно уточнить различие между силою и властью. Римский закон и римско-католическое богословие их четко разграничивают, хотя в бытовой речи они слишком часто отождествляются. Силою человек воплощает в действие свою волю, свое решение, несмотря на любое сопротивление. Власть (в евангельском смысле этого слова) имеет совершенно другое значение. Власть воплощается без всякой силы, без всякого насилия. Власть праведна и тем самым убедительна. Христос действует и силою, и властью. Он действует силою, когда повелевает злым духам оставить тех, в кого они вселились, когда лечит пораженных недугом. Он действует силою, когда прощает грехи человеческие. Сила Дьявола сломлена, недуг побежден, грех прощается и смывается. Это деяния силы. Но когда Он обращается к народу, когда Он призывает его к покаянию, когда Он взывает к той вечной истине, которая есть в каждом из нас, Он действует не силою, Он обращается с призывом, излагая нам то, что Бог хочет, чтобы мы знали, понимали, и нам остается только сказать: «Аминь, поистине так». Только тогда полностью принимаем Его слова, только тогда они наполняют нас новой жизнью и духом. Один из Отцов

Церкви дерзновенно утверждает, что мы не должны следовать велению Божьему, покуда мы не можем всей душою и всем сердцем сказать Ему: «Аминь, да буде воля Твоя». Иначе мы превращаем учение и слова Христа в заповеди Ветхого Завета, отворачиваемся от живого общения с Богом и впадаем в рабское повиновение. Сам Христос нам говорит: «Я уже не называю вас рабами; ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все». Мы призваны быть «со-трудниками» с Богом, а сотрудящийся с Богом разделяет мысли Христовы. Власть Христа зиждется на том, что Его слова есть Истина, и Жизнь, и Дух. А также на том, что сыны света ответят ему: «Аминь!» И это «Аминь» вознесется одинаково из скорби перед греховным состоянием нашим и из единения с Божественной Волей.

Христос — единый царь, но мы, из рода Христова, призваны соучаствовать в Его пророческом, священническом и царском деянии. У одного из пророков сказано, что пророк есть тот, кому Бог поверяет Свои мысли. И мы призваны Его слушать, чтобы приобщиться к мыслям Христа, чтобы услышать Духа Святого. Христианин, пытающийся воздвигнуть Царствие Божие силою, не христианин. Он не из рода Христова. Но боящийся силы и ответственности, когда долг призывает его проявить твердость, предает порученную ему ответственность. Говоря о священническом служении, Св. Иоанн Хрисостом пишет, что всякий может править, но только царь может умереть за свой народ. Призвание царя — так объединиться, так отождествиться со своим народом, что жизнь народа становится его жизнью, смерть народа — его смертью. Царь не только тот, кто правит, кто царствует, это тот, кто до конца отдает свою жизнь за народ, как Христос, когда Он говорит, что соделывается жертвою за людей. Он первосвященник всего создания: Он одновременно и жертва, и Тот, Кто приносит жертву. И мы призваны, в пределах нашей и Христовой человечности, быть тем же: предельной жертвою, отдающейся Богу. Подросток четырнадцати лет мне однажды сказал: «Я понял, что, если я не стараюсь стать святым, я лишаю Бога и человека должного им». Святость начинается с полной отдачи себя, полной открытости себя Богу и предельного приятия Его воли в смирении и любви.

Христианство, как, быть может, никакая другая религия, определяется любовью, смирением и свободой, любовью и смирением, как мы их познаем во Христе и через Евангелие, и свободой как уникальным качеством в отношениях между Богом и людьми.

Смирение не есть самоуничижение. Смирение как сырая, плодоносная земля. Мы ее принимаем как должное, мы от нее вечно берем, а она вечно дает. Быть смиренным — значит молча, радостно, щедро давать, не скупясь и не жалея; такая отдача не обедняет, а обогащает. Без смирения нет добра, добро на нем зиждется, в нем воплощается, через него творит.

Любовь мы себе представляем как душевное чувство, нежность, тепло. Но любовь еще и отдача себя, в этом ее начало и значение. Возьми меня, говорит любовь, возьми мою жизнь. Один мой друг провел четыре года во время войны в немецком концлагере. При первой нашей встрече он мне объяснил, почему начал испытывать душевную муку после выхода из лагеря: «Пока я находился в лагере и был жертвой жестокости, насилия, издевательств, пока мне грозила смерть, я мог в любой момент обратиться к Богу и сказать: «Господи, прости им, ибо они не знают, что они делают». И я знал, что́ Бог должен принять мою молитву, ибо я платил своим страданием за эту молитву. Теперь я на свободе, но истязавшие нас, может быть, не поняли, что они делали. И когда я молюсь о них и прошу за них, что я могу принести Богу как доказательство искренности своей молитвы? Я больше не страдаю. Когда я молюсь «Прости им», что Господь им должен простить? Я мучаюсь за этих людей, потому что я больше не могу платить той цены, которая бы сделала мою молитву убедительной».

Эта любовь глубоко отличается от нежных, теплых чувств, которые мы питаем друг ко другу и называем любовью. Французский писатель Габриель Марсель говорил: «Сказать человеку «Я вас люблю», значит, сказать ему «Вы никогда не умрете». Мы все ощущаем тревогу, неуверенность, идущую из самой глубины нашего существа. Если мы испытываем чувство безопасности и уверенности, то это потому, что мы способны обрести веру и довериться Богу. Не имеющие этой уверенности и этой веры — как люди без почвы под ногами, не ощущающие, что они существуют. Не чувствовать собственного бытия — невыносимое состояние для человека. И только уверенность, что мы любимы, способна освободить нас от необходимости самоутверждения. Любимый не самоутверждается, ему этого не нужно. Он может позволить

себе забыть о необходимости утверждать свою самость и думать только о другом, о ближнем, обращаясь исключительно к любимому ближнему, ибо тот утверждает нашу самость, наше достоинство, наше величие человеческое, наше неизменное и вечное значение для другого или для другой.

Именно такой любовью нас любит Бог. Это понятно христианину, но непонятно не верующему во Христа, ибо значение и радость жизни для христианина — это предельная отдача себя, готовность жертвовать собой ради ближнего.

Понятие *свободы* неотъемлемо от любви. Свобода предполагает такую любовь и такое уважение к ближнему, что он может быть полностью собой, а не тем, чем мы хотим его видеть! В «Письмах Баламута» К. С. Льюиса старый бес пишет своему племяннику: «Я не понимаю, что имеет в виду Враг (так именуется Христос), когда Он говорит, что любит свой народ и потому предоставляет ему полную свободу. Когда я говорю, что я тебя люблю, это значит, что я тебя держу, что тебе без меня нет жизни. Вот это любовь!» Нет, мы должны научиться любить так, чтобы, отдавая собственную жизнь на благо ближнего, оставлять этому ближнему свободу до конца быть самим собою.

Размышления о Церкви

Каждый век истории христианства имеет свою основную тему. Вначале христианская мысль была обращена к тайне Бога — к откровению человеку Бога живого в лице Иисуса Христа. Это откровение призвало нас, членов Церкви, познать прямым, личным опытом животворящее и преображающее сошествие Духа Святого и создало Церковь. Каждый ее член в отдельности, и вся Церковь соборно, в единстве Христа и силою Духа Святого, сыны и дочери Всевышнего. И в чуде Воплощения, в муках Креста и в славе Воскресения через единородного Сына Его Церкви дается откровение Бога Отца.

В последующие века Церковь должна была вникать в самую суть своего бытия. И теперь наступило время попытаться познать то, что первоначально открывается как тайна, временами воспринимается как вызов, перед которым мы теряемся, но который заставляет нас задуматься и вникнуть в самую глубину нашего познания Бога. Путь этого познания не теоретический, не интеллектуальный, это путь опыта, приобщения и участия. Наша тема ныне — природа Церкви: Церковь перед Богом, Церковь и те, кто является ее членами, Церковь и мир. Тот мир, в который пришел Христос, чтобы спасти его и принести ему новую жизнь, чтобы расширить время до безграничного простора вечности, чтобы все трансцендентное, сам Бог стали имманентными, присутствовали не только среди нас, но и в каждом из нас.

Некогда сравнительно легко было определить Церковь, определить ее границы. Тогда злободневные вопросы становились основными: вера народа во Христа как Господа и Бога или вера в Троицу и откровение о ней, данное Христом в Евангелии. В те ранние времена всякое отхождение от общей веры являлось отпадением от самого христианства. Позже положение стало менее четким и осложнилось. То, что разделяет христиан, теперь (я не говорю о тех, кто просто повторяет современными словами древние ереси и отвергает основные христианские истины), менее значительно, чем то, что разделяло древних христиан. Перед нами стоят вопросы, которые не стояли так остро, когда спорили о самой сути христианства. Как определить границы Церкви? Как определить самую ее природу? Что ей угрожает? В какие заблуждения могут впасть отдельные члены Церкви и целые общины, тем самым предавая не только Бога, но и самих себя, мир, в который они посланы?

У Церкви две стороны. С одной стороны, Церковь является видимой, исторической реальностью. Ее изучают историки и социологи. Это конкретная, человеческая община со всеми недостатками и слабостями, возникающими в процессе становления. С другой стороны (но это постижимо только христианину), Церковь — объект веры. Вера есть уверенность в невидимом (Посл. Евр. 11 : 1). Говоря о вере, мы настаиваем на том, что постигаемое верой невидимо, что вера — особый дар. Но не менее важно понимать, что вера есть уверенность, не сомнение, не боязливое желание во что-то поверить, а уверенность, укорененная в личном опыте.

Исторически Церковь является общиной людей немощных и грешных, но в одном она существенно отличается от любого другого общества грешников. Как говорит Св. Ефрем Сирин: «Церковь есть не собор праведников, а собрание кающихся грешников».

Покаяние не означает оплакивания наших грехов или впадания в уныние. Оно означает обращение к Богу, предстояние перед Ним в трепете и в осуждении наших

грехов, с разбитым сердцем, но и в радости, что мы стоим перед Ним, нашим Спасителем. Мы поистине грешники, но нам как никому дано познание Бога живого, познание Его как Спасителя, как животворящую любовь. Мы Его познаем как Того, Кто стал одним из нас, чтобы и мы стали участниками во всем, чем Он является, в Его природе Богочеловеческой. Однако церковная община не только община грешников, в первые времена это была и община, о которой говорили, что «они любят друг друга». Увы, так уже нельзя сказать о современных христианах. Никакой неверующий, никакой ищущий не скажет: «В этой общине Бог живой, ибо здесь откровение любви». Ранняя христианская община провозглашала слово надежды и любви через веру, через ту уверенность, которая дается таинственным приобщением к Божественной жизни. Мы в значительной мере потеряли эту ясность и четкость. Слишком часто евангельское слово провозглашается как осуждение, как суд.

В Церкви и через Христа Богочеловека мы призваны обрести Его человечность. Через таинства Крещения и Евхаристии, через веру и любовь, через молитвенное общение с Ним мы призваны в нашей человечности стать тем, что Он есть вовеки в Его человечности, преображенной во славе. Но пока мы лишь пародия на то, чем призваны быть.

В Церкви нам дается откровение не только Богочеловечества Христова, но и Божественного присутствия через Духа Святого. Мы помним о сошествии Духа Святого в День Пятидесятницы, но мы забываем о не менее значительном событии, о котором рассказывается в 20-й главе Евангелия от Иоанна. Придя к ученикам Своим впервые после Воскресения Своего, Христос сказал им: «Мир вам», «сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святаго». Есть очень значительное различие между тем, как Святой Дух был дан ученикам, то есть всему телу церковному, и событием в День Пятидесятницы. Дух Святой был дан ученикам, потому что они Тело Христово в их единстве с Ним и друг со другом. Дар Святого Духа не был дан им каждому в отдельности. Ни один из них не возымел Его, как Его возымели все присутствующие в День Пятидесятницы. Этот дар был им поручен сообща. В этот день Фомы не было среди учеников. Когда он позже увидел Христа, то не нуждался в отдельном даре Духа Святого, ибо, будучи членом тела, общины учеников, он возымел общий дар, благодаря тому, что был воедино и со Христом, и с другими учениками. И это только потому, что все тело, вся община исполнена Духом Святым, что внутри этой общины Дух Господень может достичь каждого из ее членов и исполнить каждого из нас, передаваясь через те действия Церкви или через те великие деяния Господни в Церкви, которые мы называем таинствами.

Таким образом, Церковь для нас — тело, община, исполненная тайны божественности Бога, передаваемой нам как зерно или как почка, готовая раскрыться. В этом общении между нами и Сыном Божиим мы ветви винограда, прививаемые к Нему, кровоточащая рана к кровоточащей ране, так что Его жизнь течет по нашим жилам и все в нас оживотворяет. Эта тайна исполнения каждого из нас Духом Святым, по словам Св. Максима Исповедника, как огонь, проходящий через меч железный, когда можно резать огнем и жечь железом. В этом неповторимом общении чрез Духа Святого мы поистине становимся сынами и дочерьми Отца нашего небесного. Во Христе мы становимся по отношению к Богу тем, чем Христос является по отношению к Нему и в Нем. Как говорит Св. Иреней Лионский, мы постепенно становимся единородным Сыном Божиим. Наша истиная природа и призвание — быть общиной людей, одновременно человеческой и Божественной. Человеческой и Божественной одновременно в каждом человеке и во всей общине. Божественной не потому, что Бог в ней присутствует, и человеческой не потому, что мы только люди, а через тайну все исполняющего присутствия Бога живого.

Какое чудо, что божественная жизнь приходит к нам через материальные средства — воду, хлеб и вино! Какое чудо, что они передаются нам человеческими руками, возлагаемыми на тех, кто принимает Духа Святого! Какое чудо, что весь тварный мир был создан таким образом, что он исполнен Богом и что Бог исполнен им! Или, как говорит Апостол Павел, придет день, когда Бог будет «весь во всем». Тела наши святы. Таинства — вещественно реальны. Это не символы, данные нам, чтобы помочь в постижении недоступного. Таинства — действенные пути благодати, деяния Божественной силы и любви.

Я говорил о Церкви как об объекте веры, ибо то, о чем я говорил, не видимо извне, если только не исходит сияние от каждого члена этой Церкви или от всей Церкви сообща. Вспомните Моисея, спускающегося с горы Синайской, исполненного такого сияния благодати и славы Божией, что он принужден был скрыть лицо свое, потому

что ослепительное сияние этого света было невыносимо для людей. Гораздо ближе к нам во времени Св. Серафим Саровский, неоднократно дозволявший близким и ученикам видеть его в сиянии света нетварного.

По преданиям русского монашества, никто не может уйти из мира в иночество, если не видел на лице и в глазах хотя бы одного человека это сияние Божественной, вечной жизни. Вот чем мы призваны быть. Вот чем таинственным образом мы все-таки являемся, ибо Церковь, несмотря на нашу греховность, несмотря на то, что мы такие грузные, такие непрозрачные, все же есть то место, где Бог действует и пребывает.

Я сказал, что мы грузные, непрозрачные. Цель нашей христианской жизни стать легкими, прозрачными, как кристалл, который позволит свету божественному проходить и оставаться чистым. И мы, как кристалл, должны отражать этот свет, распространять его, чтобы он расходился во всех направлениях и достигал всех и вся. Это наше призвание, но чтобы его исполнить, мы должны очиститься. Из тяжелого, темного, каменного угля мы должны стать алмазом, который ведь тот же уголь, но очищенный, прозрачный! В нас удивительная смесь святости и греховности. В то мгновение, когда грех перестает быть кумиром, которому мы поклоняемся, непроходимой пропастью, отделяющей нас от Бога, он становится местом встречи между Богом и нами. Через Воплощение Бог вызвал нас на встречу. Где преобладает грех, там и благодать. Встреча с нами означает встречу с грехом, со злом. Христос был распят нашим злом, и через Него мы побеждаем зло.

Грех не может нас отделить от Бога, если мы предстанем перед Ним в сознании нашей греховности и в покаянии, но в каждом из нас есть темная, неискупленная черта, не затрагиваемая ни верой, ни искупительной силой покаяния. Как легко во имя Бога и истины увлечься ненавистью. Однажды мне сказал один человек: «Конечно, я возлюбил врагов своих, но я ненавижу Божьих врагов!» Он считал такое чувство добродетелью, и каждый из нас охотно ненавидит врага своего, считая его порождением зла. Но мы забываем, что мученики отдавали жизнь свою за мучителей своих, следуя словам и завету Христову: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают».

В заключение этих размышлений о Церкви снова повторю: мы слишком часто забываем об истинной природе Церкви как общине одновременно и человеческой, и божественной. Подходя к Церкви как к человеческой общине, и только, мы обременяем ее тяжестью нашей косности и узости. Мы забываем, что историческая Церковь — это *мы*, сонм грешников, навязываем ей вину в том, за что должны отвечать сами. Такая община перестает быть Церковью, живым, одухотворенным телом и становится или косным бюрократическим учреждением, или сборищем людей, отражающих те или иные общественные веяния. Только постоянное, неотступное сознание тайны Божественного присутствия, Духа Святого, исполняющего Церковь, может возвратить нас к тому, чем Церковь является и должна быть для нас — местом чуда нашей постоянной встречи с Богом.

Православное учение о человеке

Краткий путеводитель к проповедям владыки Антония

Покажи мне твоего человека, и я покажу тебе своего Бога.

Св. Феофил Антиохийский

Ни одна богословская мысль так вдохновенно не прославляет значение и призвание человека как Православная святоотеческая антропология. Человек создан по образу и подобию Божию, он призван быть богоподобным творцом, быть причастником Божеского естества. Он призван к божественному усыновлению и к обóжению (теосису). Такое вúдение, однако, не затмевает глубокого проникновения во всю сложность человека. Человеку дана свободная воля. В этом его величие и трагедия. Призванный к обожению, он опускается во мрак зла.

Святоотеческое размышление о грехе проницательно и человеколюбиво. Определяя грех как своеволие и недуг, оно проявляет к грешнику то же мудрое сострадание, как отец в притче о блудном сыне. Православная антропология христологична, подчеркивая и совершенное человечество Христа Богочеловека, и откровение человеку Божественного призвания через Христа.

В III—IV веках после Рождества Христова Православная антропология развивалась под значительным влиянием неоплатонической философской мысли. У Филона Александрийского уже дается определение, предвещающее самые яркие форму-

лы святоотеческой мысли: «Среди земных вещей ничто так не священно и так не богоподобно как человек, ибо он есть великолепный отпечаток великолепного образа, изваянного по образу идеального Первообраза». Св. Климент Александрийский подтверждает эту мысль теми же словами: человек есть Образ Божий, Его отпечаток. Утверждая центральное значение сотворения человека по образу и подобию Божию, святоотеческая мысль **прозревает** скорее, чем **определяет** тайну человека, сотворенного по образу Божию. Эта тайна остается до конца непостижима. С большой красотой и целомудрием эта мысль выражена у Св. Григория Нисского: «Погрузись в самого себя... посмотри в своей душе, как в некоем зеркале, разберись в ее устройстве, и ты увидишь себя самого, созданного по образу и подобию Божию. Духовная и бессмертная сущность твоей души, неименуемая и неведомая, является примерным (типическим) образом неименуемого, непознаваемого и бессмертного Бога». **Образ** Божий является данным в человеке и относится к сущности его, а **подобие** — способность к уподоблению, к динамическому стремлению к Богу. Духовно-психические дарования человека — любовь, разумность, свобода воли, творчество — соотносятся с образом, но подлежат развитию в подобии, через уподобление. Св. Климент Александрийский употребляет краткую, четкую формулу: «Образ Божий — данность и неугасим, но возможность уподобления теряется в грехе».

Призвание к уподоблению Божественному, и в частности ко Христу, непосредственно связано с вопросом о составе человеческой природы. Святоотеческая мысль различает тройственный состав человеческой природы — дух, душа и тело. Дух — по формальному определению, нематериальная часть человеческого состава, область общения с вечным и непреходящим (трансцендентным). Через дух дается откровение Богообщения и приемлется дар Духа Святого. Душа, по определению Св. Иринея Лионского,— жизненное начало в человеке. Душа одухотворяет и оживляет тело. Душа сотворяется как неотъемлемая часть человека. Отвергается всякое понятие о предсуществовании души. Некоторые из Отцов употребляют слова «дух» и «душа», не определяя их различие. Так, говоря о духе, Св. Григорий Нисский пишет: «Душа не рождена, не имеет причины по примеру нерожденного и не имеющего причины Бога Отца»; а душа именуется умом: «Ум не беспричинен... но все исследует и невидимо приближается к образу и подобию святого и исходящего Духа». Григорий Нисский различает и трехчастное строение самой души. У души три способности, или проявления, которые он определяет как «вожделение», «разумение» и «раздражение». Через вожделение душа познает любовь Божию. Через разумение воспринимает от Него ведение и мудрость, а через раздражение (негодование) — противостает лукавым духам.

Тело есть законченная форма, которую принимает плоть, тогда как плоть есть материя, «сырье» земного тела. Тело красиво, гармонично и, по призванию, благодатно. Плоть человеческая становится чудесным сосудом Воплощения Христа, и «мы спасаемся как **сотелесники** Слова» (Ефес. 3 : 6) (выделено мной.— ИК). Но тело, как и весь состав человеческий, носит в себе отраву первородного греха и способствует вовлечению человека в грех. Однако для святоотеческой мысли характерно бережное, даже любовное отношение к плоти и острое сознание ее роковой двойственности, ее красоты благодатной и ее красоты порочной, ее соподвижничества в аскетическом делании и ее срыва в похоть. «Я образ Божий и родился сыном срама... Плоть мой враг и друг»,— пишет Св. Григорий Богослов. Он никогда не отвергает тело как нечто осквернённое, а печалится над его обреченностью и смертностью, ставшими последствием грехопадения.

Св. Григорий Палама пишет проникновенно не столько о смертности тела, сколько о смертности души: «Как отделение души от тела есть смерть тела, так отделение Бога от души есть смерть души. И смерть души и есть смерть в настоящем смысле этого слова».

Св. Григорий Палама рассматривает греховное состояние как помрачение души и сердца и одержимость страстями. Он устанавливает схему и иерархию грехов, интересную своей психологической закономерностью и проницательностью. Вовлечение в грех начинается с любостяжательности (вещелюбия), которое ведет к скупости, торгашеству, хищничеству. Следующее — славолюбие, появляющееся уже в юности, «прежде плотской любви», и вовлекающее в мирское тщеславие, самомнение, лицемерие. Славолюбие — «самая тонкая из «страстей», открывающая путь к гордыне и зависти. Последними стоят чревоугодие и плотская страсть — «будучи естественными, от самой природы, они в какой-то мере и невинны». «Естественные движения души не указывают на болезнь души. Больная... душа у тех, кто ими злоупотребляет». В природе нет греха, в силу своей естественности она благословенна. Осуждается извращение естества. У других Отцов встречается несколько иная схема, в которой чревоугодие и блуд ставятся на первое место.

У Св. Григория Нисского есть профиль грешника, удивительно современный в своем описании суетливого, забывающего «о главном» человека. Впадающие в грех проявляют себя «гневающимися, кричащими, клянущимися, сквернословящими, ненавидящими, неправедными к другим, превозносящимися, не помнящими о смерти...». В такой душе уже нет места для Бога.

Греховное состояние как психофизический недуг нуждается во врачевании души, духовном очищении тела и усмирении страстей. Первая и необходимая ступень к врачеванию и просветлению есть покаяние. Покаяние не самоуничижение, не брезгливое самоотвержение. Покаяние — более чем признание умом проступка. Это творческий акт духовного преображения перед сознанием того зла, того отречения от Бога и от собственной человечности, в которые впадает согрешивший. Покаяние есть предстояние перед Богом

в предельном смирении, в полном сознании содеянного и в готовности вступить на долгий, нелегкий путь самопреобразования. Но без Божьей благодати и помощи он невозможен. В Боге и перед Богом покаяние становится преображающим предверием чуда Евхаристии.

Человек одарен свободой, он раздваивается между добром и злом. Но источники искушения — свобода, воля, плоть — не выделяются из общего состава человеческой природы и не осуждаются как побуждение к греху **сами по себе.** Человек грешит как целостная личность, всем своим естеством. Св. Максим Исповедник определяет грех Адама как «свободное уклонение его воли от добра ко злу».

Вопрос свободы, быть может, наиболее остро и глубоко ставится у Оригена. Дар свободы человеку трагичен и исполнен парадоксальности. Свобода есть Дух в нас и потому не может сводиться к вопросу нравственного выбора между добром и злом. Свобода причастна образу Божию в человеке. Трагизм свободы в том, что человек не имеет выбора — принять ее или нет. Она органична его естеству. Она может быть величайшим даром, возвеличивающим человека, и тяжелейшим бременем, непереносимым для не способных к творческому, созидательному ее проявлению. Полная, совершенная свобода возможна только в Боге, в единении творческого восхождения человека к Богу и Божественного Промысла о человеке. Полнота свободы в полноте уподобления Христу. Свобода же отравленного, помраченного своим грехом человека оборачивается своеволием и произволом. Свобода неотъемлема от творчества. Человек призван творить самого себя в богоподобии и продолжать Божественное деяние творчества вселенной. Адам, призванный назвать по имени каждое животное, сотворенное Господом, тем творчески прозревает и выявляет тайну их бытия, их значения. Как всякое творчество, это акт созидания и откровения.

Учение о воле разрабатывается у Св. Максима Исповедника. Он различает волю природную и волю рассудочную. **Природная воля** — желание, совершающееся в человеке «по естеству». Это естественное тяготение к добру, природное всем людям. В природе нет зла, оно появляется от свободной человеческой воли. «Зло созерцается не в естестве созданий, а в погрешительном и неразумном их движении»,— пишет Св. Максим Исповедник. **Воля рассудочная** не «просто» хотенье, а желанье определенное, подсказываемое рассудком. Это свободно-волевой выбор побуждения и действия. Воля рассудочная предполагает колебания, сложность помысла и частый греховный исход. Человеческая воля в совершенном виде проявляется только у Христа и у Богоматери.

Зло возникает, когда человек отворачивается от Бога, и вместо Богообщения и исполнения своего призвания в Боге человек самонадеянно ищет Его лишь в себе. «Диавол в раю окрылял Адама возможностью равнобожия»,— образно говорит Василий Селевкийский. «Зло не от природы, а от свободы»,— учит Св. Иоанн Златоуст. Он различает разные степени зла: **действительное** зло — порок, блуд, жестокость, достойные самых суровых осуждечия и кары, и **зло от природы,** которое он именует «страдание причиняемое» — болезнь, язва, голод, смерть.

Злоупотребив данной им свободой и волей, Адам и Ева отказались от Божественного сыновства и первобытного райского состояния. Они и их потомки могли только идти вперед, через мытарства и необходимые, очистительные испытания Ветхозаветной истории. Но собственными силами свою Богопричастность человек восстановить не способен. Искупление греха, первородного и постоянно человеком повторяемого, восстановление потускневшего в человеке образа Божия и его Божественного сыновства мог совершить один только Христос, Господь и Бог, воплощающийся в беспредельной любви к человеку. Воплощение есть любовь, искупление и спасение. Целые главы Евангелия от Иоанна озарены словами и заповедями Христа о любви: «Пребудьте во Мне, и Я в вас... Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей» (15 : 4,9) «...Любовь, которой Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них» (17 : 26). Первое Послание от Иоанна говорит о любви как о пути Богообщения и Богопознания: «Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога; и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (4 : 7,8). И далее: «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас» (4 : 12). Св. Григорий Палама, в одной из «Бесед» говорит: «Св. Троица есть неопалимая купина вечно горящей любви». Бог есть любовь, поэтому как непостижим Бог, так и любовь непостижима до конца в своем существе. В великом Славословии Ап. Павла любовь определяется апофатически и в действии, а не по существу: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий... Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине». Любовь «все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (I Посл. Коринф. 13 : 1, 4—8).

Любовь есть эрос общения между Богом и человеком, между человеком и человеком. «...Любящие не принадлежат себе, а тем, кого они любят»,— поясняет псевдо-Ареопагит, ибо в любви не должно быть «ни вожделения, ни обладания». И таким же духом должна быть исполнена любовь человека к Богу: «...Человек выходит из себя к Богу и не живет больше своей жизнью, но жизнью Того, Кого он любит» (псевдо-Ареопагит). Эти слова поневоле соотносятся со словами Ап. Павла: «И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Галат. 2 : 20). Только любовь может восстановить нарушенное грехом «единство первобытного совершества» (Св. Гри-

горий Палама). Он же призывает к такому же любовному отношению со стороны человека и к тварному миру, к космосу. Бог сотворил мир в любви, он поручен человеку, чтобы тот его берег и украшал. В твари Св. Григорий Палама «усматривает не только общность всеединого начала, но и отображение горнего и лучшего мира... Созерцанием этого мира и духовным в него проникновением подается откровение и об ином мире». Сотворенный мир есть поприще творческого призвания человека. По мысли того же Св. Григория Паламы, «в начале мироздания творил Бог Отец; Сын Божий доселе делает с Отцом, Дух Святой вдохновляет творящих людей, вместе с ними творит новое».

Воплощение Христа Богочеловека есть и Откровение призвания человека к обожению. Учение об обожении есть самое сокровенное откровение Православной богословской мысли, провозглашаемое неустанно и радостно. Откровение об обожении озаряет все Православное учение о человеке. Наиболее четкие формулы даются Св. Иринеем Лионским и Св. Афанасием Александрийским: «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился». В видении преображенного Христа на горе Фаворской избранным ученикам было дано видение и откровение обожения. Обожение постижимо мистически. Догматическое определение остается указующим, апофатическим. Используя формулу Св. Климента Александрийского, архимандрит Киприан четко суммирует святоотеческое прозрение: «Обожение не есть пантеистическое слияние с божественной субстанцией или возвращение духа с безличным растворением в Первоисточнике. Это не ассимиляция или отождествление человека с Богом в его субстанции или личности. Человек не единосущен с Богом, поэтому отождествление может быть только в энергиях Божиих [1]. Обожение есть участие в Божественной жизни, участие личное, со всей неповрежденностью персоналистического содержания человека. Обожение не есть нравственное очищение страстей, оно не исчерпывается процессом духовно-аскетического восхождения к мистическому познанию. Обожение должно пониматься онтологически, как прославление освященного тела и души... Не одно только человечество Христа и не все человечество вообще, но и **каждый человек обоживается**, то есть становится по причастью богом» (выделено мной.— ИК).

Св. Афанасий Александрийский поясняет понятие о Божественном сыновстве человека: «Хотя Один есть Сын по существу, истинный и единородный, но и мы делаемся сынами, не Ему подобно, не по естеству... но по благодати Призвавшего; и будучи земными людьми, именуемся богами, не такими, каков Бог... но как восхотел даровавший сие Бог». Однако обожение, хотя каждый человек к нему призван, все же сопряжено с некими условиями, неотъемлемыми от создания человека по образу и подобию Божию. Сотворение по образу создает данную онтологическую основу для обожения. Но через призвание к уподоблению человек также стяжает обожение, духовно-мистическим подвигом проявляя образ Божий, заложенный в нем. «Подобие Божие в человеке есть свободное осуществление человеком своего образа». Нетварный Свет Преображения, как показывает свидетельство Мотовилова о Св. Серафиме Саровском, не только в будущем. Стяжание обожения дано человеку и при жизни. К тому два основных пути: через Евхаристию, где через Причащение Святых Даров каждый уже таинственно становится «причастником Божеского естества» (Посл. Петра 1 : 4), и через молитвенно-аскетический подвиг, путем которого стяжается «сердце сокрушенное и смиренное» (Симеон Новый Богослов), необходимое для восхождения к Богопознанию и предельной тайне Богообщения и Богопричастия. Молитвенно-аскетический подвиг воплощает «стремление к реальному обожению, к слиянию с первоисточником любви, с Самой Любовью, Богом» (Св. Григорий Палама).

Обожение осуществляется Св. Духом, воссоединяющим человека в Сыне с Отцом. Происходит, по выражению Св. Максима Исповедника, «взаимообщение вочеловечивания и обожения». Св. Макарий Великий сравнивает обожение тела с железом, которое, «брошенное в огонь, превращается в огонь, между тем как естество железа не уничтожается, а остается». В обожении все исполняется света и огненного сияния, но не растворяется. «Каждый, исполнившись Духа, пребывает в собственном своем естестве и существе». И Св. Макарий подводит итог: «Обожение есть преображение души под воздействием Божественной силы; это есть на самом деле приобщение Божеству».

Можно только повторить — Православная, святоотеческая мысль озарена откровением о призвании человека. Чаянием и прозрением обожения определяется все ее учение о человеке — его сотворение по образу Божию, его призвание к уподоблению Христу, к продолжению творческого деяния Божественного, к обожению, сопричастности с Самим Богом.

ИРИНА КИРИЛЛОВА, Кембридж

---

[1] См. учение об энергиях Божиих у Св. Григория Паламы. Учение о сущности и энергиях Божиих изложено кратко и ясно в книге В. Н. Лосского «Theologie Mystique de L'Eglise d'Orient» (Paris, 1944).

Правовое государство

Нашему обществу сегодня многое приходится создавать заново, и, по всеобщему убеждению, одной из насущнейших задач является построение подлинно правового государства, основанного на независимости судебной власти, уважении прав личности, незыблемости конституционных основ. Слава Богу, идти нехожеными тропами не приходится — перед нами сокровищница богатейшего юридического опыта, накопленного странами развитой демократии. Именно этот источник и будет поставлять материалы для новой рубрики, призванной не только информировать читателя об особенностях государственного, гражданского и уголовного законодательства юридически цивилизованных обществ, но и содействовать перенесению полезного опыта на отечественную почву.

В качестве первой публикации для новой рубрики мы выбрали главы из недавно вышедшей книги двух американских юристов, посвященной «Биллю о правах» — и не потому лишь, что в нынешнем году исполняется 200-летие этого исторического документа. Десять первых поправок к Конституции США, известные как «Билль о правах», закладывают основы драгоценнейшей из свобод, не вполне еще освоенной нами,— свободы человеческой личности. Переведенные главы касаются сложных, противоречивых аспектов Первой поправки, провозглашающей право на свободу слова и свободу печати. А в статье видного советского юриста В. Энтина, одного из авторов «Закона о печати и других средствах массовой информации», показано, как обстоит дело с этими, так дорого доставшимися человечеству правами сегодня в Советском Союзе.

ЭЛЕН ОЛДЕРМЭН, КЭРОЛИН КЕННЕДИ

В НАШУ ЗАЩИТУ БИЛЛЬ О ПРАВАХ В ДЕЙСТВИИ

Перевод с английского Г. ЛИСИНОЙ

ПЕРВАЯ ПОПРАВКА

«Конгресс не должен издавать законов, устанавливающих какую-либо религию или запрещающих ее свободное исповедание, ограничивающих свободу слова, или печати, или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями о прекращении злоупотреблений»

Свобода слова: «Миссурийские рыцари ку-клукс-клана против Канзас-сити»

«Конгресс не должен издавать законов, ограничивающих свободу слова»

Вопрос: «У черных такие же гены, как и у белых?»

Ответ: «В смысле интеллекта — нет. И по части социального поведения тоже. Черные — очень эмоциональные люди, не умеют рассуждать. Вот почему за тысячелетия они в Африке ничего не построили, кроме грязных хибар. Они едят своих братьев. Чёрные живут хуже, чем пещерный человек».

Это слова Дэниса Мэхона, прежде работавшего механиком по гидравлике в авиакомпании «Транс-уорлд эрлайнз», Имперского Дракона Миссурийских рыцарей ку-клукс-клана. Из-за Мэхона в августе 1987 года разгорелся общенациональный скандал, когда он и Возвышенный Циклоп Дж. Аллан Моран, заявив о своем праве на свободу слова в соответствии с Первой поправкой, попросили эфирное время на общедоступном кабельном телеканале города

© 1991 by Ellen Alderman and Caroline Kennedy

Канзас-сити. Двадцатый общедоступный канал предоставлялся по первому требованию всем желающим выступить, и передачи не подвергались редакторскому контролю. Мэхон и Моран собирались еженедельно знакомить телезрителей с программой «Раса и рассудок», автором которой был Том Мецгер, бывший клановец, а ныне — лидер Белого арийского сопротивления (БАС). К тому времени эта программа просуществовала на кабельном телевидении уже пять лет, транслируясь более чем на пятьдесят городов страны.

Однако в Канзас-сити, где общественность живо интересовалась сложными расовыми проблемами, местные власти и кабельная компания не пожелали предоставить ку-клукс-клану право, гарантированное Первой поправкой. Они сочли, что нельзя заставлять людей выслушивать расистские проповеди в собственном доме, по собственному телевизору и на канале, который содержится на их ежемесячные взносы. Многие чернокожие священники и политики отказывались верить, что Первая поправка, защищавшая их самих и лидеров движения за гражданские права, теперь послужит для пропаганды идей ку-клукс-клана.

Мэхон и его соратник, нацепив на себя все регалии, явились в компанию «Американ кейблвижн» с официальной заявкой. Сначала она была отклонена под тем предлогом, что согласно правилам компании двадцатый канал отведен только для передач, подготовленных на местных студиях. Клановцев это не остановило. Вместо «Расы и рассудка» они предложили программу под названием «Кланзас-сити кейбл», вести которую будет Имперский Дракон Мэхон. Тогда «Американ кейблвижн» заявила, что в соответствии с правилами как минимум шесть членов клана должны пройти специальный курс обучения. Клановцы охотно подчинились.

По словам Мэхона, большинство передач «Кланзас-сити кейбл» предполагалось посвятить расовым проблемам, а также разоблачению правительственной и корпоративной бюрократии. «Наша программа рассчитана на белый рабочий класс,— говорил он.— Мы хотим сорвать маски с грязных богачей, а ведь большинство из них — белые». Кроме того, клановцы планировали давать интервью с черными националистами и сепаратистами, «которые не верят в мирное сосуществование рас». По мнению Мэхона, «они мало чем отличаются от членов клана, разве что цветом кожи. В основном мы с ними замечательно ладим. Ведь и мы выступаем за их самоопределение — в Африке».

Дело осложнялось тем, что студия кабельной компании Канзас-сити находится в районе, где 95% населения — черные. «Американ кейблвижн» боялась возможных беспорядков. Кроме того, возникло опасение, что многие телезрители перестанут платить. Вид клановцев в ритуальных одеяниях, прошествовавших в студию, произвел тягостное впечатление на горожан. А для преподобного Эмануэля Кливера, пастора Объединенной методистской церкви Св. Иакова и члена совета Канзас-сити, была невыносима сама мысль, что они появятся на экране телевизора в его доме.

Преподобный Кливер вырос в Уэксахачи, штат Техас. Тогда, в начале 60-х, многие негритянские общины на юге страны жили достаточно обособленно, и центром общественной жизни для них была церковь. В 1964 году пятнадцатилетний Кливер впервые возглавил поход в защиту гражданских прав, чтобы добиться снятия запрета для черных посещать три кинотеатра в центральной части города. В своем родном городке он первый раз увидел кино лишь после окончания колледжа. В 1968 году Кливер переехал в Канзас-сити, где получил степень магистра богословия, затем стал пастором, членом совета местного отделения Американского союза гражданских свобод (АСГС), национальным вице-президентом «Южной конференции христианского руководства», возглавляемой Мартином Лютером Кингом, а в 1979 году — членом муниципального совета. Спустя год его семья была разбужена звоном бьющегося стекла. В одно из окон его дома швырнули «коктейль Молотова», а на газоне установили пылающий крест. Хотя ФБР занималось расследованием происшествия, виновники так и не нашлись.

В восьмидесятые годы расовые отношения в Канзас-сити и многих других крупных городах оставались напряженными. Особенно острая ситуация сложилась в школьном округе Канзас-сити. По словам Кливера были и горящие кресты, и оскорбительные надписи на стенах; черные домовладельцы спешно покидали белые кварталы. И вот теперь, после относительного затишья, ку-клукс-клан пытается вернуться в этот район.

Дэнис Мэхон, главный руководитель клана в штате, заявил, что его организация приобрела некоторый опыт в пополнении своих рядов. Сегодня в ее распоряжении — все возможности, допускаемые Первой поправкой. Газета ККК рассылается прибли-

зительно пятистам подписчикам, каждый из которых, в свою очередь, должен сделать и распространить по десять ксерокопий. Сеть телефонных автоответчиков передает «послание расиста» и просьбу о пожертвованиях. Клановцы принимают участие в радиодебатах и, что гораздо важнее, начинают использовать телевидение для распространения своих взглядов и привлечения новых членов.

Преподобный Кливер, однако, не считал программу «Кланзас-сити кейбл» проявлением свободы слова: «Я никогда не связывал этот вопрос с Первой поправкой. Просто видел, как террористическая организация пытается с помощью эфира создать благоприятную атмосферу для процветания террора. Я чувствовал, что клановцы стремятся посеять семена расовой нетерпимости в общине, где такая проблема и без того существует, и понимал, что во многих случаях эти семена прорастут и дадут всходы. Думаю, нам не следует ограничивать права, предусмотренные Первой поправкой, пока они не ущемляют прав других групп на .существование. А члены ку-клукс-клана — террористы и убийцы. В истории этой страны навечно будет записано, что они убили тысячи моих соплеменников. Тысячи!»

В Верховном суде долго шла борьба между двумя точками зрения: что опаснее — слово, подстрекающее к насилию, или ограничение права, гарантированного Первой поправкой? В результате родился один из самых знаменитых принципов конституционного права: «тест на очевидную и реально существующую опасность». Положение о том, что правительство не может подвергнуть гражданина наказанию за высказывание, если последнее не создает безусловно реальную опасность, первоначально было разработано членами Верховного суда Оливером Уэнделлом Холмсом и Луисом Брандейсом во время первой мировой войны. На словах все за право свободно высказываться, поэтому суду бывает нелегко решить, когда опасность в достаточной степени «очевидна», насколько она «реальна» и в каких конкретно случаях «опасность» дает основания запретить то или иное высказывание.

Возможно, оттого что в общественной жизни американцев свобода слова является одной из самых насущных потребностей, решения, связанные с этим институтом, зачастую влекут за собой значительные изменения в обществе. В первых делах, вынесенных на рассмотрение суда по Закону о шпионаже от 1917 года, Верховный суд толковал свободу слова крайне узко. Таких людей, как лидер рабочего движения Юджин Дебс, сажали в тюрьму за выступления против войны и защиту социалистических идей. Дебс, четырежды баллотировавшийся в президенты от Социалистической партии, выступил на митинге в Чикаго воскресным июньским днем 1918 года. Он только что вышел из местной тюрьмы, где томились три «стойких товарища» за противодействие призыву в армию. Дебс заявил, что гордится ими, после чего разнес в пух и в прах капиталистических плутократов, восславил человека труда и предсказал скорую победу социализма. Он обратился к собравшимся со словами: «Вы должны знать, что заслуживаете большего, чем быть рабами и пушечным мясом».

Дебс был осужден за неповиновение, нелояльность, подстрекательство к мятежу, отказ от воинской обязанности и противодействие набору в армию США. На суде он сам обратился к присяжным: «Меня обвиняют в том, что я мешаю воевать. Я признаю это. Господа, я ненавижу войну. Я бы выступал против нее, даже оставшись в полном одиночестве». Дебса признали виновным и приговорили одновременно к двум срокам тюремного заключения по десять лет каждый. Верховный суд утвердил приговор. Один специалист по Первой поправке впоследствии писал в связи с этим: «Представьте себе, что Джорджа Макговерна[1] отправили в тюрьму за осуждение войны [во Вьетнаме]».

В пятидесятые годы, столкнувшись с рядом дел о деятельности Коммунистической партии, Верховный суд старался определить, где проходит граница между призывом к организованным насильственным действиям, запретить который правительство вправе, и пропагандой убеждений, на какую власть правительства уже не распространяется. В одном из дел 1951 года суд вынес приговор лидерам Коммунистической партии за участие в заговоре с целью свержения правительства. А шесть лет спустя суд оправдал четырнадцать второстепенных партийных руководителей, сочтя, что распространение ими коммунистических идей все-таки является пропагандой собственных убеждений, хотя убеждения эти включали призыв к свержению правительства (иными словами, опасность, которую этот призыв представлял, не являлась в достаточной степени очевидной и реальной, чтобы оправдать наказание).

---

[1] Джордж Макговерн — политический деятель, кандидат от Демократической партии на президентских выборах 1972 года. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

В 1969 году Верховный суд принял новую формулировку теста на очевидную и реально существующую опасность. К этому времени общество в целом и Верховный суд в частности настолько изменились по сравнению с началом века, что готовы были поддержать высказывания, которые привели бы в ужас присяжных, вынесших приговор Юджину Дебсу. В деле «Бранденбург против Огайо» суд решил, что правительство вправе запретить лишь высказывание, которое призывает к применению силы и сопряжено с неминуемым противозаконным действием.

Согласно этому прецеденту, пока преподобный Кливер не докажет, что трансляция «Кланзас-сити кейбл» приведет к насилию, которое «неминуемо и очевидно», а не только предполагаемо, он не имеет права препятствовать передаче, сколь бы оскорбительной она ни показалась телезрителям двадцатого канала.

Так как горожане, живущие по соседству с кабельной студией, заявили, что прибегнут к силе, но ни за что не пропустят туда клановцев, Кливер счел, что доказательство налицо. И Мэхон, всегда осторожный в разговоре с прессой, тоже не исключал возможности столкновения: «Ради нашей передачи мы готовы воевать. Мы будем убивать и рисковать собственной жизнью ради свободы слова. И мы покажем нашу программу, нравится им это или нет».

Кливер и его союзники в муниципальном совете не располагали готовой видеозаписью передач «Кланзас-сити кейбл», неизвестна была и дата выхода программы в эфир, поэтому они не знали, смогут ли доказать неминуемость насилия. Следовательно, лишить клановцев их конституционного права на свободу слова не представлялось возможным. Тогда они решили воспользоваться другим конституционным принципом.

Помимо устных высказываний Первая поправка защищает письменные заявления, шествия, манифестации, распространение листовок и определенную символику (например, черные повязки на рукаве в знак протеста против войны). Столкнувшись с противоречивыми решениями местных органов власти, пытавшихся то ограничивать эти проявления свободы слова, то, наоборот, допускать их без всяких ограничений, Верховный суд выработал принцип, согласно которому правительство может издавать обоснованные предписания, касающиеся времени, места и способа выражения своих идей. По Конституции, однако, ограничения не должны затрагивать *суть* выступлений. Говоря юридическим языком, право на свободу слова подразумевает соблюдение правил «времени, способа и места», при условии, что эти правила составляются «без предубежденности». Таким образом, городские власти могут ввести ограничения на проведение демонстраций в определенных районах в целях сохранения общественного спокойствия, но подобные ограничения должны относиться ко всем манифестантам в равной степени, независимо от сути их выступления.

Поэтому, когда власти Виллидж-оф-Скоки, штат Иллинойс, где живут тысячи евреев, пострадавших во время второй мировой войны, отказались дать разрешение неонацистам на проведение шествия перед зданием муниципального собрания, федеральный суд постановил, что это решение нарушило право неонацистов на свободу слова. Запрещение манифестации не мотивировалось страхом перед очевидной угрозой насилия, а было явной дискриминацией, запрещаемой Первой поправкой. В постановлении суда говорилось: «Любая высказанная вслух идея может вызвать взрывную реакцию. Публичное высказывание нельзя запретить лишь на том основании, что идеи сами по себе оскорбительны для кого-то из слушателей».

На применение ограничительных правил может влиять обстановка. Надежнее всего защищены выступления на улицах, в парках и общественных местах, которые «исконно отведены народу и с незапамятных времен служат гражданам для собраний. обмена взглядами и обсуждения социальных проблем — там ораторам предоставляется наибольшая свобода. Такие места называются «общественной трибуной». Правительство не может убрать общественную трибуну ради того, чтобы заставить кого-то замолчать. Она изначально принадлежит народу. Как утверждал от имени клана адвокат Стивен Пивар: «Общедоступный канал сегодня — то же, что уличная трибуна двести лет назад. Это трибуна бедняков и один из немногих способов, доступных для малоимущих, чтобы в наш технический век обратиться к широкой аудитории».

Однако существует и другой край спектра — частная собственность. Главным принципом устройства американского общества является право не пускать на свою земельную собственность посторонних; поэтому домовладельцы вольны запретить всякого рода выступления в собственном доме, равно как и шествия в собственном дворе. Преподобный Кливер и кабельная

компания заявили, что общедоступный канал является не общественной трибуной, а частной собственностью «Американ кейблвижн».

Проконсультировавшись с городскими юристами, Кливер и его сторонники в муниципальном совете внесли предложение вообще закрыть общедоступный канал. Многие понимали, что инициатива Кливера вызвана исключительно стремлением не допустить клан к широкой телеаудитории. Поскольку принятие резолюции отстранило бы от эфира не только клановцев, но и всех прочих участников, Кливер был уверен, что его предложение выглядит достаточно беспристрастным и пройдет тест на соответствие Первой поправке.

Таким образом возник вопрос: является ли общедоступный канал «уличной трибуной будущего», где ораторы надежно защищены Первой поправкой? Или это, скорее, разновидность частной собственности, которой распоряжается владелец кабельной компании? Заявка ку-клукс-клана перенесла выцветшую запись Первой поправки прямиком в электронный век.

16 июня 1988 года муниципальный совет Канзас-сити девятью голосами против двух принял резолюцию номер 62655, предписывающую «Американ кейблвижн» закрыть общедоступный канал.

Одним из двух противников принятия резолюции стала Джоан Коллинз, уроженка Канзас-сити, прослужившая в совете шестнадцать лет. Коллинз — бабушка, ей пятьдесят четыре года, муж до пенсии работал школьным учителем; ее позиция привлекла особенное внимание потому, что сама она — негритянка. Свой выбор Коллинз объяснила так: «Меня возмущают некоторые их (клановцев) действия, меня возмущают некоторые их слова, но я не испытываю ненависти к ним как к людям. Я стою на том, что знания приобретаются путем обучения, и нельзя утаивать никакую информацию... Мне приходилось в жизни получать полезные уроки от самых что ни на есть неприятных людей. Я могу быть не согласна с человеком, но это не значит, что он не должен быть услышан или что мне не следует его слушать. Я верю, что правда всегда восторжествует».

Слова Коллинз заставляют вспомнить хрестоматийную речь в защиту свободы слова, сказанную еще Джоном Мильтоном. Тот тоже верил в важность диалога, в способность разума и истины одержать победу. Мильтон писал в 1644 году: «Пусть свободно носятся над землей ветры любых догм — Правда вступит с ними в бой; и губительно для нее, если мы что-то запрещаем или ограничиваем, тем самым мы подвергаем сомнению ее силу. Дайте ей и Лжи сразиться; видел ли кто-нибудь, чтобы Правда потерпела поражение в свободной и открытой борьбе?»

В нашем столетии судья Холмс заменил метафору — поле брани превратилось в рынок: «Когда люди осознают, что время опрокинуло многие противоборствующие убеждения, они, наконец, поймут: вера в собственные принципы еще не все, более короткий путь ко всеобщему благу лежит через свободный обмен идеями — лучшая проверка истины есть ее способность выдерживать рыночную конкуренцию; а путь истины — единственно надежный путь к достижению цели».

Такая модель «рынка идей» подразумевает, что самая лучшая реакция на обидные слова — не запрет, а ответное выступление. Те, кто разделяют точку зрения Холмса, полагают, что сила Первой поправки состоит в идеализме и уважении к самому принципу свободы слова, даже если высказываемые благодаря ему взгляды уважения никак не заслуживают. Когда голос ненависти и нетерпимости начинает звучать громче, когда ку-клукс-клан проводит слеты в Джорджии, а бритоголовые разбивают лагеря в Калифорнии, самый эффективный контраргумент, по мнению сторонников этой теории,— численное превосходство людей, ненавидящих расизм и верящих в мирное сосуществование идей.

Судья Брандейс писал в своей знаменитой речи о защите свободы слова: «Те, кто отстояли нашу независимость, верили, что конечная цель государства — дать людям свободно развивать свои способности, а в правительстве разумные силы должны преобладать над диктаторскими. Они знали... что опасно отбивать охоту мыслить, надеяться и мечтать; что страх порождает репрессии, а репрессии порождают ненависть; что ненависть угрожает устойчивости правительства; что путь к безопасности лежит в свободном обсуждении проблем и методов их разрешения; и что самое подходящее оружие в борьбе со злыми намерениями — намерения добрые».

Согласно теории «ответного выступления», для преподобного Кливера и его единомышленников лучшим способом было бы создание собственной телевизионной программы, разоблачающей клановские взгляды. Телезрители тогда сами отвернулись бы от клана, увидев дискуссию, представляющую обе точки зрения. Таким образом, следуя этой же теории, люди отвергли бы

идеи клана раз и навсегда.

Преподобный Кливер, однако, усомнился в правильности такого подхода. Он не уверен, что у общества есть время дожидаться, пока правда возьмет верх на «рынке». Взамен он предложил: «Мы просто обязаны бросить вызов тем, кто нас готов уничтожить. Пусть мы раз за разом будем терпеть поражение в суде. Но я не думаю, что надо сидеть сложа руки и наблюдать, как люди, которые хотели бы загнать нас в могилу, красуются на экране».

Стивен Пивар считает иначе: «Свобода слова должна означать свободу слова. Она одинакова для глашатаев как популярных, так и непопулярных взглядов. Нельзя делать различие между приемлемым выступлением (и неприемлемым) и оставаться при этом свободной страной. Тот же самый тест, запрещающий появление клана на кабельном телевидении, мог бы помешать выступлению Мартина Лютера Кинга в Алабаме». «Слушая оскорбительные речи,— добавляет Пивар,— нам остается лишь кивать головой и приговаривать: «Вот какой ценой мы платим за нашу свободу».

Следует ответить еще на один вопрос: «Почему мы должны даровать право на свободу слова людям, которые, приди они к власти, лишили бы этого права остальных?» По признанию самого Мэхона, ку-клукс-клан, будь он у власти в стране, не стал бы защищать свободу слова в том виде, в каком она существует сейчас. Если негры не захотят возвращаться в Африку, Мэхон постарался бы упрочить положение белой нации в пяти северных штатах. Всем, кто проживает сейчас на этой территории и не захочет стать гражданином нового государства, будет оплачен отъезд. Мэхон говорит, что в этой стране свобода слова будет разрешена только в том случае, если выступающий поддерживает точку зрения правительства. «Прежде всего мы приняли бы Конституцию, исходя из того, что наша нация — нация белых. Можно говорить все, что угодно, но мы не допустим поношения белой расы. Мы заплатим черным за то, чтобы они уехали. Оскорблений мы не потерпим. Если кто-то начнет поливать грязью белых, найдутся люди, которые открутят ему башку».

Для Пивара ответ на этот вопрос заключается в том, что американское общество силится сохранять верность демократическим идеалам и не допустить тоталитарного режима в духе Мэхона. «Если вы не дадите им свободно высказываться,— говорит он,— считайте, что эра, которой вы так боитесь, уже наступила. Вы сами ее создали».

По мнению Пивара, высказывания Мэхона находятся под зашитой Первой поправки, поскольку это слова, а не действия. А если бы действие произошло и преступление совершилось, виновный преследовался бы в уголовном порядке. Возвращаясь к тесту Верховного суда, допускающему запрещение высказывания только в том случае, когда оно создает очевидную угрозу насилия, Пивар говорит: «Есть разница между словом и делом. Это существенное различие, закрепленное Конституцией. Конституция гарантирует свободу слова, но не гарантирует свободу убийства. Поэтому клан может говорить об убийстве все что хочет и будет при этом охраняться Конституцией».

Сегодня, когда общественные разногласия зачастую носят острый характер, а расовые проблемы по-прежнему разделяют общество, как видно на примере Канзас-сити, не один преподобный Кливер подвергает сомнению такой принцип: «Я не верю, что создатели «Билля о правах» подразумевали, что Первую поправку можно будет толковать столь широко. Ведь если бы они действительно так считали, с помощью Первой поправки можно было бы уничтожить все созданное ими ранее,— говорит он.— Я думаю, что Первая поправка небезупречна, как небезупречны Библия, жизнь, любовь. Чем старше народ, чем более зрелым он становится, тем спокойнее мы приходим к осознанию необходимости исключений из правил. Такие исключения не повредят Америке и не погубят ее. Скорее, они могут ее спасти».

Когда муниципальный совет проголосовал за то, чтобы признать законным закрытие общедоступного канала, Пивар от имени клана подал иск в федеральный окружной суд: «Миссурийские рыцари ку-клукс-клана против Канзас-сити». В исковом заявлении утверждалось, что город подверг клан дискриминации из-за сути высказывания, что телеканал является общественной трибуной, которую город не имел права уничтожать, и что, сделав это, он нарушил гарантированные Первой поправкой права не только клана и всех других организаторов программ, но и телезрителей, которые хотят смотреть передачи, не прошедшие цензуру.

Город предпринял попытку отклонить иск. Он заявил, что резолюция, закрывшая канал, была беспристрастной, что общедоступный канал является не общественной трибуной, а частной собственностью кабельной компании и что клан не был ли-

шен права на свободу слова. Город доказывал, что клан, как и любой другой выступающий, не имел права диктовать, какие средства он желает использовать для передачи своего сообщения. Отмечалось, что клановцы по-прежнему могут агитировать по телефону, проводить сборы, распространять листовки, выступать в радио- и теледебатах, когда их приглашают, или маршировать по главной улице города.

26 мая 1989 года окружной суд возбудил дело против города по всем пунктам искового заявления. Суд счел, что, если клану удастся доказать правоту своих притязаний, он сможет выиграть процесс и, следовательно, ему надо дать шанс. Судебное разбирательство было назначено на сентябрь.

В июне Верховный суд США принял два решения, которые заставили городские власти еще более пессимистически оценить свои шансы на победу. Суд признал, что сожжение американского флага в знак политического протеста и служба «Секс по телефону» защищены Первой поправкой. Городские юристы сделали вывод: раз Первая поправка трактуется настолько широко, она наверняка защитит и клановскую телепрограмму. В конце концов расовые отношения в Соединенных Штатах являются предметом интенсивного общественного обсуждения и имеют немаловажное политическое значение. Следовательно, они непосредственно связаны с Первой поправкой.

Кроме того, муниципальный совет подсчитал: адвокаты проделали меньше четверти всей работы, необходимой для подготовки к процессу, а денег на судебные издержки уже ушло очень много. Расход на юристов, нанятых кланом, составил сто тысяч долларов. Если город проиграет дело, он будет вынужден возместить и расходы клана. К тому же Канзас-сити как раз переживал бюджетный кризис; пришлось сократить число рабочих мест, а на носу были выборы.

Город согласился пойти на уступки. Он предложил вариант: свободный микрофон в прямом эфире, когда каждый может прийти и выступать в течение пятнадцати минут. Клан отверг эту идею. Пивар выдвинул два условия, необходимые для урегулирования проблемы: город обязан восстановить общедоступный канал и разработать новые правила, гарантирующие защиту права на свободу слова для всех организаторов этого канала.

Голосование по вопросу о восстановлении общедоступного канала было включено в повестку заседания муниципального совета 13 июля 1989 года. Преподобный Кливер предложил провести открытое обсуждение. Предложение не прошло. Но канзасцы настаивали на том, чтобы их выслушали. Группа священников, черных и белых, собралась у барьера, отделяющего места для публики, от рядов, занимаемых членами совета. Они упорно просили дать им слово. В конце концов мэр согласился предоставить им десять минут. Все выступающие пастыри говорили столь взволнованно, словно обращались к огромной аудитории прихожан. Через полчаса мэр призвал соблюдать порядок и приступить к голосованию. Священники продолжали говорить. Мэр потребовал очистить помещение. Священнослужители и их сторонники запели знаменитый спиричуэл, заменив в нем слова:

Уберите клан с ТВ! 12
Нас не шелохнуть.
Как дерево, напоенное водой,
Нас не шелохнуть.

Мэр постучал молотком и вновь потребовал очистить зал. К священникам присоединились горожане, которые, узнав о том, что происходит в городском совете, стали заполнять зал. Хор с воодушевлением спел «Мы победим», потом «Звездно-полосатый флаг», а вслед за ним «Боже, благослови Америку». Пение завершилось молитвой к Богу с просьбой повлиять на членов совета и убедить их, что они должны проголосовать против восстановления общедоступного канала. Была предпринята попытка удалить всех посторонних, но из этого ничего не вышло. Мэр, уже заметно раздраженный, вновь призвал начать голосование. Священники отказались уйти и продолжали молиться. В то время как члены муниципального совета голосовали, они тихо читали «Отче наш»: «Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое... И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».

Мэр сообщил итоги голосования: семь против трех. Общедоступный канал был восстановлен и вводились новые правила, защищающие свободу слова.

Первая передача «Кланзас-сити кейбл» вышла в эфир 3 апреля 1990 года.

Свобода печати: «Соединенные Штаты Америки против журнала «Прогрессив»

«Конгресс не должен издавать законов, ограничивающих свободу печати»

«То, что вы сейчас узнаете,— секрет. Секрет, который Соединенные Штаты и еще четыре государства, создатели водородного

оружия, охраняли всеми правдами и неправдами... который много лет был не по зубам физикам Соединенных Штатов, Советского Союза, Великобритании, Франции и Китая; который они раскрыли независимо друг от друга и надежно оберегают,— до него, возможно, еще не удалось докопаться дюжине других стран, пытающихся создать свою водородную бомбу.

Я же, не принадлежа к числу привилегированных лиц, имеющих доступ к секретной информации, разгадал эту тайну, просто читая прессу и задавая вопросы...

Почему я рассказываю вам об этом?

Я вовсе не хочу помочь вам изготовить собственную водородную бомбу. Не беспокойтесь: возможностей у вас маловато — если вы не располагаете ресурсами, какими обладает правительство не слишком маленькой страны.

Я также не хочу, чтобы Индия, или Израиль, или Пакистан, или Южная Африка получили водородную бомбу скорее, чем им это удастся сделать иным способом; впрочем, не исключено, что эта информация окажется для них полезной...

Я раскрою этот секрет, чтобы вы поняли главное: секретность сама по себе (не говоря уже о власти нескольких чиновников-«экспертов», определяющих границы того, что дозволено, а что не дозволено нам знать) способствует установлению такого политического климата, в котором можно как ни в чем не бывало заниматься ядерным бизнесом, обеспечивая производству этого ужасного оружия надежную охрану».

Статья, откуда взят приведенный отрывок, называется «Секрет водородной бомбы». Ее автор — активист антивоенного движения Говард Морланд. Предполагалось, что статья станет «гвоздем» апрельского номера за 1979 год журнала «Прогрессив» — небольшого ежемесячного издания, выходящего в Мадисоне, штат Висконсин. Морланд утверждал, что ни один из приводимых им фактов не засекречен. Он, дилетант, раскрыл секрет сам, черпая информацию из общедоступных источников и беседуя с людьми из «ядерного братства». Когда же понадобилось сложить части головоломки в единое целое, Морланд применил собственную смекалку. Тем не менее некий обеспокоенный профессор Массачусетского технологического института отправил первоначальный вариант статьи в министерство энергетики.

Дуэйн Сьюэл работал в министерстве помощником директора оборонной программы. В его обязанности входил контроль за соблюдением секретности в области ядерного оружия. Впервые сведения об устройстве водородной бомбы попали к нему из «внешнего мира». Он показал статью Морланда министру энергетики Джеймсу Шлезингеру, членам госдепартамента и управления по контролю над вооружением и разоружению. Они сочли, что часть данных, приведенных в статье, является засекреченной, а сама публикация может нанести ущерб безопасности Соединенных Штатов. Было решено обратиться в министерство юстиции с просьбой образумить «Прогрессив».

Но тут возникла проблема. В соответствии с Первой поправкой правительству не так-то просто «образумить» прессу. А после ряда бурных судебных разбирательств удалось лишь выработать некоторые принципы применения санкций *после* публикации материалов определенного рода. Однако считалось установленным, что смысл Первой поправки как раз и заключается в том, чтобы правительство не имело право накладывать на печать *априорное* ограничение. В Соединенных Штатах цензура не просто непопулярна — попытки ввести ее всякий раз завершались сокрушительным провалом. Прошло не так много лет после шумного процесса по делу о документах Пентагона. Правительство тогда потерпело фиаско при попытке усмирить прессу, а многим сотрудникам отдела судебных исков пришлось хорошенько попотеть.

Министр энергетики Джеймс Шлезингер лично сообщил об истории с «Прогрессивом» министру юстиции Гриффину Беллу. Он сказал, что статья Морланда обеспечивает иностранные державы «картой и кратчайшим маршрутом» к созданию термоядерного оружия. Ведь даже если поверить автору в том, что секрет устройства бомбы отчасти стал достоянием гласности, ни в одной из прежних публикаций не встречалось столь полного и доступного его изложения. По словам Белла, «до сих пор ни один министр так активно не вынуждал нас передать дело в суд».

И вот однажды, придя на работу, окружной судья Мадисона застал в приемной трех министров и половину нобелевских лауреатов страны. Так возникло дело «Соединенные Штаты Америки против «Прогрессива». «Это был неравный бой,— вспоминает Эрвин Нолл, редактор журнала.— Но мы знали, что одержим победу».

«Прогрессив», так называемый «альтернативный» журнал, был основан в 1909 году

Робертом Ла Фоллетом по прозвищу Драчун Боб,— губернатором штата Висконсин, сенатором США и кандидатом в президенты от Прогрессивной партии. По словам Нолла, журнал «привержен неизменным принципам, изначально имевшим важное значение для прогрессивного движения... выступает против милитаризации и войны, считает себя обязанным защищать гражданские права и свободы, а также окружающую среду; он с предубеждением относится к крупным корпорациям и к их деятельности». В 1979 году «Прогрессив» расходился по стране тиражом от 35 до 40 тыс. экземпляров.

Годом раньше ответственным секретарем журнала стал Сэмюэл Н. Дэй — бывший редактор «Бюллетеня ученых-атомщиков». У него родилась идея дать серию статей о производстве ядерного оружия. Предполагалось, что материал будет собран во время поездок по ядерным комплексам страны. Одна из статей — «Лучшие люди делают бомбу» — появилась в октябрьском номере за 1978 год. Занимаясь поисками материала, Дэй повстречал Говарда Морланда.

Детство Морланда прошло в 50-е годы в городке Чаттануга, штат Теннесси, что в девяноста милях вниз по реке от Оукриджа — главного центра ядерных исследований, построенного во время второй мировой войны согласно проекту «Манхэттен». Юный Морланд и не догадывался, что Оукридж все еще носит кодовое название военных лет — У-12 и вскоре начнет «поставлять детали для водородной бомбы так же регулярно, как «Дженерал моторс» — автомобили». Но сколько он помнит, широко раскинувшаяся тень комплекса покрывала собой весь его родной городок. «Кое-где дети дразнят друг друга: «Если ты такой умный, почему ты не миллионер?» В наших краях — в восточном Теннесси,— где родилась атомная бомба, они говорят по-другому: «Если ты такой умный, почему ты не ядерщик?»

Прослушав несколько курсов по физике в университете Эймори, в Атланте, Морланд решил избрать себе другую профессию. Он поступил на службу в авиацию и стал водить грузовые самолеты, курсирующие между Калифорнией и Вьетнамом, «переправляя туда всякую всячину, а обратно — тела в алюминиевых гробах». В армии Морланд впервые увидел настоящую водородную бомбу. Она в самом деле была похожа на бомбу: снаряд обтекаемой формы с заостренным концом и оперением на хвосте. Но Морланда больше всего поразили ее малые габариты: от шести до восьми футов в длину и полтора фута в диаметре. А осознание того, что бомба, заключенная в такую миниатюрную оболочку, в тысячу раз мощнее хиросимской, привело его в ужас. «При обращении с ней так просто ошибиться»,— говорит он.

Морланд задумался не только над тем, почему страна приступила к созданию подобного оружия, но и над тем, как она это делает. Таков уж был его характер. По словам одного обозревателя, он принадлежит «к тому типу людей, которые не сядут за руль, пока не поймут, как устроен автомобиль». Поэтому вполне естественно, что Морланд, включившись в антивоенное движение, обратил всю свою кипучую энергию на постижение методов разработки ядерного оружия.

Столь же естественно он стал автором новой журнальной серии, задуманной Сэмом Дэем и Эрвином Ноллом. Морланд и редакторы журнала считали, что правительство десятилетиями хранило секрет водородной бомбы, дабы американцы не задавали вопросов по поводу гонки ядерных вооружений. Морланд получил задание установить, насколько оправданна эта секретность. 7 июля 1978 года он писал в «Прогрессив»: «Мы знаем, что производство ядерного оружия слишком долго находилось вне сферы пристального общественного внимания... Я надеюсь — в рамках закона и в пределах возможностей дилетанта — узнать все об устройстве термоядерной боеголовки. Затем я прослежу за всем процессом: от изготовления каждой сколько-нибудь значительной детали до окончательной сборки... Кое-что из необходимых мне сведений, безусловно, засекречено, поэтому отсутствие информации будет восполнено теоретическими догадками. «Прогрессив» выдал Морланду аванс в пятьсот долларов и помог ему получить разрешение на посещение ядерных комплексов.

Первая остановка Морланда была в Джермантауне, штат Мэриленд, где он встретился с Чарльзом Джилбертом, заместителем директора управления по вооружениям при министерстве энергетики. Джилберт поставил Морланду ряд условий. Поскольку тот не знал, какая информация засекречена, ему, соответственно, не было известно, какие вопросы можно задавать, а какие нельзя. Поэтому договорились, что Морланд будет спрашивать о чем угодно, не обязательно при этом рассчитывая получить ответ. По словам Морланда, ему лишь раз было категорически сказано, что он вторгся в засекреченную область.

Говард Морланд постарался узнать о во-

дородной бомбе как можно больше: достал свои старые учебники, обшарил все публичные библиотеки от Бостона до Лос-Аламоса и изучил подшивку «Конгрешнл рекорд». Кроме того, он объехал ядерные установки страны, в том числе побывал и в Оук-ридже, и побеседовал со многими членами «ядерного братства». Чтобы заставить ученых разговориться, Морланд использовал традиционный журналистский прием: притворялся, будто знает больше, чем на самом деле. Бывало, подбросит во время беседы идею и ждет, как прореагирует собеседник: нахмурится, кивнет или взглянет удивленно — из этого станет ясно, на правильном ли он пути. «Вы, конечно, знаете» — начинался разговор, и Морланд, который, конечно же, не знал, утвердительно кивал и мысленно перебирал свои гипотезы, добавляя к ним новые сведения.

Чем ближе Морланд подбирался к предполагаемому секрету, тем с большим удивлением обнаруживал, что знал его и раньше. За несколько месяцев до этой работы он читал лекцию о ядерном разоружении в студенческом общежитии Алабамского университета в Тускалузе. В конце лекции он спросил, как бы в шутку, знает ли кто-нибудь секрет водородной бомбы. В дальнем углу комнаты поднял руку молодой человек: «Конечно. Я знаю. Секрет — в радиационных отражателях». Юноша был знаком с людьми из Оук-риджа. Они-то и рассказали ему, что все дело — в отражении гамма- и икс-лучей, которые воспламеняют топливо бомбы.

В то время Морланд не задумался над этими словами, но после многомесячных упорных поисков понял, что студент колледжа действительно знал, в чем секрет. Более того, он окончательно убедился в том, о чем всегда подозревал: никакой это не секрет. По его словам, всякий, кто обладает элементарными знаниями по физике, временем и настойчивостью, может дать связное объяснение принципу действия водородной бомбы, используя при этом разрозненные общедоступные источники.

Секрет, писал Морланд, заключается в системе, благодаря которой расщепление, или атомный взрыв, вызывает более трудно достижимый ядерный взрыв — водородный. «Огромная энергия, созданная икс- и гамма-излучением, распространяется от детонатора со скоростью света, отражается от внутренней поверхности бомбы и фокусируется в направлении конусообразного «карандаша», содержащего топливо для ядерного взрыва». В этом, по Морланду, «вся суть секрета, изложенная в одном предложении».

В своей статье Говард Морланд утверждал, что ничем не рискует, рассказывая об устройстве водородной бомбы. Во-первых, статья «далека от того, чтобы представить готовую схему ядерного оружия». Вдобавок затраты, необходимые для создания бомбы, намного превышают возможности большинства стран. Ведь чтобы только начать процесс, нужно иметь атомную бомбу. К тому же, подвел итог Морланд, вся информация и так просочилась в сферу общедоступных материалов, где ею может воспользоваться любой человек, обладающий элементарными научными знаниями и желанием выяснить что к чему.

«Труднее поверить в существование оружия, чем понять его устройство»,— писал он. В статью, уместившуюся на десяти страницах, Морланд включил семь чертежей термоядерного оружия, чтобы помочь разобраться людям, далеким от науки.

2 марта 1979 года Дуэйн Сьюэл, другие сотрудники министерства энергетики и министерства юстиции появились в редакции журнала в Мадисоне. Эрвин Нолл и Сэм Дэй утверждали, что вся информация в статье взята из общедоступных источников. Они просили точно указать, какие именно сведения засекречены. На это Дуэйн Сьюэл заметил, что ответ на этот вопрос секретен сам по себе. Со своей стороны министерство энергетики предложило переделать статью, на что Нолл отреагировал в «довольно резких выражениях». Адвокаты журнала заявили, что предложение правительства «более чем сомнительно», и попросили несколько дней на размышление.

В тот же день министр юстиции Гриффин Белл направил докладную записку президенту Картеру. В ней говорилось, что, если переговоры с журналом окончатся неудачей, необходимо срочно судиться. «Мы не можем гарантировать, что выиграем это дело,— писал министр.— Однако разглашение сведений повлекло бы за собой последствия, угрожающие безопасности США и всего мира». В ответ президент Картер написал: «Правильный шаг — действуйте. Дж.»

7 марта адвокаты «Прогрессива» известили министерство энергетики, что журнал намерен напечатать статью без изменений. На следующий день правительство подало иск о запрещении публикации судье Роберту У. Уоррену в Западном округе штата Висконсин. «Прогрессив» решил не сдаваться и заявил о своем праве на публикацию согласно Первой поправке.

Первая поправка — плод длительной борь-

бы с правительственной цензурой. Изощренные запретительные нормы, ограничивавшие свободу печати в XVII столетии, послужили причиной создания страстного памфлета в защиту прессы. В работе «Ареорagitica — речь о неограниченной свободе печати» Джон Мильтон писал: «Истина и понимание — не тот товар, который можно монополизировать, чтобы вести торговлю бюллетенями, законами и нормами». Для Мильтона цензура являла собой «величайший упадок духа и оскорбление, наносимое в равной степени и науке и ученым». Кроме того, суть человеческой природы такова, что попытки остановить свободный поток мыслей и информации путем подавления печати просто бессмысленны. «Дурные нравы,— предупреждал Мильтон,— усваиваются столь же хорошо и без книг, с помощью тысячи других способов, которые не запретишь».

Хотя к 1700 году эти ограничения в основном были упразднены, колонисты Нового Света по-прежнему питали отвращение к цензуре и твердо верили, что свободным людям нужна свободная печать.

С того момента, как была сформулирована Первая поправка, не утихают споры, запрещает ли она преследовать печать за клевету и вторжение в частную жизнь. Но почти никто не сомневается в том, что Первая поправка подразумевает запрещение цензуры. В своем решении по первому серьезному делу, связанному с этой проблемой,— «Нир против штата Миннесота» (1931) Верховный суд провозгласил: «Главная цель [свободы печати] состоит в том, чтобы исключить априорное запрещение публикации». Тогда администрация штата запретила издание местной газеты на том основании, что она нарушала общественный порядок. Хотя, по общему мнению, газета была злонамеренным бульварным листком, суд постановил, что она не подлежит цензуре. В соответствии с Первой поправкой преследование за опубликованный материал допускалось по закону о клевете или иным актам.

Постоянно дебатировался и другой вопрос: защищает ли Первая поправка, и если защищает, то в какой степени, свободу слова в области искусства, науки и коммерции. Зато никогда не подвергалось сомнению, что она охраняет свободу слова и печати по общественно значимым вопросам. В деле «Нью-Йорк таймс» против Салливана» (1964) Верховный суд напомнил об основополагающем принципе нации: споры по общественным вопросам должны вестись свободно, открыто и гласно.

Таким образом, дело журнала «Прогрессив» стало покушением на основополагающие принципы Первой поправки и поставило вопрос о том, насколько «открытой» может быть печать. Конституция требует от исполнительной власти заботы о национальной безопасности. Однако Томас Джефферсон писал спустя лишь год после принятия «Билля о правах»: «Первая поправка утверждает, что «всеобщая безопасность заключается в свободе печати».

Согласно одному из мнений, в отношении печати не должно быть никаких ограничений, по крайней мере со стороны правительства. Сторонники этой абсолютистской позиции считают, что Первая поправка не дозволяет ни при каких обстоятельствах оправдывать правительственную цензуру печати. Эрвин Нолл оказался стойким абсолютистом. Он вспоминает, как по ходу разбирательства выслушал — не веря своим ушам — «страстную речь в защиту цензуры» от редактора «Сан-Франциско икзэминер».

«Если мне случится однажды в баре,— сказал редактор Ноллу,— услышать от пьяного полковника морской пехоты, что у него есть приказ о вторжении на следующий день в Ливан, я предпочту, чтобы правительство не позволило мне это печатать — уж можете мне поверить».

Нолл ответил ему: «Вы хотите сказать, что, если бы, сидя в баре, вы узнали, что в нарушение Конституции Соединенных Штатов правительство собирается вступить в войну, не поставив об этом в известность конгресс, то не сочли бы это новостью, заслуживающей опубликования? А я счел бы. Держу пари, я бы это напечатал».

А вот напечатал бы он имя агента США, засланного в другую страну? «Это зависит от того, чем он там занимается... Если он подрывает демократию в той стране от моего имени и за мой счет, безусловно, я хочу, чтобы все об этом узнали».

Даже если раскрытие имени будет стоить агенту жизни? «Разумеется. Такова уж их работа, и они понимают, чем рискуют. Парень, работающий на высоковольтной вышке, знает, что может упасть или получить удар током. И человек, который становится агентом ФБР, знает, что его могут убить. Это — профессиональный риск». Нолл решит, давать или не давать такую информацию, в зависимости от того, считает ли он ее «новостью», но решать будет он, а не правительство.

Защищая свою точку зрения, Нолл обратился к тексту Первой поправки. В этом его поддержали и некоторые члены Верхов-

ного суда. Например, Хьюго Блэк: «Мадисон и другие авторы Первой поправки были людьми компетентными и писали языком, который, как они искренне верили, никогда не будет ложно истолкован: «Конгресс не должен издавать законов... ограничивающих свободу... печати».

Однако абсолютисты никогда не имели в Верховном суде большинства голосов. Одно из ключевых положений в решении суда по делу «Нир против штата Миннесота» гласит: «В некоторых случаях априорное ограничение допустимо». Таким образом вступило в силу так называемое «исключение по соображениям национальной безопасности». «Никто не оспаривает права властей,— сказано в решении суда,— пресекать противодействие набору в армию или воспрещать публикацию сведений о выходе в море военных кораблей и о расположении воинских частей».

Этот тезис вызывает немало вопросов, хоть подготовлен он самим Верховным судом. По мнению судьи Поттера Стюарта, «исключение по соображениям национальной безопасности» рождает дилемму. Сфера национальной безопасности закреплена за исполнительной властью и практически не контролируется другими правительственными органами. «Поэтому,— писал судья Стюарт,— пресса, очевидно, должна именно здесь быть особенно чуткой, внимательной и гласной, чтобы соответствовать сути Первой поправки». В то же время ясно, что сфера дипломатии и обороны требует конфиденциальности и соблюдения секретности, что может повлечь за собой ограничение свободы печати. Вот здесь и возникает дилемма.

В поисках путей ее разрешения суды не всегда могут руководствоваться традиционными принципами свободы печати. «Исключение по соображениям национальной безопасности» выглядит странно с точки зрения одного из ключевых положений Первой поправки — дискуссия должна быть «здоровой и открытой», и тогда на свободном «рынке идей» появится правда. «Исключение» же подразумевает, что вред заложен в самой открытости. Откуда взяться «здоровой дискуссии», если никто не осмеливается упомянуть сам предмет обсуждения.

Одна из сложностей этого аспекта свободы печати заключается в том, что хотя это право считается неприкосновенным, практически нет правил, регулирующих его применение. Предубеждение против априорных ограничений настолько сильно, что до суда дело доходит крайне редко. В тех случаях, когда правительство пытается наложить предварительный запрет, дело рассматривается в суде столь поспешно, что самые важные моменты так и остаются невыясненными.

Прошло целых сорок лет после дела «Нир...», прежде чем Верховный суд вновь получил возможность рассмотреть вопрос о правительственной цензуре прессы. Речь идет о громком скандале с документами Пентагона, когда Дэниэл Эллсберг передал в «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост» информацию, признанную секретной. Она касалась событий, предшествовавших вторжению во Вьетнам. Это дело породило четыре различных решения в судах первой инстанции и девять особых мнений членов Верховного суда — и всего за какие-то несколько недель. Председатель Верховного суда Бергер отказался принять дело к рассмотрению, поскольку оно проскочило в суд так быстро, что, как он выразился, «мы буквально не знаем, что и как». В конце концов шестью голосами против трех суд отклонил попытку правительства запретить публикацию пентагоновских документов. Девять особых мнений способствовали выработке некоего подобия критерия. Двое членов суда сошлись во мнении, что правительство не может ограничивать свободу печати, пока не сумеет доказать, что «публикация неминуемо, непосредственно и немедленно повлечет за собой последствия, по тяжести ущерба аналогичные угрозе безопасности вышедших в море кораблей». Не вполне ясно, можно ли это считать юридическим критерием в конфликте между интересами национальной безопасности и свободой прессы. Еще труднее вообразить, как такую норму применить в деле журнала «Прогрессив».

Что может означать «непосредственный и незамедлительный» ущерб, когда речь идет о термоядерном оружии? Правительство утверждало, что «ущерб» может выразиться в ядерном пожарище. Какая разница, сколько при этом пройдет дней, месяцев или лет? Вероятные последствия в силу своей чудовищности превосходили традиционные рамки конституционного закона.

Со своей стороны адвокаты журнала утверждали, что в сфере науки, даже термоядерной физики, эта «дилемма» решается куда проще. В науке, говорили они, понятие секретности является наивным и устаревшим. В поддержку своей правоты они сослались на авторитет самого Альберта Эйнштейна. В письме от 22 января 1947 года Эйнштейн обращался за помощью к Чрезвычайному комитету ученых-атомщиков: «Благодаря высвобождению атомной энер-

гии наше поколение подарило миру самую революционную силу со времени открытия огня первобытным человеком. Эта главная сила вселенной не может вместиться в устаревшие понятия узкого национализма. Поэтому нет тайны и нет обороны; единственное что есть — возможность контроля за счет растущего понимания и настойчивости народов мира».

Чтобы надежнее укрепить тылы, «Прогрессив» мобилизовал ведущих специалистов в области ядерной физики. Многие работавшие на журнал эксперты не разделяли доводов редакции в пользу публикации статьи Морланда. Как и правительство, они не считали, что техническую информацию можно использовать в широкой дискуссии о ядерном оружии. Кроме того, они сочли научные познания Морланда довольно поверхностными. И тем не менее дали письменное свидетельство, что приведенная в статье информация уже не является секретной и ее разглашение не принесет никакого вреда.

В свою очередь правительство представило письменные заявления госсекретаря, министров энергетики и обороны, директоров ведущих лабораторий, занятых разработкой ядерного оружия, а также нобелевского лауреата Ханса Бете. Все они утверждали, что статья Морланда содержит существенные сведения, которые, будучи опубликованными, «нанесли бы непоправимый удар национальной безопасности Соединенных Штатов, оказав содействие иностранным державам в разработке термоядерного оружия и приблизив тем самым угрозу ядерной войны». Здесь возможный ущерб представлялся несравненно более грозным, чем в деле с документами Пентагона. Опять же в данном случае у правительства имелось преимущество, каковым прежде оно не располагало,— законодательный акт, дающий право на запрет публикации.

Дело подпадало под действие Закона об атомной энергии 1954 года — неординарного акта, касающегося неординарной материи. Это один из немногих американских законов, наделяющий правительство особыми цензорскими полномочиями. Он наглядно демонстрирует, что попытки правительства обуздать американскую печать — дело весьма и весьма своеобразное.

Согласно этому закону правительство может потребовать возбуждения уголовного дела против всякого, кто собирается раскрыть «закрытые» сведения. Закрытые сведения включают любые данные, относящиеся к «конструкции, изготовлению и применению атомного оружия или производству специальных ядерных материалов... *но не подразумевают информации рассекреченной или исключенной из категории закрытых сведений*». Иными словами, вся информация такого рода не подлежит разглашению до тех пор, пока администрация не снимет с нее гриф секретности. Правительственное толкование гласит, что информация, касающаяся ядерной энергии, «засекречивается при рождении». Не важно, родилась ли она в голове ученого в результате напряженной работы в лаборатории или ее выдумал далекий от науки человек, сидя у себя дома. В тот момент, когда на свет появляется формула, конструкция или *идея,* имеющая отношение к данной области, она автоматически засекречивается. Следовательно, доказывало правительство, даже если Говард Морланд действительно пользовался информацией из общедоступных источников, выводы, которые он сделал, надлежало хранить в тайне, пока правительство не позволит их раскрыть.

Закон об атомной энергии предусматривает в том числе и уголовное наказание. Во время разбирательства по поводу журнала «Прогрессив», разглашение закрытых сведений каралось штрафом до десяти тысяч долларов, или тюремным заключением на срок до десяти лет, или тем и другим сразу. Как заметил тогда Эрвин Нолл, уже то хорошо, что успели отменить смертную казнь за нарушение этого закона.

Наконец, дело, подпадающее под действие Закона об атомной энергии, неизбежно оказывается в некоем подобии зазеркалья. С одной стороны, защитникам журнала не было дозволено обсуждать или раскрывать какие-либо закрытые сведения, а с другой — им никто не сказал, на какие именно сведения наложено табу. Они понятия не имели, что́ считается секретным в статье Морланда, в судейских бумагах и вообще в устройстве вселенной. Представители средств массовой информации засыпали Морланда, Нолла и Дэя градом вопросов, на которые те просто не имели права отвечать.

Более того, существовала вероятность, что любой факт, предъявленный суду, запутается в паутине секретности. Доказывая, что он не имел доступа к секретным материалам, Морланд перечислил все использованные им общедоступные источники информации. Одним из них оказался его университетский учебник по физике с подчеркнутыми строчками. Правительство заявило, что учебник следует изъять, пока не стерты все пометки. Напрасно Морланд

объяснял, что он делал их еще на первом курсе, готовясь к занятиям. Да, но теперь книга представала в новом свете: как ключ к разгадке секрета водородной бомбы.

В число своих источников Морланд включил и хорошо известную статью Эдварда Теллера, «отца водородной бомбы», взятую из «Американской энциклопедии». Один журналист впоследствии сообщал в репортаже: «Министерство юстиции заявило, что статья д-ра Теллера в «Американской энциклопедии» секретна, что ссылки на нее секретны, что дискуссия по поводу того, является ли все это секретом, секретна и что решение суда относительно всех этих секретов тоже секретно».

Когда «Прогрессив» выразил протест против цензуры письменных показаний Морланда, кто-то из официальных лиц заявил, что категорически возражает против употребления слова «цензура». «Мне было сказано, что министерство юстиции Соединенных Штатов предпочитает термин «изъятие»...— рассказывал Эрвин Нолл.— Мне плевать, пусть правительство называет ее хоть банановым пирогом. Все равно это цензура».

Судья Уоррен, конечно, признавал этот факт. Он откровенно объяснил свою позицию: «Если будет вынесен предварительный судебный запрет, то, насколько нам известно, в истории нашей страны это будет первый случай априорного запрещения публикации. За подобной славой гоняться не стоит».

26 марта 1979 года судья Уоррен огласил решение суда. Прежде всего он отметил, в чем состоит различие между этим делом и делом о документах Пентагона. Тогда исполнительная власть действовала на свой страх и риск, здесь же работает закон, одобренный конгрессом,— Закон об атомной энергии, дающий властям право действовать. Судья Уоррен не счел, что закон сформулирован чересчур неопределенно или что он противоречит Первой поправке. Он также счел немаловажным, что дело с документами Пентагона касалось только «исторических сведений», относящихся к событиям двадцатилетней давности.

В заключение судья рассмотрел вопрос о предполагаемой угрозе. «Хотя, по большому счету, быть может, Патрик Генри[1] был прав, утверждая, что человек скорее предпочтет умереть, чем жить в неволе, однако в реальности никто не сможет воспользоваться свободой слова, свободой вероисповедания или свободой печати, если не будет иметь свободы на жизнь,— констатировал он.— Решение суда против Соединенных Штатов стало бы судебной ошибкой, которая могла бы привести к термоядерной катастрофе во всем мире. В этом случае наше право на жизнь будет уничтожено, а с ним и право на свободу печати». Далее Уоррен «с сожалением» огласил историческое решение о вступлении в силу априорного ограничения.

«Прогрессив» сразу же подал апелляцию, поклявшись дойти до суда и действительно намереваясь это сделать. Спустя несколько недель ситуация приобрела иной поворот.

9 мая 1979 года Дмитрий Ротов, непрофессиональный конструктор ядерного оружия и следователь Американского союза гражданских свобод, работавший на журнал «Прогрессив», зашел в публичную библиотеку научной лаборатории Лос-Аламоса, заглянул в раздел картотеки «оружие» и выудил оттуда досье под индексом UCRL-4725. Оказалось, что там содержатся многие «секретные» сведения, схожие с приведенными в статье Морланда. По утверждению правительства, гриф секретности был снят с UCRL-4725 по ошибке. Каким-то образом год назад документ проглядели во время библиотечной ревизии (вызванной тем, что Ротов обнаружил на библиотечной полке другой, тоже секретный материал).

После этой находки многие в министерстве юстиции захотели поскорее поставить точку в этом деле. Правда, разведывательные круги заверили, что, несмотря на лосаламосский инцидент и посягательства Морланда, информация не попала к «заинтересованным» иностранным державам. Министр юстиции Белл предостерег своих подчиненных: «Интересы общества и закон об атомной энергии требуют, чтобы мы сделали все, от нас зависящее... Частичное рассекречивание еще не означает раскрытия всей тайны».

Однако дело журнала «Прогрессив» очень скоро доказало правоту Джона Мильтона. Его доводы трехсотлетней давности против введения априорного ограничения отчасти основывались на уверенности в том, что в конечном счете это ограничение просто не сработает. «Дурные нравы», кажется, и правда настолько «хорошо усвоились» с помощью тысячи разных способов, что их уже нельзя запретить, по крайней мере в данном случае. Правительство теперь, как и предупреждал Мильтон, стало «похоже на того джентльмена, который решил, что избавится от ворон, заперев ворота парка».

[1] Патрик Генри — известный адвокат, один из виднейших борцов за независимость американских колоний.

Одни журналисты решили пройти по стопам Морланда и, побывав в своих публичных библиотеках, сами почти докопались до истины. Другие, стремясь как можно подробнее осветить этот случай, то и дело проникали в секрет водородной бомбы. «Совершенно случайно,— сообщалось в «Коламбиа джорнализм ревью»,— мы раскопали то, что, по-видимому, является секретом водородной бомбы». И тут в драку ввязался калифорниец по имени Чак Хансен.

Хансен, которого звали «ядерным фанатом» или «поклонником водородной бомбы», развернул антиправительственную кампанию. Он засыпал министерство энергетики и своего конгрессмена письмами протеста. Одновременно затеял «конкурс на лучшую конструкцию водородной бомбы» — победителем будет считаться тот, чей проект первым засекретят в министерстве энергетики. Осенью 1979 года Хансен отправил письмо сенатору Чарльзу Перси, где изложил собственную версию устройства водородной бомбы, во многом совпадающую с описанием, сделанным Морландом. На всякий случай Хансен разослал письма в несколько американских изданий.

16 сентября висконсинская газета «Мадисон-пресс коннекшн» перепечатала письмо Хансена. На следующий день правительство аннулировало иск против журнала «Прогрессив». Наконец оно убедилось, что секрет выплыл наружу. «Теперь, после одной-единственной публикации письма Хансена, подхваченной прессой всего мира, бессмысленно запрещать другим печатать то же самое»,— сказал Гриффин Белл.

В ноябре 1979 года вышел номер журнала «Прогрессив» с заголовком во всю страницу: «СЕКРЕТ ВОДОРОДНОЙ БОМБЫ. КАК МЫ ЕГО УЗНАЛИ И ПОЧЕМУ МЫ ЕГО РАССКАЗЫВАЕМ». Это была та самая обложка, что предназначалась для апрельского номера. Статью Морланда напечатали без сокращений. Хотя по ходу разбирательства Морланд обнаружил в ней кое-какие технические ошибки, он не изменил «ни слова, ни запятой» (а добавил в конце страницу исправлений).

«Прочитайте статью Говарда Морланда,— писал Эрвин Нолл в предисловии.— Вы можете свободно оспаривать приведенные им факты или выводы, которые он делает. Вы можете свободно подвергать сомнению нашу редактуру этой статьи, решение ее напечатать. Но самое главное, можете чувствовать себя свободными — гораздо свободнее, чем кто-либо из нас на протяжении последних шести месяцев и девятнадцати дней, когда мы не могли ее напечатать, а вы прочитать».

Одни говорят, что дело журиала «Прогрессив» навеки изменило облик Первой поправки. Никакой это не монолит, и априорное ограничение вполне допустимо. Другие, наоборот, заявляют, что это дело, особенно вкупе с делом о документах Пентагона, лишь подтверждает тщетность попыток правительства США держать в уезде прессу.

В свою очередь Гриффин Белл заметил: «Я не думаю, что априорное ограничение подходит [для дел такого рода]». Тем не менее он по-прежнему убежден, что журнал поступил неразумно, опубликовав статью о водородной бомбе, и действия правительства были полностью оправданы. Гриффин Белл говорит, что в аналогичной ситуации он поступил бы точно так же. Что касается Эрвина Нолла, то он повел бы себя иначе. Не стал бы подчиняться приказу суда и откладывать публикацию статьи. «Я постарался бы выяснить все что смогу,— говорит он,—и напечатал бы это».

Десять лет спустя после публикации статьи «Секрет водородной бомбы» трудно определить, насколько оправдались мрачные прогнозы правительства. Средний американец не ощутил на себе последствий. Однако, если верить некоторым должностным лицам, публикация статьи все-таки нанесла урон национальной безопасности Соединенных Штатов. Какой именно урон — секрет.

ВЛАДИМИР ЭНТИН

СВОБОДА ПЕЧАТИ: СОВЕТСКИЙ ВАРИАНТ

Первое опьянение свободой слова проходит. Появились сотни новых изданий. Советское телевидение делается постепенно альтернативным самому себе. Теперь отечественные средства массовой информации сталкиваются с проблемами другого порядка. Как должно быть организовано цивилизованное пользование свободой? В обществе, перенасыщенном

взрывоопасными конфликтами, нельзя безнаказанно соваться с факелом истины в пороховой погреб — рванет так, что и костей не соберешь. С другой стороны, сколько можно ходить с фонариком гласности, высвечивая то один, то другой темный угол, и сознавать, что луч света погоды в темном царстве не делает?

В поисках поучительного примера мы все чаще обращаемся за океан. Если закупать технологические линии в производстве не зазорно, то почему бы не позаимствовать институты и технику демократии. Но с юридическими наработками дело обстоит значительно сложнее, чем с железками. Социальная ткань советского общества начинает отторгать либо корежить и приспосабливать под себя, казалось бы, апробированные веками демократические механизмы.

В медицине при пересадке органов используют препараты для подавления реакции отторжения. В политике этим целям служит авторитарный режим. Но возможен и менее болезненный путь: при проведении радикальных преобразований в экономической, политической, социальной и культурной жизни опереться на законодательство переходного периода. Оно призвано стать своего рода переходником от политико-правового массива прошлого к современным механизмам нормативного регулирования. Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации» из этой серии. Он позволяет вкусить свободу слова и печати сейчас, не дожидаясь светлого будущего. Но вкус ее горек.

Почему свобода не только благость, рассказывают приведенные главы из книги Элен Олдермэн и Кэролин Кеннеди «В нашу защиту. Билль о правах в действии». Авторы повествуют о двух эпизодах, связанных с реализацией принципов свободы слова и печати в США. Первая проблема — могут ли экстремистские организации требовать доступа в эфир, ссылаясь на свободу слова. Вторая — как примирить антиподы: право на свободу печати и интересы национальной безопасности. В обоих случаях речь идет о функционировании иной системы ценностей, правосудия, самоощущения человека. Вот почему значимым является не сам результат — можно или нельзя, а алгоритм ведущих к нему умозаключений и действий.

В Советском Союзе, когда хотят привести пример нецелесообразности вторжения закона и нормативного регулирования в деликатную сферу осуществления свободы печати, обычно ссылаются на Первую поправку к Конституции США, обещающую, что Конгресс не будет принимать законов, ограничивающих свободу слова или печати.

Однако либеральное толкование данной фразы как абсолютного запрета регулирования, ведущего к ограничению свободы печати, никогда не признавалось судами. Скорее наоборот, Верховный суд США ясно и недвусмысленно подтвердил, что термины «ограничения» и «свобода слова» требуют толкования в каждом конкретном случае, и ограничение свободы может быть позволено «по соответствующим причинам».

Одна из конституционных проблем, которую приходится решать в каждом конкретном случае,— вправе ли правительство ограничивать свободу прессы, если последняя может спровоцировать или иным образом побудить людей совершить противоправные действия.

В американскую судебную практику вошли различные юридические построения, позволявшие перебросить мостик от абстрактных рассуждений в печати к караемым законом действиям. В суде требовалось доказать, что естественным и разумным выводом из публикации становилось преступное поведение, на что и был направлен умысел автора. Наибольшую известность получил тест на ОЧЕВИДНУЮ И РЕАЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩУЮ ОПАСНОСТЬ. Он позволял соотнести соперничающие интересы и принципы: конституционную ценность права на свободу слова и печати с жизненно важной для общества потребностью в обеспечении безопасности страны, защите общественного порядка, иными коллективными и индивидуальными интересами.

Ограничивать свободу печати можно только в случае «крайней необходимости». Она существует лишь тогда, когда опасность очевидна и реальна. Одного неодобрительного отношения к содержанию передаваемых прессой материалов мало. Требуется доказать очевидность и реальность опасности, которую представляет их распространение.

Антидемократический потенциал указанной концепции проявился столь наглядно, что американская судебная доктрина перестала к ней обращаться, после того как политическое влияние коммунистической партии пошло на убыль.

Но теоретическая проблема, поставленная в ходе дебатов вокруг правомерности ограничения свободы печати, не утратила своей актуальности, поскольку пользование ею в определенных обстоятельствах может угрожать обществу. Попробуем примерить заморские одежки, по которым мы хотели бы протягивать ножки, к отечественному праву.

Согласно Закону Союза ССР «О печати и других средствах массовой информации», вступившему в силу с 1 августа 1990 года, использование средств массовой информации для призыва к насильственному свержению или изменению существующего государственного и общественного строя, пропаганды войны, насилия и жестокости, расовой, национальной, религиозной исключительности или нетерпимости не допускается.

Что стоит за этой формулой в условиях, когда предварительная цензура упразднена? В Советском Союзе пресса свободна в своих комментариях. Но если будет установлено нарушение изложенных выше запретов повторно в течение года, то суд или орган, зарегистрировавший средство массовой информации, может прекратить его выпуск или издание. Звучит грозно. На самом деле это бумажный тигр. Проштрафившийся учредитель рискует нарваться на отказ в регистрации, если заявление подано им до истечения года со дня вступления в законную силу решения о прекращении деятельности средства массовой информации. Если использована хитрость: сменились учредитель, название средства массовой информации или его характер (например, еженедельник стал выходить каждый день или

раз в месяц), то по закону это уже новое средство массовой информации. Соответственно, у него нет прошлого и нет грехов. препятствующих его регистрации. Другое дело, что автор соответствующего материала или редактор могут быть привлечены к ответственности за нарушение закона, если они разжигали национальную нетерпимость. Но на судьбе другого средства массовой информации юридически это не отражается.

Такая тактика умело практиковалась еще большевистскими изданиями, менявшими названия, но не редакционную политику. Грозное «я вас запрещу», заставлявшее трепетать в условиях тоталитарного режима, перестает пугать даже слабонервных. Угроза прекратить поставки бумаги, отлучить от распространения действует сильнее. Но это уже из приемов политического кетча.

Если же сопоставлять классические приемы советского и американского права, то приходится констатировать, что отечественный законодатель отводит судье скорее роль исполнительного чиновника, нежели арбитра. Судьи в США проверяют, насколько ограничения, которые неизбежны при любом регулировании, оправданны и совместимы с принципом свободы печати. Роль советских судей иная. Они должны применять законы и принятые на их основе нормативные акты. Судьи не рассматривают ни правомерность нормотворчества Совета Министров и его преемника Кабинета Министров, отступающего от буквы закона (по поводу духа закона можно и подискутировать, но буквальные веления следует, наверное, исполнять), ни соответствие положений закона конституционным принципам.

Поэтому если применительно к США мы говорим о трезубце государственности, состоящем из законодательной, исполнительной и судебной власти, то в отношении СССР говорить о разделении властей можно лишь как о направлении, в котором ведется политическая реформа. Пока налицо бюрократическая машина, которую даже с натяжкой трудно назвать исполнительной властью, ибо последняя подразумевает четкую структурированность и соподчиненность, функционирует не столько на основании закона, сколько используя последний. Значительная доля административного усмотрения, так или иначе присутствующая в советском законодательстве, связанном с осуществлением человеком своих прав и свобод, снижает возможности суда выправить положение.

На этом печальном фоне союзный Закон о печати стоит особняком. Он практически лишает чиновника свободы играть в любимые идеологические игры: запрещать, давать ценные указания и разрешать «дозволенные речи». Вот почему, наверное, были предприняты идущие вразрез с законом лихорадочные попытки вывести государственное телевидение из сферы действия Закона о печати. Но это уже уклон в сторону сугубо внутренней, советской специфики демократического развития.

Вернемся к поставленному Элен Олдермэн и Кэролин Кеннеди вопросу. Могут ли, опираясь на конституционный принцип свободы слова, заставить выслушать себя сторонники непопулярных или экстремистских взглядов? С американской точкой зрения мы познакомились. Попробуем проанализировать, как бы решалась такая коллизия, если бы за океаном нужно было применять советское право.

Закон о печати и других средствах массовой информации предусматривает несколько возможностей публичного изложения своих взглядов и оценок. Из статьи одиннадцатой закона следует, что пропаганда расовой исключительности, получившая отражение в названии или программных целях, является основанием для отказа в регистрации средства массовой информации. Это означает, что выпустить листовку, газету, журнал, сказав в них все, что ты думаешь, можно. Но тираж не должен превышать 1000 экземпляров. В противном случае будет нарушен закон. Для радио или телестанции такой отдушины нет. Надо обращаться к уже действующим каналам. Возможность выступить могут предоставить либо нет в зависимости от того, какого рода плюрализм пожелают проявить.

Право на изложение собственной позиции, какой бы спорной она ни была, появляется у гражданина или организации в двух случаях. Первый. Были опубликованы сведения, не соответствующие действительности и порочащие чьи-либо честь и достоинство. Доказав одновременное наличие обоих этих обстоятельств: 1) расхождение между тем, что сообщено, и тем, что есть на самом деле, 2) ущерб чести и достоинству в глазах людей, обычно имеющих дело с опороченной организацией или человеком,— можно требовать опровержения.

Второй случай: когда все приведенные факты правильны, а общее впечатление ложно. То есть выполнена рекомендация Бисмарка, данная журналистам, желавшим знать, что можно писать о войне. «Пишите правду, только правду, но не всю правду»,— посоветовал «железный канцлер». Дабы человек или организация не стали жертвой полуправды, они могут воспользоваться правом на ответ. Основанием возникновения такого права является распространение в средствах массовой информации сведений, ущемляющих их права и законные интересы.

Оба случая роднит и то, что они помещены в одной статье закона, и то, что гражданин или организация принимают решение воспользоваться возникшим у них правом самостоятельно. При отказе поместить опровержение или ответ либо несоблюдении установленных для этого законом сроков данное право может быть реализовано в принудительном порядке через суд, конечно, если последний установит наличие предусмотренных законом оснований. Причем по правилам статьи 26 опровержение или ответ зачитывается диктором радио либо телевидения в той же программе или цикле передач и в то же время не позднее месяца со дня поступления требования. Право выступить с ответом может быть предоставлено также самому гражданину или представителю организации.

Таким образом советский законодатель ввел новые правила... к старой детской игре «черного и белого не берите». Если не хочешь, чтобы некто появился на телеэкране или прозвучал в эфире, не поминай его имя

всуе. Решающее слово в споре по поводу «обязательного плюрализма» принадлежит суду.

Стоит, наверное, отметить одну революцию, которая прошла почти незамеченной. Долгое время печать, радио и телевидение в нашей стране по праву считались указующим перстом правительствующей партии. На публичную критику в прессе следовало реагировать под страхом привлечения к суду революционного трибунала или оргвыводов. Печатное слово воспринималось как команда. На нее положено было брать под козырек, пролепетав объяснения и доложив о принятых мерах. Сейчас средства массовой информации формально отсоединены от механизма власти. Заставлять орган политической партии или профсоюзов вещать нечто, противоречащее его жизненному кредо, противоестественно. Органы не приспособлены для иных функций, нежели обслуживание хозяина. Другое дело средства массовой информации, учрежденные и отпущенные в самостоятельное плавание.

Следовательно, юридическая автономность средств массовой информации — залог того, что любые взгляды и мнения смогут найти свою аудиторию при условии, что соблюдены правила игры, установленные законом.

Здесь, на мой взгляд, имеются точки соприкосновения в советском и американском подходах. Хотя реализация свободы слова и печати происходит в разных системах координат, подход общий: искомый баланс интересов устанавливается не априорно, а определяется судом в каждом конкретном случае.

В США проблема деструктивного влияния выступлений средств массовой информации не раз становилась предметом судебного разбирательства. В решениях судов прослеживается стремление сохранить свободу печати в ее американском понимании и вместе с тем не допустить сбоев в функционировании властных механизмов. Курьез, о котором поведали американские авторы,— публикация технологии изготовления водородной бомбы, почерпнутой из различных безобидных источников, лишь подчеркивает многоплановость проблемы сосуществования государственной тайны и свободы печати. В решениях Верховного суда США делались попытки найти критерии, позволяющие судить, когда и в каких обстоятельствах ограничения на распространение информации являются оправданными.

Наибольшую известность получило так называемое дело о документах Пентагона. Суть его такова. В крупнейших газетах США была сделана заявка на подготовку серии статей, повествующих о том, как США оказались втянутыми в боевые действия во Вьетнаме. Основой публикаций должны были стать служебные документы Пентагона, носившие гриф «секретно».

Правительство, узнав о готовящихся публикациях, потребовало издать судебный приказ, запрещавший их. Суд был поставлен в сложное положение. Ему нужно было найти рабочую формулу компромисса между свободой печати и императивами государственной безопасности.

С тем, какие конкретные последствия разглашения информации составляют угрозу безопасности, разобрались сравнительно легко. Федеральный суд округа Колумбия, куда обратилось правительство, разъяснил, что под немедленной и неминуемой угрозой безопасности США понимается разрыв дипломатических отношений, вооруженное нападение на США или их союзника, разглашение сведений о передвижении войск, раскрытие планов обороны, ставящее под угрозу их эффективность, а также разглашение сведений, препятствующих проведению операций разведывательного характера.

Значительно сложнее оказалось найти процессуально приемлемое решение проблемы. Дело в том, что требование наложить запрет на публикацию является, как здесь ни крути, предварительным ограничением свободы, цензурой, против которой и направлена первая поправка к Конституции страны. То есть такое требование в процессуальном плане носит антиконституционный характер.

Таким образом задача изначально не имела бесспорного решения. К тому же, когда речь идет о документах, неминуемо всплывает вопрос, почему правительство мешает знакомиться с информацией, ставшей достоянием истории. Правительству было отказано. Судебный приказ, воспрещающий публикацию, не издали. Статьи были опубликованы. Последние доводы сторонников продолжения войны во Вьетнаме оказались разбиты. Принцип свободы печати восторжествовал в данном конкретном случае, но были названы обстоятельства, при которых его ограничения будут считаться правомерными. Суд констатировал их наличие во время войны в Персидском заливе. Так что в извечном споре между свободой печати и потребностью общества в эффективности действий правительства возможны разные повороты.

В связи с этим на первый план выступает техника правомерных ограничений свободы печати. Американские суды принимают к рассмотрению иски против ограничений и приравненных к ним действий по причине их чрезмерно широкого характера, неопределенности и близости к предварительному ограничению, то есть цензуре.

Всякое регулирование, каким бы оправданным оно ни было само по себе, проверяется — не ущемит ли оно пользование свободой слова или печати. Если, несмотря на намерения создателей закона, вводимый запрет может выйти за рамки цели регулирования и отрицательно сказаться на пользовании конституционными свободами, он может быть оспорен в суде на предмет соответствия его конституции.

Дефектность нормативного акта, позволяющая подвести практически любые действия, связанные с использованием свободы слова применительно к определенному объекту, под запрещаемые, почти автоматически делает его антиконституционным.

Система предварительных ограничений распространения информации имеет ряд юридических недостатков, делающих ее антиподом свободы слова. Вот семь наиболее крупных:

1. Осуществление предварительных ограничений обычно требует пропускать сквозь сложный бюрократический аппарат гораздо больший объем информации, чем система, предусматривающая последующее наказа-

пне за правонарушение. Причем предварительный правительственный контроль за информацией имеет тенденцию к всеохватности.

2. Если применяется последующая ответственность, то информация уже была доведена до всеобщего сведения, тогда как в условиях цензуры она может и не попасть на рынок идей или попасть на него безнадежно устаревшей.

3. Сама конституция цензуры облегчает правительству задачу воспрепятствовать критике своих действий. Привлечение к последующей ответственности заставляет чиновника несколько раз подумать, прежде чем рисковать затевать судебный процесс.

4. В условиях цензуры вопрос о запрете распространять определенные сведения решается в ходе административной, а не судебной процедуры. То есть отсутствуют процессуальные гарантии.

5. Система предварительных ограничений действует за кулисами с помощью негласного давления, так что бороться с ней труднее.

6. Основная задача цензора — как ее ни формулируй — все же остается не пускать. Он профессионально заинтересован в том, чтобы обнаруживать запретное.

7. Система предварительных ограничений используется гораздо старательнее и чаще, чем система последующего наложения наказания.

Американцы считают цензуру неприемлемой по соображениям не только принципа, но и целесообразности. Закон Союза ССР также высказался за недопущение цензуры. Но проблема защиты национальной безопасности от этого не снимается. Получить закрытые сведения, затрагивающие обороноспособность страны, можно и на основе анализа общедоступной информации. Из детективных романов и выступлений публицистов мы знаем, что сопоставление текстов газет и журналов, кадров документальных фильмов с известными наблюдателю явлениями позволяет узнать многие секреты. Но выудить технологию изготовления водородной бомбы из разделов «Сделай сам» и «Это интересно» — такое не придумали бы даже пародисты.

Представим себе на секунду, что нечто аналогичное случилось бы не с американским журналом «Прогрессив», а с советским «Техника — молодежи». Редактор прежде всего пожелал бы узнать, кто отвечает за сохранность государственной тайны — лицо, которому она была вверена по роду работы, или журналист.

До существования Закона о печати он мог спать спокойно. Уголовная ответственность за разглашение тайн грозила только лицам, которым она была вверена. От неча́янного разглашения того, чего не положено, редакцию охраняла бдительность цензора. Прессу в СССР от цензуры освободили. Но платой за свободу стала ответственность за свои действия.

Разглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, превратилось в правонарушение, за которое отныне отвечает не только лицо, дававшее соответствующую подписку. Согласно Закону о печати такое нарушение может стать основанием для прекращения выпуска или издания средства массовой информации. Редактор же, тем более если до его сведения было доведено, что готовящаяся публикация ведет к разглашению тайны, отвечает самостоятельно. Так что в нашей стране номер с публикацией атомных секретов бы не прошел, во всяком случае столь безболезненно для редактора.

Но из сказанного отнюдь не стоит делать вывод, что в Америке все можно. Действительно, такого понятия, как истинная или ложная идея в юридическом смысле не существует. Ограничения на распространение информации вводятся на другом основании. Как не все золото, что блестит, так и не всякая информация считается проявлением свободы слова или печати.

Пресса может быть подвергнута регулированию ограничительного характера в том случае, когда передаваемая с ее помощью информация имеет пониженную конституционную ценность. Двухуровневая теория свободы слова впервые была сформулирована по делу «Чаплинский против штата Нью-Гэмпшир» в 1942 году. Суть ее изложена в следующей цитате:

«Существуют некоторые четко очерченные и весьма ограниченные виды слова, предупреждение использования которых и наказание которых не должно представлять никаких конституционных проблем. Они включают в себя грязные и непристойные выражения, богохульство, оскорбления и пасквиль — слова, одно лишь произнесение которых способно причинить боль, нанести ущерб либо вызвать немедленное нарушение общественного спокойствия. Наблюдения показывают, что использование этих слов и выражений отнюдь не является существенной частью изложения мыслей и идей, эти слова имеют столь незначительную социальную ценность как инструменты познания истины, что любое благо, которое может быть получено с их помощью, многократно перевешивается заинтересованностью общества в порядке и морали».

Постепенно судебная практика США определила, когда и при каких обстоятельствах пресса может быть полностью или частично лишена конституционной защиты, а действия ее ограничены возможностью привлечения виновных к ответственности на основании закона. Пресса не пользуется привилегией, которую дает ей конституционный принцип свободы слова и печати, и должна отвечать за последствия своих действий в случаях:

1) ложного изложения фактов или событий (при подобном профессиональном «проколе» возможно предъявление исков о диффамации, клевете, оскорблении);

2) ложного толкования событий, фактов, обстоятельств, что ведет к коллективной диффамации (того, чем часто грешит советская пресса, когда утверждает, что нельзя работать в торговле и не воровать, что соблюдение буквы закона мешает эффективной борьбе с преступностью и т. п.);

3) неоправданного использования информации, которая не предназначена для посторонних (за этой формулой стоит покушение на государственные секреты и тайну личной

жизни, специально охраняемую законами многих штатов);

4) сообщения сугубо коммерческой информации: она не относится к мыслям и идеям, которые пользуются конституционной защитой, а потому ее появление может регулироваться вплоть до полного запрета (во многих штатах законодательно запрещено рекламировать по телевидению наркотики, табак, алкогольные напитки);

5) помещения непристойности. Она пользуется пониженной правовой защитой, хотя и является до некоторой степени элементом самовыражения индивида. Соответственно, границы терпимого являются весьма подвижными, но не беспредельными.

Ограничения на распространение произведений сомнительного содержания устанавливают местные власти на городском и региональном уровне (в США этому соответствует уровень графств), но оспаривать правомерность такого регулирования можно, если вы достаточно состоятельны, чтобы дойти до высшей судебной инстанции страны.

В особую группу можно выделить технические ограничения свободы прессы безотносительно к содержанию передаваемой информации. Они продиктованы особенностями конкретного средства массовой информации, условиями его распространения. Ограничения на распространение продукции средств массовой информации в определенных местах считается оправданным, когда такое распространение создает помехи движению, мешает поддержанию исторического облика места, нарушает права частной собственности владельцев зданий, нарушает тишину после определенного часа.

Хотя все технические ограничения, как правило, разумны и нужны, тем не менее всегда существует опасность, что чиновники все чрезмерно зарегулируют. Дело не в личных качествах того или иного представителя власти, а в объективных обстоятельствах. Первое, чиновники легко поддаются доводу, что без регулирования возможны всяческие нарушения и злоупотребления. Второе, они пребывают в уверенности, что регулирование облегчает работу государственных и муниципальных служб. Поэтому при возникновении судебных споров суды требуют обосновать не столько правомерность, сколько целесообразность регулирования: в достаточной ли мере получаемые преимущества компенсируют ущемление свободы прессы.

Если бы суды и нашей страны задавались таким вопросом, от скольких бессмысленных запретов удалось бы нам избавиться малой кровью.

ВЛАДИМИР ЗОТОВ

ОТ КОРРУМПИРОВАННОЙ КУЛЬТУРЫ К КУЛЬТУРНОЙ КОРРУПЦИИ

Мафиози с самопалом

— Сейчас в нашем обществе все еще есть молодые люди, которые смотрят губительные фильмы с порнографией и насилием. Что бы вы хотели им сказать?

— Друзья! Эти фильмы смотреть нельзя, они могут отравить ваше сознание. Не следуйте моему примеру. Надо становиться законопослушными гражданами, приносящими пользу государству.

Из интервью 26-летнего китайца, приговоренного к смерти за 6 изнасилований и 3 убийства

Уже, наверное, недалеко до тех времен, когда социалистические общества превратятся в объект исследовательского интереса не столько политологов, сколько антропологов и этнографов. Беззаветная вера в идеи Ленина — Сталина, Мао Цзэдуна и чучхе, служащая для их приверженцев залогом победоносной борьбы со стихийными бедствиями, классовыми врагами и с самими собой, все чаще воспринимается мировым сообществом как экзотика не менее любопытная, чем канибализм индейцев квакиютлей. Печать архаичности лежит на всех общественных структурах социализма — как официальных, так и подпольных, и особенно явственно она начинает проступать в эпохи перемен.

Последние годы массовое сознание двух рассыпающихся социалистических империй — Советского Союза и Китая — возбуждено леденящими души рассказами о всепроникающей теневой экономике. Красочно живописуя мафиозный беспредел, политики делают себе имя, а блюстители закона усиливают влияние на верховную власть. Китайская пресса рассказывает о расплодившихся наследниках «Триады» и других тайных обществ, невидимой рукой направляющих организованную преступность. Под шумок к ним причисляют обычных спекулянтов и «политических» — «враждебных элементов, выступающих против социализма, за движение по капиталистическому пути, включая неперестроившихся последышей эксплуататорских классов и новоявленных капиталистов», а также «подонков банды четырех».

С подробностями описывается, как по всей стране раскинуло свои щупальца тайное объединение «Братства десяти звезд», имеющее свыше 500 региональных организаций, самые крупные из которых насчитывают до 400 человек. Они имеют коническую структуру, характерную для традиционного клана: вверху — главарь с неограниченной властью, основанной на авторитете, под ним — группа руководителей, контролирующих каждый свою сферу, внизу — рядовые члены. Братства имеют свои кодексы чести, предусматривающие беспрекословное подчинение приказам главаря, равенство и взаимопомощь, наказание нарушителей (в том числе телесное), преследование (и даже убийство) предателей. Эффектен обряд инициации: вступающие в братство произносят клятву, содержащую мистические символы, и выпивают чашу с вином и петушиной кровью.

В чем же состоит «преступная деятельность» этих «мафиозных организаций»? Вот два типичных примера, которые описаны провинциальной газетой «Хэйлунцзян жибао».

...Смеркалось, когда подвыпивший секретарь сельской партячейки Сун Лифу вернулся домой. С трудом найдя дверь, он ввалился в дом и протрезвел от ужаса: из его комнаты исчезли цветной телевизор и магнитофон. На столе валялся клочок бумаги с посланием. Оно гласило: «Сун Лифу! Ты ведь партийный секретарь, а о народе не заботишься. Только и знаешь, что обираешь

его. Когда переходили на семейный подряд, ты отхватил себе участок поближе к воде, землю чуть похуже выделил кадровым работникам, а крестьянам досталась горная местность. Когда поселковые предприятия получили самостоятельность, ты прибрал к рукам хлопчатобумажную фабрику, приносящую годовой доход в несколько десятков тысяч юаней. А жители деревни не только ничего не получили, но ты еще и вышвырнул кого захотел и теперь получаешь зарплату за уволенных работниц. Сегодня по приказу главаря мы в наказание забираем твои телевизор и магнитофон. А если ты не прекратишь бесчинствовать, тебя ждет суровая кара». Испуганный Сун Лифу сразу бросился в уездное управление общественной безопасности. Но поиски воров оказались безуспешными.

...«Куриный король» Чэнь Лайю, хорошо заработав на птицеводстве, осуществил заветную мечту любого крестьянина: построил себе двухэтажный коттедж, купил цветной телевизор и холодильник. Однажды утром под дверь ему подбросили письмо, где говорилось: «Пятидесятитысячник Чэнь, в последние годы богатство у тебя течет рекой, ты пируешь за обедами и роскошествуешь в особняке. Даже части твоих денег хватило бы, чтобы выручить из беды целую кучу бедняков. Десятого числа в восемь вечера положи под большой камень за деревней 5 тысяч юаней, не то тебе, всем твоим детям и племянникам не поздоровится...» Сын Чэнь Лайю тут же побежал с жалобой в уездное управление общественной безопасности, где ему велели вернуться в село и обратиться к местному милиционеру. Но как на грех страж порядка оказался мертвецки пьян. Отчаявшемуся было Чэню неожиданно помогло некое «Братство семи рыцарей», без труда нашедшее бесхитростных рэкетиров и сдавшее их властям.

На поверку оказывается, что средний китайский «мафиози» — это малограмотный крестьянин или городской безработный лет восемнадцати, увлеченный игрой в «тайные общества» (что-то вроде нашего любера или футбольного фана). Вооружившись булыжником, колом или — предел мечтаний — самопалом, он пытается походить на благородного разбойника, борющегося за социальную справедливость. Худшее, на что он решается — «обмыть» толстосума или устроить драку в дорогом ресторане. Лишь самые отпетые, насмотревшись иностранных фильмов, решаются на грабежи и насилие, рыдая потом в суде и кляня разлагающее влияние Запада. Но это рядовые уголовники, причислить которых к мафии можно только от большого испуга, даже если они организуются в шайку.

Пожалуй, единственная серьезная опасность с этой точки зрения — наркобизнес, активизировавшийся за последние годы во многом благодаря проникновению из Юго-Восточной Азии настоящей «Триады», ворочающей миллиардами долларов и все больше монополизирующей мировую торговлю героином. Эта тайная организация, состоящая из этнических китайцев, заставляет считаться с собой полицию многих стран. Американец Джералд Познер, написавший книгу «Атаманы преступного мира. Китайские тайные общества — новая мафия», приводит страстный монолог одного из начальников Королевской полиции в Гонконге: «Организованную преступность изобрели китайцы. И в этом деле им нет равных. Они превратили ее в большой бизнес, и они абсолютно безжалостны. Я проработал здесь больше двадцати пяти лет, у меня много друзей среди полицейских в Соединенных Штатах, и могу вас уверить: по сравнению с этими «Триадами», базирующимися в Гонконге, мафия выглядит детской игрой. Рядом с ними даже близко никого нет — ни сицилийцев, ни корсиканцев, ни колумбийцев. Никого». (В нашей прессе встречаются весьма схожие описания методов работы «русской мафии» в Америке: те же сетования на жестокость и полное отсутствие моральных ограничителей.)

Однако ожидать, что «Триада» всерьез заинтересуется континентальным Китаем, трудно. Асы наркобизнеса не видят для себя перспектив в коммунистической стране. Они заранее готовятся к воссоединению в 1997 году Гонконга с КНР, постепенно перебазируясь в США, Австралию, Сингапур. Да и министерство общественной безопасности на всякий случай уже готово к борьбе. В январе 1990 года начальник отдела по расследованию преступлений Лю Вэнь заявил, что милиция на континенте даст отпор любым попыткам проникновения «Триады», руководствуясь тремя принципами: в КНР не будет создана ни одна ее организация, не скроется от правосудия ни один ее член, не будет допущено ни одно преступление «братства».

Примеры с тайными обществами показывают, что в пылу политической борьбы баловство с суевериями или обычная уголовщина могут быть облачены в мистические «мафиозные» одежды. Спокойный культурологический и политико-экономический анализ способен несколько отрезвить наблюдателя и помочь ему увидеть весьма прозаическую сторону шумных кампаний

борьбы с экономическими преступлениями в Китае и скандалов вокруг «теневиков» и «распродажи Родины» в нашей стране.

Теневая экономика. Ab ovo

> Там, где грязь, кишит жизнь. Где вода чиста, не бывает рыбы. Благородный муж не должен чураться мирской грязи и не должен слепо подражать образцам непорочного поведения.
>
> *Китайский афоризм из собрания Хун Цзычэна, XVII век*
>
> *(Перевод В. Малявина)*

При всеобщей нервозности обсуждение проблем теневой экономики в нашей печати за редкими исключениями сосредоточилось вокруг ее частных проявлений и негативных сторон. Даже весьма уважаемые специалисты говорят только о приносимом ею вреде и всерьез обещают ее «ликвидировать» (достаточно вспомнить программу «500 дней»). Хотя уже на уровне здравого смысла реальность такой перспективы выглядит сомнительной. Попытка отделить от человека и уничтожить его собственную тень — очередная коммунистическая утопия.

Давно замечено, что разнообразные виды нерегламентируемой, неучитываемой и криминальной хозяйственной деятельности существуют во всех странах вне зависимости от их культуры, социального устройства или территориального расположения. Их основу составляют неформальные отношения, коренящиеся в самых древних традициях. Но они не просто признак недоразвитости или сохранения пережитков прошлого. Неформальные (родственные, дружеские) связи — выражение спонтанных склонностей к взаимному обмену и кооперации, отвечающих биологической и социальной сущности человека, и потому выступают неотъемлемым условием, без которого не может существовать ни одна цивилизация.

Изучая первобытные культуры, мэтры экономической антропологии Карл Поланьи, Брони Малиновский и их последователи обратили внимание на любопытные особенности существующих там хозяйственных отношений. Когда люди обмениваются чем-либо, их поведение выглядит крайне примитивно. Они согласны меняться без особой выгоды и только из рук в руки. Никакие предложения типа «утром стулья, вечером деньги» не проходят. Отдают друг другу предметы не просто равноценные, а сходные по размерам, внешнему виду и способу применения (например, камень на камень поменять можно, а палку на камень уже нельзя). Зачастую участники сделок вообще не имеют привычного для рыночной экономики материального интереса, который основан на стремлении обменяться с выигрышем для себя. Какой-то интерес, конечно, присутствует, но совершенно иного свойства. И выражается он в двух крайностях: либо человек делает подарок, рассчитывая не на получение материального эквивалента, а на уважение к себе, либо он хочет урвать все, не отдавая взамен ничего. Если классифицировать эти принципы обмена, можно выделить три основных вида. В одном случае участники делают друг другу подарки, демонстрируя свою щедрость и доброту (наиболее чистое проявление — отношения между близкими родственниками). В другом — совершается честный обмен без попыток что-то выгадать. В нем могут участвовать только люди, полностью доверяющие друг другу,— из одного клана или, в крайнем случае, из одной деревни. Здесь допускается толика лукавства, служащая предметом мелкой похвальбы. И третий вариант — обмен «наоборот», когда любыми способами — обманом ли, воровством ли — партнеры стремятся безвозмездно присвоить чужую собственность.

Как вести себя в каждом конкретном случае, человек, принадлежащий архаичной культуре, определяет безошибочно: все зависит от близости личных связей. В отношениях между «своими» он руководствуется мотивами альтруизма и проявляет максимальную честность, тогда как применительно к «чужим» считает естественным вести себя аморально. Такая же психология лежит в основе современной неформальной экономики. Она произрастает из тех же самых трех видов примитивного хозяйства. Обычай делать щедрые подарки превратился теперь в разнообразные формы непотизма. Как бы с ним не боролись, в любой культуре обычным делом выглядит помощь родственникам при продвижении по службе и опора на близких людей при создании фирмы или любой другой организации. Прямой обмен привычными эквивалентами стоит за бартерными сделками и мелкой спекуляцией. И наконец, вся криминальная экономика, начиная с рэкета и кончая наркобизнесом, строится на убежденности преступника в том, что нет большого греха в нанесении вреда «чужому» или «плохому» человеку.

Неформальная экономическая деятельность фиксируется даже в самых развитых обществах, причем ее «пещерные» формы больше всего распространены среди этнических меньшинств и людей с низким доходом (в США, например, чаще всех ею занимаются выходцы из Азии, Латинской Америки, стран бывшего коммунистического

блока). Это естественно, поскольку при цивилизованном рынке одним и тем же бизнесом заниматься легально прибыльнее, чем в подполье. Замечено также, что во времена экономических «шоков» теневая активность резко возрастает, поскольку в ней находят отдушину те социальные слои, которые не успевают «вписаться» в новые условия жизни. Последний такой всплеск наблюдался на Западе в 70-е годы, когда экономика перестраивалась под влиянием нефтяного кризиса.

Никакое экономическое «чудо» в послевоенном мире — будь то западногерманское, японское или тайваньское — не обошлось без бешеного разгула «теневиков». В Южной Корее в 80-е годы доля нелегального бизнеса в валовом национальном продукте подскочила в шесть раз. Некоторые специалисты высказывают мнение, что в будущем теневая экономика вообще может стать альтернативой постиндустриальному обществу. Сейчас, когда на Западе профессор престижного университета с годовым доходом в сотню тысяч долларов считает себя неудачником, завидуя хипповым миллионерам электронного бизнеса, огромные массы людей чувствуют себя «забракованными» новой технологической революцией. Они не находят себе места в экономической структуре, базирующейся на всеобщей компьютеризации и культе предпринимательства. Поэтому естественный выход для них — искать спасение в параллельных мирах неформальных отношений.

«Вторичные» формы хозяйства — это не просто неизбежное зло, вызываемое недостаточным уровнем культуры или социальным неравенством. Они выполняют очень важные конструктивные функции в обществе. Человек всегда обладает бóльшим знанием, чем может выразить в им же придуманных символах, часто даже не отдавая себе в этом отчет. Это неявное знание реализуется через бессознательные действия и привычки, происхождение которых ему неизвестно. Скажем, слегка поскользнувшись на льду, он может мгновенно восстановить равновесие, но объяснить порядок перегруппировки мышц ему не дано. Точно так же жизнь любого общества несравненно богаче функциональных возможностей создаваемой им экономической системы. Все реально существующие явления и связи никогда полностью не вмещаются в рамки, предусматриваемые официальными институтами, какими бы совершенными они ни казались. Кроме того, ни одна система не может существовать без сбоев и ошибок. Из-за этого часть общественных потребностей всегда остается неудовлетворенной, и возникающие пустоты восполняются нерегулируемой деятельностью. Тут-то и возникают неизбежные нарушения правовых и этических норм.

Добрый бог теневой экономики имеет три ипостаси. Имя им — «Встроенный стабилизатор», «Смазчик» и «Общественный умиротворитель». Когда в официальной системе возникают расстройства, включаются подпольные механизмы, приводящие ее в равновесие. Например, в периоды спадов покупатели, имеющие скрытые доходы, предъявляют дополнительный спрос, стимулируя тем самым рост производства. Когда же возникают дефициты, рынок заполняют «нелегальные» продукты, что не только расширяет предложение, но и сдерживает инфляцию. Стоит появиться избыточному трению при вращении шестеренок экономической машины, как немедленно появляется «Смазчик»: сорван договор о поставках — получите «левый» товар, обанкротились заводы — милости просим в подпольные цеха, правительство ввело ограничение на ввоз товара — пожалуйте на черный рынок... В самые тяжелые времена, начиная от войн и кончая «шоковой терапией», скрытый от посторонних глаз «Умиротворитель» немного смягчает жестокие удары судьбы, увеличивая тем самым долготерпение народа (предложение по скрытым каналам нормируемых продуктов, дополнительные источники заработка при замороженной зарплате и т. п.).

Как это ни странно звучит, в общем итоге теневая экономика приносит больше пользы, чем вреда. Конечно, польза эта весьма специфична, поскольку несет с собой массу хлопот налоговым службам, правоохранительным органам и наносит моральный ущерб. Но тут уж многое зависит от качества официальных структур: чем они жестче, чем больше дают сбоев, тем сильнее нужда в тайных механизмах. В развитых рыночных хозяйствах подпольная деятельность воздействует на общественную систему, как правило, в пассивных формах и имеет небольшие масштабы. В Англии, Германии, Скандинавских государствах ее доля не превышает 4—5 процентов валового национального продукта, и только в романоязычных странах из-за особенностей культурной традиции она достигает десятипроцентной отметки. А вот в афро-азиатском мире и в Латинской Америке этот показатель часто колеблется между 40 и 70 процентами.

Китайская и советская теневая экономика имеют между собой много общего: ведь обе страны — хотя и в разной степени — несут

в себе черты азиатского типа цивилизаций и являются заложницами социалистического выбора. Их особенности с антропологической точки зрения связаны с принадлежностью к так называемой культуре стыда, в которой ограничения на асоциальные действия накладываются на человека извне, со стороны коллектива. Ее противоположность — протестантская культура вины, где личность сама, исходя из внутренних импульсов, устанавливает для себя запреты. Здесь все определяется традициями детского воспитания. В зависимости от того, на что делается упор — на послушание, «хорошее» поведение, уважение к старшим или на независимость, уверенность в себе и изобретательность,— человек, становясь взрослым, делает свой выбор, в одном случае руководствуясь соображением «что скажут люди», в другом — «что подсказывает сердце».

Как свидетельствуют наблюдения детских психологов, в китайских семьях не поощряется дух соревновательности и резко осуждается бунтарство — драки с другими детьми, ломание игрушек, открытое выражение гнева, употребление ругательств и прочие проявления индивидуализма. Проводившиеся в США сравнительные исследования показали, что большинство матерей-китаянок (74 процента) ни при каких обстоятельствах, даже при явной несправедливости, не склоняли своих детей давать сдачи обидчикам. И наоборот, матери-американки, как правило, поощряли способность постоять за себя, а некоторые даже наказывали детей за то, что они прибегали жаловаться.

При уходе за детьми китайцы прежде всего следят за соблюдением безопасности. Чтобы ребенок не поранился или не побил посуду, его опутывают многочисленными запретами. Активность, независимость, исследовательский интерес по возможности подавляются. За провинности чаще всего наказывают стыдом, раня человеческое достоинство малыша. Ребенка могут отшлепать при посторонних, оттаскать за ухо, высечь бамбуковым прутом, отлучить от семейного торжества или лишить мелких детских привилегий. Правда, самым маленьким делаются поблажки, но это до тех пор, пока считается, что они «ничего не понимают». Тем драматичнее для них бывает переход родителей к жесткой манере воспитания в более старшем возрасте.

Замечено, что хотя мать-китаянка старается постоянно находиться при ребенке, она в основном лишь оберегает его от опасностей, кормит, переодевает, но мало заботится об эмоциональном контакте. Особенно важно то, что, приучая его к моральным запретам, она не объясняет их целесообразности. Американский ученый А. Блум на основании проведенных им социологических опросов пришел к выводу: несмотря на культ послушания, у китайских детей очень слабое аналитическое постижение необходимости выполнять определенные обязательства перед окружающими. Введя условный коэффициент понимания этой истины (при условии, что минимальное его значение равно нулю, а максимальное — единице), он установил, что у китайцев оно составляет 0,18, тогда как у американцев и французов — соответственно 0,43 и 0,47. В китайских семьях свято соблюдается молчаливый договор: если чего-то делать нельзя, то это не подлежит обсуждению. Например, традиционно считается, что мастурбация — это постыдная привычка. Во время опроса по сексуальной тематике из 34 китаянок только одна призналась, что заставала ребенка за этим занятием. Такая явно заниженная доля может объясняться только незнанием или нежеланием касаться щекотливой темы.

Особенности детского воспитания в Китае — надо сказать, весьма схожие с нашими,— решая задачу обеспечить максимальную выживаемость нации, приводят в то же время к формированию личности, безоглядно подчиняющейся авторитету и обладающей слабой индивидуальной интуицией. Попадая в условия, где культурные инструкции, направляющие его поведение, перестают действовать, такой человек сразу как бы «дичает». Он может не задумываясь совершить преступление или заняться нелегальным бизнесом в ситуациях, когда социальное окружение окажется для него «чужим» или когда его «никто не видит». В уже цитировавшемся интервью, которое корреспондент газеты «Фачжи бао» взял у приговоренного к расстрелу молодого человека — психически совершенно нормального,— есть эпизод, где убийца меланхолично объясняет свои действия:

« — Вы насиловали свои жертвы. Зачем вам надо было их убивать?

— А я боялся, что они мне отомстят.

— Убивая людей, зачем вы выкалывали мертвецам глаза?

— Я видел фильмы с изображением сцен насилия, и там говорилось, что на сетчатке у жертвы отпечатывается лицо убийцы. Если бы я не выковыривал им глаза, милиция бы получила мой портрет и нашла бы меня».

Моральная неустойчивость человека, выросшего в культуре стыда, хорошо выявля-

ется с помощью социологических методов. Так, параллельные опросы, проведенные в СССР и США, выявили зеркальность количественного соотношения (соответственно 3 : 7 и 7 : 3) между двумя типами людей — теми, кто причиной честных поступков считает высокие моральные принципы, и теми, кто объясняет их страхом быть уличенным окружающими в бесчестности. Культурные особенности непосредственно сказываются на экономических отношениях: как в КНР, так и в СССР, принципы взаимного обмена, берущие начало в первобытных обществах, до сих пор играют не подчиненную, а ведущую роль. Наиболее ярко это проявляется в массовом восприятии казенного имущества как «чужого», которое можно не только не сохранять и умножать, но и тайно присваивать. Не случайно, по последним статистическим данным, в обеих странах чуть ли не половина валового национального продукта бездарно губится и растаскивается.

Советский социолог А. Горяновский провел недавно «включенное» наблюдение на строительном объекте, поставив перед собой цель изнутри изучить структуру теневой экономики. Он показал действие универсальных принципов, которые каждый из нас знает с пеленок. Принцип первый — «украсть можно все», принцип второй — «воруют почти все, кто может что-то украсть». И существуют они ровно столько, сколько веков насчитывают наши цивилизации. В древних китайских источниках можно найти немало свидетельств злоупотреблений при пользовании государственным имуществом. Великий историк Сыма Цянь в своих знаменитых «Исторических записках» сетовал на то, что в период правления императора Сяоцзина (а это второй век до новой эры) «законы становились все менее строгими, а люди — все более богатыми», чиновники «незаконно пользовались тем же, что и император, и не знали во всем этом меры». Подобные же признания находят и наши историки. Достаточно вспомнить ссылки на известное высказывание Николая I, обращенное к наследнику: «Мне кажется, что во всей России только ты да я не воруем».

Два этих принципа являются традиционными для многих обществ и передаются от поколения к поколению через разнообразные ритуалы. Валерий Чалидзе в книге «Уголовная Россия» описывает устоявшийся в русской деревне обычай тайных порубок в казенных и господских лесах. Интересно, что в Китае он сохранился до настоящего времени. Иногда такие случаи оборачиваются человеческими жертвами, поскольку застигнутые на месте преступления крестьяне ведут себя вызывающе, искренне считая свои действия ненаказуемыми: казенное-то своровать можно. Причем в сознании у них существует четкая градация собственности по степени «чужеродности»: лесные массивы, принадлежащие государству, просто вырубаются на дрова, а находящиеся в коллективной собственности (это ближе, роднее) — «справедливо» делятся между участниками самовольных захватов.

Восприятие государственного имущества как «чужого» предопределяет крайне низкую «налоговую этику», выражающуюся в готовности людей идти на нарушение обязательств перед финансовыми органами. Ее уровень определяется социологами по специальной методике. Респондентам задаются вопросы типа: «Считаете ли вы налоги слишком высокими?», «Много ли денег транжиривает правительство?», «Можно ли ему доверять?», «Хорошо ли государство заботится о простых людях?» и т. п., а затем выводятся специальные коэффициенты. Известно, что в развитых странах самая строгая налоговая мораль в Швейцарии (коэффициент 1,2), самая либеральная — в Италии (20,6). Для нас это недостижимые высоты. О каких честных отношениях с правительством можно говорить, если, по опросам ВЦИОМ, весной 1991 года только 12 процентов населения Советского Союза поверило обещаниям не проводить больше обмена денежных купюр и 15 процентов за чистую монету приняло заверения не допустить дальнейшего роста цен?!

В Китае, согласно данным Государственного налогового управления КНР, половина государственных и более 80 процентов частных предприятий уклоняются от уплаты налогов. Журнал «Бэйцзин ревью» привел откровенное объяснение мотивов такого поведения предпринимателем по фамилии Ван: «Сможете найти деньги, которые я не уплатил по налоговым обязательствам,— берите. Не сможете — деньги мои. Сколько бы вы меня ни штрафовали, утаивая доходы, я все равно заработаю больше».

Пышность форм подпольного хозяйства нашей страны и КНР предопределена не только культурно-антропологическими, но и формационными особенностями. Любая тоталитарная система отбрасывала огромную тень — начиная с Древнего Египта и кончая нацистской Германией. Это было неизбежно с экономической точки зрения, ибо на официальном уровне производство и распределение оказывались настолько зарегулированы, что выполнение всех официальных норм и правил означало бы самоубий-

ство. В основе всех бед, как и сейчас, лежал хронический дефицит, который можно было смягчать лишь с помощью неформальных связей.

Не являлись исключением и дореволюционные Россия и Китай. Они относились к так называемым «коррумпированным культурам», где за оболочкой строгих общественных норм традиционно скрывались тайные отношения, имеющие вид различных исключений и привилегий. Не случайно в обоих языках присутствует широкий набор терминов, которые выражают один и тот же смысл: «блат» — «гуаньси», «подношение» — «куйцзэн», «мзда» — «хуйлу», «лапа» — «каошань», «относиться по-людски» — «жэньцин» и т. п.

Наиболее законченные формы институт неформальных привилегий (он так и назывался — «тень»), призванный укреплять общественный строй, приобрел в традиционном Китае. Все чиновники в зависимости от ранга имели раз и навсегда закрепленные за ними льготы, освобождающие их от ответственности за преступления, снижающие меру наказания или допускающие возможность откупиться. Каждый сановник отбрасывал протекционистскую «тень» на нижестоящих и на своих родственников. Подобно тому как у нас партийные боссы даже после выхода на пенсию сохраняли за собой дачу и право на спецобслуживание, точно так же разжалованные китайские мандарины продолжали пользоваться возможностями, недоступными для простых смертных.

На традиции коррумпированной культуры идеально наложился «совковый» образ жизни с его раздвоенностью между коммунистическим официозом и реальностями всеобщего дефицита, при котором каждый норовит урвать чужое. Государство, одержимое идеей скорейшего построения светлого будущего и мирового превосходства, любыми средствами «накручивает» норму накопления (в 80-е годы в Китае, как, впрочем, и у нас, она нередко пересекала 30-процентную планку — уровень военного времени!). Предприятия всеми правдами и неправдами накапливают сырье, «выбивают» фонды. Работники одержимы маниакальным вопросом: «А какие льготы нам положены?» Этот «бурно работающий организм в состоянии запора» (выражение М. Жванецкого) не может сдвинуться ни на шаг без костылей неформальной экономики. Не афишируя, за фасадом строгого нормирования ресурсов государство устанавливает привилегии в снабжении особо приоритетных отраслей, раздает дефицитные блага «нужным» социальным слоям, превращаясь тем самым в главного субъекта подпольной экономической деятельности. Калька с этих отношений обнаруживается и «внизу», в любом коллективе.

Можно сказать, что социализм — это общество, вся настоящая жизнь которого проходит в подполье. Каждый человек в этой системе находится «в законе» только тогда, когда он опутан «теневыми» связями. Права его имеют неправовую природу (феномен так называемого «нелегального» права). Совершая официально запрещаемые, но всеми признаваемые как единственно верные действия, представитель «совковой» культуры постоянно чувствует себя в страхе: он ведь нарушает закон или какие-то другие официальные нормы. Но парадокс заключается в том, что обезопасить себя он может не «выходя из игры» (это вызовет осуждение «повязанных» с ним людей, и тогда уж его точно на чем-нибудь «поймают»), а, наоборот, еще глубже утопая в «теневых» отношениях.

Похвальное слово коррупции

Сын Мао Цзэдуна погиб молодым,
он пал в неравном бою.
Чжоу Эньлай не имел детей,
отдал народу он жизнь свою.
Сын Дэн Сяопина — большой бизнесмен,
в боях за мошну хоть кого удивит.
Сын Чжао Цзыяна нажил капитал
на перепродаже цветных Ти-Ви.
Современная китайская частушка

Один из мифов, развенчанных очередным раундом реформ в СССР и КНР, заключается в том, что рыночные отношения подрывают основу теневой экономики, обязанной своим существованием командно-административной системе. Отрезвление первым наступило в Китае, где в 1985 году сенсацией стало «хайнаньское дело». Три года длилось следствие, по которому проходило 1800 партийных и государственных чиновников, работавших на этом острове. Только взяток они получили на несколько сот тысяч юаней, общий же ущерб государству оценен в три миллиарда. Схема действий была проста: за казенные деньги в Гонконге покупались, а потом перепродавались крупные партии автомобилей, видеомагнитофонов, телевизоров, фотоаппаратов и другого ширпотреба. После этого началась кампания по борьбе с разложением и коррупцией, благодаря которой за все 80-е годы больше миллиона представителей власти были осуждены или подверглись дисциплинарным наказаниям.

В феврале 1991 года председатель Верховной народной прокуратуры КНР заявил, что «алчность кадровых работников не име-

ст границ», а «размеры взяток увеличиваются с каждым днем». Через родственников или подставных лиц организуются коммерческие фирмы, использующие неформальные каналы для получения строго фондируемых материалов и продажи продукции по повышенной цене. С иностранцами за мзду в виде подарков или небольших сумм в валюте заключаются заведомо невыгодные для государства сделки. Не устояла даже армия. Командиры частей начали требовать подношений от подчиненных в обмен на содействие в продвижении по службе. Прикрываясь интересами обороны, офицеры получают с военных складов и сбывают «налево» всевозможный дефицит, занимаются контрабандой.

По давней социалистической традиции высшие руководители «горят» на своих детях. Редко кто попадает на ответственные посты, но вот что касается «теплых» мест во внешнеторговых и культурных организациях с регулярным выездом за рубеж или отправки на учебу в американские университеты — тут слабину дают и члены Политбюро, и высшие государственные руководители, и увенчанные боевыми заслугами маршалы. Не обходится и без скандальных историй. Долго пришлось «отмываться» сыну Дэн Сяопина Дэн Пуфану. В течение некоторого времени он был связан с торгово-посреднической компанией «Канхуа», которую вскоре после его ухода поймали на валютных махинациях. Обвиняли его также в том, что он якобы имеет личные счета в гонконгских банках. Но больше всего хлопот было у Чжао Цзыяна. Трое его сыновей в 1982 году участвовали в создании посреднической фирмы, незаконно получившей три миллиона юаней с помощью фиктивных сделок. Было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что все трое получали дорогие подарки и взятки от гонконгских бизнесменов. Говорят, спасло их заступничество отца, который вынужден был потом выступать с самокритикой на заседании Политбюро.

Подобные случаи достаточно типичны не только для социализма. В любой стране факты разложения и коррупции вызывают очень бурную реакцию масс. Быть может, именно под влиянием представлений обыденного сознания вплоть до недавнего времени ученые всех направлений единодушно оценивали этот феномен только как аморальный и исключительно вредный для общества. И лишь на рубеже 60—70-х годов произошел прорыв в научном осмыслении коррупции как формы социальных отношений: на смену эмоциям пришел строгий анализ с системных и нормативных позиций. В последних исследованиях коррупция рассматривается не только с точки зрения ее деструктивной роли, но и как стабилизирующая или консервативная сила, приносящая пользу общественной системе, особенно в периоды интенсивных изменений или распада официальных институтов. Тщательно анализируются особенности восприятия коррупции на элитарном и массовом уровне в разных культурах.

Коррупция — это не просто взятки и злоупотребления чиновников. Это форма политического влияния. Еще Макс Вебер заметил, что сделать из политики профессию можно только двумя способами: либо жить «для» нее, либо «за счет» нее. В первом случае человек бескорыстно наслаждается властью или находит в ней способ самовыражения, что достижимо только при условии материальной независимости. Это может быть миллионер, решивший на склоне лет уйти от дел и для разнообразия заняться политическими играми, или обладатель огромного наследства, живущий на солидные проценты. Ему не нужны подношения просителей, но он вполне может оказаться чадолюбивым отцом или преданным другом. Не имея материального интереса, такой политик не свободен от первобытной тяги к дарообмену, и через неформальные связи со «своими» людьми он сплетает паутину плутократии. Неимущий же политик нуждается в вознаграждении за свою работу. Он — чиновник на жалованье и потому продажен, что называется, по определению. Для него типично поведение по архаичным принципам «ты — мне, я — тебе» и «чужое украсть незазорно».

Значит, каким бы ни был политический режим, какой бы способ рекрутирования кадров ни применялся, чиновники всегда оказываются уязвимыми перед внешними влияниями. Отдельные случаи покровительства, подкупа, любых других аномалий в массе образуют тайные механизмы, через которые разные социальные слои или общество в целом «подправляют» действие государственной машины в своих интересах. И далеко не всегда такая коррекция вредоносна. В социалистических же странах, где способность экономики к саморегулированию минимальна, а система обратной связи работает плохо, коррупция становится настоящей палочкой-выручалочкой. Постоянно нарушая законы и инструкции, руководители разных рангов поддерживают хозяйственные связи в рабочем состоянии при невыносимых условиях хронического дефицита

и несбалансированности планов.

Строго говоря, к коррупции относятся любые нарушения ответственными лицами своих формальных обязанностей. Этот спектр довольно широк. «Черные» разновидности — такие, как взятки — вызывают неприятие со стороны всего общества и всегда преследуются по закону. К «серой» коррупции (например, протекционизм) отношение неоднозначное: одни считают ее недопустимой, другие переносят вполне терпимо, третьи воспринимают как благо. Замешанных в ней хозяйственников и аппаратчиков наказывают лишь время от времени, и чаще в дисциплинарном, чем в судебном порядке. Существует, наконец, «белая» коррупция, не осуждаемая никем. Скажем, нашел человек лазейку в законодательстве, позволяющую уплатить меньше налогов или выдать подчиненным дополнительную премию,— и за исключением завистников все остальные его не только не осудят, но и похвалят.

Разделение по цветам в разных культурах выглядит по-разному. Для Советского Союза и Китая характерна очень резкая поляризация черных и бело-серых форм. Нарушения с извлечением личной выгоды (получение взяток наличными, присвоение государственного имущества, путешествия или угощения за казенный счет) вызывают ожесточение и ненависть, несопоставимые с реальным экономическим ущербом от них. Когда же акты коррупции совершаются не «для себя», а «для дела» или «ради других людей», начальство и окружающие относятся к ним с пониманием, даже если при этом в трубу вылетают миллиарды.

Эта особенность связана с традицией двойной морали. В наших культурах считается постыдным признаваться, что ты преследуешь личный интерес, его надо обязательно облекать в форму заботы об окружающих, о стране, о человечестве. Для китайца, жителя Средней Азии и Закавказья, да отчасти и для русского, заявить: «Я так поступил, потому что это мне выгодно» — просто немыслимо. Уважения заслуживает только тот, кто демонстрирует свою щедрость, бессребреничество. Поэтому одно и то же злоупотребление может вызвать всеобщий гнев и всеобщее одобрение в зависимости от того, какие за ним стоят мотивы — индивидуалистические или коллективистские.

Двойственность отношения к коррупции заложена у нас уже на бессознательном уровне. Она вскрывается с помощью контент-анализа текстов выступлений официальных лиц и социологических опросов. Так, в докладе заместителя министра общественной безопасности КНР Гу Линьфана на министерском совещании в марте 1990 года признание того, что «нездоровые тенденции среди работников общественной безопасности широко распространены», сопровождалось оговоркой о «небольшом числе» сотрудников, замешанных в противозаконных действиях. Опросы эмигрантов из СССР, проведенные американскими социологами в середине 70-х годов, показали, что, осуждая на словах блат, 44 процента респондентов предпочитали решать проблемы, требующие административного вмешательства, с помощью протекции, связей и взяток, что оказалось больше доли тех, кто был склонен прибегать к легальным средствам (письмо в газету, обращение в партком или исполком, прием у депутата).

Отсюда становится понятным, как в одном и том же обществе совмещаются, казалось бы, взаимоисключающие реакции на проявления злоупотреблений. Специалист по политической культуре Люсьен Пай заметил недавно в одной из своих статей: «Абсолютно предсказуемая ситуация, наблюдавшаяся в течение всей политической истории Китая,— как только возникают трудности, китайцы реагируют на них объявлением о коррумпированности правителей». Но при столь богатом опыте способность к осмыслению феномена коррупции как в обыденном сознании, так и в науке, остается в зачаточном состоянии. Отсутствует само желание понять корни проблемы.

Коррупция при социализме — это тот бульон, в котором варятся все фракции официальной и теневой экономики. Они склеиваются в три больших блока — «красно-розовый», «серо-белый» и «черный». Первому из них положил начало ленинский приказ о создании во время гражданской войны закрытых распределителей для большевистских лидеров. Образовавшийся таким образом «красный» рынок быстро приобрел полулегальную «розовую» часть. Созданная социалистическими государствами система скрытых привилегий (частью закрепленных официально, а частью попадающих в неформальную сферу) отбрасывает «тень» наподобие той, что существовала в традиционном Китае. В нее попадают те, кто связан родственными или дружескими связями с организациями и лицами, обладающими «законными» привилегиями.

Благодаря «розовому» рынку система привилегий в СССР и КНР охватывает довольно многочисленный социальный слой, а оборот во всем «красно-розовом» секторе экономики достигает десятков миллиардов

рублей и юаней. Только в сфере розничной торговли Советского Союза через закрытые каналы, обслуживающие около 10 процентов взрослого населения страны, реализуется 5 процентов продуктов питания и 12 процентов непродовольственных товаров (в основном импортных), причем подавляющее большинство из них в открытую продажу вообще не поступают. По расчетам экспертов еженедельника «Коммерсантъ», уровень потребления представителей этой группы соответствует среднеевропейским меркам, но благодаря заниженным государственным ценам имеет денежное выражение втрое меньше, чем у «элитарной» группы, пользующейся услугами свободных секторов экономики. В Китае различными привилегиями пользуется огромная армия кадровых работников, которая делится на 24 ранга. Каждый имеет строго определенный набор благ и льгот. Так, чиновник 10-го ранга (заместитель министра и приравненные к нему должности) имеет право приобретать товары в закрытых магазинах, пользоваться автомобилем, бесплатно путешествовать первым классом и проживать в гостиницах, где стоимость номера не превышает 36 юаней в сутки. Вместе с членами семей, которые тоже получают свой кусок, в числе избранных оказывается порядка 150 млн. человек или 13 процентов населения страны.

Второй блок, связывающий нормативную и теневую экономику, состоит из оптового «белого» и «серого» рынков. Тут центральная фигура — хозяйственник особого, «совкового» типа, служащий предметом этнографического интереса многих западных исследователей. По данным американского социолога Леонида Хотина, организовавшего опросы эмигрирующих из СССР снабженцев, экономистов, бухгалтеров, все они без исключения были вынуждены прибегать к запрещенным инструкциями уловкам и более половины шли на прямое нарушение законов, включая взятки. При этом все вокруг прекрасно знают, что без этого невозможно согласовать и выполнить план, найти необходимые сырье и материалы, заставить вкалывать рабочих. Если в действиях хозяйственника нет ярко выраженного корыстного интереса, он, как правило, не «попадается» либо несет символические наказания. Однако обязательным условием предоставления ему гарантий безопасности является соблюдение определенного набора неофициальных правил. Так, на советских и китайских промышленных предприятиях действуют негласные «нормы» для недовыполнения многих плановых показателей, приписок и даже мелких хищений. Администрация должна также строго следовать плановым ритуалам — таким как формальная отчетность, обязательное выполнение определенных позиций плана и т. п. Стоит нарушить это тайное соглашение, как виновника ждет суровое наказание. Тандем культурологов Джералд Марс — Иоханан Альтман, изучавший теневую экономику Грузии, приводит признание бывшего руководителя одного предприятия: «Вы не можете оставаться невинным. Раз вы занимаете какой-то пост, люди ждут, что вы будете платить им. А если не станете, люди решат, что вас надо снять или посадить. Это ведь несложно устроить. Никто не застрахован от ошибок, и стоит вам допустить хотя бы одну, как на вас заведут дело».

Внутри предприятий все строится на полулегальных «серых» отношениях. В большинстве случаев, как показывают кросскультурные исследования, они носят традиционный характер. Директор завода, в отличие от своего западного коллеги, играет роль не столько менеджера, сколько деревенского старосты. На нем «висят» социальное обеспечение рабочих и их семей, проблемы жилья и медицинского обслуживания, предоставление детям сотрудников мест в детских садах и школах, организация питания и досуга. Его отношения с коллективом строятся на основе неофициального договора. В соответствии с ним руководитель «не замечает» многочисленные нарушения и злоупотребления и, пользуясь служебным положением, «выбивает» для подчиненных различные преимущества и льготы, а те в свою очередь «выручают» его во время авралов и прорывов, работая по выходным и не обращая внимания на нарушения правил техники безопасности.

Благодаря «серому» рынку всякие подсчеты размеров социалистической теневой экономики становятся бессмысленными. По сути дела, к ней можно отнести всю нашу жизнь. Математические методы имеют смысл только при анализе «черного» рынка. Здесь оценки специалистов очень близки друг к другу. Средние размеры его оборота в СССР и КНР колеблются между 10—15-ю процентами валового национального продукта. До недавнего времени львиную долю запрещенной деятельности составляло обычное частное предпринимательство. Расчеты на то, что с его легализацией масштабы криминальной активности уменьшатся, не оправдались. По-видимому, в любом обществе определенная часть людей ни при каких условиях не выходит из подполья. И величина этой «нормы» зависит от весь-

ма неопределенных экономических, социокультурных и политических факторов.

Помойное ведро

Звучит колокольчик,
Ближе, ближе...
Я оглянулся и вижу:
Сидит в коляске один,
В рваной куртке, босой господин,
Тащит коляску другой,
Тоже в куртке и тоже босой.
Тот, кто сидит,— смеется,
Тот, кто везет,— смеется.
Не это ли чудом зовется?

Лю Дабай (1880—1932). Чудо
(Перевод Л. Черкасского)

Несмотря на обилие событий, политическую жизнь нашего общества можно свести к лихорадочному поиску ответов на два вопроса: «Кто в каком окопе сидит?» и «Кто отдает приказы?» (Вариант — «Какие тайные силы за кем стоят?») Столь болезненная озабоченность вполне объяснима с культурологических позиций.

В обществе азиатского типа, где существует негласный запрет на публичное выражение личного интереса, каждый политик вынужден маскировать его под какие-то высокие цели и идеалы. Это делает совершенно неразрешимой проблему определения истинных позиций и взглядов. В последние годы постоянно приходилось наблюдать уже изрядно наскучившую игру, когда один противник обвиняет другого в попытке «рваться к власти» или «остаться у власти», а тот с неподдельным негодованием опровергает инсинуацию и твердит о своей озабоченности судьбами страны. Хотя и они оба, и все окружающие прекрасно знают, что политика это и есть борьба за власть.

В своем кругу такие стычки выглядят вроде бы привычно, но когда подобные аттракционы наблюдает носитель другой культуры, это вызывает у него оторопь. Для американца или европейца существует два уровня политики: публичный и приватный. Слушая речь общественного деятеля, мало кто принимает все, что он говорит, за чистую монету: тому ведь надо поддерживать популярность среди избирателей. Настоящие же дела вершатся на встречах тет-а-тет, где при необходимости все карты выкладываются на стол. Здесь допускаются даже крепкие выражения, хотя только что перед кинокамерами сияли улыбки и звучали комплименты.

Сталкиваясь же с русскими или китайцами, американец попадает в непривычную ситуацию. В официальных выступлениях он может слышать в свой адрес чудовищные оскорбления вроде обвинений в желании «поставить нас на колени перед Западом» или «сплести заговор против социализма». А при переговорах за закрытыми дверьми его называют лучшим другом советского (китайского) народа, хлопают по плечам или с поклонами угощают чаем. Тут нужны такие специалисты-культурологи, как Люсьен Пай, которые могут объяснить взбешенному политику, что он имеет дело с людьми, для которых беседа с глазу на глаз — это всего лишь средство налаживания хороших отношений, поэтому ему говорят только приятные вещи. А на людях его могут «крыть» последними словами потому только, что в азиатской культуре существует обряд поношения оппонента, и обслуживает его специальный литературный жанр — хула, имеющий стандартный набор уничижительных эпитетов, не несущих большой смысловой нагрузки. Настоящая же политика вершится на неведомом Западу уровне, где истинные интересы выражаются не словами и порой даже не намеками, а как бы невидимо витают в общей атмосфере беседы.

Способы выявления настоящих взглядов «туземных» политиков хорошо известны советологам и китаистам. Исследователь должен внимательно следить за частотой газетных публикаций по интересующей теме, обращать внимание на форму подачи материала, даже учитывать расположение газетных фотографий. Чтобы определять, кто из руководителей к какой группировке относится, требуется сопоставлять многие детали: например, все говорят одно и то же, но одни пространнее, а другие короче. Иногда помогает поиск слов-символов: представители одной группировки пользуются ими как кодом для самоидентификации. Но все эти ухищрения не дают никаких гарантий, что вывод будет сделан верно. Более того, даже свои никогда до конца не уверены в точном понимании происходящего. Поэтому в азиатской культуре поиск политиками сторонников и противников превращается в идею-фикс. Не случайно вчерашние враги так часто превращаются в верных союзников, а лучшие друзья — в непримиримых врагов.

Эти параноидальные наклонности усугубляются особенностями режима. В авторитарном государстве формируется и любовно лелеется представление обыденного сознания о всемогуществе «верхов», которые вертят страной как хотят. В массах постоянно присутствует мистическая вера в то, что любое событие — вплоть до землетрясения или наводнения — может быть результатом тайного замысла неких политических сил.

Отсюда — неистребимая тяга к раскрытию всевозможных заговоров.

Весь этот туман можно развеять только строгим научным анализом. За 70—80-е годы в мировой политологии произошла маленькая революция, во время которой были пересмотрены многие основополагающие представления. Опровергнут ряд классических положений веберовской школы, для которой политика представляла собой некое подобие вертикально поставленной трубы: цели и указания, устанавливаемые «наверху», сбрасываются вниз, где более или менее точно выполняются. Доказано, что путь от принятия политических решений до их исполнения настолько сложен и извилист, что предсказать результат реализации той или иной стратегии можно, только учитывая совокупность многих факторов.

Снимая с политики мистическое покрывало, наблюдатель обнаруживает под ним... помойное ведро, в котором, подобно мусору, по случайности навалены человеческие страсти и устремления, решения и выборы. Рациональный расчет здесь почти не играет роли. Заблуждение считать, что любая человеческая организация имеет перед собой цель и план ее осуществления. Цели ставятся только при необходимости обосновывать перед кем-то разумность своих действий. Средства выбираются спонтанно и без всякой увязки с задачами. Намерения и результаты чаще оказываются противоположными, чем совпадают.

Основой анализа политических событий теория «помойного ведра» делает неопределенность. Принятие решений лишь на поверхности выглядит прерогативой власть предержащих. На самом же деле оно складывается из свободного соединения множества компонентов. Облаченный ответственностью лидер является заложником своего окружения, поставляющего ему информацию и выполняющего его приказы, исходя из собственных представлений, личных или корпоративных интересов. По-прежнему актуально утверждение Макса Вебера: «Успех вождя полностью зависит от функционирования подвластного ему человеческого аппарата. Поэтому зависит он и от *его* — а не от своих собственных — мотивов, то есть от того, чтобы свите: красной гвардии, провокаторам и шпионам, агитаторам, в которых он нуждается... вознаграждения доставлялись *постоянно*. То, чего он фактически достигает в таких условиях, находится поэтому вовсе не в его руках, но предначертано ему... преимущественно низкими мотивами действия его свиты».

Конечно, при современных условиях аппарат можно сменить или создать из ученых «мозговые тресты», которые на основе новейших научных данных разработают великолепную программу. Но к реальной политике это не будет иметь отношения. При любом строе лидер останется плохим теоретиком, вынужденным принимать решения в сжатые сроки и руководствоваться своими впечатлениями и предубеждениями, которые формируются под влиянием породившей его культуры. Над ним вечно довлеет злой рок бессознательного, заставляющий опираться на прошлое, отвергать нестандартные ходы и повторять одни и те же ошибки. «Люди-практики, которые считают себя совершенно неподверженными интеллектуальным влияниям, обычно являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого,— писал Джон Мейнард Кейнс.— Сумасшедшие, стоящие у власти, которые слышат голоса с неба, извлекают источники своего безумия из творений какого-нибудь академического писаки, сочинявшего несколько лет назад. Я уверен, что мощь корыстных интересов значительно преувеличивают по сравнению с постепенным просачиванием идей. Правда, это происходит не немедленно, а по истечении известного периода времени. В области политической и экономической философии не так уж много людей, поддающихся влиянию новых теорий после того, как достигли 25- или 30-летнего возраста... Но рано или поздно, именно от идей, а не от корыстных интересов исходит опасность как для блага, так и для зла».

В каждом конкретном случае невозможно предугадать, что в политике оказалось главным: вздорность вождя, происки его аппарата или влияние традиции. А ведь речь идет лишь об одном человеке. В действительности же вокруг каждого решения — даже если мы имеем дело с авторитарным государством — сталкиваются мнения и интересы нескольких лидеров, олицетворяющих разные силы. Их окончательный выбор должен устраивать всех или по крайней мере большинство. В противном случае решение будет блокироваться, его выполнение начнет тайно корректироваться, и в результате все равно, не мытьем так катаньем, оно окажется устраивающим всех. И — никого. Потому что при такой перетряске из «помойного ведра» выпадает все рациональное и эффективное, и копаться приходится в подонках.

Искусство возможного в политике, таким образом, сводится к способности, забравшись в глупое положение, найти из него наименее дурацкий выход. Присутствующие при этом всегда будут возмущаться: «Как

же так, неужели нельзя было поступить по-умному?!» — и заниматься бесплодным поиском виновных.

Применительно к Советскому Союзу и Китаю, где политика имеет даже не двойное, а тройное дно, теория «помойного ведра» оказывается особенно плодотворной. Она позволяет со здоровой долей цинизма относиться к любым эпохальным постановлениям и клятвенным обещаниям, от каких бы политических сил они не исходили. Мало надежды и на обильно поступавшую в последние годы информацию о закулисных действиях наших политиков — она почти ничего не проясняет до тех пор, пока то или иное событие не становится реальностью. Основное же внимание надо сосредоточивать на тех неуловимых сигналах, которыми заполнен наш политический эфир.

Расследования «контрреволюционных мятежей» и «путчей» наглядно демонстрируют, как трудно добиваться определенности в ответах на вопросы: кто, когда, где и с кем. Тайная режиссура политических спектаклей — это примитивизм Запада с его стремлением к здравому смыслу. В культуре азиатского типа все значительно тоньше и сложнее. Лишь в самые острые моменты щекотливые приказы отдаются в устной или, еще реже, в письменной форме. Все строится на интуиции, и узнать, угадал ли ты истинное желание партнера или патрона, можно лишь после содеянного. Процесс принятия политического решения в такой обстановке становится крайне неопределенным. Все его участники находятся в состоянии фрустрации, часто действуя наугад. Вожди, которые сами плохо ориентируются в потоке взаимоисключающей информации, выжидают как можно дольше, чтобы в конце концов подвести под всем этим черту в самое неподходящее время и самым неподходящим образом.

В такой обстановке бессмысленно искать узкий круг членов мафии или загадочные масонские ложи. У нас все общество — огромная, неповоротливая масонская ложа. Как бы ни набивали себе цену специалисты по организованной преступности, обнаруживая признаки срастания уголовного мира с политическим, им приходится иметь дело с весьма примитивными структурами, которым никогда не сравниться с сицилийскими профессионалами. И в то же время теневая экономика и политика при социализме — тесно слитый, целостный организм, в котором каждому находится свое место, и «бороться» с ним силами карательных органов невозможно. Силы заведомо неравны.

На этот вывод меня натолкнуло изучение циклических закономерностей развития СССР и Китая. Занимаясь расчетами колебаний оборота теневой экономики, я обнаружил их связь не только с изменениями интенсивности дефицитов (это было нетрудно предположить, зная главный порок нашего официального хозяйства), но и с периодичностью политических кризисов, вызывавшихся обострением тайной борьбы за власть. У нас подпольная жизнь становилась особенно бурной в такие переломные моменты, как смерть Сталина и казнь Берия, «дело» Ворошилова — Молотова — Кагановича, отставка Н. С. Хрущева, смерть Л. И. Брежнева и Ю. В. Андропова, августовский «путч». В Китае это были возвышение группировки Мао Цзэдуна в борьбе с «антипартийным блоком» Гао Гана-Жао Шуши и за «искоренение контрреволюции» в середине 50-х, провал «большого скачка», начало «культурной революции», «дело Линь Бяо», приход к власти Дэн Сяопина и его сторонников в конце 70-х, а также недавние события — отставка Ху Яобана и устранение Чжао Цзыяна с поста генсека ЦК КПК.

Совпадения эти неслучайны: не только реальные экономические отношения, но и сама власть при социализме носит подпольный, нелегальный характер. В классическом варианте воспроизводство «мафиозных» связей поддерживается властью компартии, ибо она по своей сути является не столько политическим институтом, сколько особым надгосударственным патерналистским образованием, управляющим обществом неформальными методами. Руководство это основывается не на правовых нормах, а прежде всего на личных связях (КПСС и КПК изначально формировались как группы личных приверженцев вождей, из которых впоследствии выросла номенклатурная система). Через механизмы коррупции (в ее строго научном, а не обыденном понимании) такой режим обеспечил постепенное слияние теневой политики и теневой экономики.

Это сладкое слово — распад

> Социализм может восторжествовать. Он не продержится долго, и режим, созданный им, как и режим, ему наследующий, будет режимом давления, которое надолго даст обратный ход цивилизации той страны, где он воцарится.
>
> *Гюстав Лебон*

Политическую экономию часто сравнивают с медициной. Ученый, который рекомендует властям, какую надо выбирать стратегию, напоминает врача, орудующего

скальпелем и пичкающего больного лекарствами. Исследователь социалистической системы больше смахивает сейчас на патологоанатома. Трупный запах уловила даже утрачивающая обоняние китайская геронтократия. Один из самых уважаемых старых лидеров КПК Пэн Чжэнь в сентябре 1990 года констатировал: «А какова сейчас обстановка в мире? Дело социализма потерпело серьезное поражение. Это реальность».

Если не в политическом, то по крайней мере в научном плане уже очевидно, что вне зависимости от того, как долго еще будут продолжаться конвульсии, окончательный распад экономической и политической системы социализма в мире неизбежен. Поэтому интерес представляет вопрос о том, какие закономерности движут этим процессом и какова в нем роль подпольных структур.

Вопреки распространенному мнению о безудержном росте теневой экономики, строгие математические расчеты свидетельствуют о том, что на протяжении всех послевоенных лет в Советском Союзе и Китае ее масштабы колебались вокруг определенного оптимального уровня. Можно говорить лишь об изменении роли параллельных структур и степени их зрелости. Не обладая способностью к саморегуляции, нормативная планово-распределительная система могла оставаться жизнеспособной лишь благодаря периодической «подзарядке», которая на официальном уровне осуществлялась с помощью реформ, на неформальном — через механизмы коррупции. Однако, продлевая жизнь системе в средне- и краткосрочной перспективе, эти нововведения в то же время способствовали ее медленному, поэтапному разложению. Реформы, в ходе которых административные методы прямого контроля замещались экономическими, приводили к либерализации управления народным хозяйством и тем самым все больше нарушали его целостность. Коррупция, способствуя расширению возможностей для общества влиять на функционирование режима, вносила в него элементы демократизма. В результате монолитная структура эродировала и требовала все больше губящих ее усовершенствований.

Тут-то и сказалась одна важная особенность теневой экономики, связанная с ее вторичным характером по отношению к нормативной системе. Пока последняя хранит (не важно, какими средствами) устойчивость, «тень» помогает ей выжить. Но как только случается кризис или тем более начинается необратимый распад — «тень», как у Шварца, отделяется от хозяина и живет самостоятельно, создавая аномалии и социальные патологии, усугубляющие и ускоряющие процесс дезорганизации.

С культурно-антропологической точки зрения эрозия нормативной системы выглядит как постепенная утрата обществом моральных ограничений на асоциальные действия. Социалистическая идеология, которая ориентирована на массовое, а не индивидуальное сознание, изначально более слабо, чем православие или конфуцианство, поддерживает ценность универсальных этических норм. Она опирается главным образом на суррогат политической религии, ядром которой выступает культ личности, и страх перед жестоким наказанием. Периодически повторяющиеся реформы не несут с собой институциализации новых порядков. На протяжении десятилетий они нацеливаются лишь на усовершенствование существующей нормативной системы. Поэтому новые этические инструкции не появляются, а действие старых ослабевает. Не получая адекватной замены, символы культа сначала превращаются в ритуал, изначальный смысл которого выхолащивается, а затем полностью дискредитируются в массовом сознании.

Репрессивный характер режима постепенно ослабевает: на смену массовому террору приходит индивидуальный, смертная казнь заменяется ограниченными сроками заключения, психушками и малоэффективной идейно-политической обработкой. У нас этот сдвиг произошел уже в «застойные» годы, в Китае наблюдается сейчас. Руководство КПК постоянно демонстрирует, что после тяньаньмэньских событий оно «не жаждет крови». Чжао Цзыяну и его ближайшим сторонникам сохранены номенклатурные привилегии и даже предоставлены малозначительные посты в правительстве. Суд над активистами студенческих демонстраций в начале 1991 года организован как эффектное шоу, демонстрирующее гуманность государства.

Благодаря этим изменениям постепенно меняется мотивационная структура общества. Происходит меркантилизация сознания, падают стимулы к труду, нарастают иждивенческие настроения, что в итоге создает благоприятные условия для усиления деструктивных функций теневой экономики. Это особенно заметно благодаря таким явлениям, как ползучая приватизация и социализация коррупции. В «красно-розовом» секторе экономики потребители активно использовали предоставленные им льготы для личного обогащения. Типичный пример — факты, преданные гласности Комиссией Верхов-

ного Совета СССР по привилегиям, о передаче в частную собственность государственных средств по сильно заниженным ценам. В Китае за последние годы отмечен резкий — в десятки раз — рост строительства чиновниками частных домов, сопровождающийся многочисленными злоупотреблениями (в провинции Хунань, например, в результате проверки 65 процентов таких «строителей» уличены в использовании государственных средств, захвате дополнительных участков земли, взятках).

Подобные действия служат сигналом для всего общества: «Можно поживиться». Расширяется круг лиц, непосредственно замешанных в криминальной коррупции. Не только ответственные за принятие решений чиновники, но и рядовые служащие стремятся использовать свое положение в личных целях. Так, в СССР и КНР типичны случаи перехода на работу в коммерческие структуры (либо устройство туда родственников) после накопления первоначального капитала за счет полулегального присвоения государственных средств. Другая форма — получение подарков и взяток от негосударственных предприятий через подставных лиц.

Ответственный работник ЦК КПК У Цзясян, резко выделяющийся среди коллег по аппарату своим интеллектом, описал этот процесс следующим образом: «Сейчас люди, облеченные властью, испытывают недостаток товаров. Но все же они имеют доступ к распределению многих, формально не принадлежащих им «товаров»: материальных и денежных средств, рабочей силы. А предприятия, выпускающие товары, лишены власти... Этот обмен я называю превращением власти в товар и товаров во власть. Таким образом, коррупция нарастает как бы с двух сторон: не только чиновничество становится продажным, но и рынок сливается с коррупцией... И руки у нас связаны. Систему этических ограничений, существовавшую в феодальные времена, мы утратили, демократическими средствами современных западных обществ не овладели, а оставшийся со времен Мао Цзэдуна метод организации массированных кампаний — все это чувствуют — уже не срабатывает. Пожар коррупции разгорается, а тушить его нечем. Это значит, что проблема сейчас неразрешима. Мало того, чем больше с коррупцией борются, тем большие масштабы она приобретает».

Но помощь в развале нормативной системы — это только одна из сегодняшних функций теневой экономики. «Великие силы Поднебесной, долго будучи разобщенными, стремятся соединиться вновь и после продолжительного единения опять распадаются»,— говорится в «Троецарствии» Ло Гуань-чжуна. С распадом жизнь не кончается, на месте старых структур появятся новые. У них тоже будет своя «тень», которая станет служить им верой и правдой до тех пор, пока и они в свою очередь не начнут гибнуть.

Польский опыт показывает, насколько зыбкой является грань между деструктивными и созидательными функциями. Во время кризиса начала 80-х годов, когда «первая» экономика получила, как потом оказалось, смертельный удар, «вторая» сумела быстро оправиться и обеспечить снабжение городов Польши продовольствием, хотя и по чрезвычайно высоким ценам (был период, когда за товары часто требовали расплачиваться валютой). Известный специалист Анжей Корбоньски так прокомментировал эту ситуацию: «Польские политики должны быть вдвойне благодарны второй экономике за способность и готовность выполнить свои обязанности: она, без сомнения, сделала кризис системы управления несравненно более легким для правительства и, как это ни парадоксально, помогла также принять экономические решения, которые в другой обстановке оказались бы непопулярными».

Этот пример дает пусть слабую, но реальную надежду на постепенное преобразование тотальной коррумпированной культуры социализма в обычное рыночное общество, которое, однако, неизбежно будет страдать от хорошо налаженной системы коррупции. Для тех, кто не попадает в число избранных или, того хуже, лишается завоеванных при прежнем режиме привилегий, такое развитие событий выглядит величайшей несправедливостью. В который раз в человеческой истории срабатывает универсальное правило, сформулированное Фернаном Броделем: «Имеются иерархия, порядок, которые непрестанно изнашиваются, затем в один прекрасный день начинают трещать. Тогда на вершину приходят новые индивиды в девяти случаях из десяти для того, чтобы воспроизвести целиком, или почти целиком, прежнее состояние вещей... Таким образом, новые богачи, новые привилегированные пролезают на место прежних; между тем как сильное потрясение, что опрокидывает некоторые прежние привилегии и делает возможным такое новое продвижение, влечет за собою у основания пирамиды серьезное ухудшение положения... Ибо за все надо платить». Заплатим и мы. Ибо история есть не движение к справедливости, а открытие нового.

У книжной витрины

ДИДЬЕ ДЕКУЭН

Горничная с «Титаника»

Didier Decoin. La femme de chambre du «Titanic». «Seuil»

В списки бестселлеров Франции попала новая книга Дидье Декуэна, получившего несколько лет назад Гонкуровскую премию за роман «Джон-ад».

Пятидесятидвухлетний нормандский докер Орти одерживает победу в «состязании хвастунов порта». В качестве приза он получает возможность съездить в Саутгемптон, по другую сторону Ла-Манша, чтобы понаблюдать за торжественной церемонией отправления в первое плавание гигантского корабля «Титаник». В Саутгемптоне он знакомится с молодой женщиной, горничной, обслуживающей пассажиров с «Титаника». Их отношения так и останутся платоническими, но когда горничная взойдет на борт корабля, а докер отправится на пароме обратно во Францию, выяснится, что случайная встреча будет главным событием в жизни Орти. Вернувшись домой, он начинает обожествлять ту, которая никогда не была в его объятиях. Он тоскует, бросает семью. Когда же приходит весть о трагической гибели «Титаника», его любовь перерастает в безумие. Орти полностью уходит в придуманный им мир, предается воспоминаниям о том, чего никогда не было. Перед пьяными посетителями портовых кабачков, собирающихся послушать «тронутого» докера, проходит вся история несчастной любви.

ЖАН-МАРИ ГЮСТАВ ЛЕКЛЕЗИО

Онитша

Jean-Marie Gustave Le Clesio. Onitsha. «Gallimard»

Имя Леклезио знакомо советским читателям, его произведения были напечатаны и в журнале «Иностранная литература» (см. 1980, № 2; 1983, № 10).

Действие романа «Онитша» разворачивается в 1948 году. Молодая итальянка Мария-Луиза и ее двенадцатилетний сын Финтан приезжают в маленький африканский городок Онитшу на берегу реки Нигер, где их ждет муж и отец Джоффри, служащий компании по экспорту фруктов. Мария-Луиза полна приятных грез о будущей жизни с Джоффри, расписывавшим ей в письмах бескрайние просторы африканских саванн, деревья-великаны, сладкие плоды манго и живописные негритянские хижины. Однако реальность рассеивает ее иллюзии, яркий образ Африки блекнет: в Онитше ее ждут тропические ливни, гниющие постройки, насекомые и рогатые лягушки в зловеще-красной воде луж. Вместо романтики вольной жизни — затхлая атмосфера замкнутого мирка британских чиновников, беспредельно владычествующих над местным населением. Вдобавок Джоффри занят только собой, он живет фантазиями с тех пор, как обнаружил на коже туземцев татуировку, напоминающую египетские иероглифы, и загорелся идеей найти легендарный храм Мероэ, построенный «по воле богов» чернокожей царицей Египта, изгнанной со своей родины.

Один маленький Финтан принимает Африку такой, какова она есть. Он заводит дружбу с Родсом, коллекционером, полиглотом и библиофилом, который открывает мальчику богатство африканской культуры. Спустя двадцать лет Финтан будет вспоминать именно эту Африку, сидя у себя дома, в Европе, и читая в газетах о кровавых событиях в Биафре.

Рассказывая о том, как унижены, обречены на голодное прозябание и пьянство народы Африки, Леклезио обращает внимание читателей на то, что растоптанной оказалась не просто Африка, а одна из составных частей мировой цивилизации.

МАРИ Н'ДИЭЙ

В семейном кругу

Marie N'Diaye. En famille. «Minuit»

Шесть лет назад семнадцатилетняя лицеистка послала в издательство «Минюи» свою

повесть «Что касается блестящего будущего». Ее героем был юноша, бунтующий против общества. В издательстве, едва ознакомившись с рукописью, отправились в лицей, где училась юная Мари Н'Диэй, и тут же подписали с ней контракт. Вскоре этот вундеркинд вновь удивил профессиональных литераторов, сочинив книгу под названием «Классическая комедия» объемом в 106 страниц, состоящую из одной-единственной фразы. Критики отдали должное виртуозности автора.

И вот третья книга писательницы. Героиня романа «В семейном кругу» чернокожая Фанни мыкается со своим большим чемоданом из одного дома в другой. У ее матери — белой француженки — хорошая квартира в столице, у отца-африканца есть угол в городке под Парижем. И никто из многочисленной родни Фанни не хочет дать девушке хотя бы временный приют. Подобно диккенсовским сиротам или бродяжкам из фильмов Чарли Чаплина, она отвержена всеми. Иногда ее отталкивают с открытой враждебностью, но чаще отворачиваются с полным равнодушием. Фанни перебивается случайным заработком в дешевом ресторанчике, затем в какой-то забегаловке и оказывается в конце концов в собачьей конуре, куда ей из окон бросают отбросы.

Книга в немалой степени автобиографична. Мать Мари — француженка, а отец родом из Сенегала.

АНРИ ТРУАЙЯ
Алёша

Henri Troyat. Aliocha. «Flammarion»

Совсем недавно мы рассказывали о книге А. Труайя «Жена Давида», и вот новый роман плодовитого писателя, члена Французской академии, лауреата Гонкуровской премии.

На сей раз он обращается к своему детству и отрочеству, которые провел в России. У писателя сохранились воспоминания о революционном лихолетье, скитаниях по истерзанной гражданской войной земле, массовом исходе из страны. Но он помнит также о безмятежной жизни, доброй русской «нянюшке», которую потом сменила швейцарская гувернантка, сухая и властная. Через образы этих двух женщин противопоставляются две культуры, два мира.

Действие романа «Алёша» происходит в двадцатые годы. Главный герой — четырнадцатилетний подросток из семьи русских эмигрантов; он успешно учится в парижском лицее, увлекается французской литературой, мечтает стать писателем, в то время как его родители мучаются от тоски по оставленной родине и унижений изгнания. Между сыном и родителями — пропасть непонимания. Алёша убежден, что у человека может быть только одна родина, и эта родина для него Франция. Он читает Мольера и Гюго и отвергает обожаемых матерью Пушкина и Толстого. Но проходит время, и Алёша начинает прислушиваться к «русскому источнику», который пробивается в его душе.

Что касается самого писателя, он никогда не забывал о своем происхождении: постоянно засыпал вопросами родителей и никак не мог насытиться их рассказами о России.

СЬЮЗЕН ХИЛЛ
Небо и ангелы

Susan Hill. Air and Angels. «Sinclair-Stevenson»

Роман Сьюзен Хилл «Небо и ангелы» написан после значительного перерыва: предыдущий — «Время года — весна» известная английская писательница опубликовала в 1974 году, после чего обратилась к жанру короткого рассказа. У нее вышло несколько сборников, один из которых — «Немного пения и танцев» был представлен на страницах нашего журнала (см. «ИЛ». 1976, № 1) [1]. И новая книга, скорее, напоминает сборник рассказов. Хотя место действия одно — Кембридж, судьбы большинства героев не пересекаются, у каждого своя история. Правда, у них есть нечто общее — одиночество. Одиноки все: пятнадцатилетняя Кити и ее овдовевшая кузина Флоренс; мать Флоренс миссис Грей, тоскующая по Шотландии, где она провела детство; преподаватель Кембриджа Томас Кавендиш и его сестра, старая дева Джорджия. У каждого есть тайное увлечение или пристрастие, тщательно скрываемое от всех прочих. Под стать этим людям однообразная и бледная природа, как бы предопределяющая их унылое существование. Они погружены в воспоминания о прошлом, об утраченной силе и былых надеждах. При этом их мучают непонятные предчувствия и странные ощущения, что, по замыслу автора, должно свидетельствовать о присутствии в мире божественного начала.

АНДЖЕЙ ЩИПЁРСКИЙ
Ночь, день и ночь

Andrzej Szczypiorski. Noc, dzien i noc. «SAWW»

Новый роман замечательного польского писателя Анджея Щипёрского «Ночь, день и ночь» можно назвать историей любви и учебником новейшей истории, памфлетом и политическим триллером с автобиографической подоплекой.

Главный герой ученый Антони рассказывает молодой швейцарской журналистке историю своей жизни, историю своей любви к красавице Жюстине, участнице Сопротивления. Параллельно с этим развивается действие иного ряда, появляются новые герои: редактор Чарноцкий, подстрекающий к юдофобии; советский функционер Ломакин — мужчина, как «снежный буран, или горячий степной ветер, или грозовые тучи над московскими куполами», у которого отсутствие образования компенсируется отсутствием сомнений; мечтатель Кноллер, для которого «уехать в Америку» означает счастливую перемену жизни; богач Гутмайер по прозвищу Коровья Лепеха, умирающий подле

---

1 В «ИЛ» был также напечатан роман С. Хилл «Я в замке король», 1978, № 1—2.

нагой любовницы; просто мужчина без лица, возникающий всюду...

Легкое перо Щипёрского воссоздает редкую по отчетливости картину событий европейской истории нашего столетия, столетия социальных иллюзий и пришедшей им на смену тоталитарной власти, надолго отложившей рождение нового дня.

В «ИЛ» готовится к публикации перевод романа Анджея Щипёрского «Прекрасная госпожа Зайденман». По оценке «Нью-Йорк таймс», это одна из наиболее читаемых книг прошлого года.

ЭРИК ЛЭКС
Вуди Аллен

Eric Lax. Woody Allen. «Knopf»

Спросите любого американца, кто такой Вуди Аллен, и вам ответят: юморист, писатель, сценарист, режиссер. Одним словом, личность достаточно известная и популярная. Поэтому не случайно, что столь быстро расходится книга Эрика Лэкса, посвященная жизненному и творческому пути этого человека. Вот некоторые из сообщаемых в ней фактов: родился в Нью-Йорке; дважды женат и дважды разведен; сейчас живет с актрисой Мией Фэрроу, имеет от нее ребенка. Подробно рассказывается о том, как складывался писательский стиль В. Аллена — с тех времен, когда он писал шутливые объявления в газетной светской хронике и тексты для эстрадных юмористов, до его нынешнего пребывания на вершине славы как создателя многих фильмов, получивших горячее зрительское признание.

Как явствует из книги, Вуди Аллен — фигура довольно эксцентричная. Например, обожает обедать вне дома и быть предметом поклонения, но при этом настаивает на соблюдении дистанции. Он говорит, что никогда не читает отзывов о своей работе,— и в то же время признает, что в числе людей, повлиявших на его карьеру,— критик «Нью-Йорк таймс» Винсент Кенби, чьи отклики на творчество Аллена были в высшей степени хвалебны. Вуди Аллену мало равных по части мастерства вызывать смех, но этого ему недостаточно: хочется попасть в одну компанию с Бергманом, Бунюэлем и Куросавой, чтобы делать, как он говорит, «настоящее искусство».

АЛЬБЕРТО МОРАВИА, АЛЕН ЭЛКАН
Жизнь Моравиа

Alberto Moravia, Alain Elkann. Vita di Moravia. «Christian Bourgois»

Перед самой смертью Альберто Моравиа получил первый экземпляр только что вышедшей книги собственных воспоминаний, озаглавленной «Жизнь Моравиа». Эта книга — итог многомесячных бесед писателя со своим другом, журналистом Аленом Элканом. Однажды, в самом начале их работы, Моравиа признался: «Я чувствую себя всего лишь инструментом. Ну, как будто я пианино, а Ален Элкан — музыкант. Что же он сыграет на этом стареньком пианино? Баха или «Марсельезу»?

Моравиа вспоминает... Детство. Болезнь, не погасившая, однако, жизненной силы юного Альберто Пинкерле, который еще не стал Моравиа. Первый роман «Равнодушные», написанный в постели, где простыни служили подставкой для чернильницы. Затем успех, война, следующие романы. Сложные отношения с Эльзой Моранте, которая двадцать пять лет была его женой.

В заключение писатель размышляет о возрасте: «Старость — это смертельная болезнь. Стареть — означает разучиваться делать то, чему ты учился всю жизнь, разучиваться жить. Старик разучивается жить, вероятно, потому, что ему становится скучно, и игра кажется более не стоящей свеч, так что в какой-то момент смерть может показаться более привлекательной, чем жизнь. Но лично мне трудно понять, когда начинается старость, так как ощущать скуку я начал очень рано, по-моему, еще до того, как начал жить». «Альберто Моравиа никогда не чувствовал себя стариком, и правильно делал,— добавляет А. Элкан.— Он торопился жить, писать, а годы свои носил как тросточку, на которую опирался при ходьбе».

УИЛЬЯМ СТАЙРОН
Зримая тьма: Воспоминание о безумии

William Styron. Darkness Visible: A Memoir of Madness. «Vintage»

Американское издательство «Винтадж» в числе лучших книг, готовящихся к выходу в начале будущего года, называет автобиографическую книгу романиста Уильяма Стайрона «Зримая тьма: Воспоминание о безумии». В ней писатель рассказывает о болезни, пережитой им в шестидесятилетнем возрасте, имя которой — депрессия.

Стайрон отмечает удивительный, по его мнению, факт: клинической депрессией страдает приблизительно каждый десятый, но большинство людей, включая медиков, до сих пор считают, что психическое заболевание является чем-то позорным. Очень резко У. Стайрон отзывается о лечившем его поначалу некоем широко разрекламированном докторе Гоулде, который не только оказался полностью беспомощным по части лечения, что едва не привело к тяжелым последствиям, но и всячески предостерегал автора от госпитализации — из-за пресловутого «пятна» на репутации. Впрочем, признает писатель, вполне возможно, что доктор был слишком ослеплен славой пациента, чтобы увидеть в нем просто страдающего человека.

Вот что пишет Стайрон о первых симптомах болезни: «Мною овладело какое-то оцепенение, расслабленность, но самая странная вещь — тело мое стало хрупким и гиперчувствительным, чуть ли не расчлененным». Одновременно усилилось беспокойство, появились смутные страхи. Болезнь возвращалась каждый день после полудня, и всякий раз отчаяние его все более усиливалось, все навязчивей становилась мысль о смерти.

С вполне понятной горечью Стайрон замечает: «При любой другой серьезной болезни пациент был бы немедленно помещен в постель, ухожен и обласкан. Страдающий же депрессией этого всего лишен — он вынужден вести себя как здоровый человек: пытаться поддерживать беседу, отвечать на вопросы, понимающе кивать и даже — помоги, Господи! — улыбаться». Однажды после такого мучительного общения писатель принял окончательное решение покончить с собой. Спасла его мелодия, услышанная по телевизору в «последний вечер»: «Она пронзила мое сердце подобно кинжалу — туда хлынули воспоминания о всем хорошем, что было в моей жизни». Вслед за воспоминаниями последовали активные действия: на следующий день он был уже в больнице, и выздоровление наступило на удивление быстро.

ДЖОН ЧИВЕР
Дневники

The Journals of John Cheever. «Knopf»

Сенсацией осенне-зимнего книжного сезона стала публикация «Дневников Джона Чивера», которые проливают свет на доселе не известные стороны характера покойного классика современной американской литературы. Это своеобразная летопись внутренней жизни писателя. Он вел дневники многие десятилетия, анализируя в них свои личные качества, достоинства и недостатки, рассказывая о своих родных и близких, давая оценки коллегам по ремеслу. Чивер предназначал «Дневники» для печати, поэтому они носят характер не разрозненных фрагментов, а стройного монолога.

В 1961 году в книге «Некоторые лица, ситуации и предметы, которые никогда не появятся в моих романах» писатель перечислил то, что намеревается оставить за пределами своего художественного мира: секс, алкоголизм, гомосексуализм. Но исключить все это из жизни, как свидетельствует дневник, Чивер был не в силах. В его записях встречается немало описаний мучительных переживаний после частых запоев. Позднее он описывает свои мимолетные романы и измены, терзается от мыслей о своем несносном характере, о наносимых жене обидах. Не давала ему покоя слава других писателей. Так, реагируя на коммерческий успех романов Джона Апдайка, он записывает: «А моя упругая и временами ленивая проза куда лучше». Или о романе Сола Беллоу: «Я начал употреблять сленг в повествовании от первого лица гораздо раньше «Оги Марча».

Автор раскрывает перед читателем тайники души и словно сознательно оставляет его в недоумении: кем же был Джон Чивер — художником, негодяем или трагическим шутом?

Авторы этого номера

ТОМ ВУЛФ (TOM WOLFE; род. в 1931 г.) — американский писатель, журналист, представитель так называемого «нового журнализма». Автор ряда документальных произведений, в том числе книг «Наркотический тест с электризованным прохладительным напитком» («The Electric Kool-Aid Acid Test», 1968), «Шайка пожарников» («The Pump House Gang», 1968), «Раскрашенное слово» («The Painted Word», 1975; фрагменты этой книги напечатаны в «ИЛ», 1976, № 5), «Высокая проба» («The Right Stuff», 1979; об американских астронавтах), сборника карикатур с подписями к ним «В наше время» («In Our Time», 1980) и др.
Роман «Костры амбиций» — первое беллетристическое произведение Т. Вулфа — опубликован в США в 1987 году («The Bonfire of the Vanities». New York, Farrar, Straus & Giroux, 1987); печатается в журнальном варианте.

УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЕЙТС (WILLIAM BUTLER YEATS; 1865—1939) — ирландский поэт и драматург. Лауреат Нобелевской премии (1923 г.). Начал печататься в 1886 году. Автор поэмы «Странствия Оссиана» («The Wanderings of Oisin and other Poems», 1889), сборников стихов «Розе на перекрестке времени» («To the Rose upon the Road of Time», 1893), «Ветер в камышах» («The Wind among the Reeds». 1889), «В семи лесах» («In the Seven Woods», 1903), многих пьес, в том числе «Графиня Кетлин» («The Countess Kathleen», 1892), «Земля сердечных желаний» («The Land of Heart's Desire», 1894), «Дейрдре» («Deirdre», 1897) «Кетлин, дочь Хулиэна» («Kathleen ni Hoolihan», 1902). В книгу «Автобиографии» («Autobiographies», 1926) вошли также его эссе о поэзии и театре.
Рассказ «Распятие отверженца» взят из сборника «Графиня Кетлин, легенды и стихи» («The Countess Kathleen and Various Legends and Lyrics», Dublin, 1912). Он будет опубликован в двухтомнике английских «готических рассказов», подготовленном СП «Слово».

БОГОМОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА — советский литературный критик, переводчик. Автор статей по истории испанской и латино-американской литератур, публиковавшихся в периодических изданиях, в том числе в «ИЛ» (1989, № 6, «Открытие 80-х: Исабель Альенде»).

ЗОТОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ (род. в 1957 г.) — советский политолог и экономист. Автор статей по проблемам современной китайской экономики, опубликованных в научных изданиях. В «ИЛ» напечатаны его статьи: «Китай: десять лет по пути обновления» (1988, № 5), «Китай: истоки политического кризиса» (1989, № 11), «Китай: «Дух Лэй Фэна» против «буржуазной либерализации» (1990, № 8). Лауреат премий «ИЛ» за 1988 и 1989 годы.

ПЕРЕВОДЧИКИ:

БЕРНШТЕЙН ИННА МАКСИМОВНА — советский переводчик с английского. В ее переводах публиковались романы Г. Мелвилла «Моби Дик», Т. Мэлори «Смерть Артура», И. Во «Возвращение в Брайдсхед», Дж. Гарднера «Осенний свет», Айрис Мердок «Черный принц» («ИЛ», 1974, № 8—11; совместно с А. Поливановой), повесть Грэма Грина «Десятый» («ИЛ», 1986, № 12), рассказы Р. К. Нарайана («ИЛ», 1985, № 7), К. Дарувалла («ИЛ», 1987, № 7) и др.

Е. СУРИЦ (Богатырева Елена Александровна) — советский переводчик с английского и скандинавских языков. В ее переводах издавались романы У. Голдинга «Повелитель мух», Дж. Стейнбека «Консервный ряд», С. Хилл «Я в замке король» («ИЛ», 1978, № 1—2), В. Вулф «Миссис Дэллоуэй» («ИЛ», 1984, № 4) и др., со скандинавских языков — произведения классиков и современных писателей.

Уважаемые читатели «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»!

В 1992 году на страницах журнала вас ждет встреча с прозой **Уильяма Стайрона, Итало Кальвино,** лауреата Гонкуровской премии 1990 года **Жана Руо.** В портфеле редакции произведения **Олдоса Хаксли, Питера Устинова, Чеслава Милоша, Пьера Паоло Пазолини, Милана Кундеры, Стивена Кинга, Роберта Музиля.** Вы сможете также прочесть роман о Христофоре Колумбе аргентинца **Абеля Поссе** «Райские псы», уже переведенный на двенадцать языков, знаменитую книгу **Анджея Щипёрского** «Начало», известную на Западе под названием «Прекрасная госпожа Зайденман».

Как и прежде, журнал будет печатать в новых переводах примечательные книги классического наследия — недавних и давних времен: **маркиза де Сада, Луи Селина, Генри Миллера.**

Документальная проза будет представлена последней книгой **Кнута Гамсуна** «На заросших тропинках» и исследованием британского журналиста **Эдварда Бера,** посвященным возвышению и краху клана Чаушеску.

В поэтическом разделе «ИЛ» наряду с открытием новых для читателя имен редакция продолжит публикацию произведений нобелевских лауреатов — **Редьярда Киплинга, Нелли Закс, Германа Гессе.** Мы предполагаем также широко печатать переводы, выполненные поэтами русского зарубежья.

В 1992 году наряду с традиционно составленными номерами редакция готовит ряд экспериментальных выпусков, объединяющих художественные, документальные произведения и литературную критику в единое целое.

Итак, читайте в 1992 году следующие спец
«Американская литература вчера и сего
«Английская литература наших дней»
«Оккультизм, призраки и магия в
иронически и всерьез»,
«Современная классика детектив
ного жанра».

Не забудьте вовремя оформи
щем году журнал будет поступат
тиражом. Гарантию получения
довая подписка.

ЖУРНАЛ

«ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Наш индекс 70394

Подписная цена:
на 1 месяц — 3 руб. 75 коп.;
на 3 месяца — 11 руб. 25 коп.;
на 6 месяцев — 22 руб. 50 коп.;
на 1 год — 45 руб.

Стоимость одного номера журнала
в розничной продаже 4 рубля.

Цена 2 руб. 95 коп. ИНДЕКС 70394

ЖУРНАЛ
«ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
предоставляет
заинтересованным учреждениям и фирмам,
как советским так и зарубежным,
свою
обложку и страницы журнала
для рекламы

Адрес редакции:
109017, Москва, Пятницкая, д. 41.
Телефон для справок и заявок на рекламу:
☎ 233-59-72 ☎

ISSN 0130—6545 Иностранная литература, 1991, № 10 1—256